И. С. ТУРГЕНЕВ



СОЧИНЕ-
НИЯ

6

Ив. Тургенев



И. С. ТУРГЕНЕВ

Фотография С. Л. Левицкого, 1856 г.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Академии наук СССР. Ленинград.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



И. С. ТУРГЕНЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

◆

Издание второе,
исправленное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1981

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Том шестой

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО
НАКАНУНЕ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

1858—1860

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1981

Т $\frac{70302-052}{042(02)-81}$ Подписное 3702000000

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

1858

I

Весенний, светлый день клонился к вечеру; небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури.

Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О... (дело происходило в 1842 году), сидели две женщины — одна лет пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лет.

Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец,— человек бойкий и решительный, желчный и упрямый,— умер лет десять тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но, рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу и набить деньгу. Марья Дмитриевна вышла за него по любви: он был недурен собою, умен и, когда хотел, очень любезен. Марья Дмитриевна (в девицах Пестова) еще в детстве лишилась родителей, провела несколько лет в Москве, в институте, и, вернувшись оттуда, жила в пятидесяти верстах от О..., в родовом своем селе Покровском, с теткой да с старшим братом. Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держал и сестру и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его поприщу. Марья Дмитриевна наследовала Покровское, но не долго жила в нем; на второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в несколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было променено на другое имение, гораздо более доходное, но некрасивое и без усадьбы; и в то же время Калитин приобрел дом в городе О..., где и поселился с женою на постоянное жительство. При доме находился большой сад; одной стороной он выходил прямо в поле, за город. «Стало быть,— решил Калитин, большой неохотник до сельской тишины,— в деревню таскаться незачем». Марья Дмитриевна не раз в душе пожалела о своем хорошеньком Покровском с

веселой речкой, широкими лугами и зелеными рощами; но она ни в чем не прекословила мужу и благоговела пред его умом и знанием света. Когда же, после пятнадцатилетнего брака, он умер, оставив сына и двух дочерей, Марья Дмитриевна уже до того привыкла к своему дому и к городской жизни, что сама не захотела выехать из О...

Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки; и в пятьдесят лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки; она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки; зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись и никто ей не прекословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею; сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге.

Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которою она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Пестовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тысячи. Она терпеть не могла покойного Калитина и, как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых десять лет у мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая даже в старости, маленькая, востроносая, Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно, тонким и звучным голоском. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту.

— О чем ты это? — спросила она вдруг Марью Дмитриевну.— О чем вздыхаешь, мать моя?

— Так,— промолвила та.— Какие чудесные облака!

— Так тебе их жалко, что ли?

Марья Дмитриевна ничего не отвечала.

— Что это Гедеоновский нейдет? — проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами (она вязала

Дворянское Гнѣздо,

повѣсть Ивана Тургенева.

Задумана въ началѣ 1856-го года, долгое время не принимался за неё, все вертѣлъ её въ головѣ; началъ разработывать её лѣтомъ 1858-го года въ Спасскомъ.

Кончена, въ понедѣльникъ, 27-го октября 1858-го года въ Спасскомъ.

1858.

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ АВТОГРАФА.

Национальная библиотека, Париж.

большой шерстяной шарф).— Он бы повздыхал вместе с тобою,— не то соврал бы что-нибудь.

— Как вы всегда строго о нем отзываетесь! Сергей Петрович — почтенный человек.

— Почтенный! — повторила с укоризной старушка.

— И как он покойному мужу был предан! — проговорила Марья Дмитриевна,— до сих пор вспомнить о нем равнодушно не может.

— Еще бы! тот его за уши из грязи вытащил,— проворчала Марфа Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках.

— Глядит таким смиренником,— начала она снова,— голова вся седая, а что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще статский советник! Ну, и то сказать: попович!

— Кто же без греха, тетушка? Эта слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитания, конечно, не получил, по-французски не говорит; но он, воля ваша, приятный человек.

— Да, он ручки у тебя всё лижет. По-французски не говорит,— эка беда! Я сама не сильна во французском «диалехте». Лучше бы он ни по-каковски не говорил: не лгал бы. Да вот он, кстати, легок на помине,— прибавила Марфа Тимофеевна, глянув на улицу.— Вон он шагает, твой приятный человек. Экой длинный, словно аист!

Марья Дмитриевна поправила свои локоны. Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее.

— Что это у тебя, никак седой волос, мать моя? Ты побрани свою Палашку. Чего она смотрит?

— Уж вы, тетушка, всегда...— пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел.

— Сергей Петрович Гедеоновский! — пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери.

II

Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках — одном черном, сверху, другом белом, снизу. Всё в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрыпу. Он покло-

нился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел не торопясь в кресла и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил:

— А Елизавета Михайловна здоровы?

— Да,— отвечала Марья Дмитриевна,— она в саду.

— И Елена Михайловна?

— Леночка в саду тоже.— Нет ли чего новенького?

— Как не быть-с, как не быть-с,— возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы.— Гм!.. да вот пожалуйте, есть новость, и преудивительная: Лаврецкий Федор Иваныч приехал.

— Федя! — воскликнула Марфа Тимофеевна.— Да ты, полно, не сочиняешь ли, отец мой?

— Никак нет-с, я их самолично видел.

— Ну, это еще не доказательство.

— Очень поздоровели,— продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны,— в плечах еще шире стали, и румянец во всю щеку.

— Поздоровел,— произнесла с расстановкой Марья Дмитриевна,— кажется, с чего бы ему здороветь?

— Да-с,— возразил Гедеоновский,— другой на его месте и в свет-то показаться посовестился бы.

— Это отчего? — перебила Марья Тимофеевна,— это что за вздор? Человек возвратился на родину — куда ж ему деться прикажете? И благо он в чем виноват был!

— Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя.

— Это ты, батюшка, оттого говоришь, что сам женат не был.

Гедеоновский принужденно улыбнулся.

— Позвольте полюбопытствовать,— спросил он после небольшого молчания,— кому назначается этот миленький шарф?

Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него.

— А тому назначается,— возразила она,— кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо; он только тем и виноват, что баловал жену. Ну, да и женился он по любви, а из этих из любовных свадеб ничего путного никогда не выходит,— прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая.—

А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи, хоть на мне; я уйду, мешать не буду.

И Марфа Тимофеевна удалилась.

— Вот она всегда так,— проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами,— всегда!

— Лета ихние! Что делать-с! — заметил Гедеоновский.— Вот они изволят говорить: кто не хитрит. Да кто нонеча не хитрит? Век уж такой. Один мой приятель, препочтенный и, доложу вам, не малого чина человек, говаривал, что нонеча, мол, курица, и та с хитростью к зерну приближается — всё норовит, как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский; пожалуйте-ка мне вашу белоснежную ручку.

Марья Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса:

— Так видели вы его? В самом деле он — ничего, здоров, весел?

— Весел-с, ничего-с,—возразил Гедеоновский шёпотом.

— А не слыхали вы, где его жена теперь?

— В последнее время в Париже была-с; теперь, слышно, в итальянское государство переселилась.

— Это ужасно, право,— Федино положение; я не знаю, как он переносит. Случаются, точно, несчастья со всяким; но ведь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали.

Гедеоновский вздохнул.

— Да-с, да-с. Ведь она, говорят, и с артистами, и с пиянистами, и, как там по-ихнему, со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно...

— Очень, очень жалко,— проговорила Марья Дмитриевна.— По-родственному: ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатный племянник.

— Как же-с, как же-с. Как мне не знать-с всего, что до вашего семейства относится? Помилуйте-с.

— Придет он к нам, как вы думаете?

— Должно полагать-с; а впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются.

Марья Дмитриевна подняла глаза к небу.

— Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, как я подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя!

— Женщина женщине розь, Марья Дмитриевна. Есть, к несчастию, такие — нрава непостоянного... ну, и лета; опять правила не внушены сызмала. (Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать.) Такие женщины, конечно, бывают. (Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам.) Но вообще говоря, если рассудить, то есть... Пыль в городе необыкновенная,— заключил он.

— Maman, maman,— вскричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет одиннадцати,— к нам Владимир Николаич верхом едет!

Марья Дмитриевна встала; Сергей Петрович тоже встал и поклонился. «Елене Михайловне наше нижайшее»,— проговорил он и, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос.

— Какая у него чудесная лошадь! — продолжала девочка.— Он сейчас был у калитки и сказал нам с Лизой, что к крыльцу подъедет.

Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым окном.

III

— Здравствуйте, Марья Дмитриевна! — воскликнул звучным и приятным голосом всадник.— Как вам нравится моя новая покупка?

Марья Дмитриевна подошла к окну.

— Здравствуйте, Woldemar! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?

— У ремонтера... Дорого взял, разбойник.

— Как ее зовут?

— Орландом... Да это имя глупо; я хочу переменить... Eh bien, eh bien, mon garçon... [1] Какой неугомонный!

Конь фыркал, переступал ногами и махал опененною мордой.

— Леночка, погладьте ее, не бойтесь...

Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся, взял коня в шенкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном.

[1] Ну, ну, мой мальчик... *(франц.)*.

— Prenez garde, prenez garde [1],— твердила Марья Дмитриевна.

— Леночка, поласкайте его,— возразил всадник,— я не позволю ему вольничать.

Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орланда, который беспрестанно вздрагивал и грыз удила.

— Браво! — воскликнула Марья Дмитриевна,— а теперь слезьте и придите к нам.

Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком, из двери передней в гостиную; в то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая девушка лет девятнадцати — старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза.

IV

Молодой человек, с которым мы только что познакомили читателей, прозывался Владимиром Николаичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в министерстве внутренних дел. В город О... он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора, генерала Зонненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штабс-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он, по-своему, позаботился об его воспитании: Владимир Николаич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует: порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки; но пускать в ход германское словцо в некоторых, большею частью забавных, случаях — можно, c'est même très chic [2], как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаич с пятнадцатилетнего возраста уже умел не смущаясь войти в

---

[1] Осторожнее, осторожнее *(франц.)*.

[2] это даже очень шикарно *(франц.)*.

любую гостиную, приятно повертеться в ней и кстати удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей; тасуя карты между двумя робберами или после удачного «большого шлема», он не пропускал случая запустить словечко о своем «Володьке» какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр. С своей стороны, Владимир Николаич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали; он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на всё готов; где нужно — почтителен, где можно — дерзок, отличный товарищ, un charmant garcon [1]. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки; он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает всё важное за вздор; танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок,— не хуже отца; но он был также очень даровит. Всё ему далось: он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел двадцать восьмой год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность; он шел вперед смело и весело, полным махом; жизнь его текла как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин: он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек не чуждый художеству, он чувствовал в себе и жар, и некоторое увлечение, и восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил: кутил, знакомился с лицами, не принадлежавшими к свету, и вообще держался вольно и просто; но в душе он был холоден и хитр, и во время самого буйного кутежа его умный карий глазок всё караулил и высматривал; этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. К чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он попал

[1] прелестный малый *(франц.)*.

тотчас по приезде в О... и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла.

Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Лизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб.

— И вы не боитесь ездить на такой злой лошади? — спросила его Марья Дмитриевна.

— Помилуйте, она пресмирная; а вот, я доложу вам, чего я боюсь: я боюсь играть в преферанс с Сергеем Петровичем; вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух.

Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом: он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. В разговорах своих с Марьей Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. Ведь вот, рассуждал он, как не похвалить? И в высшей сфере жизни успевает молодой человек, и служит примерно, и гордости ни малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником: работа кипела у него в руках; он говорил о ней шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам, но был «исполнитель». Начальники любят таких подчиненных; сам он не сомневался в том, что, если захочет, будет со временем министром.

— Вы изволите говорить, что я обыграл вас,— промолвил Гедеоновский,— а на прошлой неделе кто у меня выиграл двенадцать рублей? да еще...

— Злодей, злодей,— перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе.

— Я не мог найти здесь увертюру «Оберона»,— начал он.— Беленицына только хвасталась, что у ней вся классическая музыка,— на деле у ней, кроме полек и вальсов, ничего нет; но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру. Кстати,— продолжал он,— я написал вчера новый романс; слова тоже мои. Хотите, я вам спою? Не знаю, что из этого вышло; Беленицына нашла его премиленьким, но ее слова ничего не значат,— я желаю знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после.

— Зачем же после? — вмешалась Марья Дмитриевна,— отчего же не теперь?

— Слушаю-с,— промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась и пропадала вдруг,— пододвинул коленом стул, сел за фортепьяно и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс:

Луна плывет высоко над землею
Меж бледных туч;
Но движет с вышины волной морскою
Волшебный луч.

Моей души тебя признало море
Своей луной,
И движется — и в радости и в горе —
Тобой одной.

Тоской любви, тоской немых стремлений
Душа полна;
Мне тяжело... Но ты чужда смятений,
Как та луна.

Второй куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой; в бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов: «Мне тяжело...» — он вздохнул слегка, опустил глаза и понизил голос — morendo [1]. Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала: «Прелестно», а Гедеоновский даже крикнул: «Восхитительно! и поэзия, и гармония одинаково восхитительны!..» Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом, всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта; но за дверью гостиной в передней стоял только что пришедший, уже старый человек, которому, судя по выражению его потупленного лица и движениям плечей, романс Паншина, хотя и премиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою, и без того сутулую, спину и медленно вошел в гостиную.

— А! Христофор Федорыч, здравствуйте! — воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула. — Я и не подозревал, что вы здесь,— я бы при вас ни за что не решился спеть свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки.

---

[1] замирая *(итал.)*.

— Я не слушиль,— произнес дурным русским языком вошедший человек и, раскланявшись со всеми, неловко остановился посреди комнаты.

— Вы, мосье Лемм,— сказала Марья Дмитриевна,— пришли дать урок музыки Лизе?

— Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне.

— А! Ну, что ж — прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Леммом.

Старик пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его.

— Не уходите после урока, Христофор Федорыч,— сказал он,— мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетговенскую сонату в четыре руки.

Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова:

— Мне Лизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли,— прекрасная вещь! Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку,— напротив: она иногда скучна, но зато очень пользительна.

Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты.

Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс; но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого немца, и предложил Лизе заняться бетговенскою сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и, с своей стороны, предложила Гедеоновскому пройтись с ней по саду. «Мне хочется,— сказала она,— еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде». Гедеоновский осклабился, поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза; она достала и раскрыла сонату; оба молча сели за фортепьяно. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки.

V

Христофор Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году, в королевстве Саксонском, в городе Хемнице, от бедных музыкантов. Отец его играл на валторне, мать на арфе; сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством.

Он долго вел бродячую жизнь, играл везде — и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах; наконец попал в оркестр и, подвигаясь всё выше и выше, достиг дирижерского места. Исполнитель он был довольно плохой, но музыку знал основательно. На двадцать восьмом году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства. Лемм прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от него с пустыми руками: барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом,— словом, не заплатил ему ни копейки. Ему советовали уехать; но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов; он решился остаться и испытать свое счастье. В течение двадцати лет бедный немец пытал свое счастье: побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился как рыба об лед; но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался; она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим последним и первым счастьем: пятидесяти лет, больной, до времени одряхлевший, застрял он в городе О... и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не разгибавшихся пальцах жилистых красных рук; лицо имел морщинистое, впалые щеки и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что, при его обычной молчаливости, производило впечатление почти зловещее; седые его волосы висели клочьями над невысоким лбом; как только что залитые угольки, глухо тлели его крошечные, неподвижные глазки; ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охорашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными, желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарелое, неумолимое горе положило на бедного музикуса свою не-

изгладимую печать, искривило и обезобразило его и без того невзрачную фигуру; но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Лемм со временем — кто знает? — стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если б жизнь иначе его повела; но не под счастливой звездой он родился! Он много написал на своем веку — и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным; не умел он приняться за дело как следовало, поклониться кстати, похлопотать вовремя. Как-то, давным-давно тому назад, один его поклонник и друг, тоже немец и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты,— да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов; глухо и бесследно провалились они, словно их ночью кто в реку бросил. Лемм, наконец, махнул рукой на всё; притом и годы брали своё: он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один, с старой кухаркой, взятой им из богадельни (он никогда женат не был), проживал он в О... в небольшом домишке, недалеко от калитинского дома; много гулял, читал библию, да собрание протестантских псалмов, да Шекспира в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял; но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить: он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин. Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов; некоторые стихи он сам присочинил. Ее пели два хора — хор счастливцев и хор несчастливцев; оба они к концу примирялись и пели вместе: «Боже милостивый, помилуй нас, грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды». На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояло: «Только праведные правы. Духовная кантата. Сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителем, Х. Т. Г. Леммом». Слова: «Только праведные правы» и «Елизавете Калитиной» были окружены лучами. Внизу было приписано: «Для вас одних, fur Sie allein».— Оттого-то Лемм и покраснел и взглянул искоса на Лизу; ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате.

VI

Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты (он играл вторую руку), но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие; губы ее не улыбались, всё лицо было строго, почти печально.

— Что с вами? — спросил он.

— Зачем вы не сдержали своего слова? — сказала она.— Я вам показала кантату Христофора Федорыча под тем условием, чтоб вы не говорили ему о ней.

— Виноват, Лизавета Михайловна,— к слову пришлось.

— Вы его огорчили — и меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет.

— Что прикажете делать, Лизавета Михайловна? От младых ногтей не могу видеть равнодушно немца: так и подмывает меня его подразнить.

— Что вы это говорите, Владимир Николаич! Этот немец — бедный, одинокий, убитый человек — и вам его не жаль? Вам хочется дразнить его?

Паншин смутился.

— Вы правы, Лизавета Михайловна,— промолвил он.— Всему виною — моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне; я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста.

Паншин помолчал. С чего бы ни начинал он разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно.

— Вот и в вашем доме,— продолжал он,— матушка ваша, конечно, ко мне благоволит — она такая добрая; вы... впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне; зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь необдуманным, глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?

— Да,— произнесла Лиза с небольшой запинкой,— вы ей не нравитесь.

Паншин быстро провел пальцами по клавишам; едва заметная усмешка скользнула по его губам.

— Ну, а вы? — промолвил он,— я вам тоже кажусь эгоистом?

— Я вас еще мало знаю,— возразила Лиза,— но я вас не считаю за эгоиста; я, напротив, должна быть благодарна вам...

— Знаю, знаю, что вы хотите сказать,— перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам,— за ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу всё это делать — и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною и что вы не считаете меня за дурного человека, но всё же вы полагаете, что я — как, бишь, это сказано? — для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля.

— Вы рассеянны и забывчивы, как все светские люди,— промолвила Лиза,— вот и всё.

Паншин немного нахмурился.

— Послушайте,— сказал он,— не будемте больше говорить обо мне; станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас,— прибавил он, разглаживая рукою листы лежавшей на пюпитре тетради,— думайте обо мне что хотите, называйте меня даже эгоистом — так и быть! но не называйте меня светским человеком: эта кличка мне нестерпима... Anch'io sono pittore [1]. Я тоже артист, хотя плохой, и это, а именно то, что я плохой артист,— я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же.

— Начнем, пожалуй,— сказала Лиза.

Первое adagio прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты — довольно быстрое allegro — совсем не пошла: на двадцатом такте Паншин, отставший такта на два, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул.

— Нет! — воскликнул он,— я не могу сегодня играть; хорошо, что Лемм нас не слышал; он бы в обморок упал.

Лиза встала, закрыла фортепьяно и обернулась к Паншину.

— Что же мы будем делать? — спросила она.

— Узнаю вас в этом вопросе! Вы никак не можете сидеть сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. Авось другая муза — муза рисования — как, бишь, ее звали? позабыл... бу-

[1] Я тоже художник *(итал.)*.

дет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен.

Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то скосясь, на свои руки. Они у него были очень красивы и белы; на большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась; Паншин уселся к окну, развернул альбом.

— Ага! — воскликнул он,— я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж — и прекрасно. Очень хорошо! Вот тут только — дайте-ка карандаш — не довольно сильно положены тени. Смотрите.

И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж: на первом плане большие растрепанные деревья, в отдаленье поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу.

— В рисунке, да и вообще в жизни,— говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево,— легкость и смелость — первое дело.

В это мгновение вошел в комнату Лемм и, сухо поклонившись, хотел удалиться; но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу.

— Куда же вы, любезный Христофор Федорыч? Разве вы не остаетесь чай пить?

— Мне домой,— проговорил Лемм угрюмым голосом,— голова болит.

— Ну, что за пустяки,— останьтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире.

— Голова болит,— повторил старик.

— А мы без вас принялись было за бетговенскую сонату,— продолжал Паншин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь,— но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно.

— Вы бы опять спел сфой романце лутчи,— возразил Лемм, отводя руки Паншина, и вышел вон.

Лиза побежала вслед за ним. Она догнала его на крыльце.

— Христофор Федорыч, послушайте,— сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора,— я виновата перед вами — простите меня.

Лемм ничего не отвечал.

— Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату; я была уверена, что он ее оценит,— и она, точно, очень ему понравилась.

Лемм остановился.

— Это ничего,— сказал он по-русски и потом прибавил на родном своем языке: — но он не может ничего понимать; как вы этого не видите? Он дилетант — и всё тут!

— Вы к нему несправедливы,— возразила Лиза,— он всё понимает, и сам почти всё может сделать.

— Да, всё второй нумер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен — ну и браво. А я не сержусь; эта кантата и я — мы оба старые дураки; мне немножко стыдно, но это ничего.

— Простите меня, Христофор Федорыч,— проговорила снова Лиза.

— Ничего, ничего,— повторил он опять по-русски,— вы добрая девушка... А вот кто-то к вам идет. Прощайте. Вы очень добрая девушка.

И Лемм уторопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин, в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему (он кланялся всем новым лицам в городе О...; от знакомых он отворачивался на улице — такое уж он положил себе правило), Лемм прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивлением посмотрел ему вслед и, вглядевшись в Лизу, подошел прямо к ней.

VII

— Вы меня не узнаете,— промолвил он, снимая шляпу,— а я вас узнал, даром что уже восемь лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенком. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома? Можно ее видеть?

— Матушка будет очень рада,— возразила Лиза,— она слышала о вашем приезде.

— Ведь вас, кажется, зовут Елизаветой? — промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца.

— Да.

— Я помню вас хорошо; у вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь; я вам тогда возил конфекты.

Лиза покраснела и подумала: какой он странный.

Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина; он сообщал какую-то городскую сплетню Марье Дмитриевне и Гедеоновскому, уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Марья Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу.

— Здравствуйте, здравствуйте, мой милый cousin! — воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом,— как я рада вас видеть!

— Здравствуйте, моя добрая кузина,— возразил Лаврецкий и дружелюбно пожал ее протянутую руку.— Как вас господь милует?

— Садитесь, садитесь, мой дорогой Федор Иваныч. Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь Лизу...

— Я уж сам отрекомендовался Лизавете Михайловне,— перебил ее Лаврецкий.

— Мсье Паншин... Сергей Петрович Гедеоновский... Да садитесь же! Гляжу на вас и, право, даже глазам не верю. Как здоровье ваше?

— Как изволите видеть: процветаю. Да и вы, кузина,— как бы вас не сглазить,— не похудели в эти восемь лет.

— Как подумаешь, сколько времени не видались,— мечтательно промолвила Марья Дмитриевна.— Вы откуда теперь? Где вы оставили... то есть я хотела сказать,— торопливо подхватила она,— я хотела сказать, надолго ли вы к нам?

— Я приехал теперь из Берлина,— возразил Лаврецкий,— и завтра же отправляюсь в деревню — вероятно, надолго.

— Вы, конечно, в Лавриках жить будете?

— Нет, не в Лавриках; а есть у меня, верстах в двадцати пяти отсюда, деревушка; так я туда еду.

— Это деревушка, что вам от Глафиры Петровны досталась?

— Та самая.

— Помилуйте, Федор Иваныч! У вас в Лавриках такой чудесный дом!

Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови.

— Да... но и в той деревушке есть флигелек; а мне пока больше ничего не нужно. Это место — для меня теперь самое удобное.

Марья Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. Марья Дмитриевна успокоилась, опустилась на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко; но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот, наконец, не вытерпел и довольно резко спросил ее: здорова ли она?

— Слава богу,— возразила Марья Дмитриевна,— а что?

— Так, мне показалось, что вам не по себе.

Марья Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный. «А коли так,— подумала она,— мне совершенно всё равно; видно, тебе, мой батюшка, всё как с гуся вода; иной бы с горя исчах, а тебя еще разнесло». Марья Дмитриевна сама с собой не церемонилась; вслух она говорила изящнее.

Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица, с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами, так и веяло степным здоровьем, крепкой, долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых, навыкате и несколько неподвижных, замечалась не то задумчивость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно.

Паншин между тем продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел две французские брошюрки, и с спокойной скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом.

— А ведь это Федя! — раздался вдруг в соседней комнате за полураскрытой дверью голос Марфы Тимофеевны,— Федя, точно! — И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уж она обняла его.— Покажи-ка себя, покажи-ка,— промолвила она, отодвигаясь от его лица.— Э! да какой же ты славный. Постарел, а не подурнел нисколько, право. Да что ты руки у меня целуешь — ты меня самое целуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось, не спросил обо мне: что, дескать, жива ли тетка? А ведь ты у меня на руках родился, пострел эдакой! Ну, да это всё равно; где тебе было обо мне вспом-

нить! Только ты умница, что приехал. А что, мать моя,— прибавила она, обращаясь к Марье Дмитриевне,— угостила ты его чем-нибудь?

— Мне ничего не нужно,— поспешно проговорил Лаврецкий.

— Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи боже мой! Приехал невесть откуда, и чашки чаю ему не дадут. Лиза, пойди похлопочи, да поскорей. Я помню, маленький он был обжора страшный, да и теперь, должно быть, покушать любит.

— Мое почтение, Марфа Тимофеевна,— промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь.

— Извините меня, государь мой,— возразила Марфа Тимофеевна,— не заметила вас на радости. На мать ты свою похож стал, на голубушку,— продолжала она, снова обратившись к Лаврецкому,— только нос у тебя отцовский был, отцовским и остался. Ну — и надолго ты к нам?

— Я завтра еду, тетушка.

— Куда?

— К себе, в Васильевское.

— Завтра?

— Завтра.

— Ну, коли завтра, так завтра. С богом,— тебе лучше знать. Только ты, смотри, зайди проститься.— Старушка потрепала его по щеке.— Не думала я дождаться тебя; и не то чтоб я умирать собиралась; нет — меня еще годов на десять, пожалуй, хватит: все мы, Пестовы, живучи; дед твой покойный, бывало, двужильными нас прозывал; да ведь господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. Ну, а молодец ты, молодец; чай, по-прежнему десять пудов одной рукой поднимаешь? Твой батюшка покойный, извини, уж на что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцарца тебе нанял; помнишь, вы с ним на кулачки бились; гимнастикой, что ли, это прозывается? Но, однако, что это я так раскудахталась; только господину Паншúну (она никогда не называла его, как следовало, Пáншиным) рассуждать помешала. А впрочем, станемте-ка лучше чай пить; да на террасу пойдемте его, батюшку, пить; у нас сливки славные— не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте, а ты, Федюша,

дай мне руку. О! да какая же она у тебя толстая! Небось с тобой не упадешь.

Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. Во всё продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома, Паншиным и Марфой Тимофеевной он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством вытянув губы: он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу.

В тот же день, в одиннадцать часов вечера, вот что происходило в доме г-жи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку: «Вы знаете, кто меня привлекает сюда; вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом; к чему тут слова, когда и так всё ясно». Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала своей руки; а наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшей перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колена и положив лицо на руки; старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома; он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала... Да и к чему было говорить, о чем расспрашивать? Она и так всё понимала, она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце.

VIII

Федор Иванович Лаврецкий (мы должны попросить у читателя позволение перервать на время нить нашего рассказа) происходил от старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был пожалован двумя стами четвертями земли в Бежецком верху. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдаленных воеводствах, но ни один из них не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. Богаче и замечательнее всех Лаврецких был родной прадед Федора Иваныча, Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный

и лукавый. До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл и безбород, картавил и казался сонливым; но чем он тише говорил, тем больше трепетали все вокруг него. Он и жену достал себе под стать. Пучеглазая, с ястребиным носом, с круглым желтым лицом, цыганка родом, вспыльчивая и мстительная, она ни в чем не уступала мужу, который чуть не уморил ее и которого она не пережила, хотя вечно с ним грызлась. Сын Андрея, Петр, Федоров дед, не походил на своего отца; это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и копотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за тридцать лет, когда он наследовал от отца две тысячи душ в отличном порядке, но он скоро их распустил, частью продал свое именье, дворню избаловал. Как тараканы, сползались со всех сторон знакомые и незнакомые мелкие людишки в его обширные, теплые и неопрятные хоромы; всё это наедалось чем попало, но досыта, напивалось допьяна и тащило вон что могло, прославляя и величая ласкового хозяина; и хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей дармоедами и прохвостами, а без них скучал. Жена Петра Андреича была смиренница; он взял ее из соседнего семейства, по отцовскому выбору и приказанию; звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смертью. Поставят тебе, рассказывала она в старости, войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают — не отмоешься потом; а в гости без пудры нельзя — обидятся,— му́ка! Она любила кататься на рысаках, в карты готова была играть с утра до вечера и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копеечный выигрыш, когда муж подходил к игорному столу; а всё свое приданое, все деньги отдала ему в безответное распоряжение. Она прижила с ним двух детей: сына Ивана, Федорова отца, и дочь Глафиру. Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжны Кубенской: она назначила его своим наследником (без этого отец бы его не отпустил); одевала его, как куклу, нанимала ему всякого рода учителей, приставила к нему гувернера,

француза, бывшего аббата, ученика Жан-Жака Руссо, некоего m-r Courtin de Vaucelles, ловкого и тонкого проныру,— самую, как она выражалась, fine fleur [1] эмиграции,— и кончила тем, что чуть не семидесяти лет вышла замуж за этого финь-флёра; перевела на его имя всё свое состояние и вскоре потом, разрумяненная, раздушенная амброй á la Richelieu, окруженная арапчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковом кривом диванчике времен Людовика XV, с эмалевой табакеркой работы Петитó в руках — и умерла, оставленная мужем: вкрадчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего двадцатый год, когда этот неожиданный удар (мы говорим о браке княжны, не об ее смерти) над ним разразился; он не захотел остаться в теткином доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика; в Петербурге общество, в котором он вырос, перед ним закрылось; к службе с низких чинов, трудной и темной, он чувствовал отвращение (всё это происходило в самом начале царствования императора Александра); пришлось ему поневоле вернуться в деревню, к отцу. Грязно, бедно, дрянно показалось ему его родимое гнездо; глушь и копоть степного житья-бытья на каждом шагу его оскорбляли; скука его грызла; зато и на него все в доме, кроме матери, недружелюбно глядели. Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему гадливость; он то и дело жаловался и ворчал на сына. «Всё здесь не по нем,— говаривал он,— за столом привередничает, не ест, людского запаху, духоты переносить не может, вид пьяных его расстраивает, драться при нем тоже не смей, служить не хочет: слаб, вишь, здоровьем; фу ты, неженка эдакой! А всё оттого, что Вóлтер в голове сидит». Старик особенно не жаловал Вольтера да еще «изувера» Дидерота, хотя ни одной строки из их сочинений не прочел: читать было не по его части. Петр Андреич не ошибался: точно, и Дидерот и Вольтер сидели в голове его сына, и не они одни — и Руссо, и Рейналь, и Гельвеций, и много других, подобных им, сочинителей сидели в его голове,— но в одной только голове. Бывший наставник Ивана Пет-

[1] цвет *(франц.)*.

ровича, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века, и он так и ходил наполненный ею; она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убежденьем... Да и возможно ли было требовать убеждений от молодого малого пятьдесят лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них? Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже стеснял; он ими гнушался, они его боялись, а с сестрой Глафирой, которая была двенадцатью годами старше его, он не сошелся вовсе. Эта Глафира была странное существо: некрасивая, горбатая, худая, с широко раскрытыми строгими глазами и сжатым тонким ртом, она лицом, голосом, угловатыми быстрыми движениями напоминала свою бабку, цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотела о замужестве. Возвращение Ивана Петровича ей пришлось не по нутру; пока княжна Кубенская держала его у себя, она надеялась получить по крайней мере половину отцовского имения: она и по скупости вышла в бабку. Сверх того, Глафира завидовала брату; он так был образован, так хорошо говорил по-французски, с парижским выговором, а она едва умела сказать «бонжур» да «коман ву порте ву?» [1]. Правда, родители ее по-французски вовсе не разумели, да от этого ей не было легче. Иван Петрович не знал, куда деться от тоски и скуки; невступно год провел он в деревне, да и тот показался ему за десять лет. Только с матерью своею он и отводил душу и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка, с ясными, кроткими глазками и тонкими чертами лица, по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого раза приглянулась Ивану Петровичу; и он полюбил ее: он полюбил ее робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку; с каждым днем она ему казалась милей. И она привязалась к Ивану Петровичу всей силою души, как только русские девушки умеют привязываться,— и отдалась ему. В поме-

---

[1] «здравствуйте»... «как вы поживаете?» (*франц.* «bonjour», «comment vous portez-vous?»).

щичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может: скоро все узнали о связи молодого барина с Маланьей; весть об этой связи дошла, наконец, до самого Петра Андреича. В другое время он, вероятно, не обратил бы внимания на такое маловажное дело; но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт, крик и гам: Маланью заперли в чулан; Ивана Петровича потребовали к родителю. Анна Павловна тоже прибежала на шум. Она попыталась было укротить мужа, но Петр Андреич уже ничего не слушал. Ястребом напустился он на сына, упрекал его в безнравственности, в безбожии, в притворстве; кстати, выместил на нем всю накипевшую досаду против княжны Кубенской, осыпал его обидными словами. Сначала Иван Петрович молчал и крепился, но когда отец вздумал грозить ему постыдным наказаньем, он не вытерпел. «Изувер Дидерот опять на сцене,— подумал он,— так пущу же я его в дело, постойте; я вас всех удивлю». И тут же спокойным, ровным голосом, хотя с внутренней дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укоряет его в безнравственности; что хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно — готов жениться на Маланье. Произнеся эти слова, Иван Петрович, бесспорно, достиг своей цели: он до того изумил Петра Андреича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновенье; но тотчас же опомнился и как был в тулупчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который, как нарочно, в тот день причесался á la Titus и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосинные панталоны в обтяжку. Анна Павловна закричала благим матом и закрыла лицо руками, а сын ее побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад вылетел на дорогу и всё бежал без оглядки, пока, наконец, перестал слышать за собою тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные, прерывистые крики... «Стой, мошенник! — вопил он,— стой! прокляну!» Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца, а Петр Андреич вернулся домой весь изнеможенный и в поту, объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения и наследства,

приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, известили его обо всем. Пристыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу и в ту же ночь, подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, отбил ее силой, поскакал с нею в ближайший город и обвенчался с ней. Деньгами его снабдил сосед, вечно пьяный и добрейший отставной моряк, страшный охотник до всякой, как он выражался, благородной истории. На другой день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреичу, а сам отправился в деревню, где жил его троюродный брат Дмитрий Пестов с своею сестрой, уже знакомою читателям, Марфой Тимофеевной. Он рассказал им всё, объявил, что намерен ехать в Петербург искать места, и упросил их хоть на время приютить его жену. При слове «жена» он всплакнул горько и, несмотря на свое столичное образование и философию, униженно, беднячком-русачком поклонился своим родственникам в ноги и даже стукнул о пол лбом. Пестовы, люди жалостливые и добрые, охотно согласились на его просьбу; он прожил у них недели три, втайне ожидая ответа от отца; но ответа не пришло,— и прийти не могло. Петр Андреич, узнав о свадьбе сына, слег в постель и запретил упоминать при себе имя Ивана Петровича; только мать, тихонько от мужа, заняла у благочинного и прислала пятьсот рублей ассигнациями да образок его жене; написать она побоялась, но велела сказать Ивану Петровичу через посланного сухопарого мужичка, умевшего уходить в сутки по шестидесяти верст, чтоб он не очень огорчался, что, бог даст, всё устроится и отец переложит гнев на милость; что и ей другая невестка была бы желательнее, но что, видно, богу так было угодно, а что она посылает Маланье Сергеевне свое родительское благословение. Сухопарый мужичок получил рубль, попросил позволенья повидаться с новою барыней, которой он доводился кумом, поцеловал у ней ручку и побежал восвояси.

А Иван Петрович отправился в Петербург с легким сердцем. Неизвестная будущность его ожидала; бедность, быть может, грозила ему, но он расстался с ненавистною деревенской жизнью, а главное — не выдал своих наставников, действительно «пустил в ход» и оправ-

дал на деле Руссо, Дидерота и la Déclaration des droits de l'homme [1]. Чувство совершенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу; да и разлука с женой не очень пугала его; его бы скорее смутила необходимость постоянно жить с женою. То дело было сделано; надобно было приняться за другие дела. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло: княжна Кубенская,— которую мусье Куртен успел уже бросить, но которая не успела еще умереть,— чтобы чем-нибудь загладить свою вину перед племянником, отрекомендовала его всем своим друзьям и подарила ему пять тысяч рублей — едва ли не последние свои денежки — да лепиковские часы с его вензелем в гирлянде амуров. Не прошло трех месяцев, как уж он получил место при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблем (пароходов тогда еще в помине не было) уплыл за море. Несколько месяцев спустя получил он письмо от Пестова. Добрый помещик поздравлял Ивана Петровича с рождением сына, явившегося на свет в селе Покровском 20 августа 1807 года и нареченного Федором в честь святого мученика Феодора Стратилата. По причине большой слабости Маланья Сергеевна приписывала только несколько строк; но и эти немногие строки удивили Ивана Петровича: он не знал, что Марфа Тимофеевна выучила его жену грамоте. Впрочем, Иван Петрович не долго предавался сладостному волнению родительских чувств: он ухаживал за одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис (классические названия еще процветали в то время); Тильзитский мир был только что заключен, и всё спешило наслаждаться, всё крутилось в каком-то бешеном вихре; черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денег у него было очень мало; но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех возможных увеселениях, словом, плыл на всех парусах.

IX

Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу; если б, пропустя полгода, Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбранив его сперва хорошенько и постучав по нем для страха клюкою;

---

[1] «Декларацию прав человека» *(франц.)*.

но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, в ус себе не дул. «Молчи! Не смей! — твердил Петр Андреич всякий раз жене, как только та пыталась склонить его на милость,— ему, щенку, должно вечно за меня бога молить, что я клятвы на него не положил; покойный батюшка из собственных рук убил бы его, негодного, и хорошо бы сделал». Анна Павловна, при таких страшных речах, только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петр Андреич сначала и слышать о ней не хотел и даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что он никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить; но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведомиться о здоровье родительницы и послал ей, тоже будто не от себя, немного денег. Феде еще году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельною болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Маланьей Сергеевной. Она приехала с сыном и с Марфой Тимофеевной, которая ни за что не хотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха вошла Маланья Сергеевна в кабинет Петра Андреича. Нянька несла за ней Федю. Петр Андреич молча поглядел на нее; она подошла к его руке; ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй.

— Ну, сыромолотная дворянка,— проговорил он наконец,— здравствуй; пойдем к барыне.

Он встал и нагнулся к Феде; ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло.

— Ох,— промолвил он,— сиротливый! Умолил ты меня за отца; не оставлю я тебя, птенчик.

Маланья Сергеевна как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына; потом, обратив обглоданное жестокою болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить...

— Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь,— промол-

вил Петр Андреич,— не печалься: она останется у нас, и Ваньку для нее помилую.

Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало.

Петр Андреич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора он возвращает ему свое благословение и Маланью Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях, он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его; подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась: она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раза три поссорилась с нею.

Тяжело и неловко было сперва бедной женщине; но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней, хотя в самых его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Маланья Сергеевна от своей золовки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки: все, начиная с отца, ей покорялись; без ее разрешения куска сахару не выдавалось; она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой,— и какою еще хозяйкой! Свадьба брата раздражила ее еще больше, чем Петра Андреича: она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее рабой. Да и где ж ей было бороться с самовольной, надменной Глафирой, ей, безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем? Дня не проходило, чтоб Глафира не напомнила ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминовениях и похвалах, как горьки они ни были... но Федю у нее отняли: вот что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него; Глафира взялась за это дело; ребенок поступил в ее полное распоряжение. Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее; сам Петр Андреич желал видеть своего сына; но он всё только отписывался, благодарил отца за жену, за присылаемые деньги, обещал приехать вскоре — и не ехал. Двенадцатый год вызвал, его, наконец, из-за границы. Увидавшись в первый раз

после шестилетней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не помянули о прежних раздорах; не до того было тогда: вся Россия поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Петр Андреич на свой счет одел целый полк ратников. Но война кончилась, опасность миновалась; Иван Петрович опять заскучал, опять потянуло его вдаль, в тот мир, с которым он сросся и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его; она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись: муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феди. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара, не перенесла вторичной разлуки: безропотно, в несколько дней, угасла она. В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо, но черты ее по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения; с той же немой покорностью глядела она на Глафиру, и как Анна Павловна на смертном одре поцеловала руку Петра Андреича, так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей, Глафире, своего единственного сына. Так кончило свое земное поприще тихое и доброе существо, бог знает зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревцо, корнями на солнце; оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем. Пожалели о Маланье Сергеевне ее горничные да еще Петр Андреич. Старику недоставало ее молчаливого присутствия. «Прости — прощай, моя безответная!» — прошептал он, кланяясь ей в последний раз, в церкви. Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу.

Он сам не долго пережил ее, не более пяти лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павловной да с «Малашей». Иван Петрович находился тогда в Париже, для своего удовольствия; он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решился возвратиться в Россию. Надобно было подумать об устройстве имения, да и Феде, по письму Глафиры, минуло двенадцать лет, и наступило время серьезно заняться его воспитанием.

X

Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну — всё в нем так и веяло Великобританией; весь он казался пропитан ее духом. Но — чудное дело! — превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом, по крайней мере он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно: в обыкновенной беседе речь его, неповоротливая и вялая, вся пестрела галлицизмами; но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде: «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурою обстоятельства» и т. д. Иван Петрович привез с собою несколько рукописных планов, касавшихся до устройства и улучшения государства; он очень был недоволен всем, что видел,— отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрою он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него всё будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала: «Куда же я-то денусь?» Впрочем, приехавши в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены: приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию; в числе их пострадали две старухи, одна — слепая, другая — разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен, которого, по причине его действительно замечательной жадности, кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел приказ не принимать прежних гостей: всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы; завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики; завтрак стал иначе

подаваться; иностранные вина изгнали водки и наливки; людям пошили новые ливреи; к фамильному гербу прибавилась подпись: «In recto virtus...» [1]. В сущности же власть Глафиры нисколько не уменьшилась: все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели; вывезенный из-за границы камердинер из эльзасцев попытался было с нею потягаться — и лишился места, несмотря на то, что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями (Глафира Петровна входила и в эти дела), то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение: вдохнуть новую жизнь в этот хаос,— всё осталось по-старому, только оброк кой-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде; воспитание его действительно подверглось «коренному преобразованию»: отец исключительно занялся им.

XI

До возвращения Ивана Петровича из-за границы Федя находился, как уже сказано, на руках Глафиры Петровны. Ему не было восьми лет, когда мать его скончалась; он видел ее не каждый день и полюбил ее страстно: память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце; но он смутно понимал ее положение в доме; он чувствовал, что между им и ею существовала преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился, да и сам Иван Петрович никогда не ласкал его; дедушка изредка гладил его по головке и допускал к руке, но называл его букой и считал дурачком. После смерти Маланьи Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее, боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса; он не смел пикнуть при ней; бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: «Куда? Сиди смирно». По воскресеньям, после обедни, позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича-Амбодика, под заглавием «Символы и эмблемы». В этой книге помещалось

[1] «В законности — добродетель...» *(лат.)*.

около тысячи частью весьма загадочных рисунков, с столь же загадочными толкованиями на пяти языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них, под названием «Шафран и радуга», относилось толкование: «Действие сего есть большее»; против другого, изображавшего «Цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту», стояла надпись: «Тебе все они суть известны». «Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка» означали: «Мало-помалу». Федя рассматривал эти рисунки; все были ему знакомы до малейших подробностей; некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение; других развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепьяно да, сверх того, отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки да старой сенной девушки Васильевны провел Федя целых четыре года. Бывало, сидит он в уголке с своими «Эмблемами» — сидит... сидит; в низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями, а три старые девы, словно парки, молча и быстро шевелят спицами, тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, также полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным дитятей: он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок,— настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны; бледность скоро бы исчезла с его лица, если б его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился; он никогда не плакал; зато по временам находило на него дикое упрямство; тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружавших его... Горе сердцу, не любившему смолоду!

Таким-то нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. «Я из него хочу сделать человека прежде всего, un homme,— сказал он Глафире Петровне,— и не только человека, но спартанца». Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски: двенадцатилетний малый стал ходить с обнаженными икрами

и с петушьим пером на складном картузе; шведку заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства; музыку, как занятие недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совету Жан-Жака Руссо, и геральдика, для поддержания рыцарских чувств,— вот чем должен был заниматься будущий «человек»; его будили в четыре часа утра, тотчас окачивали холодною водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке; ел он раз в день по одному блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета; при всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления; а Иван Петрович, с своей стороны, писал ему наставления по-французски, в которых он называл его mon fils [1] и говорил ему vous [2]. По-русски Федя говорил отцу: «ты», но в его присутствии не смел садиться. «Система» сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее; но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал: сначала он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился им и называл его на своем странном наречии: сын натуры, произведение мое. Когда Феде минул шестнадцатый год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу,— и молодой спартанец, с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, сил и крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым.

Между тем время шло да шло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках (так называлось главное его родовое имение), а по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои планы в гостиных и более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собою горя. Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захилел, ослабел, опустился; здоровье ему

---

[1] мой сын *(франц.)*.
[2] вы *(франц.)*.

изменило. Вольнодумец — начал ходить в церковь и заказывать молебны; европеец — стал париться в бане, обедать в два часа, ложиться в девять, засыпать под болтовню старого дворецкого; государственный человек — сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и егозил перед исправником; человек с закаленною волей — хныкал и жаловался, когда у него вскакивал веред, когда ему подавали тарелку холодного супу. Глафира Петровна опять завладела всем в доме; опять начали ходить с заднего крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики к «старой колотовке», — так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване Петровиче сильно поразила его сына; ему уже пошел девятнадцатый год, и он начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета давившей его руки. Он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым, мелким деспотизмом; но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался ехать в Москву, подготовиться в университет, — неожиданное, новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича: он ослеп, и ослеп безнадежно, в один день.

Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собою сына и целых три года проскитался по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением. Совершенной тряпкой, плаксивым и капризным ребенком воротился он в Лаврики. Наступили горькие денечки, натерпелись от него все. Иван Петрович утихал только, пока обедал; никогда он так жадно и так много не ел; всё остальное время он ни себе, никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бранил себя, бранил политику, свою систему, бранил всё, чем хвастался и кичился, всё, что ставил некогда сыну в образец; твердил, что ни во что не верит, и молился снова; не выносил ни одного мгновенья одиночества и требовал от своих домашних, чтоб они постоянно, днем и ночью, сидели возле его кресел и занимали его рассказами, которые он то и дело прерывал восклицаниями: «Вы всё врете — экая чепуха!»

Особенно доставалось Глафире Петровне; он реши-

тельно не мог обойтись без нее — и она до конца исполняла все прихоти больного, хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать душившей ее злобы. Так проскрипел он еще два года и умер в первых числах мая, вынесенный на балкон, на солнце. «Глаша, Глашка! бульонцу, бульонцу, старая дур...»,— пролепетал его коснеющий язык и, не договорив последнего слова, умолк навеки. Глафира Петровна, которая только что выхватила чашку бульону из рук дворецкого, остановилась, посмотрела брату в лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча; а тут же находившийся сын тоже ничего не сказал, оперся на перила балкона и долго глядел в сад, весь благовонный и зеленый, весь блеставший в лучах золотого весеннего солнца. Ему было двадцать три года; как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти двадцать три года!.. Жизнь открывалась перед ним.

XII

Схоронив отца и поручив той же неизменной Глафире Петровне заведывание хозяйством и надзор за приказчиками, молодой Лаврецкий отправился в Москву, куда влекло его темное, но сильное чувство. Он сознавал недостатки своего воспитания и вознамерился по возможности воротить упущенное. В последние пять лет он много прочел и кое-что увидел; много мыслей перебродило в его голове; любой профессор позавидовал бы некоторым его познаниям, но в то же время он не знал многого, что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий сознавал, что он не свободен; он втайне чувствовал себя чудаком. Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном; капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим; когда же, наконец, он разгадал его, дело уже было сделано, привычки вкоренились. Он не умел сходиться с людьми; двадцати трех лет от роду, с неукротимой жаждой любви в пристыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здравом, но несколько тяжелом, при его наклонности к упрямству, созерцанию и лени ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот, а его продержали в искусственном уединении... И вот заколдованный круг расторгся, а он продолжал стоять на одном месте, замкнутый и сжатый в самом себе.

Смешно было в его года надеть студентский мундир; но он не боялся насмешек: его спартанское воспитание хоть на то пригодилось, что развило в нем пренебрежение к чужим толкам,— и он надел, не смущаясь, студентский мундир. Он поступил в физико-математическое отделение. Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый, он производил странное впечатление на своих товарищей; они и не подозревали того, что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшем на лекции в широких деревенских санях парой, таился чуть не ребенок. Он им казался каким-то мудреным педантом, они в нем не нуждались и не искали в нем, он избегал их. В течение первых двух лет, проведенных им в университете, он сблизился только с одним студентом, у которого брал уроки в латинском языке. Студент этот, по имени Михалевич, энтузиаст и стихотворец, искренно полюбил Лаврецкого и совершенно случайно стал виновником важной перемены в его судьбе.

Однажды, в театре (Мочалов находился тогда на высоте своей славы, и Лаврецкий не пропускал ни одного представления), увидел он в ложе бельэтажа девушку,— и хотя ни одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставив дрогнуть его сердце, никогда еще оно так сильно не забилось. Облокотясь на бархат ложи, девушка не шевелилась; чуткая, молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица; изящный ум сказывался в прекрасных глазах, внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быстрой усмешке выразительных губ, в самом положении ее головы, рук, шеи; одета она была прелестно. Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном токе, с беззубою улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице, а в углублении ложи виднелся пожилой мужчина, в широком сюртуке и высоком галстуке, с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашеными усами и бакенбардами, незначительным огромным лбом и измятыми щеками, по всем признакам отставной генерал. Лаврецкий не отводил взора от поразившей его девушки; вдруг дверь ложи отворилась, и вошел Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого во всей Москве, появление его в обществе единственной девушки, поглотившей всё его вни-

мание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать на ложу, он заметил, что все находившиеся в ней лица обращались с Михалевичем, как с старинным приятелем. Представление на сцене переставало занимать Лаврецкого; сам Мочалов, хотя и был в тот вечер «в ударе», не производил на него обычного впечатления. В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно взглянул на свою красавицу: она вся наклонилась вперед, щеки ее пылали; под влиянием его упорного взора глаза ее, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на нем... Всю ночь мерещились ему эти глаза. Прорвалась, наконец, искусственно возведенная плотина; он и дрожал, и горел, и на другой же день отправился к Михалевичу. Он узнал от него, что красавицу звали Варварой Павловной Коробьиной; что старик и старуха, сидевшие с ней в ложе, были отец ее и мать и что сам он, Михалевич, познакомился с ними год тому назад, во время своего пребывания в подмосковной на «кондиции» у графа Н. С величайшей похвалой отозвался энтузиаст о Варваре Павловне. «Это, брат ты мой,— воскликнул он со свойственною ему порывистой певучестью в голосе,— эта девушка — изумительное, гениальное существо, артистка в настоящем смысле слова, и притом предобрая». Заметив из расспросов Лаврецкого, какое впечатление произвела на него Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею, прибавив, что он у них как свой; что генерал человек совсем не гордый, а мать так глупа, что только тряпки не сосет. Лаврецкий покраснел, пробормотал что-то невнятное и убежал. Целых пять дней боролся он со своею робостью; на шестой день молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение Михалевича, который, будучи своим человеком, ограничился тем, что причесал себе волосы,— и оба отправились к Коробьиным.

XIII

Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Коробьин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе, слыл в молодости ловким танцором и фрунтовиком, находился, по бедности, адъютантом при двух-трех невзрачных генералах, женился на дочери одного из них, взяв тысяч двадцать пять приданого, до тонкости постиг всю премудрость учений и смотров;

тянул, тянул лямку и, наконец, годиков через двадцать добился генеральского чина, получил полк. Тут бы ему отдохнуть и упрочить, не спеша, свое благосостояние; он на это и рассчитывал, да немножко неосторожно повел дело; он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги,— средство оказалось отличное, но он не вовремя поскупился: на него донесли; вышла более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула: ему посоветовали выйти в отставку. Года два потолкался он еще в Петербурге, в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место; но место на него не наскакивало; дочь вышла из института, расходы увеличивались с каждым днем... Скрепя сердце решился он переехать в Москву на дешевые хлеба, нанял в Старой Конюшенной крошечный низенький дом с саженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя 2750 рублей в год. Москва — город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно; грузная, но не без военной выправки, фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок, с косицами крашеных волос и засаленной анненской лентой на галстуке цвета воронова крыла, стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе; говорил мало, но, по старой привычке, в нос,— конечно, не с лицами чинов высших; осторожно играл в карты, дома ел умеренно, а в гостях за шестерых. О жене его почти сказать нечего; звали ее Каллиопой Карловной; из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Каллиопа Карловна (притом же она была немецкого происхождения) сама считала себя за чувствительную женщину; она постоянно чего-то всё боялась, словно не доела, и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Каллиопы Карловны, Варваре Павловне, только что минул семнадцатый год, когда она вышла из ...ского института, где считалась если не первою красавицей, то уж наверное первою умницей и лучшею музыкантшей и где получила шифр; ей еще девятнадцати лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз.

XIV

Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло: в генерале врожденное всем русским добродушие еще усугублялось тою особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям; генеральша как-то скоро стушевалась; что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно-ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома; притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно-покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого,— веяло неуловимой, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой, негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало,— и уже, конечно, возбуждало не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление; она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски-проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке; она, не чинясь, села за фортепьяно и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда; Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали; за столом генерал потчевал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакей на извозчике скакал к Депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь и закрыв глаза рукою, в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить; все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах, исчезли разом; вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Коробьиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято; генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него, Лаврецкого, душ; да и Варваре Павловне, которая во всё

время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души,— и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат; а Каллиопа Карловна подумала: «Meine Tochter macht eine schöne Partie» [1],— и купила себе новый ток.

XV

Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет: кто ж выходит за студента, да и что за странная мысль — помещику, богатому, в 26 лет брать уроки, как школьнику? Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданое, выбрать даже жениховы подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много уменья доставлять себе этот комфорт. Это уменье особенно поразило Лаврецкого, когда, тотчас после свадьбы, он вдвоем с женою отправился в удобной, ею купленной каретке в Лаврики. Как всё, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной! Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры, какие восхитительные туалетные ящики и кофейники, и как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам! Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений: он блаженствовал, упивался счастием; он предавался ему, как дитя... Он и был невинен, как дитя, этот юный Алкид. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены; недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений; она сдержала больше, чем сулила. Приехавши в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешною и устарелою, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу. Если бы она располагала основаться в Лавриках, она бы всё в них переделала, начиная, разумеется, с дома; но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову; она жила в нем, как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться с своим воспитанником; она очень понравилась Варваре Пав-

[1] «Моя дочь делает прекрасную партию» *(нем.)*.

ловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила; она бы ее оставила в покое, но старику Коробьину захотелось запустить руки в дела зятя: управлять имением такого близкого родственника, говорил он, не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека. Варвара Павловна повела свою атаку весьма искусно; не выдаваясь вперед, по-видимому вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный, Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо,— сказала она, и глаза ее потемнели,— я вижу, что я здесь лишняя! Знаю, кто меня отсюда гонит, с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник: не свить же и тебе гнезда нигде, скитаться тебе век. Вот тебе мой завет». В тот же день она удалилась в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Коробьин и, с приятною меланхолией во взглядах и движениях, принял управление всем имением на свои руки.

В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге (на лето они переселялись в Царское Село), в прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире; много завели они знакомств в средних и даже высших кругах общества, много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Иванычу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу; он, по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям, не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединяться,— и с тех пор всё пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению недоконченное,

воспитание, опять стал читать, приступил даже к изучению английского языка. Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой, обедал отлично (Варвара Павловна была хозяйка хоть куда), а по вечерам вступал в очарованный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми веселыми лицами,— и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго; он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу, на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья, да и здоровье ее требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза, и так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла премиленькую, в одной из тихих, но модных улиц Парижа; мужу сшила такой шлафрок, какого он еще и не нашивал; наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея; приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями; все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурили глаза; белые зубы сверкали у всех под розовыми губами,— и как они умели улыбаться! Каждый из них приводил своих друзей, и la belle madame de Lavretzki [1] скоро стала известна от Chaussée d'Antin до Rue de Lille [2]. В те времена (дело происходило в 1836 году) еще не успело развестись племя фёльетонистов и хроникеров, которое теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке; но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто m-r Jules, неблаговидной наружности господин, с скандалезной

[1] очаровательная мадам Лаврецкая *(франц.)*.
[2] от Шоссе д'Антен до улицы Лилль *(франц.)*.

репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот m-r Jules был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он пописывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то m-me de L...tzki, то m-me de ***, cette grande dame russe si distinguée, qui demeure rue de P... [1]; рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до m-me de L...tzki, как эта дама, настоящая по уму француженка (une vraie française par l'ésprit) — выше этого у французов похвал нет — мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша и как она удивительно вальсирует (Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой, улетающей одежды)... словом, пускал о ней молву по миру,— а ведь это, что ни говорите, приятно. Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рашель еще не появлялась; тем не менее Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Одри, прилично зевала во Французской комедии и плакала от игры г-жи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме; а главное, Лист у ней играл два раза и так был мил, так прост — прелесть! В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иваныч, с своей стороны, не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах,— тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в Sorbonne и Collége de France, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени,— думал он,— всё это полезно; но к будущей зиме надобно непременно вернуться в Россию и приняться за дело». Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем собственно состояло это дело, и бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию к зиме; пока он ехал с женою в Баден-Баден... Неожиданный случай разрушил все его планы.

XVI

Войдя однажды в отсутствие Варвары Павловны в ее кабинет, Лаврецкий увидал на полу маленькую, тща-

[1] эта знатная русская дама, такая изящная, которая живет на улице П... *(франц.)*.

тельно сложенную бумажку. Он машинально ее поднял, машинально развернул и прочел следующее, написанное на французском языке:

«Милый ангел Бетси! (я никак не решаюсь назвать тебя Barbe или Варвара — Varvara). Я напрасно прождал тебя на углу бульвара; приходи завтра в половине второго на нашу квартирку. Твой добрый толстяк (ton gros bonhomme de mari) об эту пору обыкновенно зарывается в свои книги; мы опять споем ту песенку вашего поэта *Пускина* (de votre poëte Pouskine), которой ты меня научила: „Старый муж, грозный муж!“ — Тысячу поцелуев твоим ручкам и ножкам. Я жду тебя.

Эрнест».

Лаврецкий не сразу понял, что такое он прочел; прочел во второй раз — и голова у него закружилась, пол заходил под ногами, как палуба корабля во время качки. Он и закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновение.

Он обезумел. Он так слепо доверял своей жене; возможность обмана, измены никогда не представлялась его мысли. Этот Эрнест, этот любовник его жены, был белокурый, смазливый мальчик лет двадцати трех, со вздернутым носиком и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный изо всех ее знакомых. Прошло несколько минут, прошло полчаса; Лаврецкий всё стоял, стискивая роковую записку в руке и бессмысленно глядя на пол; сквозь какой-то темный вихрь мерещились ему бледные лица; мучительно замирало сердце; ему казалось, что он падал, падал, падал... и конца не было. Знакомый легкий шум шелкового платья вывел его из оцепенения; Варвара Павловна, в шляпе и шали, торопливо возвращалась с прогулки. Лаврецкий затрепетал весь и бросился вон; он почувствовал, что в это мгновенье он был в состоянии истерзать ее, избить ее до полусмерти, по-мужицки, задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотела остановить его; он мог только прошептать: «Бетси» — и выбежал из дому.

Лаврецкий взял карету и велел везти себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками: он то безумствовал, то ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяб и зашел в дрянной загородный трактир, спросил комнату и сел на стул

перед окном. Судорожная зевота напала на него. Он едва держался на ногах, тело его изнемогало, а он и не чувствовал усталости,— зато усталость брала свое: он сидел, глядел и ничего не понимал; не понимал, что с ним такое случилось, отчего он очутился один, с одеревенелыми членами, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой незнакомой комнате; он не понимал, что заставило ее, Варю, отдаться этому французу, и как могла она, зная себя неверной, быть по-прежнему спокойной, по-прежнему ласковой и доверчивой с ним! «Ничего не понимаю! — шептали его засохшие губы.— Кто мне поручится теперь, что в Петербурге...» И он не доканчивал вопроса и зевал опять, дрожа и пожимаясь всем телом. Светлые и темные воспоминания одинаково его терзали; ему вдруг пришло в голову, что на днях она при нем и при Эрнесте села за фортепьяно и спела: «Старый муж, грозный муж!» Он вспомнил выражение ее лица, странный блеск глаз и краску на щеках,— и он поднялся со стула, он хотел пойти, сказать им: «Вы со мной напрасно пошутили; прадед мой мужиков за ребра вешал, а дед мой сам был мужик»,— да убить их обоих. То вдруг ему казалось, что всё, что с ним делается, сон, и даже не сон, а так, вздор какой-то; что стоит только встряхнуться, оглянуться... Он оглядывался, и, как ястреб когтит пойманную птицу, глубже и глубже врезывалась тоска в его сердце. К довершению всего, Лаврецкий через несколько месяцев надеялся быть отцом... Прошедшее, будущее, вся жизнь была отравлена. Он вернулся наконец в Париж, остановился в гостинице и послал Варваре Павловне записку г-на Эрнеста с следующим письмом:

«Прилагаемая бумажка вам объяснит всё. Кстати скажу вам, что я не узнал вас: вы, такая всегда аккуратная, роняете такие важные бумаги. (Эту фразу бедный Лаврецкий готовил и лелеял в течение нескольких часов.) Я не могу больше вас видеть; полагаю, что и вы не должны желать свидания со мною. Назначаю вам 15 000 франков в год; больше дать не могу. Присылайте ваш адрес в деревенскую контору. Делайте что хотите; живите где хотите. Желаю вам счастия. Ответа не нужно».

Лаврецкий написал жене, что не нуждается в ответе... но он ждал, он жаждал ответа, объяснения этого непонятного, непостижимого дела. Варвара Павловна в тот же день прислала ему большое французское письмо. Оно его доконало; последние его сомнения исчезли -- и

ему стало стыдно, что у него оставались еще сомнения. Варвара Павловна не оправдывалась: она желала только увидать его, умоляла не осуждать ее безвозвратно. Письмо было холодно и напряженно, хотя кой-где виднелись пятна слез. Лаврецкий усмехнулся горько и велел сказать через посланного, что всё очень хорошо. Три дня спустя его уже не было в Париже: но он поехал не в Россию, а в Италию. Он сам не знал, почему он выбрал именно Италию; ему, в сущности, было всё равно, куда ни ехать — лишь бы не домой. Он послал предписание своему бурмистру насчет жениной пенсии, приказывая ему в то же время немедленно принять от генерала Коробьина все дела по имению, не дожидаясь сдачи счетов, и распорядиться о выезде его превосходительства из Лавриков; живо представил он себе смущение, тщетную величавость изгоняемого генерала и, при всем своем горе, почувствовал некоторое злобное удовольствие. Тогда же попросил он в письме Глафиру Петровну вернуться в Лаврики и отправил на ее имя доверенность; Глафира Петровна в Лаврики не вернулась и сама припечатала в газетах об уничтожении доверенности, что было совершенно излишне. Скрываясь в небольшом италианском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женою. Из газет он узнал, что она из Парижа поехала, как располагала, в Баден-Баден; имя ее скоро появилось в статейке, подписанной тем же мусье Жюлем. В этой статейке сквозь обычную игривость проступало какое-то дружественное соболезнование; очень гадко сделалось на душе Федора Иваныча при чтении этой статейки. Потом он узнал, что у него родилась дочь; месяца через два получил он от бурмистра извещение о том, что Варвара Павловна вытребовала себе первую треть своего жалованья. Потом стали ходить всё более и более дурные слухи; наконец с шумом пронеслась по всем журналам трагикомическая история, в которой жена его играла незавидную роль. Всё было кончено: Варвара Павловна стала «известностью».

Лаврецкий перестал следить за нею, но не скоро мог с собою сладить. Иногда такая брала его тоска по жене, что он, казалось, всё бы отдал, даже, пожалуй... простил бы ее, лишь бы услышать снова ее ласковый голос, почувствовать снова ее руку в своей руке. Однако время шло недаром. Он не был рожден страдальцем; его здоро-

вая природа вступила в свои права. Многое стало ему ясно; самый удар, поразивший его, не казался ему более непредвиденным; он понял свою жену,— близкого человека только тогда и поймешь вполне, когда с ним расстанешься. Он опять мог заниматься, работать, хотя уже далеко не с прежним рвением: скептицизм, подготовленный опытами жизни, воспитанием, окончательно забрался в его душу. Он стал очень равнодушен ко всему. Прошло года четыре, и он почувствовал себя в силах возвратиться на родину, встретиться с своими. Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, прибыл он в город О..., где мы расстались с ним и куда мы просим теперь благосклонного читателя вернуться вместе с нами.

XVII

На другое утро, после описанного нами дня, часу в десятом, Лаврецкий всходил на крыльцо калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и в перчатках.

— Куда вы? — спросил он ее.

— К обедне. Сегодня воскресенье.

— А разве вы ходите к обедне?

Лиза молча, с изумлением посмотрела на него.

— Извините, пожалуйста,— проговорил Лаврецкий,— я... я не то хотел сказать, я пришел проститься с вами, я через час еду в деревню.

— Ведь это отсюда недалеко? — спросила Лиза.

— Верст двадцать пять.

На пороге двери появилась Леночка в сопровождении горничной.

— Смотрите, не забывайте нас,— промолвила Лиза и спустилась с крыльца.

— И вы не забывайте меня. Да послушайте,— прибавил он,— вы идете в церковь: помолитесь кстати и за меня.

Лиза остановилась и обернулась к нему.

— Извольте,— сказала она, прямо глядя ему в лицо,— я помолюсь и за вас. Пойдем, Леночка.

В гостиной Лаврецкий застал Марью Дмитриевну одну. От нее пахло одеколоном и мятой. У ней, по ее словам, болела голова, и ночь она провела беспокойно. Она приняла его с обычною своею томной любезностью и понемногу разговорилась.

— Не правда ли,— спросила она его,— какой Владимир Николаич приятный молодой человек!

— Какой это Владимир Николаич?

— Да Паншин, вот что вчера здесь был. Вы ему ужасно понравились; я вам скажу по секрету, mon cher cousin [1], он просто без ума от моей Лизы. Что ж? Он хорошей фамилии, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер, и если на то будет воля божия... я, с своей стороны, как мать, очень буду рада. Ответственность, конечно, большая; конечно, от родителей зависит счастие детей, да ведь и то сказать: до сих пор худо ли, хорошо ли, а ведь всё я, везде я одна, как есть: и воспитала-то детей, и учила их, всё я... я вот и теперь мамзель от госпожи Болюс выписала...

Марья Дмитриевна пустилась в описание своих забот, стараний, своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее молча и вертел в руках шляпу. Его холодный, тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся барыню.

— А Лиза как вам нравится? — спросила она.

— Лизавета Михайловна прекраснейшая девица,— возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне. Марья Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала: «Экой тюлень, мужик! Ну, теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной».

Марфа Тимофеевна сидела у себя в комнате, окруженная своим штатом. Он состоял из пяти существ, почти одинаково близких ее сердцу: из толстозобого ученого снегиря, которого она полюбила за то, что он перестал свистать и таскать воду, маленькой, очень пугливой и смирной собачонки Роски, сердитого кота Матроса, черномазой вертлявой девочки лет девяти, с огромными глазами и вострым носиком, которую звали Шурочкой, и пожилой женщины лет пятидесяти пяти, в белом чепце и коричневой кургузой кацавейке на темном платье, по имени Настасьи Карповны Огарковой. Шурочка была мещаночка, круглая сирота. Марфа Тимофеевна взяла ее к себе из жалости, как и Роску: и собачонку и девочку она нашла на улице; обе были худы и голодны, обеих мочил осенний дождь; за Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно уступил Марфе Тимофеевне ее дядя, пьяный башмачник, который

---

[1] мой дорогой кузен *(франц.)*.

сам недоедал и племянницу не кормил, а колотил по голове колодкой. С Настасьей Карповной Марфа Тимофеевна свела знакомство на богомолье, в монастыре; сама подошла к ней в церкви (она понравилась Марфе Тимофеевне за то, что, по ее словам, очень вкусно молилась), сама с ней заговорила и пригласила ее к себе на чашку чаю. С того дня она уже не расставалась с ней. Настасья Карповна была женщина самого веселого и кроткого нрава, вдова, бездетная, из бедных дворянок; голову имела круглую, седую, мягкие белые руки, мягкое лицо с крупными, добрыми чертами и несколько смешным, вздернутым носом; она благоговела перед Марфой Тимофеевной, и та ее очень любила, хотя подтрунивала над ее нежным сердцем: она чувствовала слабость ко всем молодым людям и невольно краснела, как девочка, от самой невинной шутки. Весь ее капиталец состоял из тысячи двухсот рублей ассигнациями; она жила на счет Марфы Тимофеевны, но на ровной с ней ноге; Марфа Тимофеевна не вынесла бы подобострастья.

— А! Федя! — начала она, как только увидала его.— Вчера вечером ты не видел моей семьи: полюбуйся. Мы все к чаю собрались; это у нас второй, праздничный чай. Всех поласкать можешь; только Шурочка не дастся, а кот оцарапает. Ты сегодня едешь?

— Сегодня.— Лаврецкий присел на низкое стульце.— Я уже с Марьей Дмитриевной простился. Я и Лизавету Михайловну видел.

— Зови ее Лизой, отец мой, что за Михайловна она для тебя? Да сиди смирно, а то ты Шурочкин стул сломаешь.

— Она к обедне шла,— продолжал Лаврецкий.— Разве она богомольна?

— Да, Федя, очень. Больше нас с тобою, Федя.

— А вы разве не богомольны? — заметила, пришепетывая, Настасья Карповна.— И сегодня к ранней обедне не пошли, а к поздней пойдете.

— Ан нет,— ты одна пойдешь: обленилась я, мать моя,— возразила Марфа Тимофеевна,— чаем уж очень себя балую.— Она говорила Настасье Карповне «ты», хотя и жила с ней на ровной ноге — недаром же она была Пестова: трое Пестовых значатся в синодике Ивана Васильевича Грозного; Марфа Тимофеевна это знала.

— Скажите, пожалуйста,— начал опять Лаврецкий,—

мне Марья Дмитриевна сейчас говорила об этом... как, бишь, его?.. Паншине. Что это за господин?

— Экая она болтушка, прости господи! — проворчала Марфа Тимофеевна,— чай, под секретом тебе сообщила, что вот, мол, какой навертывается жених. Шушукала бы с своим поповичем; нет, видно, ей мало. И ведь нет еще ничего, да и слава богу! а она уже болтает.

— Почему же слава богу? — спросил Лаврецкий.

— А потому, что молодец мне не нравится; да и чему тут радоваться?

— Не нравится он вам?

— Да, не всех же ему пленять. Будет с него и того, что вот Настасья Карповна в него влюблена.

Бедная вдова вся всполошилась.

— Что вы это, Марфа Тимофеевна, бога вы не боитесь! — воскликнула она, и румянец мгновенно разлился у ней по лицу и по шее.

— И ведь знает, плут,— перебила ее Марфа Тимофеевна,— знает, чем ее прельстить: табакерку ей подарил. Федя, попроси у ней табачку понюхать; ты увидишь, табакерка какая славная: на крышке гусар на коне представлен. Уж ты лучше, мать моя, не оправдывайся.

Настасья Карповна только руками отмахивалась.

— Ну, а Лиза,— спросил Лаврецкий,— к нему неравнодушна?

— Кажется, он ей нравится, а впрочем, господь ее ведает! Чужая душа, ты знаешь, темный лес, а девичья и подавно. Вот и Шурочкину душу — поди разбери! Зачем она прячется, а не уходит, с тех пор как ты пришел?

Шурочка фыркнула подавленным смехом и выскочила вон, а Лаврецкий поднялся с своего места.

— Да,— промолвил он с расстановкой,— девичью душу не разгадаешь.

Он стал прощаться.

— Что ж? Скоро мы тебя увидим? — спросила Марфа Тимофеевна.

— Как придется, тетушка: тут ведь недалеко.

— Да, ведь ты в Васильевское едешь. Ты не хочешь жить в Лавриках — ну, это твое дело; только съезди ты, поклонись гробу матери твоей, да и бабкину гробу кстати. Ты там, за границей, всякого ума набрался, а кто знает, может быть, они и почувствуют в своих могилках, что ты к ним пришел. Да не забудь, Федя, по

Глафире Петровне тоже панафиду отслужить; вот тебе и целковый. Возьми, возьми, это *я* по ней хочу отслужить панафиду. Я ее при жизни не любила, а нечего сказать, с характером была девка. Умница была; ну и тебя не обидела. А теперь ступай с богом, а то я тебе надоем.

И Марфа Тимофеевна обняла своего племянника.

— А Лизе за Паншиным не быть, не беспокойся; не такого мужа она стоит.

— Да я нисколько и не беспокоюсь,— отвечал Лаврецкий и удалился.

XVIII

Часа четыре спустя он ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса; от него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расползались по бледно-голубому небу; довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной; он глядел... и эта свежая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы — вся эта, давно им невиданная, русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением. Мысли его медленно бродили; очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших, тучек. Вспомнил он свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней и как она, прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на Глафиру Петровну — и умолкла. Вспомнил он отца, сперва бодрого, всем недовольного, с медным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой; вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рюмку вина и залив себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и

начал, мигая ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы; вспомнил Варвару Павловну — и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой. Потом мысль его остановилась на Лизе.

«Вот,— подумал он,— новое существо только что вступает в жизнь. Славная девушка, что-то из нее выйдет? Она и собой хороша. Бледное, свежее лицо, глаза и губы такие серьезные, и взгляд честный и невинный. Жаль, она, кажется, восторженна немножко. Рост славный, и так легко ходит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушает со вниманием, без улыбки, потом задумается и откинет назад свои волосы. Точно, мне самому сдается, Паншин ее не стоит. Однако чем же он дурен? А впрочем, чего я размечтался? Побежит и она по той же дорожке, по какой все бегают. Лучше я сосну». И Лаврецкий закрыл глаза.

Заснуть он не мог, но погрузился в дремотное дорожное онемение. Образы прошедшего по-прежнему, не спеша, поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий, бог знает почему, стал думать о Роберте Пиле... о французской истории... о том, как бы он выиграл сражение, если б он был генералом; ему чудились выстрелы и крики... Голова его скользила набок, он открывал глаза... Те же поля, те же степные виды; стертые подковы пристяжных попеременно сверкают сквозь волнистую пыль; рубаха ямщика, желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра... «Хорош возвращаюсь я на родину»,— промелькнуло у Лаврецкого в голове, и он закричал: «Пошел!» — запахнулся в шинель и плотнее прижался к подушке. Тарантас толкнуло: Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза. Перед ним на пригорке тянулась небольшая деревенька; немного вправо виднелся ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком; по широкому двору, от самых ворот, росла крапива, зеленая и густая, как конопля; тут же стоял дубовый, еще крепкий амбарчик. Это было Васильевское.

Ямщик повернул к воротам, остановил лошадей; лакей Лаврецкого приподнялся на козлах и, как бы готовясь соскочить, закричал: «Гей!». Раздался сиплый, глухой лай, но даже собаки не показалось; лакей снова приготовился соскочить и снова закричал: «Гей!». Повторился дряхлый лай, и, спустя мгновенье, на двор,

неизвестно откуда, выбежал человек в нанковом кафтане, с белой как снег головой; он посмотрел, защищая глаза от солнца, на тарантас, ударил себя вдруг обеими руками по ляжкам, сперва немного заметался на месте, потом бросился отворять ворота. Тарантас въехал на двор, шурша колесами по крапиве, и остановился перед крыльцом. Белоголовый человек, весьма, по-видимому, юркий, уже стоял, широко и криво расставив ноги, на последней ступеньке, отстегнул передок, судорожно дернув кверху кожу, и, помогая барину спуститься на землю, поцеловал у него руку.

— Здравствуй, здравствуй, брат,— проговорил Лаврецкий,— тебя, кажется, Антоном зовут? Ты жив еще?

Старик молча поклонился и побежал за ключами. Пока он бегал, ямщик сидел неподвижно, сбочась и поглядывая на запертую дверь; а лакей Лаврецкого как спрыгнул, так и остался в живописной позе, закинув одну руку на козлы. Старик принес ключи и, без всякой нужды изгибаясь, как змея, высоко поднимая локти, отпер дверь, посторонился и опять поклонился в пояс.

«Вот я и дома, вот я и вернулся»,— подумал Лаврецкий, входя в крошечную переднюю, между тем как ставни со стуком и визгом отворялись один за другим и дневной свет проникал в опустелые покои.

XIX

Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий и где два года тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии, из прочного соснового леса; он на вид казался ветхим, но мог простоять еще лет пятьдесят или более. Лаврецкий обошел все комнаты и, к великому беспокойству старых, вялых мух с белой пылью на спине, неподвижно сидевших под притолоками, велел всюду открыть окна: с самой смерти Глафиры Петровны никто не отпирал их. Всё в доме осталось, как было: тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глянцевитым серым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатерининские времена; в гостиной же стояло любимое кресло хозяйки, с высокой и прямой спинкой, к которой она и в старости не прислонялась. На главной стене висел старинный портрет Федорова прадеда, Андрея Лаврецкого; темное, желчное лицо едва отделялось от почерневшего и покоробленного фона; небольшие злые глаза угрюмо глядели из-под нависших,

словно опухших век; черные волосы без пудры щеткой вздымались над тяжелым, изрытым лбом. На угле портрета висел венок из запыленных иммортелей. «Сами Глафира Петровна изволили плести»,— доложил Антон. В спальне возвышалась узкая кровать, под пологом из стародавней, весьма добротной полосатой материи; горка полинялых подушек и стеганое жидкое одеяльце лежали на кровати, а у изголовья висел образ «Введение во храм пресвятой богородицы»,— тот самый образ, к которому старая девица, умирая одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже хладеющими губами. Туалетный столик из штучного дерева, с медными бляхами и кривым зеркальцем, с почернелой позолотой, стоял у окна. Рядом с спальней находилась образная, маленькая комнатка, с голыми стенами и тяжелым киотом в угле́; на полу лежал истертый, закапанный воском коверчик; Глафира Петровна клала на нем земные поклоны. Антон отправился с лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай; на место его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платком по самые брови; голова ее тряслась и глаза глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно, и в то же время — какое-то почтительное сожаление. Она подошла к ручке Лаврецкого и остановилась у двери в ожидании приказаний. Он решительно не помнил, как ее звали, не помнил даже, видел ли ее когда-нибудь; оказалось, что ее звали Апраксеей; лет сорок тому назад та же Глафира Петровна сослала ее с барского двора и велела ей быть птичницей; впрочем, она говорила мало, словно из ума выжила, а глядела подобострастно. Кроме этих двух стариков да трех пузатых ребятишек в длинных рубашонках, Антоновых правнуков, жил еще на барском дворе однорукий бестягольный мужичонка; он бормотал, как тетерев, и не был способен ни на что; не многим полезнее его была дряхлая собака, приветствовавшая лаем возвращение Лаврецкого: она уже лет десять сидела на тяжелой цепи, купленной по распоряжению Глафиры Петровны, и едва-едва была в состоянии двигаться и влачить свою ношу. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной; но в нем было много тени, много старых лип, которые поражали своею громадностью и странным расположением сучьев; они были слишком тесно посажены и когда-то — лет сто тому

назад — стрижены. Сад оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника. Следы человеческой жизни глохнут очень скоро: усадьба Глафиры Петровны не успела одичать, но уже казалась погруженной в ту тихую дрему, которой дремлет всё на земле, где только нет людской, беспокойной заразы. Федор Иваныч прошелся также по деревне; бабы глядели на него с порогу своих изб, подпирая щеку рукою; мужики издали кланялись, дети бежали прочь, собаки равнодушно лаяли. Ему наконец захотелось есть; но он ожидал свою прислугу и повара только к вечеру; обоз с провизией из Лавриков еще не прибывал,— пришлось обратиться к Антону. Антон сейчас распорядился: поймал, зарезал и ощипал старую курицу; Апраксея долго терла и мыла ее, стирая ее, как белье, прежде чем положила ее в кастрюлю; когда она, наконец, сварилась, Антон накрыл и убрал стол, поставил перед прибором почерневшую солонку аплике о трех ножках и граненый графинчик с круглой стеклянной пробкой и узким горлышком; потом доложил Лаврецкому певучим голосом, что кушанье готово,— и сам стал за его стулом, обвернув правый кулак салфеткой и распространяя какой-то крепкий, древний запах, подобный запаху кипарисового дерева. Лаврецкий отведал супу и достал курицу; кожа ее была вся покрыта крупными пупырушками; толстая жила шла по каждой ноге, мясо отзывалось древесиной и щелоком. Пообедав, Лаврецкий сказал, что он выпил бы чаю, если... «Сею минуту-с подам-с»,— перебил его старик — и сдержал свое обещание. Сыскалась щепотка чаю, завернутая в клочок красной бумажки; сыскался небольшой, но прерьяный и шумливый самоварчик, сыскался и сахар в очень маленьких, словно обтаявших кусках. Лаврецкий напился чаю из большой чашки; он еще с детства помнил эту чашку: игорные карты были изображены на ней, из нее пили только гости,— и он пил из нее, словно гость. К вечеру прибыла прислуга; Лаврецкому не захотелось лечь в теткиной кровати; он велел постлать себе постель в столовой. Погасив свечку, он долго глядел вокруг себя и думал невеселую думу; он испытывал чувство, знакомое каждому человеку, которому приходится в первый раз ночевать в давно необитаемом месте; ему казалось, что обступившая его со всех сторон темнота не могла привыкнуть к новому жильцу, что самые стены дома недоумевают. Наконец он вздохнул, натянул на себя одеяло и заснул.

Антон дольше всех остался на ногах; он долго шептался с Апраксеей, охал вполголоса, раза два перекрестился; они оба не ожидали, чтобы барин поселился у них в Васильевском, когда у него под боком было такое славное именье с отлично устроенной усадьбой; они и не подозревали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому; она возбуждала в нем тягостные воспоминания. Нашептавшись вдоволь, Антон взял палку, поколотил по висячей, давно безмолвной доске у амбара и тут же прикорнул на дворе, ничем не прикрыв свою белую голову. Майская ночь была тиха и ласкова,— и сладко спалось старику.

XX

На другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковал со старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры,— и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки»,— сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к теченью тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голоском; комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар всё пищит; сквозь дружное, назойливо жалобное жужжанье мух раздается гуденье толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок; петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту, простучала телега, на деревне скрыпят ворота. «Чего?» — задребезжал вдруг бабий голос. «Ох ты, мой сударик»,— говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчит на руках. «Квас неси»,— повторяет тот же бабий голос,— и вдруг находит тишина мертвая; ничто не стукнет, не шелохнется; ветер листком не шевельнет; ласточки несутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного налета. «Вот когда я на дне реки,— думает опять Лаврецкий.— И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, — думает он,— кто входит в ее круг — покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши! Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой

травы; над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри; а там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. На женскую любовь ушли мои лучшие года,— продолжает думать Лаврецкий,— пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело». И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая — и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то; тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем; кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег, и — странное дело! — никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины.

XXI

В течение двух недель Федор Иваныч привел домик Глафиры Петровны в порядок, расчистил двор, сад; из Лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы; на конюшне появились лошади; словом, Федор Иваныч обзавелся всем нужным и начал жить — не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно; но он не скучал, хотя никого не видел; он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало: ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чаю к окну; Антон становился у двери, заложив назад руки, и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках, по две и по три копейки за мешок; когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. «А теперь,— жаловался старик, которому уже стукнуло лет за восемьдесят,— так всё вырубили да распахали, что проехать негде». Также рассказывал Антон много о своей

госпоже, Глафире Петровне: какие они были рассудительные и бережливые; как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец, с лентами цвету масскá и желтое платье из трю-трю-левантина; но как потом, разгневавшись на господина соседа за неприличный вопрос: «Что, мол, должóн быть у вас, сударыня, капитал?» — приказали ему от дому отказать, и как они тогда же приказали, чтоб всё после их кончины, до самомалейшей тряпицы, было представлено Федору Ивановичу. И точно, Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массакá и желтого платья из трю-трю-левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его, Петр Андреич, вписывал то «Празднование в городе Санкт-Петербурге замирения, заключенного с Турецкой империей его сиятельством князем Александр Александровичем Прозоровским»; то рецепт грудного *декохта* с примечанием: «Сие наставление дано генеральше Прасковье Федоровне Салтыковой от протопресвитера церкви Живоначальныя троицы Феодора Авксентьевича»; то политическую новость следующего рода: «О тиграх французах что-то замолкло», — и тут же рядом: «В Московских ведомостях показано, что скончался господин премиер-маиор Михаил Петрович Колычев. Не Петра ли Васильевича Колычева сын?» Лаврецкий нашел также несколько старых календарей и сонников и таинственное сочинение г. Амбодика; много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые «Символы и эмблемы». В туалетном столике Глафиры Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете лежали лицом к лицу пастелевый портрет его отца в молодости, с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти стертый портрет бледной женщины в белом платье, с белым розаном в руке, — его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я, батюшка Федор Иваныч, — говаривал Лаврецкому Антон, — хоша и в господских хоромах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку, Андрея Афанасьевича, помню, как же: мне, когда они скончались, восьм-

надцатый годочек пошел. Раз я им в саду встрелся,— так даже поджилки затряслись; однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить — и старшого над собой не знал. Потому была, доложу вам, у вашего прадедушки чудная така ладанка; с Афонской горы им монах ту ладанку подарил. И сказал он ему этта монах-то: «За твое, боярин, радушие сие тебе дарю; носи — и суда не бойся». Ну, да ведь тогда, батюшка, известно, какие были времена: что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ вздумает им перечить, так они только посмотрят на него да скажут: «Мелко плаваешь»,— самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженныя памяти прадедушка, в хоромах деревянных малых; а что добра после себя оставил, серебра что, всяких запасов, все подвалы битком набиты были. Хозяин был. Тот-то графинчик, что вы похвалить изволили, их был: из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Петр Андреич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил; всё у них пошло *хинею*; и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили,— а денежки все порешил, и помянуть его нечем, ложки серебряной от них не осталось, и то еще спасибо, Глафира Петровна порадела».

— А правда ли,— перебивал его Лаврецкий,— ее старой колотовкой звали?

— Да ведь кто звал! — возражал с неудовольствием Антон.

— А что, батюшка,— решился спросить однажды старик,— что наша барынька, где изволит свое пребывание иметь?

— Я развелся с женою,— проговорил с усилием Лаврецкий,— пожалуйста, не спрашивай о ней.

— Слушаю-с,— печально возразил старик.

По прошествии трех недель Лаврецкий поехал верхом в О... к Калитиным и провел у них вечер. Лемм был у них; он очень понравился Лаврецкому. Хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку, музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было. Губернатор услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо; Лемм оживился, расходился, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать; по ее словам,

Бетговен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лемма на квартиру и просидел у него до трех часов утра. Лемм много говорил; сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали; самые волосы приподнялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участья, а Лаврецкий, видимо, интересовался им, заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло; он кончил тем, что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим целую положенную им на музыку балладу Шиллера «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько дней. Лемм, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку; но, оставшись один на свежем и сыром воздухе, при только что занимавшейся заре, оглянулся, прищурился, съежился и, как виноватый, побрел в свою комнатку. «Ich bin wohl nicht klug» (я не в своем уме),— пробормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда, несколько дней спустя, Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иваныч вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лемма то обстоятельство, что Лаврецкий собственно для него велел привезти к себе в деревню фортепьяно из города. Они вдвоем отправились к Калитиным и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там, много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков; Лаврецкий смеялся, но Лемм не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился весь, как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться; но тихий, теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы, березовых почек, мирное сиянье безлунного звездного неба, дружный топот и фырканье лошадей — все обаяния дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам первый заговорил с Лаврецким.

XXII

Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинение

и, полушутя, предложил ему написать для него либретто.

— Гм, либретто! — возразил Лемм,— нет, это не по мне: у меня уже нет той живости, той игры воображения, которая необходима для оперы; я уже теперь лишился сил моих... Но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом; конечно, я желал бы хороших слов...

Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо.

— Например,— проговорил он наконец,— что-нибудь в таком роде: вы, звезды, о вы, чистые звезды!..

Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него.

— Вы, звезды, чистые звезды,— повторил Лемм...— вы взираете одинаково на правых и на виновных... но одни невинные сердцем,— или что-нибудь в этом роде... вас понимают, то есть нет,— вас любят. Впрочем, я не поэт, куда мне! Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое.

Лемм отодвинул шляпу на затылок; в тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе.

— И вы тоже,— продолжал он постепенно утихавшим голосом,— вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы, чистые, вы одни можете утешить... Нет, это всё не то! Я не поэт,— промолвил он,— но что-нибудь в этом роде...

— Мне жаль, что и я не поэт,— заметил Лаврецкий.

— Пустые мечтанья! — возразил Лемм и углубился в угол коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть.

Прошло несколько мгновений... Лаврецкий прислушался... «Звезды, чистые звезды, любовь»,— шептал старик.

«Любовь»,— повторил про себя Лаврецкий, задумался — и тяжело стало у него на душе.

— Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорыч,— промолвил он громко,— а как вы полагаете, этот Фридолин, после того как граф привел его к жене, ведь он тут-то и сделался ее любовником, а?

— Это вы так думаете,— возразил Лемм,— потому что, вероятно, опыт...— Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу.

Звезды уже начинали бледнеть и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату, вернулся в кабинет и сел перед окном. В саду пел соловей свою последнюю, передрассветную песнь. Лаврецкий вспомнил, что и у Калитиных в саду пел соловей; он вспомнил также тихое движение Лизиных глаз, когда, при первых его звуках, они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, и сердце в нем утихло. «Чистая девушка,— проговорил он вполголоса,— чистые звезды»,— прибавил он с улыбкой и спокойно лег спать.

А Лемм долго сидел на своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывалая, сладкая мелодия собиралась посетить его: он уже горел и волновался, он чувствовал уже истому и сладость ее приближения... но он не дождался ее...

— Не поэт и не музыкант! — прошептал он наконец...

И усталая голова его тяжело опустилась на подушку.

XXIII

На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под старой липой.

— Маэстро! — сказал, между прочим, Лаврецкий,— вам придется скоро сочинять торжественную кантату.

— По какому случаю?

— А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. Заметили ли вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже всё идет на лад.

— Этого не будет! — воскликнул Лемм.

— Почему?

— Потому что это невозможно. Впрочем,— прибавил он погодя немного,— на свете всё возможно. Особенно здесь у вас, в России.

— Россию мы оставим пока в стороне; но что же дурного находите вы в этом браке?

— Всё дурно, всё. Лизавета Михайловна девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами, а он... он ди-ле-тант, одним словом.

— Да ведь она его любит?

Лемм встал со скамейки.

— Нет, она его не любит, то есть она очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит: любить. Мадам фон-Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек, а она слушается мадам фон-Калитин, потому что она

еще совсем дитя, хоть ей и девятнадцать лет: молится утром, молится вечером,— и это очень похвально; но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна.

Лемм произнес всю эту речь связно и с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле.

— Дражайший маэстро! — воскликнул вдруг Лаврецкий,— мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину.

Лемм вдруг остановился.

— Пожалуйста,— начал он неверным голосом,— не шутите так надо мною. Я не безумец: я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность.

Лаврецкому стало жаль старика; он попросил у него прощения. Лемм после чая сыграл ему свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством.

— Как вы думаете, Христофор Федорыч,— сказал он наконец,— ведь у нас теперь, кажется, всё в порядке, сад в полном цвету... Не пригласить ли ее сюда на день вместе с ее матерью и моей старушкой-теткой, а? Вам это будет приятно?

Лемм наклонил голову над тарелкой.

— Пригласите,— проговорил он чуть слышно.

— А Паншина не надобно?

— Не надобно,— возразил старик с почти детской улыбкой.

Два дня спустя Федор Иваныч отправился в город к Калитиным.

XXIV

Он застал всех дома, но он не тотчас объявил им о своем намерении; он хотел сперва переговорить наедине с Лизой. Случай помог ему: их оставили вдвоем в гостиной. Они разговорились; она успела уже привыкнуть к нему,— да она и вообще никого не дичилась. Он слушал ее, глядел ей в лицо и мысленно твердил слова Лемма, соглашался с ним. Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг другу человека внезапно и быстро сближаются в течение нескольких мгновений — и сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это случилось с Лаврецким и Лизой.

«Вот он какой»,— подумала она, ласково глядя на него; «вот ты какая»,— подумал и он. А потому он не очень удивился, когда она, не без маленькой, однако, запинки, объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить.

— Не бойтесь, говорите,— промолвил он и остановился перед ней.

Лиза подняла на него свои ясные глаза.

— Вы такие добрые,— начала она и в то же время подумала: «Да, он точно добрый...» — Вы извините меня, я бы не должна сметь говорить об этом с вами... но как могли вы... отчего вы расстались с вашей женой?

Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней.

— Дитя мое,— заговорил он,— не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране; руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно.

— Я знаю,— продолжала Лиза, как будто не расслушав его,— она перед вами виновата, я не хочу ее оправдывать; но как же можно разлучать то, что бог соединил?

— Наши убеждения на этот счет слишком различны, Лизавета Михайловна,— произнес Лаврецкий довольно резко,— мы не поймем друг друга.

Лиза побледнела; всё тело ее слегка затрепетало, но она не замолчала.

— Вы должны простить,— промолвила она тихо,— если хотите, чтобы и вас простили.

— Простить! — подхватил Лаврецкий.— Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите. Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом, ее, это пустое, бессердечное существо! И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением... Да что тут толковать! Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты, вы не в состоянии даже понять такое существо.

— Зачем оскорблять! — с усилием проговорила Лиза. Дрожь ее рук становилась видимой.— Вы сами ее оставили, Федор Иваныч.

— Но я же вам говорю,— возразил с невольным взрывом нетерпенья Лаврецкий,— вы не знаете, какое это создание!

— Так зачем же вы женились на ней? — прошептала Лиза и потупила глаза.

Лаврецкий быстро поднялся со стула.

— Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен; я обманулся, я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин, я ничего не знал. Дай вам бог заключить более счастливый брак! но поверьте, наперед ни за что нельзя ручаться.

— И я могу так же быть несчастной,— промолвила Лиза (голос ее начинал прерываться),— но тогда надо будет покориться; я не умею говорить, но если мы не будем покоряться...

Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой.

— Не сердитесь, простите меня,— торопливо произнесла Лиза.

В это мгновенье вошла Марья Дмитриевна. Лиза встала и хотела удалиться.

— Постойте,— неожиданно крикнул ей вслед Лаврецкий.— У меня есть до вашей матушки и до вас великая просьба: посетите меня на моем новоселье. Вы знаете, я завел фортепьяно; Лемм гостит у меня; сирень теперь цветет; вы подышите деревенским воздухом и можете вернуться в тот же день,— согласны вы?

Лиза взглянула на мать, а Марья Дмитриевна приняла болезненный вид; но Лаврецкий не дал ей разинуть рта и тут же поцеловал у ней обе руки. Марья Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от «тюленя», умилилась душою и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкий подошел к Лизе и, всё еще взволнованный, украдкой шепнул ей: «Спасибо, вы добрая девушка; я виноват...» И ее бледное лицо заалелось веселой и стыдливой улыбкой; глаза ее тоже улыбнулись,— она до того мгновенья боялась, не оскорбила ли она его.

— Владимир Николаич с нами может ехать? — спросила Марья Дмитриевна.

— Конечно,— возразил Лаврецкий,— но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке?

— Да ведь, кажется...— начала было Марья Дмитриевна...— впрочем, как хотите,— прибавила она.

Решено было взять Леночку и Шурочку. Марфа Тимофеевна отказалась от поездки.

— Тяжело мне, свет,— сказала она,— кости старые ломать; и ночевать у тебя, чай, негде; да мне и не спится в чужой постели. Пусть эта молодежь скачет.

Лаврецкому уже не удалось более побывать наедине с Лизой; но он так глядел на нее, что ей и хорошо стано-

вилось, и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку; она задумалась, оставшись одна.

XXV

Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке, с морщинистым, но оживленным лицом, с растрепанными седыми бакенбардами, длинным прямым носом и небольшими воспаленными глазками. Это был Михалевич, бывший его товарищ по университету. Лаврецкий сперва не узнал его, но горячо его обнял, как только тот назвал себя. Они не виделись с Москвы. Посыпались восклицания, расспросы; выступили на свет божий давно заглохшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения; в них не было ничего очень веселого, удачей в предприятиях своих он похвастаться не мог,— а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом. Месяц тому назад получил он место в частной конторе богатого откупщика, верст за триста от города О..., и, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы повидаться с старым приятелем. Михалевич говорил так же порывисто, как и в молодости, шумел и кипел по-прежнему. Лаврецкий упомянул было о своих обстоятельствах, но Михалевич перебил его, поспешно пробормотав: «Слышал, брат, слышал,— кто это мог ожидать?» — и тотчас перевел разговор в область общих рассуждений.

— Я, брат,— промолвил он,— завтра должен ехать; сегодня мы, уж ты извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что́ ты, какие твои мнения, убежденья, чем ты стал, чему жизнь тебя научила? (Михалевич придерживался еще фразеологии тридцатых годов.) Что касается до меня, я во многом изменился, брат: волны жизни упали на мою грудь,— кто, бишь, это сказал? — хотя в важном, существенном я не изменился; я по-прежнему верю в добро, в истину; но я не только верю,— я верую теперь, да — я верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи; в них поэзии нет, но есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пиесу: в ней я выразил самые задушевные мои убеждения. Слушай.

Михалевич принялся читать свое стихотворение; оно

было довольно длинно и оканчивалось следующими стихами:

Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как ребенок душою я стал:
И я сжег всё, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

Произнося последние два стиха, Михалевич чуть не заплакал; легкие судороги — признак сильного чувства — пробежали по его широким губам, некрасивое лицо его просветлело. Лаврецкий слушал его, слушал... дух противоречия зашевелился в нем: его раздражала всегда готовая, постоянно кипучая восторженность московского студента. Четверти часа не прошло, как уже загорелся между ними спор, один из тех нескончаемых споров, на который способны только русские люди. С оника, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметах самых отвлеченных — и спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих: голосили и вопили так, что все люди всполошились в доме, а бедный Лемм, который с самого приезда Михалевича заперся у себя в комнате, почувствовал недоуменье и начал даже чего-то смутно бояться.

— Что же ты после этого? разочарованный? — кричал Михалевич в первом часу ночи.

— Разве разочарованные такие бывают? — возражал Лаврецкий,— те все бывают бледные и больные — а хочешь, я тебя одной рукой подниму?

— Ну, если не *разочарований*, то *скептык*, это еще хуже (выговор Михалевича отзывался его родиной, Малороссией). А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебе в жизни не повезло, положим; в этом твоей вины не было: ты был рожден с душой страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин; первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть.

— Она и тебя обманула,— заметил угрюмо Лаврецкий.

— Положим, положим; я был тут орудием судьбы,— впрочем, что это я вру,— судьбы тут нету; старая привычка неточно выражаться. Но что ж это доказывает?

— Доказывает то, что меня с детства вывихнули.

— А ты себя вправь! на то ты человек, ты мужчина; энергии тебе не занимать стать! — Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно — частный, так ска-

зать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило?

— Какое тут правило? — перебил Лаврецкий,— я не признаю...

— Нет, это твое правило, правило,— перебивал его в свою очередь Михалевич.

— Ты эгоист, вот что! — гремел он час спустя,— ты желал самонаслажденья, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя...

— Что такое самонаслажденье?

— И всё тебя обмануло; всё рухнуло под твоими ногами.

— Что такое самонаслажденье, спрашиваю я тебя?

— И оно должно было рухнуть. Ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке...

— Говори ясней, без сравнений, *ибо* я тебя не понимаю.

— Ибо,— пожалуй, смейся,— ибо нет в тебе веры, нет теплоты сердечной; ум, всё один только копеечный ум... ты просто жалкий, отсталый вольтериянец — вот ты кто!

— Кто, я вольтериянец?

— Да, такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь.

— После этого,— воскликнул Лаврецкий,— я вправе сказать, что ты фанатик!

— Увы! — возразил с сокрушеньем Михалевич,— я, к несчастью, ничем не заслужил еще такого высокого наименования...

— Я теперь нашел, как тебя назвать,— кричал тот же Михалевич в третьем часу ночи,— ты не скептик, не разочарованный, не вольтериянец, ты — байбак, и ты злостный байбак, байбак с сознаньем, не наивный байбак. Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать; они и не думают ничего, а ты мыслящий человек — и лежишь; ты мог бы что-нибудь делать — и ничего не делаешь; лежишь сытым брюхом кверху и говоришь: так оно и следует, лежать-то, потому что всё, что люди ни делают,— всё вздор и ни к чему не ведущая чепуха.

— Да с чего ты взял, что я лежу? — твердил Лаврецкий,— почему ты предполагаешь во мне такие мысли?

— А сверх того, вы все, вся ваша братия,— продолжал неугомонный Михалевич,— начитанные байбаки. Вы

знаете, на какую ножку немец хромает, знаете, что́ плохо у англичан и у французов,— и вам ваше жалкое знание в подспорье идет, лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница — лежу, а те, дураки, хлопочут. Да! А то есть у нас такие господа — впрочем, я это говорю не на твой счет,— которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки, привыкают к ней, сидят в ней, как... как грыб в сметане,— подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению.— О, это мление скуки — гибель русских людей! Весь век собирается работать противный байбак...

— Да что ж ты бранишься! — вопил в свою очередь Лаврецкий.— Работать... делать... Скажи лучше, что делать, а не бранись, Демосфен полтавский!

— Вишь, чего захотел! Это я тебе не скажу, брат; это всякий сам должен знать,— возражал с иронией Демосфен.— Помещик, дворянин — и не знает, что делать! Веры нет, а то бы знал; веры нет — и нет откровения.

— Дай же по крайней мере отдохнуть, чёрт; дай оглядеться,— молил Лаврецкий.

— Ни минуты отдыха, ни секунды! — возражал с повелительным движением руки Михалевич.— Ни одной секунды! Смерть не ждет, и жизнь ждать не должна.

— И когда же, где же вздумали люди обайбачиться? — кричал он в четыре часа утра, но уже несколько осипшим голосом.— У нас! теперь! в России! когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед богом, перед народом, перед самим собою! Мы спим, а время уходит; мы спим...

— Позволь мне тебе заметить,— промолвил Лаврецкий,— что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы, как петухи, дерем горло. Послушай-ка, это, никак, уже третьи кричат.

Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра»,— проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. «До завтра»,— повторил Лаврецкий. Но друзья еще более часу беседовали... Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи их были тихие, грустные, добрые речи.

Михалевич уехал на другой день, как ни удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться; но наговорился он с ним досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкий

уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности: сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке недоставало одной пуговицы, руки его не ведали перчаток, в волосах торчал пух; приехавши, он и не подумал попросить умыться, а за ужином ел, как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственно для того, чтобы иметь у себя в конторе «образованного человека». Со всем тем Михалевич не унывал и жил себе циником, идеалистом, поэтом, искренно радея и сокрушаясь о судьбах человечества, о собственном призвании — и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюбленных; особенно пылко воспел он одну таинственную чернокудрую «панну»... Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо известная многим кавалерийским офицерам... но, как подумаешь — разве и это не всё равно?

С Леммом Михалевич не сошелся: немца, с непривычки, запугали его многошумные речи, его резкие манеры... Горемыка издали тотчас чует другого горемыку, но под старость редко сходится с ним, и это нисколько не удивительно: ему с ним нечем делиться,— даже надеждами.

Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед,— и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины...

— С черной лилией, во всяком случае,— заметил Лаврецкий.

— Э, брат, не аристократничай,— возразил добродушно Михалевич,— а лучше благодари бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое, неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии...

— Спасибо, брат,— промолвил Лаврецкий,— с меня будет этих неземных существ.

— Молчи, *цыник*! — воскликнул Михалевич.

— «Циник»,— поправил его Лаврецкий.

— Именно цыньк,— повторил, не смущаясь, Михалевич.

Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый, до странности легкий чемодан, он еще говорил; окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек, он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись наконец... «Помни мои последние три слова,— закричал он, высунувшись всем телом из тарантаса и стоя на балансе,— религия, прогресс, человечность!.. Прощай!» Голова его, с нахлобученной на глаза фуражкой, исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце — и пристально глядел вдаль по дороге, пока тарантас не скрылся из виду. «А ведь он, пожалуй, прав,— думал он, возвращаясь в дом,— пожалуй что я байбак». Многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр,— его никто отразить не может.

XXVI

Два дня спустя Марья Дмитриевна, по обещанию, прибыла со всей своей молодежью в Васильевское. Девочки побежали тотчас в сад, а Марья Дмитриевна томно прошлась по комнатам и томно всё похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхожденья, чуть не добрым поступком. Она приветливо улыбнулась, когда Антон и Апраксея, по старинной дворовой привычке, подошли к ней к ручке, и расслабленным голосом, в нос, попросила напиться чаю. К великой досаде Антона, надевшего вязаные белые перчатки, чай подал приезжей барыне не он, а наемный камердинер Лаврецкого, не понимавший, по словам старика, никаких порядков. Зато Антон за обедом взял свое: твердой стопою стал он за кресло Марьи Дмитриевны — и уже никому не уступил своего места. Давно не бывалое появление гостей в Васильевском и встревожило и обрадовало старика: ему было приятно видеть, что с его барином хорошие господа знаются. Впрочем, не он один волновался в тот день: Лемм волновался тоже. Он надел коротенький табачного цвета фрак с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом. Лаврецкий с удовольствием заметил, что сближение между им и Лизой продол-

жалось: она, как только вошла, дружелюбно протянула ему руку. После обеда Лемм достал из заднего кармана фрака, куда он то и дело запускал руку, небольшой сверток нотной бумаги и, сжав губы, молча положил его на фортепьяно. Это был романс, сочиненный им накануне на старомодные немецкие слова, в которых упоминалось о звездах. Лиза тотчас села за фортепьяно и разобрала романс... Увы! музыка оказалась запутанной и неприятно напряженной; видно было, что композитор силился выразить что-то страстное, глубокое, но ничего не вышло: усилие так и осталось одним усилием. Лаврецкий и Лиза оба это почувствовали — и Лемм это понял: ни слова не сказав, положил он свой романс обратно в карман и, в ответ на предложение Лизы сыграть его еще раз, покачав только головой, значительно сказал: «Теперь — баста!» — сгорбился, съежился и отошел.

К вечеру пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде за садом водилось много карасей и гольцов. Марью Дмитриевну посадили на кресло возле берега, в тени, постлали ей ковер под ноги, дали лучшую удочку; Антон, как старый, опытный рыболов, предложил ей свои услуги. Он усердно насаживал червяков, шлепал по ним рукою, плевал на них и даже сам закидывал удочку, грациозно наклоняясь вперед всем корпусом. Марья Дмитриевна в тот же день отозвалась о нем Федору Иванычу следующей фразой на институтско-французском языке: «Il n'y a plus maintenant de ces gens comme ça comme autrefois» [1]. Лемм с двумя девочками отправился подальше, к самой плотине; Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно; выхваченные караси то и дело сверкали в воздухе своими то золотыми, то серебряными боками; радостные восклицания девочек не умолкали; сама Марья Дмитриевна изнеженно взвизгнула раза два. Реже всех бралось у Лаврецкого и у Лизы; вероятно, это происходило оттого, что они меньше других обращали внимания на ловлю и дали поплавкам своим подплыть к самому берегу. Красноватый высокий камыш тихо шелестил вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий. Лиза стояла на маленьком плоту; Лаврецкий сидел на наклоненном стволе ракиты; на Лизе было белое платье, перехваченное вокруг пояса широкой, тоже белой лентой; соломенная шляпа

---

[1] «Теперь уже нет таких слуг, как бывало» *(франц.)*.

висела у ней на одной руке,— другою она с некоторым усилием поддерживала гнуткое удилище. Лаврецкий глядел на ее чистый, несколько строгий профиль, на закинутые за уши волосы, на нежные щеки, которые загорели у ней, как у ребенка, и думал: «О, как мило стоишь ты над моим прудом!» Лиза не оборачивалась к нему, а смотрела на воду и не то щурилась, не то улыбалась. Тень от близкой липы падала на обоих.

— А знаете ли,— начал Лаврецкий,— я много размышлял о нашем последнем разговоре с вами и пришел к тому заключению, что вы чрезвычайно добры.

— Я совсем не с тем намерением...— возразила было Лиза — и застыдилась.

— Вы добры,— повторил Лаврецкий.— Я топорный человек, а чувствую, что все должны вас любить. Вот хоть бы Лемм; он просто влюблен в вас.

Брови у Лизы — не то чтобы нахмурились, а дрогнули; это с ней всегда случалось, когда она слышала что-нибудь неприятное.

— Очень он мне был жалок сегодня,— подхватил Лаврецкий,— с своим неудавшимся романсом. Быть молодым и не уметь — это сносно; но состариться и не быть в силах — это тяжело. И ведь обидно то, что не чувствуешь, когда уходят силы. Старику трудно переносить такие удары!.. Берегитесь, у вас клюет... Говорят,— прибавил Лаврецкий, помолчав немного,— Владимир Николаич написал очень милый романс.

— Да,— отвечала Лиза,— это безделка, но недурная.

— А как, по-вашему,— спросил Лаврецкий,— хороший он музыкант?

— Мне кажется, у него большие способности к музыке; но он до сих пор не занимался ею как следует.

— Так. А человек он хороший?

Лиза засмеялась и быстро взглянула па Федора Иваныча.

— Какой странный вопрос! — воскликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее снова.

— Отчего же странный? Я спрашиваю о нем у вас как человек, недавно сюда приехавший, как родственник

— Как родственник?

— Да. Ведь я вам, кажется, довожусь дядей?

— У Владимира Николаича доброе сердце,— заговорила Лиза,— он умен; maman его очень любит.

— А вы его любите?

— Он хороший человек; отчего же мне его не любить?

— А! — промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться.— Ну, и дай бог им счастья! — пробормотал он, наконец, как будто про себя, и отворотил голову.

Лиза покраснела.

— Вы ошибаетесь, Федор Иваныч,— сказала она,— вы напрасно думаете... А разве вам Владимир Николаич не нравится? — спросила она вдруг.

— Не нравится.

— Отчего же?

— Мне кажется, сердца-то у него и нету.

Улыбка сошла с лица Лизы.

— Вы привыкли строго судить людей,— промолвила она после долгого молчанья.

— Я? — Не думаю. Какое право имею я строго судить других, помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется?.. А что,— прибавил он,— сдержали вы свое обещание?

— Какое?

— Помолились вы за меня?

— Да, я за вас молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста, не говорите легко об этом.

Лаврецкий начал уверять Лизу, что ему это и в голову не приходило, что он глубоко уважает всякие убеждения; потом он пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства...

— Христианином нужно быть,— заговорила не без некоторого усилия Лиза,— не для того, чтобы познавать небесное... там... земное, а для того, что каждый человек должен умереть.

Лаврецкий с невольным удивлением поднял глаза на Лизу и встретил ее взгляд.

— Какое это вы промолвили слово! — сказал он.

— Это слово не мое,— отвечала она.

— Не ваше... Но почему вы заговорили о смерти?

— Не знаю. Я часто о ней думаю.

— Часто?

— Да.

— Этого не скажешь, глядя на вас теперь: у вас такое веселое, светлое лицо, вы улыбаетесь...

— Да, мне очень весело теперь,— наивно возразила Лиза.

Лаврецкому захотелось взять ее обе руки и крепко стиснуть их...

— Лиза, Лиза,— закричала Марья Дмитриевна,— поди сюда, посмотри, какого карася я поймала.

— Сейчас, maman,— отвечала Лиза и пошла к ней, а Лаврецкий остался на своей раките. «Я говорю с ней, словно я не отживший человек»,— думал он. Уходя, Лиза повесила свою шляпу на ветку; с странным, почти нежным чувством посмотрел Лаврецкий на эту шляпу, на ее длинные, немного помятые ленты. Лиза скоро к нему вернулась и опять стала на плот.

— Почему же вам кажется, что у Владимира Николаича сердца нет? — спросила она несколько мгновений спустя.

— Я вам уже сказал, что я мог ошибиться; а впрочем, время всё покажет.

Лиза задумалась. Лаврецкий заговорил о своем житье-бытье в Васильевском, о Михалевиче, об Антоне; он чувствовал потребность говорить с Лизой, сообщить ей все, что приходило ему в душу: она так мило, так внимательно его слушала; ее редкие замечания и возражения казались ему так просты и умны. Он даже сказал ей это.

Лиза удивилась.

— Право? — промолвила она,— а я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, *своих* слов нет. Она однажды сказала своему жениху: тебе должно быть скучно со мною; ты мне говоришь всё такое хорошее, а у меня своих слов нету.

«И слава богу!» — подумал Лаврецкий.

XXVII

Между тем вечер наступал, и Марья Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги, и велел оседлать себе лошадь. Усаживая Марью Дмитриевну в карету, он хватился Лемма; но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез, как только кончилось уженье. Антон, с замечательной для его лет силой, захлопнул дверцы и сурово закричал: «Пошел, кучер!» — Карета тронулась. На задних местах помещались Марья Дмитриевна и Лиза; на

передних — девочки и горничная. Вечер стоял теплый и тихий, и окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы — он бросил поводья на шею плавно бежавшей лошади — и изредка меняясь двумя-тремя словами с молодой девушкой. Заря исчезла; наступила ночь, а воздух даже потеплел. Марья Дмитриевна скоро задремала; девочки и горничная заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета; Лиза наклонилась вперед; только что поднявшийся месяц светил ей в лицо, ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука ее опиралась на дверцы кареты рядом с рукою Лаврецкого. И ему было хорошо: он несся по спокойной ночной теплыни, не спуская глаз с доброго молодого лица, слушая молодой и в шёпоте звеневший голос, говоривший простые, добрые вещи; он и не заметил, как проехал полдороги. Он не захотел будить Марью Дмитриевну, пожал слегка руку Лизы и сказал: «Ведь мы друзья теперь, не правда ли?» Она кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя; Лаврецкий отправился шагом домой. Обаянье летней ночи охватило его; всё вокруг казалось так неожиданно странно и в то же время так давно и так сладко знакомо; вблизи и вдали,— а далеко было видно, хотя глаз многого не понимал из того, что видел,— всё покоилось; молодая расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево; большая черная тень ее шла с ней рядом; было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелов. Звезды исчезали в каком-то светлом дыме; неполный месяц блестел твердым блеском; свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки; свежесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала все члены, лилась вольною струею в грудь. Лаврецкий наслаждался и радовался своему наслаждению. «Ну, мы еще поживем,— думал он,— не совсем еще нас заела...» Он не договорил: кто или что... Потом он стал думать о Лизе, о том, что вряд ли она любит Паншина; что встреться он с ней при других обстоятельствах,— бог знает, что могло бы из этого выйти; что он понимает Лемма, хотя у ней «своих» слов нет. Да и это неправда: у ней есть свои слова... «Не говорите об этом легкомысленно»,—

вспомнилось Лаврецкому. Он долго ехал, понурив голову, потом выпрямился, медленно произнес:

И я сжег всё, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал...—

но тотчас же ударил лошадь хлыстом и скакал вплоть до дому.

Слезая с коня, он в последний раз оглянулся с невольной благодарной улыбкой. Ночь, безмолвная, ласковая ночь, лежала на холмах и на долинах; издали, из ее благовонной глубины, бог знает откуда — с неба ли, с земли,— тянуло тихим и мягким теплом. Лаврецкий послал последний поклон Лизе и взбежал на крыльцо.

Следующий день прошел довольно вяло. С утра падал дождь; Лемм глядел исподлобья и всё крепче и крепче стискивал губы, точно он давал себе зарок никогда не открывать их. Ложась спать, Лаврецкий взял с собою на постель целую груду французских журналов, которые уже более двух недель лежали у него на столе нераспечатанные. Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их — и вдруг вскочил с постели, как ужаленный. В фельетоне одной из газет известный уже нам мусье Жюль сообщал своим читателям «горестную новость»: прелестная, очаровательная москвитянка,— писал он,— одна из цариц моды, украшение парижских салонов, madame de Lavretzki скончалась почти внезапно,— и весть эта, к сожалению, слишком верная, только что дошла до него, г-на Жюля. Он был,— так продолжал он,— можно сказать, другом покойницы...

Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед всё по одной аллее.

XXVIII

На следующее утро, за чаем, Лемм попросил Лаврецкого дать ему лошадей для того, чтобы возвратиться в город. «Мне пора приняться за дело, то есть за уроки,— заметил старик,— а то я здесь только даром время теряю». Лаврецкий не сразу отвечал ему: он казался рассеянным. «Хорошо,— сказал он наконец,— я с вами сам поеду». Без помощи слуги, кряхтя и сердясь, уложил Лемм небольшой свой чемодан, изорвал и сжег несколько листов нотной бумаги. Подали лошадей. Выходя из кабинета, Лаврецкий положил в карман вчерашний нумер газеты.

Во всё время дороги и Лемм и Лаврецкий мало говорили друг с другом: каждого из них занимали собственные мысли, и каждый был рад, что другой его не беспокоит. И расстались они довольно сухо, что, впрочем, часто случается между приятелями на Руси. Лаврецкий подвез старина к его домику, тот вылез, достал свой чемодан и, не протягивая своему приятелю руки (он держал чемодан обеими руками перед грудью), не глядя даже на него, сказал ему по-русски: «Прощайте-с!» — «Прощайте»,— повторил Лаврецкий и велел кучеру ехать к себе на квартиру. Он нанимал, на всякий случай, квартиру в городе О... Написавши несколько писем и наскоро пообедав, Лаврецкий отправился к Калитиным. Он застал у них в гостиной одного Паншина, который объявил ему, что Марья Дмитриевна сейчас выйдет, и тотчас с самой радушной любезностью вступил с ним в разговор. До того дня Паншин обращался с Лаврецким не то чтоб свысока, а снисходительно; но Лиза, рассказывая Паншину свою вчерашнюю поездку, отозвалась о Лаврецком как о прекрасном и умном человеке; этого было довольно: следовало завоевать «прекрасного» человека. Паншин начал с комплиментов Лаврецкому, с описания восторга, с которым, по его словам, всё семейство Марьи Дмитриевны отзывалось о Васильевском, и потом, по обыкновению своему, ловко перейдя к самому себе, начал говорить о своих занятиях, о воззрениях своих на жизнь, на свет и на службу; сказал слова два о будущности России, о том, как следует губернаторов в руках держать; тут же весело подтрунил над самим собою и прибавил, что, между прочим, ему в Петербурге поручили «de populariser l'idée du cadastre» [1]. Он говорил довольно долго, с небрежной самоуверенностью разрешая все затруднения и, как фокусник шарами, играя самыми важными административными и политическими вопросами. Выражения: «Вот что бы я сделал, если б я был правительством»; «Вы, как умный человек, тотчас со мной согласитесь»,— не сходили у него с языка. Лаврецкий холодно слушал разглагольствования Паншина: не нравился ему этот красивый, умный и непринужденно изящный человек, с своей светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми глазами. Паншин скоро догадался, с свойственным ему быстрым пониманием ощущений другого, что не доставляет особенного удовольствия своему собесед-

[1] «популяризировать идею кадастра» *(франц.)*.

пику, и под благовидным предлогом скрылся, решив про себя, что Лаврецкий, может быть, и прекрасный человек, но несимпатичный, «aigri» [1] и, «en somme» [2], несколько смешной. Марья Дмитриевна появилась в сопровождении Гедеоновского; потом пришла Марфа Тимофеевна с Лизой, за ними пришли остальные домочадцы; потом приехала и любительница музыки, Беленицына, маленькая, худенькая дама, с почти ребяческим, усталым и красивым личиком, в шумящем черном платье, с пестрым веером и толстыми золотыми браслетами; приехал и муж ее, краснощекий, пухлый человек с большими ногами и руками, с белыми ресницами и неподвижной улыбкой на толстых губах; в гостях жена никогда с ним не говорила, а дома, в минуты нежности, называла его своим поросеночком; Паншин вернулся: очень стало людно и шумно в комнатах. Лаврецкому такое множество народа было не по нутру; особенно сердила его Беленицына, которая то и дело глядела на него в лорнет. Он бы тотчас ушел, если б не Лиза: ему хотелось сказать ей два слова наедине, но он долго не мог улучить удобное мгновенье и довольствовался тем, что с тайной радостью следил за нею взором; никогда ее лицо не казалось ему благородней и милей. Она много выигрывала от близости Беленицыной. Та беспрестанно двигалась на стуле, поводила своими узкими плечиками, смеялась изнеженным смехом и то щурилась, то вдруг широко раскрывала глаза. Лиза сидела смирно, глядела прямо и вовсе не смеялась. Хозяйка села играть в карты с Марфой Тимофеевной, Беленицыным и Гедеоновским, который играл очень медленно, беспрестанно ошибался, моргал глазами и утирал лицо платком. Паншин принял меланхолический вид, выражался кратко, многозначительно и печально,— ни дать ни взять невысказавшийся художник,— но, несмотря на просьбы Беленицыной, которая очень с ним кокетничала, не соглашался спеть свой романс: Лаврецкий его стеснял. Федор Иваныч тоже говорил мало, особенное выражение его лица поразило Лизу, как только он вошел в комнату: она тотчас почувствовала, что он имеет сообщить ей что-то, но, сама не зная почему, боялась расспросить его. Наконец, переходя в залу наливать чай, она невольно поворотила голову в его сторону. Он тотчас пошел вслед за ней.

---

[1] «озлобленный» *(франц.)*.
[2] «в конце концов» *(франц.)*.

— Что с вами? — промолвила она, ставя чайник на самовар.

— А разве вы что заметили? — проговорил он.

— Вы сегодня не такой, каким я вас видела до сих пор.

Лаврецкий наклонился над столом.

— Я хотел,— начал он,— передать вам одно известие, но теперь невозможно. Впрочем, прочтите вот, что отмечено карандашом в этом фельетоне,— прибавил он, подавая ей нумер взятого с собою журнала.— Прошу хранить это в тайне, я зайду завтра утром.

Лиза изумилась... Паншин показался на пороге двери: она положила журнал к себе в карман.

— Читали вы «Обермана», Лизавета Михайловна? — задумчиво спросил ее Паншин.

Лиза отвечала ему вскользь и пошла из залы наверх. Лаврецкий вернулся в гостиную и приблизился к игорному столу. Марфа Тимофеевна, распустив ленты чепца и покраснев, начала ему жаловаться на своего партнера Гедеоновского, который, по ее словам, ступить не умел.

— Видно, в карты играть,— говорила она,— не то, что выдумки сочинять.

Тот продолжал моргать глазами и утираться. Лиза пришла в гостиную и села в угол; Лаврецкий посмотрел на нее, она на него посмотрела — и обоим стало почти жутко. Он прочел недоумение и какой-то тайный упрек на ее лице. Поговорить с нею, как бы ему хотелось, он не мог; оставаться в одной комнате с нею, гостем в числе других гостей,— было тяжело: он решился уйти. Прощаясь с нею, он успел повторить, что придет завтра, и прибавил, что надеется на ее дружбу.

— Приходите,— отвечала она с тем же недоумением на лице.

Паншин оживился по уходе Лаврецкого; он начал давать советы Гедеоновскому, насмешливо любезничал с Беленицыной и, наконец, спел свой романс. Но с Лизой он говорил и глядел на нее по-прежнему: значительно и немного печально.

А Лаврецкий опять не спал всю ночь. Ему не было грустно, он не волновался, он затих весь; но он не мог спать. Он даже не вспоминал прошедшего времени; он просто глядел в свою жизнь; сердце его билось тяжело и ровно, часы летели, он и не думал о сне. По временам

только всплывала у него в голове мысль: «Да это неправда, это всё вздор»,— и он останавливался, поникал головою и снова принимался глядеть в свою жизнь.

XXIX

Марья Дмитриевна не слишком ласково приняла Лаврецкого, когда он явился к ней на следующий день. «Вишь, повадился»,— подумала она. Он ей сам по себе не очень нравился, да и Паншин, под влиянием которого она находилась, весьма коварно и небрежно похвалил его накануне. Так как она не считала его гостем и не полагала нужным занимать родственника, почти домашнего человека, то и получаса не прошло, как он уже шел с Лизой в саду по аллее. Леночка и Шурочка бегали в нескольких шагах от них по цветнику.

Лиза был спокойна по обыкновению, но более обыкновенного бледна. Она достала из кармана и протянула Лаврецкому мелко сложенный лист журнала.

— Это ужасно! — промолвила она.

Лаврецкий ничего не отвечал.

— Да, может быть, это еще и неправда,— прибавила Лиза.

— Оттого-то я и просил вас не говорить об этом никому.

Лиза прошлась немного.

— Скажите,— начала она,— вы не огорчены? нисколько?

— Я сам не знаю, что я чувствую,— отвечал Лаврецкий.

— Но ведь вы ее любили прежде?

— Любил.

— Очень?

— Очень.

— И не огорчены ее смертью?

— Она не теперь для меня умерла.

— Это грешно, что вы говорите... Не сердитесь на меня. Вы меня называете своим другом: друг всё может говорить. Мне, право, даже страшно... Вчера у вас такое нехорошее было лицо... Помните, недавно, как вы жаловались на нее? — а ее уже тогда, может быть, на свете не было. Это страшно. Точно это вам в наказание послано.

Лаврецкий горько усмехнулся.

— Вы думаете?.. По крайней мере я теперь свободен.

Лиза слегка вздрогнула.

— Полноте, не говорите так. На что вам ваша свобода? Вам не об этом теперь надо думать, а о прощении...

— Я давно ее простил,— перебил Лаврецкий и махнул рукой.

— Нет, не то,— возразила Лиза и покраснела.— Вы не так меня поняли. Вы должны позаботиться о том, чтобы вас простили...

— Кому меня прощать?

— Кому? Богу. Кто же может нас простить, кроме бога?

Лаврецкий схватил ее за руку.

— Ах, Лизавета Михайловна, поверьте,— воскликнул он,— я и так довольно был наказан. Я уже всё искупил, поверьте.

— Это вы не можете знать,— проговорила Лиза вполголоса.— Вы забыли,— еще недавно, вот когда вы со мной говорили, вы не хотели ее прощать.

Оба молча прошлись по аллее.

— А что же ваша дочь? — спросила вдруг Лиза и остановилась.

Лаврецкий встрепенулся.

— О, не беспокойтесь! Я уже послал письма во все места. Будущность моей дочери, как вы ее... как вы говорите... обеспечена. Не беспокойтесь.

Лиза печально улыбнулась.

— Но вы правы,— продолжал Лаврецкий,— что мне делать с моей свободой? На что мне она?

— Когда вы получили этот журнал? — промолвила Лиза, не отвечая на его вопрос.

— На другой день после вашего посещения.

— И неужели... неужели вы даже не заплакали?

— Нет. Я был поражен; но откуда было взяться слезам? Плакать о прошедшем — да ведь оно у меня всё выжжено!.. Самый проступок ее не разрушил мое счастие, а доказал мне только, что его вовсе никогда не бывало. О чем же тут было плакать? Впрочем, кто знает? Я, может быть, был бы более огорчен, если б я получил это известие двумя неделями раньше...

— Двумя неделями? — возразила Лиза.— Да что ж такое случилось в эти две недели?

Лаврецкий ничего не отвечал, а Лиза вдруг покраснела еще пуще прежнего.

— Да, да, вы угадали,— подхватил внезапно Лаврецкий,—в течение этих двух недель я узнал, что значит чистая

женская душа, и мое прошедшее еще больше от меня отодвинулось.

Лиза смутилась и тихонько пошла в цветник к Леночке и Шурочке.

— А я доволен тем, что показал вам этот журнал,— говорил Лаврецкий, идя за нею следом,— я уже привык ничего не скрывать от вас и надеюсь, что и вы отплатите мне таким же доверием.

— Вы думаете? — промолвила Лиза и остановилась.— В таком случае я бы должна была... Да нет! Это невозможно.

— Что такое? Говорите, говорите.

— Право, мне кажется, я не должна... А впрочем,— прибавила Лиза и с улыбкой оборотилась к Лаврецкому,— что за откровенность вполовину? Знаете ли? я получила сегодня письмо.

— От Паншина?

— Да, от него... Почему вы знаете?

— Он просит вашей руки?

— Да,— произнесла Лиза и прямо и серьезно посмотрела Лаврецкому в глаза.

Лаврецкий, в свою очередь, серьезно посмотрел на Лизу.

— Ну, и что же вы ему отвечали? — проговорил он наконец.

— Я не знаю, что отвечать,— возразила Лиза и опустила сложенные руки.

— Как? Ведь вы его любите?

— Да, он мне нравится; он, кажется, хороший человек.

— Вы то же самое и в тех же самых выражениях сказали мне четвертого дня. Я желаю знать, любите ли вы его тем сильным, страстным чувством, которое мы привыкли называть любовью?

— Как *вы* понимаете,— нет.

— Вы в него не влюблены?

— Нет. Да разве это нужно?

— Как?

— Маменьке он нравится,— продолжала Лиза,— он добрый; я ничего против него не имею.

— Однако вы колеблетесь?

— Да... и, может быть,— вы, ваши слова тому причиной. Помните, что вы третьего дня говорили? Но это слабость...

— О дитя мое! — воскликнул вдруг Лаврецкий, и голос его задрожал,— не мудрствуйте лукаво, не называйте слабостью крик вашего сердца, которое не хочет отдаться без любви. Не берите на себя такой страшной ответственности перед тем человеком, которого вы не любите и которому хотите принадлежать...

— Я слушаюсь, я ничего не беру на себя,— произнесла было Лиза...

— Слушайтесь вашего сердца; оно одно вам скажет правду,— перебил ее Лаврецкий...— Опыт, рассудок — всё это прах и суета! Не отнимайте у себя лучшего, единственного счастья на земле.

— Вы ли это говорите, Федор Иваныч? Вы сами женились по любви — и были ли вы счастливы?

Лаврецкий всплеснул руками.

— Ах, не говорите обо мне! Вы и понять не можете всего того, что молодой, неискушенный, безобразно воспитанный мальчик может принять за любовь!.. Да и, наконец, к чему клеветать на себя? Я сейчас вам говорил, что я не знал счастья... нет! я был счастлив!

— Мне кажется, Федор Иваныч,— произнесла, понизив голос, Лиза (когда она не соглашалась с своим собеседником, она всегда понижала голос; притом она чувствовала большое волнение),— счастье на земле зависит не от нас...

— От нас, от нас, поверьте мне (он схватил ее за обе руки; Лиза побледнела и почти с испугом, но внимательно глядела на него), лишь бы мы не портили сами своей жизни. Для иных людей брак по любви может быть несчастьем; но не для вас, с вашим спокойным нравом, с вашей ясной душой! Умоляю вас, не выходите замуж без любви, по чувству долга, отреченья, что ли... Это то же безверие, тот же расчет — и еще худший. Поверьте мне — я имею право это говорить: я дорого заплатил за это право. И если ваш бог...

В это мгновенье Лаврецкий заметил, что Леночка и Шурочка стояли подле Лизы и с немым изумленьем уставились на него. Он выпустил Лизины руки, торопливо проговорил: «Извините меня, пожалуйста»,— и направился к дому.

— Об одном только прошу я вас,— промолвил он, возвращаясь к Лизе,— не решайтесь тотчас, подождите, подумайте о том, что я вам сказал. Если б даже вы не поверили мне, если б вы решились на брак по рассудку,—

и в таком случае не за господина Паншина вам выходить: он не может быть вашим мужем... Не правда ли, вы обещаетесь мне не спешить?

Лиза хотела ответить Лаврецкому — и ни слова не вымолвила, не оттого, что она решилась «спешить»; но оттого, что сердце у ней слишком сильно билось и чувство, похожее на страх, захватило дыхание.

XXX

Уходя от Калитиных, Лаврецкий встретился с Паншиным; они холодно поклонились друг другу. Лаврецкий пришел к себе на квартиру и заперся. Он испытывал ощущения, едва ли когда-нибудь им испытанные. Давно ли находился он в состоянии «мирного оцепенения»? давно ли чувствовал себя, как он выражался, на самом дне реки? Что же изменило его положение? что вынесло его наружу, на поверхность? самая обыкновенная, неизбежная, хотя всегда неожиданная случайность: смерть? Да; но он не столько думал о смерти жены, о своей свободе, сколько о том, какой ответ даст Паншину Лиза? Он чувствовал, что в течение трех последних дней он стал глядеть на нее другими глазами; он вспоминал, как, возвращаясь домой и думая о ней в тиши ночи, он говорил самому себе: «Если бы!..» Это «если бы», отнесенное им к прошедшему, к невозможному, сбылось, хоть и не так, как он полагал,— но одной его свободы было мало. «Она послушается матери,— думал он,— она выйдет за Паншина; но если даже она ему откажет — не всё ли равно для меня?» Проходя перед зеркалом, он мельком взглянул на свое лицо и пожал плечами.

День пронесся быстро в этих размышлениях; настал вечер. Лаврецкий отправился к Калитиным. Он шел поспешно, но к дому их приблизился замедленными шагами. Перед крыльцом стояли дрожки Паншина. «Ну,— подумал Лаврецкий,— не буду эгоистом», и вошел в дом. В доме он никого не встретил, и в гостиной было тихо; он отворил дверь и увидел Марью Дмитриевну, игравшую в пикет с Паншиным. Паншин молча ему поклонился, а хозяйка дома воскликнула: «Вот неожиданно!» — и слегка нахмурила брови. Лаврецкий подсел к ней и стал глядеть ей в карты.

— Вы разве умеете в пикет? — спросила она его с какой-то скрытой досадой и тут же объявила, что разнеслась.

Паншин счел девяносто и начал учтиво и спокойно брать взятки, с строгим и достойным выражением на лице. Так должны играть дипломаты; вероятно, так и он играл в Петербурге с каким-нибудь сильным сановником, которому желал внушить выгодное мнение о своей солидности и зрелости. «Сто один, сто два, черви, сто три»,— мерно раздавался его голос, и Лаврецкий не мог понять, чем он звучал: укоризной или самодовольствием.

— Можно видеть Марфу Тимофеевну? — спросил он, замечая, что Паншин с еще большим достоинством принимался тасовать карты. Художника в нем уже не замечалось и тени.

— Я думаю, можно. Она у себя, наверху,— отвечала Марья Дмитриевна,— осведомьтесь.

Лаврецкий отправился наверх. И Марфу Тимофеевну он застал за картами: она играла в дурачки с Настасьей Карповной. Роска залаяла на него; но обе старушки приветливо его приняли, особенно Марфа Тимофеевна казалась в духе.

— А! Федя! Милости просим,— промолвила она,— садись, мой батюшка. А мы сейчас доиграем. Хочешь варенья? Шурочка, достань ему банку с клубникой. Не хочешь? Ну, так сиди так; а курить — не кури: не могу я табачища вашего терпеть, да и Матрос от него чихает.

Лаврецкий поспешил объявить, что вовсе не желает курить.

— Был ты внизу? — продолжала старушка,— кого там видел? Паншин всё там торчит? А Лизу видел? Нет? Она сюда хотела прийти... Да вот и она; легка на помине.

Лиза вошла в комнату и, увидев Лаврецкого, покраснела.

— Я к вам на минутку, Марфа Тимофеевна,— начала было она...

— Зачем на минутку? — возразила старушка.— Что это вы все, молодые девки, за непоседы за такие? Ты видишь, у меня гость: покалякай с ним, займи его.

Лиза присела на край стула, подняла глаза на Лаврецкого — и почувствовала, что ей нельзя было не дать ему знать, чем кончилось ее свидание с Паншиным. Но как это сделать? Ей и стыдно было и неловко. Давно ли она познакомилась с ним, с этим человеком, который и в церковь редко ходит и так равнодушно переносит кончину жены,— и вот уже она сообщает ему свои тайны... Правда, он принимает в ней участие; она сама верит ему

и чувствует к нему влеченье; но все-таки ей стыдно стало, точно чужой вошел в ее девическую, чистую комнату.

Марфа Тимофеевна пришла ей на помощь.

— Ведь если ты его занимать не будешь,— заговорила она,— кто ж его, бедненького, займет? Я для него слишком стара, он для меня слишком умен, а для Настасьи Карповны он слишком стар: ей всё молоденьких подавай.

— Чем же я могу занять Федора Иваныча? — промолвила Лиза.— Если он хочет, я лучше ему что-нибудь на фортепьяно сыграю,— прибавила она нерешительно.

— И прекрасно; ты у меня умница,— возразила Марфа Тимофеевна.— Ступайте, мои милые, вниз; когда кончите, приходите; а я вот в дурах осталась, мне обидно, я отыграться хочу.

Лиза встала. Лаврецкий пошел за ней. Спускаясь с лестницы, Лиза остановилась.

— Правду говорят,— начала она,— что сердце людское исполнено противоречий. Ваш пример должен был испугать меня, сделать меня недоверчивой к бракам по любви, а я...

— Вы отказали ему? — перебил Лаврецкий.

— Нет; но и не согласилась. Я ему всё сказала: всё, что я чувствовала, и попросила его подождать. Довольны вы? — прибавила она с быстрой улыбкой и, слегка трогая перила рукою, сбежала с лестницы.

— Что мне сыграть вам? — спросила она, поднимая крышку фортепьяно.

— Что хотите,— отвечал Лаврецкий и сел так, что мог смотреть на нее.

Лиза начала играть и долго не отводила глаз от своих пальцев. Она взглянула, наконец, на Лаврецкого и остановилась: так чудно и странно показалось ей его лицо.

— Что с вами? — спросила она.

— Ничего,— возразил он,— мне очень хорошо; я рад за вас, я рад вас видеть; продолжайте.

— Мне кажется,— говорила Лиза несколько мгновений спустя,— если бы он точно меня любил, он бы не написал этого письма; он должен был бы чувствовать, что я не могу отвечать ему теперь.

— Это не важно,— промолвил Лаврецкий,— важно то, что вы его не любите.

— Перестаньте, что это за разговор! Мне всё мерещится ваша покойная жена, и вы мне страшны.

— Не правда ли, Вольдемар, как мило играет моя

Лизет? — говорила в то же время Марья Дмитриевна Паншину.

— Да,— отвечал Паншин,— очень мило.

Марья Дмитриевна с нежностью посмотрела на молодого своего партнера; но тот принял еще более важный и озабоченный вид и объявил четырнадцать королей.

XXXI

Лаврецкий не был молодым человеком; он не мог долго обманываться насчет чувства, внушенного ему Лизой; он окончательно в тот же день убедился в том, что полюбил ее. Не много радости принесло ему это убеждение. «Неужели,— подумал он,— мне в тридцать пять лет нечего другого делать, как опять отдать свою душу в руки женщины? Но Лиза не чета *той*: она бы не потребовала от меня постыдных жертв; она не отвлекла бы меня от моих занятий; она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд, и мы пошли бы оба вперед к прекрасной цели. Да,— кончил он свои размышления,— все это хорошо, но худо то, что она вовсе не захочет пойти со мной. Недаром она сказала мне, что я ей страшен. Зато и Паншина она не любит... Слабое утешение!»

Лаврецкий поехал в Васильевское; но и четырех дней там не выжил,— так ему показалось скучно. Его томило также ожидание: известие, сообщенное г-м Жюлем, требовало подтверждения, а он не получал никаких писем. Он вернулся в город и просидел вечер у Калитиных. Ему легко было заметить, что Марья Дмитриевна была против него восстановлена; но ему удалось несколько умилостивить ее, проиграв ей рублей пятнадцать в пикет, и он провел около получаса почти наедине с Лизой, несмотря на то, что мать ей еще накануне советовала не быть слишком фамильярной с человеком «qui a un si grand ridicule» [1]. Он нашел в ней перемену: она стала как будто задумчивее, попеняла ему за его отсутствие и спросила его: не пойдет ли он на другой день к обедне? (На другой день было воскресенье.)

— Ступайте,— сказала она прежде, чем он успел ответить,— мы вместе помолимся за упокой *ее* души.— Потом она прибавила, что не знает, как ей быть, не знает, имеет ли она право заставлять Паншина долее ждать ее решения.

[1] «с которым случилась такая нелепость» *(франц.)*.

— Почему же? — спросил Лаврецкий.

— Потому,— сказала она,— что я уже теперь начинаю подозревать, какое будет это решение.

Она объявила, что голова у ней болит, и ушла к себе наверх, нерешительно протянув Лаврецкому кончики пальцев.

На другой день Лаврецкий отправился к обедне. Лиза уже была в церкви, когда он пришел. Она заметила его, хотя не обернулась к нему. Она усердно молилась: тихо светились ее глаза, тихо склонялась и поднималась ее голова. Он почувствовал, что она молилась и за него,— и чудное умиление наполнило его душу. Ему было и хорошо и немного совестно. Чинно стоявший народ, родные лица, согласное пение, запах ладану, длинные косые лучи от окон, самая темнота стен и сводов — всё говорило его сердцу. Давно не был он в церкви, давно не обращался к богу; он и теперь не произнес никаких молитвенных слов,— он без слов даже не молился,— но хотя на мгновенье если не телом, то всем помыслом своим повергнулся ниц и приник смиренно к земле. Вспомнилось ему, как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения; это, думал он тогда, ангел-хранитель принимает меня, кладет на меня печать избрания. Он взглянул на Лизу... «Ты меня сюда привела,— подумал он,— коснись же меня, коснись моей души». Она всё так же тихо молилась; лицо ее показалось ему радостным, и он умилился вновь, он попросил другой душе — покоя, своей — прощенья...

Они встретились на паперти; она приветствовала его с веселой и ласковой важностью. Солнце ярко освещало молодую траву на церковном дворе, пестрые платья и платки женщин; колокола соседних церквей гудели в вышине; воробьи чирикали по заборам. Лаврецкий стоял с непокрытой головой и улыбался; легкий ветерок вздымал его волосы и концы лент Лизиной шляпы. Он посадил Лизу и бывшую с ней Леночку в карету, роздал все свои деньги нищим и тихонько побрел домой.

XXXII

Настали трудные дни для Федора Иваныча. Он находился в постоянной лихорадке. Каждое утро отправлялся он на почту, с волненьем распечатывал письма, журналы — и нигде не находил ничего, что бы могло

подтвердить или опровергнуть роковой слух. Иногда он сам себе становился гадок: «Что это я,— думал он,— жду, как ворон крови, верной вести о смерти жены!» К Калитиным он ходил каждый день; но и там ему не становилось легче: хозяйка явно дулась на него, принимала его из снисхождения; Паншин обращался с ним преувеличенно вежливо; Лемм напустил на себя мизантропию и едва кланялся ему,— а главное: Лиза как будто его избегала. Когда же ей случалось остаться с ним наедине, в ней, вместо прежней доверчивости, проявлялось замешательство; она не знала, что сказать ему, и он сам чувствовал смущение. Лиза в несколько дней стала не та, какою он ее знал: в ее движениях, голосе, в самом смехе замечалась тайная тревога, небывалая прежде неровность. Марья Дмитриевна, как истая эгоистка, ничего не подозревала; но Марфа Тимофеевна начинала присматривать за своей любимицей. Лаврецкий не раз упрекнул себя в том, что показал Лизе полученный им нумер журнала: он не мог не сознаться, что в его душевном состоянии было что-то возмутительное для чистого чувства. Он полагал также, что̀ перемена в Лизе происходила от ее борьбы с самой собою, от ее сомнений: какой ответ дать Паншину? Однажды она принесла ему книгу, роман Вальтер Скотта, который она сама у него спросила.

— Вы прочли эту книгу? — проговорил он.

— Нет; мне теперь не до книг,— отвечала она и хотела уйти.

— Постойте на минуту; я с вами так давно не был наедине. Вы словно меня боитесь.

— Да.

— Отчего же, помилуйте?

— Не знаю.

Лаврецкий помолчал.

— Скажите,— начал он,— вы еще не решились?

— Что вы хотите сказать? — промолвила она, не поднимая глаз.

— Вы понимаете меня...

Лиза вдруг вспыхнула.

— Не спрашивайте меня ни о чем,— произнесла она с живостью,— я ничего не знаю; я сама себя не знаю...

И она тотчас же удалилась.

На следующий день Лаврецкий приехал к Калитиным после обеда и застал у них все приготовления ко всенощ-

ной. В углу столовой на четырехугольном столе, покрытом чистой скатертью, уже находились прислоненные к стене небольшие образа в золотых окладах, с маленькими тусклыми алмазами на венчиках. Старый слуга, в сером фраке и башмаках, прошел, не спеша и не стуча каблуками, через всю комнату, поставил две восковые свечи в тонких подсвечниках перед образами, перекрестился, поклонился и тихо вышел. Неосвещенная гостиная была пуста. Лаврецкий походил по столовой, спросил — не именинница ли кто? Ему отвечали шёпотом, что нет, а что всенощную заказали по желанию Лизаветы Михайловны да Марфы Тимофеевны; что хотели было чудотворную икону поднять, но что она уехала за тридцать верст к больному. Скоро прибыл вместе с дьячками и священник, человек уже не молодой, с большой лысиной, и громко кашлянул в передней; дамы тотчас вереницей потянулись из кабинета и подошли к нему под благословение; Лаврецкий молча им поклонился; и они ему поклонились молча. Священник постоял немного, еще раз откашлянулся и спросил вполголоса басом:

— Приступать прикажете?

— Приступите, батюшка,— возразила Марья Дмитриевна.

Он начал облачаться; дьячок в стихаре подобострастно попросил уголька; запахло ладаном. Из передней вышли горничные и лакеи и остановились сплошной кучкой перед дверями. Роска, никогда не сходившая сверху, вдруг появилась в столовой: ее стали выгонять — она испугалась, завертелась и села; лакей подхватил ее и унес. Всенощная началась. Лаврецкий прижался в уголок; ощущения его были странны, почти грустны; он сам не мог хорошенько разобрать, что он чувствовал. Марья Дмитриевна стояла впереди всех, перед креслами; она крестилась изнеженно-небрежно, по-барски — то оглядывалась, то вдруг поднимала взоры кверху: она скучала. Марфа Тимофеевна казалась озабоченной; Настасья Карповна клала земные поклоны и вставала с каким-то скромным и мягким шумом; Лиза, как стала, так и не двигалась с места и не шевелилась; по сосредоточенному выражению ее лица можно было догадаться, что она пристально и горячо молилась. Прикладываясь ко кресту по окончании всенощной, она также поцеловала большую красную руку священника. Марья Дмитриевна пригласила его откушать чаю; он снял епитрахиль, принял несколько

светский вид и вместе с дамами перешел в гостиную. Начался разговор, не слишком оживленный. Священник выпил четыре чашки, беспрестанно отирая платком свою лысину, рассказал, между прочим, что купец Авошников пожертвовал семьсот рублей на позолоту церковного «кумпола», и сообщил верное средство против веснушек. Лаврецкий подсел было к Лизе, но она держалась строго, почти сурово, и ни разу не взглянула на него. Она как будто с намерением его не замечала; какая-то холодная, важная восторженность нашла на нее. Лаврецкому почему-то всё хотелось улыбнуться и сказать что-нибудь забавное; но на сердце у него было смущение, и он ушел наконец, тайно недоумевая... Он чувствовал: что-то было в Лизе, куда он проникнуть не мог.

В другой раз Лаврецкий, сидя в гостиной и слушая вкрадчивые, но тяжелые разглагольствования Гедеоновского, внезапно, сам не зная почему, оборотился и уловил глубокий, внимательный, вопросительный взгляд в глазах Лизы... Он был устремлен на него, этот загадочный взгляд. Лаврецкий целую ночь потом о нем думал. Он любил не как мальчик, не к лицу ему было вздыхать и томиться, да и сама Лиза не такого рода чувство возбуждала; но любовь на всякий возраст имеет свои страданья,— и он испытал их вполне.

XXXIII

Однажды Лаврецкий, по обыкновению своему, сидел у Калитиных. После томительного жаркого дня наступил такой прекрасный вечер, что Марья Дмитриевна, несмотря на свое отвращение к сквозному ветру, велела отворить все окна и двери в сад и объявила, что в карты играть не станет, что в такую погоду в карты играть грех, а должно наслаждаться природой. Из гостей был один Паншин. Настроенный вечером и не желая петь перед Лаврецким, но чувствуя прилив художнических ощущений, он пустился в поэзию: прочел хорошо, но слишком сознательно и с ненужными тонкостями, несколько стихотворений Лермонтова (тогда Пушкин не успел еще опять войти в моду) — и вдруг, как бы устыдясь своих излияний, начал, по поводу известной «Думы», укорять и упрекать новейшее поколение; причем не упустил случая изложить, как бы он всё повернул по-своему, если б власть у него была в руках. «Россия,— говорил он,— отстала от Европы; нужно подогнать ее. Уверяют, что мы молоды,—

это вздор; да и притом у нас изобретательности нет; сам Х⟨омяко⟩в признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Следовательно, мы поневоле должны заимствовать у других. Мы больны, говорит Лермонтов,— я согласен с ним; но мы больны оттого, что только наполовину сделались европейцами; чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны («Le cadastre»,— подумал Лаврецкий). У нас,— продолжал он,— лучшие головы — les meilleures têtes — давно в этом убедились; все народы в сущности одинаковы; вводите только хорошие учреждения — и дело с концом. Пожалуй, можно приноравливаться к существующему народному быту; это наше дело, дело людей... (он чуть не сказал: государственных) служащих; но, в случае нужды, не беспокойтесь: учреждения переделают самый этот быт». Марья Дмитриевна с умилением поддакивала Паншину. «Вот какой,— думала она,— умный человек у меня беседует». Лиза молчала, прислонившись к окну; Лаврецкий молчал тоже; Марфа Тимофеевна, игравшая в уголке в карты с своей приятельницей, ворчала себе что-то под нос. Паншин расхаживал по комнате и говорил красиво, но с тайным озлобленьем: казалось, он бранил не целое поколенье, а нескольких известных ему людей. В саду Калитиных, в большом кусту сирени, жил соловей; его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи; первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными верхушками лип. Лаврецкий поднялся и начал возражать Паншину; завязался спор. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России; отдавал себя, свое поколение на жертву,— но заступался за новых людей, за их убеждения и желания; Паншин возражал раздражительно и резко, объявил, что умные люди должны всё переделать, и занесся, наконец, до того, что, забыв свое камер-юнкерское звание и чиновничью карьеру, назвал Лаврецкого отсталым консерватором, даже намекнул — правда, весьма отдаленно — на его ложное положение в обществе. Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса (он вспомнил, что Михалевич тоже называл его отсталым — только вольтериянцем) — и спокойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок с высоты чиновничьего самосознания — переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательный; привел в пример свое собственное воспитание, требовал

прежде всего признания народной правды и смирения перед нею — того смирения, без которого и смелость противу лжи невозможна; не отклонился, наконец, от заслуженного, по его мнению, упрека в легкомысленной растрате времени и сил.

— Всё это прекрасно! — воскликнул, наконец, раздосадованный Паншин,— вот вы, вернулись в Россию,— что же вы намерены делать?

— Пахать землю,— отвечал Лаврецкий,— и стараться как можно лучше ее пахать.

— Это очень похвально, бесспорно,— возразил Паншин,— и мне сказывали, что вы уже большие сделали успехи по этой части; но согласитесь, что не всякий способен на такого рода занятия.

— Une nature poétique [1],— заговорила Марья Дмитриевна,— конечно, не может пахать... et puis [2], вы призваны, Владимир Николаич, делать всё en grand [3].

Этого было слишком даже для Паншина: он замялся — и замял разговор. Он попытался перевести его на красоту звездного неба, на музыку Шуберта — всё как-то не клеилось; он кончил тем, что предложил Марье Дмитриевне сыграть с ней в пикет. «Как! в такой вечер?» — слабо возразила она; однако велела принести карты.

Паншин с треском разорвал новую колоду, а Лиза и Лаврецкий, словно сговорившись, оба встали и поместились возле Марфы Тимофеевны. Им сделалось вдруг так хорошо обоим, что они даже побоялись остаться вдвоем,— и в то же время они почувствовали оба, что испытанное ими в последние дни смущение исчезло и не возвратится более. Старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке, лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой, приговаривая шёпотом: «Отделал умника, спасибо». Всё затихло в комнате; слышалось только слабое потрескивание восковых свечей; да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков, да широкой волной вливалась в окна, вместе с росистой прохладой, могучая, до дерзости звонкая, песнь соловья.

XXXIV

Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншиным, но внимательно следила

[1] Поэтическая натура *(франц.)*.
[2] и потом *(франц.)*.
[3] в крупном масштабе *(франц.)*.

за ним и вся была на стороне Лаврецкого. Политика ее занимала очень мало; но самонадеянный тон светского чиновника (он никогда еще так не высказывался) ее отталкивал; его презрение к России ее оскорбило. Лизе и в голову не приходило, что она патриотка; но ей было по душе с русскими людьми; русский склад ума ее радовал; она, не чинясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним, как с ровней, без всякого барского снисхождения. Лаврецкий всё это чувствовал: он бы не стал возражать одному Паншину; он говорил только для Лизы. Друг другу они ничего не сказали, даже глаза их редко встречались; но оба они поняли, что тесно сошлись в этот вечер, поняли, что и любят и не любят одно и то же. В одном только они расходились; но Лиза втайне надеялась привести его к богу. Они сидели возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за ее игрой; да они и действительно за ней следили,— а между тем у каждого из них сердце росло в груди, и ничего для них не пропадало: для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные и сном, и негой лета, и теплом. Лаврецкий отдавался весь увлекавшей его волне — и радовался; но слово не выразит того, что происходило в чистой душе девушки: оно было тайной для нее самой; пусть же оно останется и для всех тайной. Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как, призванное к жизни и расцветанию, наливается и зреет зерно в лоне земли.

Пробило десять часов. Марфа Тимофеевна отправилась к себе наверх с Настасьей Карповной; Лаврецкий и Лиза прошлись по комнате, остановились перед раскрытой дверью сада, взглянули в темную даль, потом друг на друга — и улыбнулись; так, кажется, взялись бы они за руки, наговорились бы досыта. Они вернулись к Марье Дмитриевне и к Паншину, у которых пикет затянулся. Последний «король» кончился наконец, и хозяйка встала, кряхтя и охая, с обложенного подушками кресла; Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны руку, заметил, что иным счастливцам теперь ничто не мешает спать или наслаждаться ночью, а ему придется до утра просидеть над глупыми бумагами, холодно раскланялся с Лизой (он не ожидал, что в ответ на его предложение она попросит подождать,— и потому дулся на нее) — и удалился. Лаврецкий отправился вслед за ним. У ворот они расстались; Паншин разбудил своего

кучера, толкнув его концом палки в шею, сел на дрожки и покатил. Лаврецкому не хотелось идти домой: он вышел из города в поле. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было; Лаврецкий долго бродил по росистой траве; узкая тропинка попалась ему; он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке; он попытался, сам не зная зачем, толкнуть ее: она слабо скрыпнула и отворилась, словно ждала прикосновения его руки. Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении: он узнал сад Калитиных.

Он тотчас же вошел в черное пятно тени, падавшей от густого орехового куста, и долго стоял неподвижно, дивясь и пожимая плечами.

«Это недаром»,— подумал он.

Всё было тихо кругом; со стороны дома не приносилось никакого звука. Он осторожно пошел вперед. Вот, на повороте аллеи, весь дом вдруг глянул на него своим темным фасом; в двух только окнах наверху мерцал свет: у Лизы горела свеча за белым занавесом, да у Марфы Тимофеевны в спальне перед образом теплилась красным огоньком лампадка, отражаясь ровным сиянием на золоте оклада; внизу дверь на балкон широко зевала, раскрытая настежь. Лаврецкий сел на деревянную скамейку, подперся рукою и стал глядеть на эту дверь да на окно Лизы. В городе пробило полночь; в доме маленькие часики тонко прозвенели двенадцать; сторож дробно поколотил по доске. Лаврецкий ничего не думал, ничего не ждал; ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы, сидеть в ее саду на скамейке, где и она сидела не однажды... Свет исчез в Лизиной комнате. «Спокойной ночи, моя милая девушка»,— прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна.

Вдруг свет появился в одном из окон нижнего этажа, перешел в другое, в третье... Кто-то шел со свечкой по комнатам. «Неужели Лиза? Не может быть!..» Лаврецкий приподнялся... Мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. В белом платье, с нерасплетенными косами по плечам, она тихонько подошла к столу, нагнулась над ним, поставила свечку и чего-то поискала; потом, обернувшись лицом к саду, она приблизилась к раскрытой двери и, вся белая, легкая, стройная, остановилась на пороге. Трепет пробежал по членам Лаврецкого.

— Лиза! — сорвалось едва внятно с его губ.

Она вздрогнула и начала всматриваться в темноту.

— Лиза! — повторил Лаврецкий громче и вышел из тени аллеи.

Лиза с испугом вытянула голову и пошатнулась назад: она узнала его. Он назвал ее в третий раз и протянул к ней руки. Она отделилась от двери и вступила в сад.

— Вы? — проговорила она.— Вы здесь?

— Я... я... выслушайте меня,— прошептал Лаврецкий и, схватив ее руку, повел ее к скамейке.

Она шла за ним без сопротивления; ее бледное лицо, неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление. Лаврецкий посадил ее на скамейку и сам стал перед ней.

— Я не думал прийти сюда,— начал он,— меня привело... Я... я... я люблю вас,— произнес он с невольным ужасом.

Лиза медленно взглянула на него; казалось, она только в это мгновение поняла, где она и что с нею. Она хотела подняться, не могла и закрыла лицо руками.

— Лиза,— произнес Лаврецкий,— Лиза,— повторил он и склонился к ее ногам...

Ее плечи начали слегка вздрагивать, пальцы бледных рук крепче прижались к лицу.

— Что с вами? — промолвил Лаврецкий и услышал тихое рыдание. Сердце его захолонуло... Он понял, что значили эти слезы.— Неужели вы меня любите? — прошептал он и коснулся ее коленей.

— Встаньте,— послышался ее голос,— встаньте, Федор Иваныч. Что мы это делаем с вами?

Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами.

— Мне страшно; что это мы делаем? — повторила она.

— Я вас люблю,— проговорил он снова,— я готов отдать вам всю жизнь мою.

Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу.

— Это всё в божьей власти,— промолвила она.

— Но вы меня любите, Лиза? Мы будем счастливы?

Она опустила глаза; он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечо... Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ.

Полчаса спустя Лаврецкий стоял уже перед калиткой сада. Он нашел ее запертою и принужден был перепрыгнуть через забор. Он вернулся в город и пошел по заснувшим улицам. Чувство неожиданной, великой радости наполняло его душу; все сомнения в нем замерли. «Исчезни, прошедшее, темный призрак,— думал он,— она меня любит, она будет моя». Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головою разлились какие-то дивные, торжествующие звуки; он остановился: звуки загремели еще великолепней; певучим, сильным потоком струились они,— и в них, казалось, говорило и пело всё его счастье. Он оглянулся: звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома.

— Лемм! — вскрикнул Лаврецкий и побежал к дому.— Лемм! Лемм! — повторил он громко.

Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке, с раскрытой грудью и растрепанными волосами, показалась в окне.

— Ага! — проговорил он с достоинством,— это вы?

— Христофор Федорыч, что это за чудная музыка! Ради бога, впустите меня.

Старик, ни слова не говоря, величественным движением руки кинул из окна ключ от двери на улицу. Лаврецкий проворно вбежал наверх, вошел в комнату и хотел было броситься к Лемму; но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски: «Садитесь и слушить»; сам сел за фортепьяно, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного: сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял, похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем любви; они сами пылали любовью. «Повторите»,— прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди и, проговорив, не спеша, на родном своем языке: «Это я сделал, ибо я великий музыкант»,— снова сыграл свою чудную композицию. В комнате не было свечей; свет поднявшейся луны косо падал в окна; звонко трепетал чуткий воздух; маленькая, бедная комнатка казалась святилищем, и высоко

и вдохновенно поднималась в серебристой полутьме голова старика. Лаврецкий подошел к нему и обнял его. Сперва Лемм не отвечал на его объятие, даже отклонил его локтем; долго, не шевелясь ни одним членом, глядел он всё так же строго, почти грубо, и только раза два промычал: «ага!» Наконец его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и он, в ответ на горячие поздравления Лаврецкого, сперва улыбнулся немного, потом заплакал, слабо всхлипывая, как дитя.

— Это удивительно,— сказал он,— что вы именно теперь пришли; но я знаю, всё знаю.

— Вы всё знаете? — произнес с смущением Лаврецкий.

— Вы меня слышали,— возразил Лемм,— разве вы не поняли, что я всё знаю?

Лаврецкий до утра не мог заснуть; он всю ночь просидел на постели. И Лиза не спала: она молилась.

XXXV

Читатель знает, как вырос и развивался Лаврецкий; скажем несколько слов о воспитании Лизы. Ей минул десятый год, когда отец ее умер; но он мало занимался ею. Заваленный делами, постоянно озабоченный приращением своего состояния, желчный, резкий, нетерпеливый, он не скупясь давал деньги на учителей, гувернеров, на одежду и прочие нужды детей; но терпеть не мог, как он выражался, нянчиться с писклятами,— да и некогда ему было нянчиться с ними: он работал, возился с делами, спал мало, изредка играл в карты, опять работал; он сам себя сравнивал с лошадью, запряженной в молотильную машину. «Скоренько жизнь моя проскочила»,— промолвил он на смертном одре с горькой усмешкой на высохших губах. Марья Дмитриевна, в сущности, не много больше мужа занималась Лизой, хотя она и хвасталась перед Лаврецким, что одна воспитала детей своих; она одевала ее, как куколку, при гостях гладила ее по головке и называла в глаза умницей и душкой — и только: ленивую барыню утомляла всякая постоянная забота. При жизни отца Лиза находилась на руках гувернантки, девицы Моро́ из Парижа; а после его смерти поступила в ведение Марфы Тимофеевны. Марфу Тимофеевну читатель знает; а девица Моро́ была крошечное сморщенное существо с птичьими ухватками и птичьим умишком. В молодости она вела жизнь очень рассеянную, а под старость у ней

осталась только две страсти — к лакомству да к картам. Когда она была сыта, не играла в карты и не болтала,— лицо у ней тотчас принимало выражение почти мертвенное: сидит, бывало, смотрит, дышит — и так и видно, что никакой мысли не пробегает в голове. Ее даже нельзя было назвать доброю: не бывают же добры птицы. Вследствие ли легкомысленно проведенной молодости, от парижского ли воздуха, которым она надышалась с детства,— в ней гнездилось что-то вроде всеобщего дешевенького скептицизма, выражавшегося обыкновенно словами: «Tout ça c'est des bêtises»[1]. Она говорила неправильным, но чисто парижским жаргоном, не сплетничала и не капризничала — чего же больше можно желать от гувернантки? На Лизу она имела мало влияния; тем сильнее было влияние на нее ее няни, Агафьи Власьевны.

Судьба этой женщины была замечательна. Она происходила из крестьянского семейства; шестнадцати лет ее выдали за мужика; но от своих сестер-крестьянок она отличалась резко. Отец ее лет двадцать был старостой, нажил денег много и баловал ее. Красавица она была необыкновенная, первая щеголиха по всему околотку, умница, речистая, смелая. Ее барин, Дмитрий Пестов, отец Марьи Дмитриевны, человек скромный и тихий, увидал ее однажды на молотьбе, поговорил с ней и страстно в нее влюбился. Она скоро овдовела; Пестов, хотя и женатый был человек, взял ее к себе в дом, одел ее подворовому. Агафья тотчас освоилась с новым своим положением, точно она век свой иначе не жила. Она побелела, пополнела; руки у ней под кисейными рукавами стали «крупичатые», как у купчихи; самовар не сходил со стола; кроме шелку да бархату она ничего носить не хотела, спала на пуховых перинах. Лет пять продолжалась эта блаженная жизнь, но Дмитрий Пестов умер; вдова его, барыня добрая, жалея память покойника, не хотела поступить с своей соперницей нечестно, тем более что Агафья никогда перед ней не забывалась; однако выдала ее за скотника и сослала с глаз долой. Прошло года три. Раз как-то, в жаркий летний день, барыня заехала к себе на скотный двор. Агафья попотчевала ее такими славными холодными сливками, так скромно себя держала и сама была такая опрятная, веселая, всем до-

[1] «Всё это глупости» *(франц.)*.

100.

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». СТРАНИЦА АВТОГРАФА.

Национальная библиотека, Париж.

вольная, что барыня объявила ей прощение и позволила ходить в дом; а месяцев через шесть так к ней привязалась, что произвела ее в экономки и поручила ей всё хозяйство. Агафья опять вошла в силу, опять раздобрела и побелела; барыня совсем ей вверилась. Так прошло еще лет пять. Несчастье вторично обрушилось на Агафью. Муж ее, которого она вывела в лакеи, запил, стал пропадать из дому и кончил тем, что украл шесть господских серебряных ложек и запрятал их — до случая — в женин сундук. Это открылось. Его опять повернули в скотники, а на Агафью наложили опалу; из дома ее не выгнали, но разжаловали из экономок в швеи и велели ей вместо чепца носить на голове платок. К удивлению всех, Агафья с покорным смирением приняла поразивший ее удар. Ей уже было тогда за тридцать лет, дети у ней все померли, и муж жил недолго. Пришла ей пора опомниться: она опомнилась. Она стала очень молчалива и богомольна, не пропускала ни одной заутрени, ни одной обедни, раздарила все свои хорошие платья. Пятнадцать лет провела она тихо, смиренно, степенно, ни с кем не ссорясь, всем уступая. Нагрубит ли ей кто — она только поклонится и поблагодарит за учение. Барыня давно ей простила, и опалу сложила с нее, и с своей головы чепец подарила; но она сама не захотела снять свой платок и всё ходила в темном платье; а после смерти барыни она стала еще тише и ниже. Русский человек боится и привязывается легко; но уважение его заслужить трудно: дается оно не скоро и не всякому. Агафью все в доме очень уважали; никто и не вспоминал о прежних грехах, словно их вместе с старым барином в землю похоронили.

Сделавшись мужем Марьи Дмитриевны, Калитин хотел было поручить Агафье домашнее хозяйство; но она отказалась «ради соблазна»; он прикрикнул на нее: она низко поклонилась и вышла вон. Умный Калитин понимал людей; он и Агафью понял и не забыл ее. Переселившись в город, он, с ее согласия, приставил ее в качестве няни к Лизе, которой только что пошел пятый год.

Лизу сперва испугало серьезное и строгое лицо новой няни: но она скоро привыкла к ней и крепко полюбила. Она сама была серьезный ребенок; черты ее напоминали резкий и правильный облик Калитина; только глаза у ней были не отцовские; они светились тихим вниманием и добротой, что редко в детях. Она в куклы

Часть первая. Стр.

Глава I-ая — 1.
Глава II-ая — 8. 7.
Глава III-ая — 15. 7.
Глава IV-ая — 16. 1.
Глава V-ая — 25. 9.
Глава VI-ая — 30. 5.
Глава VII-ая — 37. 7.
Глава VIII-ая — 45. 8.
Глава IX-ая — 56. 11.
Глава X-ая — 61. 5.
Глава XI-ая — 70. 9.
Глава XII-ая — 76. 6
Глава XIII-ая — 89. 13.
Глава XIV-ая — 98. 9.
Глава XV-ая — 101. 3.
Глава XVI-ая — 106 5.
Глава XVII-ая — 111. 5
Глава XVIII-ая — 115. 4.
Глава XIX-ая — 122. 7.

Часть вторая.

Глава I-ая — 131. 9.
Глава II-ая — 137. 6
Глава III-ая — 144. 7.
(Глава XV-ая (первой част.) — 149. 5).
Глава IV-ая — 151. 2.
Глава V-ая — 154. 3.
Глава VI-ая — 160. 7.
Глава VII-ая — 168. 8
Глава VIII-ая — 173. 5.
Глава IX-ая — 178. 5
Глава X-ая — 183. 5.
Глава XI-ая — 193. 10.
Глава XII-ая — 200. 7.

NB. Перемещение см. во втор.-книж.

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». ОГЛАВЛЕНИЕ В АВТОГРАФЕ.
Национальная библиотека, Париж.

не любила играть, смеялась не громко и не долго, держалась чинно. Она задумывалась не часто, но почти всегда недаром: помолчав немного, она обыкновенно кончала тем, что обращалась к кому-нибудь старшему с вопросом, показывавшим, что голова ее работала над новым впечатлением. Она очень скоро перестала картавить и уже на четвертом году говорила совершенно чисто. Отца она боялась; чувство ее к матери было неопределенно,— она не боялась ее и не ласкалась к ней; впрочем, она и к Агафье не ласкалась, хотя только ее одну и любила. Агафья с ней не расставалась. Странно было видеть их вдвоем. Бывало, Агафья, вся в черном, с темным платком на голове, с похудевшим, как воск прозрачным, но всё еще прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо и вяжет чулок; у ног ее, на маленьком креслице, сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья; а Агафья рассказывает ей не сказки: мерным и ровным голосом рассказывает она житие пречистой девы, житие отшельников, угодников божиих, святых мучениц; говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду,— и царей не боялись, Христа исповедовали; как им птицы небесные корм носили и звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. «Желтофиоли?» — спросила однажды Лиза, которая очень любила цветы... Агафья говорила с Лизой важно и смиренно, точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такие высокие и святые слова. Лиза ее слушала — и образ вездесущего, всезнающего бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым, благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным. Агафья и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайком к заутрене; Лиза шла за ней на цыпочках, едва дыша; холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, самая таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку,— вся эта смесь запрещенного, странного, святого потрясала девочку, проникала в самую глубь ее существа. Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бранила за шалости. Когда она бывала чем недовольна, она только молчала; и Лиза понимала это молчание; с быстрой прозорливостью ребенка она так же хорошо понимала, когда Агафья была

недовольна другими — Марьей ли Дмитриевной, самим ли Калитиным. Года три с небольшим ходила Агафья за Лизой; девица Моро́ ее сменила; но легкомысленная француженка с своими сухими ухватками да восклицанием: «Tout ça c'est des bêtises» — не могла вытеснить из сердца Лизы ее любимую няню: посеянные семена пустили слишком глубокие корни. Притом Агафья, хотя и перестала ходить за Лизой, осталась в доме и часто видалась с своей воспитанницей, которая ей верила по-прежнему.

Агафья, однако, не ужилась с Марфой Тимофеевной, когда та переехала в калитинский дом. Строгая важность бывшей «панёвницы» не нравилась нетерпеливой и самовольной старушке. Агафья отпросилась на богомолье и не вернулась. Ходили темные слухи, будто она удалилась в раскольничий скит. Но след, оставленный ею в душе Лизы, не изгладился. Она по-прежнему шла к обедне, как на праздник, молилась с наслажденьем, с каким-то сдержанным и стыдливым порывом, чему Марья Дмитриевна втайне немало дивилась, да и сама Марфа Тимофеевна, хотя ни в чем не стесняла Лизу, однако старалась умерить ее рвение и не позволяла ей класть лишние земные поклоны: не дворянская, мол, это замашка. Училась Лиза хорошо, то есть усидчиво; особенно блестящими способностями, большим умом ее бог не наградил; без труда ей ничего не давалось. Она хорошо играла на фортепьяно; но один Лемм знал, чего ей это стоило. Читала она немного; у ней не было «своих слов», но были свои мысли, и шла она своей дорогой. Недаром походила она на отца: он тоже не спрашивал у других, что ему делать. Так росла она — покойно, неторопливо, так достигла девятнадцатилетнего возраста. Она была очень мила, сама того не зная. В каждом ее движенье высказывалась невольная, несколько неловкая грация; голос ее звучал серебром нетронутой юности; малейшее ощущение удовольствия вызывало привлекательную улыбку на ее губы, придавало глубокий блеск и какую-то тайную ласковость ее засветившимся глазам. Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности; она любила одного бога восторженно, робко, нежно. Лаврецкий первый нарушил ее тихую внутреннюю жизнь.

Такова была Лиза.

XXXVI

На следующий день, часу в двенадцатом, Лаврецкий отправился к Калитиным. На дороге он встретил Паншина, который проскакал мимо его верхом, нахлобучив шляпу на самые брови. У Калитиных Лаврецкого не приняли — в первый раз с тех пор, как он с ними познакомился. Марья Дмитриевна «почивали»,— так доложил лакей; у «них» голова болела. Марфы Тимофеевны и Лизаветы Михайловны не было дома. Лаврецкий походил около сада в смутной надежде встретиться с Лизой, но не увидал никого. Он вернулся через два часа и получил тот же ответ, причем лакей как-то косо посмотрел на него. Лаврецкому показалось неприличным наведываться в тот же день в третий раз — и он решился съездить в Васильевское, где у него без того были дела. На дороге он строил различные планы, один прекраснее другого; но в сельце его тетки на него напала грусть; он вступил в разговор с Антоном; у старика, как нарочно, всё невеселые мысли на уме были. Он рассказал Лаврецкому, как Глафира Петровна перед смертью сама себя за руку укусила,— и, помолчав, сказал со вздохом: «Всяк человек, барин-батюшка, сам себе на съедение предан». Было уже поздно, когда Лаврецкий пустился в обратный путь. Вчерашние звуки охватили его, образ Лизы восстал в его душе во всей своей кроткой ясности; он умилился при мысли, что она его любит,— и подъехал к своему городскому домику успокоенный и счастливый.

Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный; тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Лицо выскочившего к нему навстречу камердинера показалось ему странным. Не отдавая себе отчета в своих впечатлениях, переступил он порог гостиной... Ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную душистую голову — и упала к его ногам... Тут только он узнал ее: эта дама была его жена.

Дыхание у него захватило... Он прислонился к стене.

— Теодор, не прогоняйте меня! — сказала она по-французски, и голос ее как ножом резанул его по сердцу.

Он глядел на нее бессмысленно и, однако, тотчас же невольно заметил, что она и побелела и отекла.

— Теодор! — продолжала она, изредка вскидывая глазами и осторожно ломая свои удивительно красивые пальцы с розовыми лощеными ногтями.— Теодор, я перед вами виновата, глубоко виновата,— скажу более, я преступница; но вы выслушайте меня, раскаяние меня мучит, я стала самой себе в тягость, я не могла более переносить мое положение; сколько раз я думала обратиться к вам, но я боялась вашего гнева: я решилась разорвать всякую связь с прошедшим... puis, j'ai été si malade, я была так больна,— прибавила она и провела рукой по лбу и по щеке,— я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти, я покинула всё; не останавливаясь, день и ночь спешила я сюда; я долго колебалась предстать пред вас, моего судью — paraître devant vous, mon juge; но я решилась, наконец, вспомнив вашу всегдашнюю доброту, ехать к вам; я узнала ваш адрес в Москве. Поверьте,— продолжала она, тихонько поднимаясь с полу и садясь на самый край кресла,— я часто думала о смерти, и я бы нашла в себе довольно мужества, чтобы лишить себя жизни — ах, жизнь теперь для меня несносное бремя! — но мысль о моей дочери, о моей Адочке, меня останавливала; она здесь, она спит в соседней комнате, бедный ребенок! Она устала — вы ее увидите: она по крайней мере перед вами не виновата, а я так несчастна, так несчастна! — воскликнула г-жа Лаврецкая и залилась слезами.

Лаврецкий пришел, наконец, в себя; он отделился от стены и повернулся к двери.

— Вы уходите? — с отчаяньем проговорила его жена,— о, это жестоко!— Не сказавши мне ни одного слова, ни одного даже упрека... Это презрение меня убивает, это ужасно!

Лаврецкий остановился.

— Что вы хотите слышать от меня? — произнес он беззвучным голосом.

— Ничего, ничего,— с живостью подхватила она,— я знаю, я не вправе ничего требовать; я не безумная, поверьте; я не надеюсь, я не смею надеяться на ваше прощение; я только осмеливаюсь просить вас, чтобы вы приказали мне, что мне делать, где мне жить. Я, как рабыня, исполню ваше приказание, какое бы оно ни было.

— Мне нечего вам приказывать,— возразил тем же голосом Лаврецкий,— вы знаете — между нами всё кончено... и теперь более, чем когда-нибудь. Вы можете жить где вам угодно; и если вам мало вашей пенсии...

— Ах, не говорите таких ужасных слов,— перебила его Варвара Павловна,— пощадите меня, хотя... хотя ради этого ангела...— И, сказавши эти слова, Варвара Павловна стремительно выбежала в другую комнату и тотчас же вернулась с маленькой, очень изящно одетой девочкой на руках. Крупные русые кудри падали ей на хорошенькое румяное личико, на большие черные заспанные глаза; она и улыбалась, и щурилась от огня, и упиралась пухлой ручонкой в шею матери.

— Ada, vois, c'est ton père [1],— проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее,— prie le avec moi [2].

— C'est ça papa [3],— залепетала девочка, картавя.

— Oui, mon enfant, n'est-ce pas que tu l'aimes? [4]

Но тут стало невмочь Лаврецкому.

— В какой это мелодраме есть совершенно такая сцена? — пробормотал он и вышел вон.

Варвара Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы, подождала около часу и, наконец, сама легла в постель.

— Eh bien, madame? [5]— спросила ее ее служанка француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет.

— Eh bien, Justine [6],— возразила она,— он очень постарел, но, мне кажется, он всё такой же добрый. Подайте мне перчатки на ночь, приготовьте к завтрашнему дню серое платье доверху; да не забудьте бараньих котлет для Ады... Правда, их здесь трудно найти; но надо постараться.

— A la guerre comme à la guerre [7],— возразила Жюстина и загасила свечку.

---

[1] Ада, смотри, это твой отец *(франц.)*.
[2] проси его вместе со мной *(франц.)*.
[3] Так это папа *(франц.)*.
[4] Да, мое дитя, не правда ли, ты его любишь? *(франц.)*.
[5] Ну как, мадам? *(франц.)*.
[6] Да так, Жюстина *(франц.)*.
[7] На войне как на войне *(франц.)*.

XXXVII

Более двух часов скитался Лаврецкий по улицам города. Пришла ему на память ночь, проведенная в окрестностях Парижа. Сердце у него надрывалось, и в голове, пустой и словно оглушенной, кружились всё одни и те же мысли, темные, вздорные, злые. «Она жива, она здесь»,— шептал он с постоянно возрождавшимся изумлением. Он чувствовал, что потерял Лизу. Желчь его душила; слишком внезапно поразил его этот удар. Как мог он так легко поверить вздорной болтовне фельетона, лоскуту бумаги? «Ну, я бы не поверил,— подумал он,— какая была бы разница? Я бы не знал, что Лиза меня любит; она сама бы этого не знала». Он не мог отогнать от себя образа, голоса, взоров своей жены... и он проклинал себя, проклинал всё на свете.

Измученный, пришел он перед утром к Лемму. Долго он не мог достучаться; наконец в окне показалась голова старика в колпаке, кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенно суровую голову, которая, двадцать четыре часа тому назад, со всей высоты своего художнического величия царски глянула на Лаврецкого.

— Что вам надо? — спросил Лемм,— я не могу каждую ночь играть, я декокт принял.

Но, видно, лицо у Лаврецкого было очень странно: старик сделал себе из руки над глазами козырек, вгляделся в своего ночного посетителя и впустил его.

Лаврецкий вошел в комнату и опустился на стул; старик остановился перед ним, запахнув полы своего пестрого, дряхлого халата, ежась и жуя губами.

— Моя жена приехала,— проговорил Лаврецкий, поднял голову и вдруг сам невольно рассмеялся.

Лицо Лемма выразило изумление, но он даже не улыбнулся, только крепче завернулся в халат.

— Ведь вы не знаете,— продолжал Лаврецкий,— я воображал... я прочел в газете, что ее уже нет на свете.

— О-о, это вы недавно прочли? — спросил Лемм.

— Недавно.

— О-о,— повторил старик и высоко поднял брови.— И она приехала?

— Приехала. Она теперь у меня; а я... я несчастный человек.

И он опять усмехнулся.

— Вы несчастный человек,— медленно повторил Лемм.

— Христофор Федорыч,— начал Лаврецкий,— возьметесь вы доставить записку?

— Гм. Можно узнать кому?

— Лизав...

— А, да, да, понимаю. Хорошо. А когда нужно будет доставить записку?

— Завтра, как можно раньше.

— Гм. Можно послать Катрин, мою кухарку. Нет, я сам пойду.

— И принесете мне ответ?

— И принесу ответ.

Лемм вздохнул.

— Да, мой бедный молодой друг; вы, точно,— несчастный молодой человек.

Лаврецкий написал два слова Лизе: он известил ее о приезде жены, просил ее назначить ему свидание,— и бросился на узенький диван лицом к стене; а старик лег на постель и долго ворочался, кашляя и отпивая глотками свой декокт.

Настало утро; оба они поднялись. Странными глазами поглядели они друг на друга. Лаврецкому хотелось в этот миг убить себя. Кухарка Катрин принесла им скверного кофе. Пробило восемь часов. Лемм надел шляпу и, сказавши, что урок он дает у Калитиных в десять часов, но что он найдет приличный предлог, отправился. Лаврецкий опять бросился на диванчик, и опять со дна его души зашевелился горестный смех. Он думал о том, как жена выгнала его из дому; он представлял себе положение Лизы, закрывал глаза и закидывал руки за голову. Наконец Лемм вернулся и принес ему клочок бумаги, на котором Лиза начертила карандашом следующие слова: «Мы сегодня не можем видеться; может быть — завтра вечером. Прощайте». Лаврецкий сухо и рассеянно поблагодарил Лемма и пошел к себе домой.

Он застал жену за завтраком; Ада, вся в буклях, в беленьком платьице с голубыми ленточками, кушала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчас встала, как только Лаврецкий вошел в комнату, и с покорностью на лице подошла к нему. Он попросил ее последовать за ним в кабинет, запер за собою дверь и начал ходить взад и вперед; она села, скромно положила одну руку на другую и принялась следить за ним своими всё еще прекрасными, хотя слегка подрисованными, глазами.

Лаврецкий долго не мог заговорить: он чувствовал, что не владел собою; он видел ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет.

— Послушайте, сударыня,— начал он наконец, тяжело дыша и по временам стискивая зубы,— нам нечего притворяться друг перед другом; я вашему раскаянию не верю; да если бы оно и было искренно, сойтись снова с вами, жить с вами — мне невозможно.

Варвара Павловна сжала губы и прищурилась. «Это отвращение,— подумала она,— кончено! я для него даже не женщина».

— Невозможно,— повторил Лаврецкий и застегнулся доверху.— Я не знаю, зачем вам угодно было пожаловать сюда: вероятно, у вас денег больше не стало.

— Увы! вы оскорбляете меня,— прошептала Варвара Павловна.

— Как бы то ни было — вы все-таки, к сожалению, моя жена. Не могу же я вас прогнать... и вот что я вам предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться в Лаврики, живите там; там, вы знаете, хороший дом; вы будете получать всё нужное, сверх пенсии... Согласны вы?

Варвара Павловна поднесла вышитый платок к лицу.

— Я вам уже сказала,— промолвила она, нервически подергивая губами,— что я на всё буду согласна, что бы вам ни угодно было сделать со мной; на этот раз остается мне спросить у вас: позволите ли вы мне по крайней мере поблагодарить вас за ваше великодушие?

— Без благодарности, прошу вас, эдак лучше,— поспешно проговорил Лаврецкий.— Стало быть,— продолжал он, приближаясь к двери,— я могу рассчитывать...

— Завтра же я буду в Лавриках,— промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь с места.— Но, Федор Иваныч (Теодором она его больше не называла)...

— Что вам угодно?

— Я знаю, я еще ничем не заслужила своего прощения; могу ли я надеяться по крайней мере, что со временем...

— Эх, Варвара Павловна,— перебил ее Лаврецкий,— вы умная женщина, да ведь и я не дурак; я знаю, что этого вам совсем не нужно. А я давно вас простил; но между нами всегда была бездна.

— Я сумею покориться,— возразила Варвара Павловна и склонила голову.— Я не забыла своей вины; я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались известию о моей смерти,— кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавший на столе, забытый Лаврецким номер журнала.

Федор Иваныч дрогнул: фельетон был отмечен карандашом. Варвара Павловна еще с бо́льшим уничижением посмотрела на него. Она была очень хороша в это мгновенье. Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий, почти семнадцатилетний стан, ее тонкая, нежная шея, окруженная белым воротничком, ровно дышавшая грудь, руки без браслетов и колец — вся ее фигура, от лоснистых волос до кончика едва выставленной ботинки, была так изящна...

Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул: «Brava!», чуть не ударил ее кулаком по темени — и удалился. Час спустя он уже отправился в Васильевское, а два часа спустя Варвара Павловна велела нанять себе лучшую карету в городе, надела простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, поручила Аду Жюстине и отправилась к Калитиным: из расспросов, сделанных ею прислуге, она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день.

XXXVIII

День приезда жены Лаврецкого в город О..., невеселый для него день, был также тягостным днем для Лизы. Не успела она сойти вниз и поздороваться с матерью, как уже под окном раздался конский топот, и она с тайным страхом увидела Паншина, въезжавшего на двор. «Он явился так рано для окончательного объяснения»,— подумала она — и не обманулась; повертевшись в гостиной, он предложил ей пойти с ним в сад и потребовал решения своей участи. Лиза собралась с духом и объявила ему, что не может быть его женой. Он выслушал ее до конца, стоя к ней боком и надвинув на лоб шляпу; вежливо, но измененным голосом спросил ее: последнее ли это ее слово и не подал ли он чем-нибудь повода к подобной перемене в ее мыслях? Потом прижал руку к глазам, коротко и отрывисто вздохнул и отдернул руку от лица.

— Я не хотел пойти по избитой дороге,— проговорил он глухо,— я хотел найти себе подругу по влечению

сердца; но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта! — Он глубоко поклонился Лизе и вернулся в дом.

Она надеялась, что он тотчас же уедет; но он пошел в кабинет к Марье Дмитриевне и около часа просидел у ней. Уходя, он сказал Лизе: «Votre mère vous appelle; adieu à jamais...» [1]— сел на лошадь и от самого крыльца поскакал во всю прыть. Лиза вошла к Марье Дмитриевне и застала ее в слезах: Паншин сообщил ей свое несчастие.

— За что ты меня убила? За что ты меня убила? — так начала свои жалобы огорченная вдова.— Кого тебе еще нужно? Чем он тебе не муж? Камер-юнкер! не интересан! Он в Петербурге на любой фрейлине мог бы жениться. А я-то, я-то надеялась! И давно ли ты к нему изменилась? Откуда-нибудь эта туча надута, не сама собой пришла. Уж не тот ли фофан? Вот нашла советчика!

— А он-то, мой голубчик,— продолжала Марья Дмитриевна,— как он почтителен, в самой печали как внимателен! Обещался не оставлять меня. Ах, я этого не перенесу! Ах, у меня голова смертельно разболелась! Пошли ко мне Палашку. Ты убьешь меня, если не одумаешься, слышишь? — И, назвав ее раза два неблагодарною, Марья Дмитриевна услала Лизу.

Она отправилась в свою комнату. Но не успела она еще отдохнуть от объяснения с Паншиным и с матерью, как на нее опять обрушилась гроза, и с такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала. Марфа Тимофеевна вошла к ней в комнату и тотчас захлопнула за собою дверь. Лицо старушки было бледно, чепец сидел набоку, глаза ее блестели, руки, губы дрожали. Лиза изумилась: она никогда еще не видала своей умной и рассудительной тетки в таком состоянии.

— Прекрасно, сударыня,— начала Марфа Тимофеевна трепетным и прерывистым шёпотом,— прекрасно! У кого ты это только выучилась, мать моя... Дай мне воды; я говорить не могу.

— Успокойтесь, тетушка, что с вами? — говорила Лиза, подавая ей стакан воды.— Ведь вы сами, кажется, не жаловали господина Паншина.

Марфа Тимофеевна отставила стакан.

— Пить не могу: зубы себе последние выбью. Какой тут Паншин? К чему тут Паншин? А ты лучше мне скажи,

---

[1] «Ваша матушка вас зовет; прощайте навсегда...» *(франц.)*.

кто тебя научил свидания по ночам назначать, а, мать моя?

Лиза побледнела.

— Ты, пожалуйста, не вздумай отговариваться,— продолжала Марфа Тимофеевна.— Шурочка сама всё видела и мне сказала. Я ей запретила болтать, а она не солжет.

— Я и не отговариваюсь, тетушка,— чуть слышно промолвила Лиза.

— А-а! Так вот как, мать моя: ты свидание ему назначила, этому старому греховоднику, смиреннику этому?

— Нет.

— Как же так?

— Я сошла вниз в гостиную за книжкой: он был в саду — и позвал меня.

— И ты пошла? Прекрасно. Да ты любишь его, что ли?

— Люблю,— отвечала тихим голосом Лиза.

— Матушки мои! она его любит!— Марфа Тимофеевна сдернула с себя чепец.— Женатого человека любит! а? любит!

— Он мне сказывал...— начала Лиза.

— Что он тебе сказывал, соколик эдакой, что-о?

— Он мне сказывал, что жена его скончалась.

Марфа Тимофеевна перекрестилась.

— Царство ей небесное,— прошептала она,— пустая была бабенка — не тем будь помянута. Вот как: вдовый он, стало быть. Да он, я вижу, на все руки. Одну жену уморил, да и за другую. Каков тихоня? Только вот что скажу тебе, племянница: в наши времена, как я молода была, девкам за такие проделки больно доставалось. Ты не сердись на меня, мать моя; за правду одни дураки сердятся. Я и отказать ему велела сегодня. Я его люблю, но этого я ему никогда не прощу. Вишь, вдовый! Дай-ка мне воды. А что ты Паншина с носом отослала, за это ты у меня молодец; только не сиди ты по ночам с этой козьей породой, с мужчинами; не сокрушай ты меня, старуху! А то ведь я не всё ласкаться — я и кусаться умею... Вдовый!

Марфа Тимофеевна ушла, а Лиза села в уголок и заплакала. Горько ей стало на душе; не заслужила она такого униженья. Не веселостью сказывалась ей любовь: во второй раз плакала она со вчерашнего вечера. В ее сердце едва только родилось то новое, нежданное чувство, и уже как тяжело поплатилась она за него, как

грубо коснулись чужие руки ее заветной тайны! Стыдно, и горько, и больно было ей: но ни сомненья, ни страха в ней не было,— и Лаврецкий стал ей еще дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала; но после того свидания, после того поцелуя — она уже колебаться не могла; она знала, что любит,— и полюбила честно, не шутя, привязалась крепко, на всю жизнь — и не боялась угроз: она чувствовала, что насилию не расторгнуть этой связи.

XXXIX

Марья Дмитриевна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Павловны Лаврецкой; она даже не знала, принять ли ее: она боялась оскорбить Федора Иваныча. Наконец любопытство превозмогло. «Что ж,— подумала она,— ведь она тоже родная,— и, усевшись в креслах, сказала лакею: — Проси!» Прошло несколько мгновений; дверь отворилась; Варвара Павловна быстро, чуть слышными шагами приблизилась к Марье Дмитриевне и, не давая ей встать с кресел, почти склонила перед ней колени.

— Благодарствуйте, тетушка,— начала она тронутым и тихим голосом по-русски,— благодарствуйте; я не надеялась на такое снисхожденье с вашей стороны; вы добры, как ангел.

Сказавши эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марьи Дмитриевны и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых жувеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам. Марья Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую, прелестно одетую женщину почти у ног своих; она не знала, как ей быть: и руку-то свою она у ней отнять хотела, и усадить-то ее она желала, и сказать ей что-нибудь ласковое; она кончила тем, что приподнялась и поцеловала Варвару Павловну в гладкий и пахучий лоб. Варвара Павловна вся сомлела под этим поцелуем.

— Здравствуйте, bonjour,— сказала Марья Дмитриевна,— конечно, я не воображала... впрочем, я, конечно, рада вас видеть. Вы понимаете, милая моя,— не мне быть судьею между женой и мужем...

— Мой муж во всем прав,— перебила ее Варвара Павловна,— я одна виновата.

— Это очень похвальные чувства,— возразила Марья Дмитриевна,— очень. Давно вы приехали? Видели вы его? Да сядьте же, пожалуйста.

— Я вчера приехала,— отвечала Варвара Павловна, смиренно садясь на стул,— я видела Федора Иваныча, я говорила с ним.

— А! Ну, и что же он?

— Я боялась, что мой внезапный приезд возбудит его гнев,— продолжала Варвара Павловна,— но он не лишил меня своего присутствия.

— То есть он не... Да, да, понимаю,— промолвила Марья Дмитриевна.— Он только с виду немного груб, а сердце у него мягкое.

— Федор Иваныч не простил меня; он не хотел меня выслушать... Но он был так добр, что назначил мне Лаврики местом жительства.

— А! прекрасное именье!

— Я завтра же отправляюсь туда, в исполнение его воли; но я почла долгом побывать прежде у вас.

— Очень, очень вам благодарна, моя милая. Родных никогда забывать не следует. А знаете ли, я удивляюсь, как вы хорошо говорите по-русски. C'est étonnant [1].

Варвара Павловна вздохнула.

— Я слишком долго пробыла за границей, Марья Дмитриевна, я это знаю; но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего отечества.

— Так, так; это лучше всего. Федор Иваныч вас, однако, вовсе не ожидал... Да; поверьте моей опытности: la patrie avant tout [2]. Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья?

— Вам она нравится? — Варвара Павловна проворно спустила ее с плеч.— Она очень простенькая, от madame Baudran.

— Это сейчас видно. От madame Baudran... Как мило и с каким вкусом! Я уверена, вы привезли с собой множество восхитительных вещей. Я бы хоть посмотрела.

— Весь мой туалет к вашим услугам, любезнейшая тетушка. Если позволите, я могу кое-что показать вашей камеристке. Со мной служанка из Парижа — удивительная швея.

---

[1] Это удивительно *(франц.)*.
[2] отечество прежде всего *(франц.)*.

— Вы очень добры, моя милая. Но, право, мне совестно.

— Совестно...— повторила с упреком Варвара Павловна.— Хотите вы меня осчастливить — распоряжайтесь мною, как вашей собственностью!

Марья Дмитриевна растаяла.

— Vous êtes charmante [1],— проговорила она.— Да что же вы не снимаете вашу шляпу, перчатки?

— Как? вы позволяете? — спросила Варвара Павловна и слегка, как бы с умиленьем, сложила руки.

— Разумеется; ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я... я вас познакомлю с моей дочерью.— Марья Дмитриевна немного смутилась. «Ну! куда ни шло!» — подумала она.— Она сегодня что-то нездорова у меня.

— О, ma tante [2], как вы добры! — воскликнула Варвара Павловна и поднесла платок к глазам.

Казачок доложил о приходе Гедеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Марья Дмитриевна представила его своей гостье. Он сперва было сконфузился; но Варвара Павловна так кокетливо-почтительно обошлась с ним, что у него ушки разгорелись, и выдумки, сплетни, любезности медом потекли с его уст. Варвара Павловна слушала его, сдержанно улыбалась и сама понемногу разговорилась. Она скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, о Бадене; раза два рассмешила Марью Дмитриевну и всякий раз потом слегка вздыхала и как будто мысленно упрекала себя в неуместной веселости; выпросила позволение привести Аду; снявши перчатки, показывала своими гладкими, вымытыми мылом à la guimauve [3] руками, как и где носятся воланы, рюши, кружева, шу; обещалась принести стклянку с новыми английскими духами: Victoria's Essence [4], и обрадовалась, как дитя, когда Марья Дмитриевна согласилась принять ее в подарок; всплакнула при воспоминании о том, какое чувство она испытала, когда в первый раз услыхала русские колокола: «Так глубоко поразили они меня в самое сердце»,— промолвила она.

В это мгновенье вошла Лиза.

---

[1] Вы очаровательны *(франц.)*.
[2] тетушка *(франц.)*.
[3] алфейным *(франц.)*.
[4] духи королевы Виктории *(англ.)*.

С утра, с самой той минуты, когда она, вся похолодев от ужаса, прочла записку Лаврецкого, Лиза готовилась к встрече с его женою; она предчувствовала, что увидит ее. Она решилась не избегать ее, в наказание своим, как она назвала их, преступным надеждам. Внезапный перелом в ее судьбе потряс ее до основания; в два каких-нибудь часа ее лицо похудело; но она и слезинки не проронила. «Поделом!» — говорила она самой себе, с трудом и волнением подавляя в душе какие-то горькие, злые, ее самое пугавшие порывы. «Ну, надо идти!» — подумала она, как только узнала о приезде Лаврецкой, и она пошла... Долго стояла она перед дверью гостиной, прежде чем решилась отворить ее; с мыслью «Я перед нею виновата» — переступила она порог и заставила себя посмотреть на нее, заставила себя улыбнуться. Варвара Павловна пошла ей навстречу, как только увидала ее, и склонилась перед ней слегка, но все-таки почтительно. «Позвольте мне рекомендовать себя,— заговорила она вкрадчивым голосом,— ваша maman так снисходительна ко мне, что я надеюсь, что и вы будете... добры». Выражение лица Варвары Павловны, когда она сказала это последнее слово, ее хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий взгляд, движение ее рук и плечей, самое ее платье, всё ее существо — возбудили такое чувство отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить и через силу протянула ей руку. «Эта барышня брезгает мною»,— подумала Варвара Павловна, крепко стискивая холодные пальцы Лизы и, обернувшись к Марье Дмитриевне, промолвила вполголоса: «Mais elle est délicieuse!» [1] Лиза слабо вспыхнула: насмешка, обида послышались ей в этом восклицании; но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвара Павловна и тут не оставила ее в покое: подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство... Сильно и болезненно забилось сердце у Лизы: она едва переломила себя, едва усидела на месте. Ей казалось, что Варвара Павловна всё знает и, тайно торжествуя, подтрунивает над ней. К счастью ее, Гедеоновский заговорил с Варварой Павловной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за нею. «Эту женщину,— думала она,— любил *он*». Но она тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком: она боялась потерять

[1] «Да она прелестна!» *(франц.)*.

власть над собою, она чувствовала, что голова у пей тихо кружилась. Марья Дмитриевна заговорила о музыке.

— Я слышала, моя милая,— начала она,— вы удивительная виртуозка.

— Я давно не играла,— возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепьяно, и бойко пробежала пальцами по клавишам.— Прикажете?

— Сделайте одолжение.

Варвара Павловна мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было очень много силы и проворства.

— Сильфида! — воскликнул Гедеоновский.

— Необыкновенно! — подтвердила Марья Дмитриевна.— Ну, Варвара Павловна, признаюсь,— промолвила она, в первый раз называя ее по имени,— удивили вы меня; вам хоть бы концерты давать. Здесь у нас есть музыкант, старик, из немцев, чудак, очень ученый; он Лизе уроки дает; тот просто от вас с ума сойдет.

— Лизавета Михайловна тоже музыкантша? — спросила Варвара Павловна, слегка обернув к ней голову.

— Да, она играет недурно и любит музыку; но что это значит перед вами? Но здесь есть еще один молодой человек; вот с кем вы должны познакомиться. Это — артист в душе и сочиняет премило. Он один может вас вполне оценить.

— Молодой человек? — проговорила Варвара Павловна.— Кто он такой? Бедный какой-нибудь?

— Помилуйте, первый кавалер у нас, да не только у нас — et à Pétersbourg. Камер-юнкер, в лучшем обществе принят. Вы, наверное, слыхали о нем: Паншин, Владимир Николаич. Он здесь по казенному поручению... будущий министр, помилуйте!

— И артист?

— Артист в душе, и такой любезный. Вы его увидите. Он всё это время очень часто у меня бывал; я пригласила его на сегодняшний вечер; *надеюсь*, что он приедет,— прибавила Марья Дмитриевна с коротким вздохом и косвенной горькой улыбкой.

Лиза поняла значение этой улыбки; но ей было не до того.

— И молодой? — повторила Варвара Павловна, слегка модулируя из тона в тон.

— Двадцати восьми лет — и самой счастливой наружности. Un jeune homme accompli [1], помилуйте.

— Образцовый, можно сказать, юноша,— заметил Гедеоновский.

Варвара Павловна внезапно заиграла шумный штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновский даже вздрогнул; в самой середине вальса она вдруг перешла в грустный мотив и кончила ариею из «Лучии»: Fra poco... [2] Она сообразила, что веселая музыка нейдет к ее положению. Ария из «Лучии», с ударениями на чувствительных нотках, очень растрогала Марью Дмитриевну.

— Какая душа,— проговорила она вполголоса Гедеоновскому.

— Сильфида!— повторил Гедеоновский и поднял глаза к небу.

Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Павловной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядела на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею; зато Марья Дмитриевна стала еще ласковей с своей гостьей: невежливость тетки ее рассердила. Впрочем, Марфа Тимофеевна не на одну Варвару Павловну не глядела: она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней. Она сидела, как каменная, вся желтая, бледная, с сжатыми губами — и не ела ничего. Лиза казалась спокойной; и точно: у ней на душе тише стало; странная бесчувственность, бесчувственность осужденного нашла на нее. За обедом Варвара Павловна говорила мало: она словно опять оробела и распространила по лицу своему выражение скромной меланхолии. Один Гедеоновский оживлял беседу своими рассказами, хотя то и дело трусливо посматривал на Марфу Тимофеевну и перхал,— перхота нападала на него всякий раз, когда он в ее присутствии собирался лгать,— но она ему не мешала, не перебивала его. После обеда оказалось, что Варвара Павловна большая любительница преферанса; Марье Дмитриевне это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя: «Какой же, однако, дурак должен быть Федор Иваныч: не умел такую женщину понять!»

---

[1] Вполне светский молодой человек *(франц.)*.

[2] Вскоре затем... *(итал.)*.

Она села играть в карты с нею и Гедеоновским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица нету, что у ней, должно быть, болит голова.

— Да, у ней ужасно голова болит,— промолвила Марья Дмитриевна, обращаясь к Варваре Павловне и закатывая глаза.— У меня самой такие бывают мигрени...

— Скажите! — возразила Варвара Павловна.

Лиза вошла в теткину комнату и в изнеможении опустилась на стул. Марфа Тимофеевна долго молча смотрела на нее, тихонько стала перед нею на колени — и начала, всё так же молча, целовать попеременно ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела — и заплакала, но не подняла Марфы Тимофеевны, не отняла своих рук: она чувствовала, что не имела права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние, участие, испросить у ней прощение за вчерашнее; и Марфа Тимофеевна не могла нацеловаться этих бедных, бледных, бессильных рук — и безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы; а кот Матрос мурлыкал в широких креслах возле клубка с чулком, продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось перед иконой; в соседней комнатке, за дверью, стояла Настасья Карповна и тоже украдкой утирала себе глаза свернутым в клубочек клетчатым носовым платком.

XL

А между тем внизу, в гостиной, шел преферанс; Марья Дмитриевна выиграла и была в духе. Человек вошел и доложил о приезде Паншина.

Марья Дмитриевна уронила карты и завозилась на кресле; Варвара Павловна посмотрела на нее с полуусмешкой, потом обратила взоры на дверь. Появился Паншин, в черном фраке, в высоких английских воротничках, застегнутый доверху. «Мне было тяжело повиноваться; но вы видите, я приехал» — вот что выражало его неулыбавшееся, только что выбритое лицо.

— Помилуйте, Вольдемар,— воскликнула Марья Дмитриевна,— прежде вы без докладу входили!

Паншин ответил Марье Дмитриевне одним только взглядом, вежливо поклонился ей, но к ручке не подошел. Она представила его Варваре Павловне; он отступил на шаг, поклонился ей так же вежливо, но с оттенком изящества и уважения, и подсел к карточному сто-

лу. Преферанс скоро кончился. Паншин осведомился о Лизавете Михайловне, узнал, что она не совсем здорова, изъявил сожаленье; потом он заговорил с Варварой Павловной, дипломатически взвешивая и отчеканивая каждое слово, почтительно выслушивая ее ответы до конца. Но важность его дипломатического тона не действовала на Варвару Павловну, не сообщалась ей. Напротив: она с веселым вниманием глядела ему в лицо, говорила развязно, и тонкие ее ноздри слегка трепетали, как бы от сдержанного смеха. Марья Дмитриевна начала превозносить ее талант; Паншин учтиво, насколько позволяли ему воротнички, наклонил голову, объявил, что «он был в этом заранее уверен»,— и завел речь чуть ли не о самом Меттернихе. Варвара Павловна прищурила свои бархатные глаза и, сказавши вполголоса: «Да ведь вы тоже артист, un confrère» [1],— прибавила еще тише: «Venez!» [2]— и качнула головой в сторону фортепьяно. Это одно брошенное слово: «Venez!»— мгновенно, как бы по волшебству, изменило всю наружность Паншина. Озабоченная осанка его исчезла; он улыбнулся, оживился, расстегнул фрак и, повторяя: «Какой я артист, увы! Вот вы, я слышал, артистка истинная»,— направился вслед за Варварой Павловной к фортепьяно.

— Заставьте его спеть романс — как луна плывет,— воскликнула Марья Дмитриевна.

— Вы поете? — промолвила Варвара Павловна, озарив его светлым и быстрым взором.— Садитесь.

Паншин стал отговариваться.

— Садитесь,— повторила она, настойчиво постучав по спинке стула.

Он сел, кашлянул, оттянул воротнички и спел свой романс.

— Charmant [3],— проговорила Варвара Павловна,— вы прекрасно поете, vous avez du style [4],— повторите.

Она обошла вокруг фортепьяно и стала прямо напротив Паншина. Он повторил романс, придавая мелодраматическое дрожание своему голосу. Варвара Павловна пристально глядела на него, облокотясь на фортепьяно и держа свои белые руки в уровень своих губ. Паншин кончил.

---

[1] собрат *(франц.)*.
[2] «Идите!» *(франц.)*.
[3] Прелестно *(франц.)*.
[4] у вас есть стиль *(франц.)*.

— Charmant, charmante idée [1],— сказала она с спокойной уверенностью знатока.— Скажите, вы написали что-нибудь для женского голоса, для mezzo-soprano?

— Я почти ничего не пишу,— возразил Паншин,— я ведь это только так, между делом... А разве вы поете?

— Пою.

— О! спойте нам что-нибудь,— проговорила Марья Дмитриевна.

Варвара Павловна отвела рукою волосы от заалевшихся щек и встряхнула головой.

— Наши голоса должны идти друг к другу,— промолвила она, обращаясь к Паншину,— споемте дуэт. Знаете ли вы Son geloso, или La ci darem, или Mira la bianca luna? [2]

— Я пел когда-то Mira la bianca luna,— отвечал Паншин,— да давно, забыл.

— Ничего, мы прорепетируем вполголоса. Пустите меня.

Варвара Павловна села за фортепьяно. Паншин стал возле нее. Они спели вполголоса дуэт, причем Варвара Павловна несколько раз его поправляла, потом спели громко, потом два раза повторили: Mira la bianca lu... u... una. Голос у Варвары Павловны утратил свежесть, но она владела им очень ловко. Паншин сперва робел и слегка фальшивил, потом вошел в азарт, и если пел не безукоризненно, то шевелил плечами, покачивал всем туловищем и поднимал по временам руку, как настоящий певец. Варвара Павловна сыграла две-три тальберговские вещицы и кокетливо «сказала» французскую ариетку. Марья Дмитриевна уже не знала, как выразить свое удовольствие; она хотела несколько раз послать за Лизой; Гедеоновский также не находил слов и только головой качал,— но вдруг неожиданно зевнул и едва успел прикрыть рот рукою. Зевок этот не ускользнул от Варвары Павловны; она вдруг повернулась спиной к фортепьяно, промолвила: «assez de musique comme ça [3], будем болтать»,— и скрестила руки. «Oui, assez de musique» [4],— весело повторил Паншин и завязал с ней разговор — бойкий, легкий, на французском языке. «Совер-

---

[1] Прелестно, прелестная идея *(франц.)*.

[2] «Я ревную»... «Дай мне (руку)»... «Смотри, вот бледная луна» *(итал.)*.

[3] ну, довольно музыки *(франц.)*.

[4] «Да, довольно музыки» *(франц.)*.

шенно как в лучшем парижском салоне»,— думала Марья Дмитриевна, слушая их уклончивые и вертлявые речи. Паншин чувствовал полное удовольствие; глаза его сияли, он улыбался; сначала он проводил рукой по лицу, хмурил брови и отрывисто вздыхал, когда ему случалось встретиться взглядами с Марьей Дмитриевной; но потом он совсем забыл о ней и отдался весь наслаждению полусветской, полухудожнической болтовни. Варвара Павловна показала себя большой философкой: на всё у ней являлся готовый ответ, она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем; заметно было, что она много и часто беседовала с умными людьми разных разборов. Все ее мысли, чувства вращались около Парижа. Паншин навел разговор на литературу; оказалось, что она, так же как и он, читала одни французские книжки; Жорж-Санд приводила ее в негодование, Бальзака она уважала, хоть он ее утомлял, в Сю и Скрибе видела великих сердцеведцев, обожала Дюма и Феваля; в душе она им всем предпочитала Поль де Кока, но, разумеется, даже имени его не упомянула. Собственно говоря, литература ее не слишком занимала. Варвара Павловна очень искусно избегала всего, что могло хотя отдаленно напомнить ее положение; о любви в ее речах и помину не было: напротив, они скорее отзывались строгостью к увлечениям страстей, разочарованьем, смирением. Паншин возражал ей; она с ним не соглашалась... Но, странное дело! — в то самое время, как из уст ее исходили слова осуждения, часто сурового, звук этих слов ласкал и нежил, и глаза ее говорили... что именно говорили эти прелестные глаза — трудно было сказать; но то были не строгие, не ясные и сладкие речи. Паншин старался понять их тайный смысл, старался сам говорить глазами, но он чувствовал, что у него ничего не выходило; он сознавал, что Варвара Павловна, в качестве настоящей, заграничной львицы, стояла выше его, а потому он и не вполне владел собою. У Варвары Павловны была привычка во время разговора чуть-чуть касаться рукава своего собеседника; эти мгновенные прикосновения очень волновали Владимира Николаича. Варвара Павловна обладала уменьем легко сходиться со всяким; двух часов не прошло, как уже Паншину казалось, что он знает ее век, а Лиза, та самая Лиза, которую он все-таки любил, которой он накануне предлагал руку,— исчезала как бы в тумане. Подали чай; разговор стал еще непри-

нужденнее. Марья Дмитриевна позвонила казачка и велела сказать Лизе, чтобы она сошла вниз, если ее голове стало легче. Паншин, услышав имя Лизы, пустился толковать о самопожертвовании, о том, кто более способен на жертвы — мужчина или женщина. Марья Дмитриевна тотчас пришла в волненье, начала утверждать, что женщина более способна, объявила, что она это в двух словах докажет, запуталась и кончила каким-то довольно неудачным сравнением. Варвара Павловна взяла тетрадь нот, до половины закрылась ею и, нагнувшись в сторону Паншина, покусывая бисквит, с спокойной улыбочкой на губах и во взоре, вполголоса промолвила: «Elle n'a pas inventé la poudre, la bonne dame» [1]. Паншин немножко испугался и удивился смелости Варвары Павловны; но он не понял, сколько презрения к нему самому таилось в этом неожиданном излиянии, и, позабыв ласки и преданность Марьи Дмитриевны, позабыв обеды, которыми она его кормила, деньги, которые она ему давала взаймы,— он с той же улыбочкой и тем же голосом возразил (несчастный!): «Je crois bien» — и даже не: «Je crois bien», а — «J'crois ben!» [2]

Варвара Павловна бросила на него дружелюбный взгляд и встала. Лиза вошла; Марфа Тимофеевна напрасно ее удерживала: она решилась выдержать испытание до конца. Варвара Павловна пошла ей навстречу вместе с Паншиным, на лице которого появилось прежнее дипломатическое выражение.

— Как ваше здоровье? — спросил он Лизу.

— Мне лучше теперь, благодарствуйте,— отвечала она.

— А мы здесь немного занялись музыкой; жаль, что вы не слыхали Варвары Павловны. Она поет превосходно, en artiste consommée [3].

— Пойдите-ка сюда, ma chère [4],— раздался голос Марьи Дмитриевны.

Варвара Павловна тотчас, с покорностью ребенка, подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног. Марья Дмитриевна позвала ее для того, чтобы оставить, хотя на мгновенье, свою дочь наедине с Паншиным: она всё еще втайне надеялась, что она опомнится. Кроме

---

[1] «Она не изобрела пороха, эта милая дама» *(франц.)*.
[2] «Да, я думаю» *(франц.)*.
[3] как законченная артистка *(франц.)*.
[4] моя дорогая *(франц.)*.

того, ей в голову пришла мысль, которую ей непременно захотелось тотчас высказать.

— Знаете ли,— шепнула она Варваре Павловне,— я хочу попытаться помирить вас с вашим мужем; не отвечаю за успех, но попытаюсь. Он меня, вы знаете, очень уважает.

Варвара Павловна медленно подняла глаза на Марью Дмитриевну и красиво сложила руки.

— Вы были бы моей спасительницей, ma tante,— проговорила она печальным голосом,— я не знаю, как благодарить вас за все ваши ласки; но я слишком виновата перед Федором Иванычем; он простить меня не может.

— Да разве вы... в самом деле...— начала было с любопытством Марья Дмитриевна...

— Не спрашивайте меня,— перебила ее Варвара Павловна и потупилась.— Я была молода, легкомысленна... Впрочем, я не хочу оправдываться.

— Ну, все-таки, отчего же не попробовать? Не отчаивайтесь,— возразила Марья Дмитриевна и хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в лицо — и оробела. «Скромна, скромна,— подумала она,— а уж точно львица».

— Вы больны? — говорил между тем Паншин Лизе.

— Да, я нездорова.

— Я понимаю вас,— промолвил он после довольно продолжительного молчания.— Да, я понимаю вас.

— Как?

— Я понимаю вас,— повторил значительно Паншин, который просто не знал, что сказать.

Лиза смутилась, а потом подумала: «Пусть!» Паншин принял таинственный вид и умолк, с строгостью посматривая в сторону.

— Однако уже, кажется, одиннадцать часов пробило,— заметила Марья Дмитриевна.

Гости поняли намек и начали прощаться. Варвара Павловна должна была обещать, что приедет обедать на следующий день и привезет Аду; Гедеоновский, который чуть было не заснул, сидя в углу, вызвался ее проводить до дому. Паншин торжественно раскланялся со всеми, а на крыльце, подсаживая Варвару Павловну в карету, пожал ей руку и закричал вслед: «Au revoir!» [1] Гедеонов-

---

[1] «До свидания!» *(франц.)*.

ский сел с ней рядом; она всю дорогу забавлялась тем, что ставила, будто не нарочно, кончик своей ножки на его ногу; он конфузился, говорил ей комплименты; она хихикала и делала ему глазки, когда свет от уличного фонаря западал в карету. Сыгранный ею самою вальс звенел у ней в голове, волновал ее; где бы она ни находилась, стоило ей только представить себе огни, бальную залу, быстрое круженье под звуки музыки — и душа в ней так и загоралась, глаза странно меркли, улыбка блуждала на губах, что-то грациозно-вакхическое разливалось по всему телу. Приехавши домой, Варвара Павловна легко выскочила из кареты — только львицы умеют так выскакивать,— обернулась к Гедеоновскому и вдруг расхохоталась звонким хохотом прямо ему в нос.

«Любезная особа,— думал статский советник, пробираясь к себе на квартиру, где ожидал его слуга со стклянкой оподельдока,— хорошо, что я степенный человек... только чему ж она смеялась?»

Марфа Тимофеевна всю ночь просидела у изголовья Лизы.

XLI

Лаврецкий провел полтора дня в Васильевском и почти всё время пробродил по окрестностям. Он не мог оставаться долго на одном месте: тоска его грызла; он испытывал все терзанья непрестанных, стремительных и бессильных порывов. Вспомнил он чувство, охватившее его душу на другой день после приезда в деревню; вспомнил свои тогдашние намерения и сильно негодовал на себя. Что могло оторвать его от того, что он признал своим долгом, единственной задачей своей будущности? Жажда счастья — опять-таки жажда счастья! «Видно, Михалевич прав,— думал он.— Ты захотел вторично изведать счастья в жизни,— говорил он сам себе,— ты позабыл, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посетит человека. Оно не было полно, оно было ложно, скажешь ты; да предъяви же свои права на полное, истинное счастье! Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон мужик едет на косьбу; может быть, он доволен своей судьбою... Что ж? захотел ли бы ты поменяться с ним? Вспомни мать свою: как ничтожно малы были ее требования, и какова выпала ей доля? Ты, видно, только похвастался перед Паншиным, когда сказал ему, что при-

ехал в Россию затем, чтобы пахать землю; ты приехал волочиться на старости лет за девочками. Пришла весть о твоей свободе, и ты всё бросил, всё забыл, ты побежал, как мальчик за бабочкой...» Образ Лизы беспрестанно представлялся ему посреди его размышлений; он с усилием изгонял его, как и другой неотвязный образ, другие, невозмутимо-лукавые, красивые и ненавистные черты. Старик Антон заметил, что барину не по себе; вздохнувши несколько раз за дверью да несколько раз на пороге, он решился подойти к нему, посоветовал ему напиться чего-нибудь тепленького. Лаврецкий закричал на него, велел ему выйти, а потом извинился перед ним; но Антон от этого еще больше опечалился. Лаврецкий не мог сидеть в гостиной: ему так и чудилось, что прадед Андрей презрительно глядит с полотна на хилого своего потомка. «Эх ты! мелко плаваешь!» — казалось, говорили его набок скрученные губы. «Неужели же,— думал он,— я не слажу с собою, поддамся этому... вздору?» (Тяжело раненные на войне всегда называют «вздором» свои раны. Не обманывать себя человеку — не жить ему на земле.) «Мальчишка я, что ли, в самом деле? Ну да: увидал вблизи, в руках почти держал возможность счастия на всю жизнь — оно вдруг исчезло; да ведь и в лотерее — повернись колесо еще немного, и бедняк, пожалуй, стал бы богачом. Не бывать, так не бывать — и кончено. Возьмусь за дело, стиснув зубы, да и велю себе молчать; благо, мне не в первый раз брать себя в руки. И для чего я бежал, зачем сижу здесь, забивши, как страус, голову в куст? Страшно беде в глаза взглянуть — вздор!» — Антон! — закричал он громко,— прикажи сейчас закладывать тарантас. «Да,— подумал он опять,— надо велеть себе молчать, надо взять себя в ежовые рукавицы...»

Такими-то рассуждениями старался помочь Лаврецкий своему горю, но оно было велико и сильно; и сама выжившая не столько из ума, сколько изо всякого чувства, Апраксея покачала головой и печально проводила его глазами, когда он сел в тарантас, чтобы ехать в город. Лошади скакали; он сидел неподвижно и прямо, и неподвижно глядел вперед на дорогу.

XLII

Лиза накануне написала Лаврецкому, чтобы он явился к ним вечером; но он сперва отправился к себе на

квартиру. Он не застал дома ни жены, ни дочери; от людей он узнал, что она отправилась с ней к Калитиным. Это известие и поразило его и взбесило. «Видно, Варвара Павловна решилась не давать мне жить»,— подумал он с волнением злобы на сердце. Он начал ходить взад и вперед, беспрестанно отталкивая ногами и руками попадавшиеся ему детские игрушки, книжки, разные женские принадлежности; он позвал Жюстину и велел ей убрать весь этот «хлам». «Oui, monsieur» [1],— сказала она с ужимкой и начала прибирать комнату, грациозно наклоняясь и каждым своим движением давая Лаврецкому чувствовать, что она считает его за необтесанного медведя. С ненавистью смотрел он на ее истасканное, но все еще «пикантное», насмешливое, парижское лицо, на ее белые нарукавнички, шелковый фартук и легкий чепчик. Он услал ее, наконец, и после долгих колебаний (Варвара Павловна всё не возвращалась) решился отправиться к Калитиным,— не к Марье Дмитриевне (он бы ни за что не вошел в ее гостиную, в ту гостиную, где находилась его жена), но к Марфе Тимофеевне; он вспомнил, что задняя лестница с девичьего крыльца вела прямо к ней. Лаврецкий так и сделал. Случай помог ему: он на дворе встретил Шурочку; она провела его к Марфе Тимофеевне. Он застал ее, против ее обыкновения, одну; она сидела в уголку, простоволосая, сгорбленная, с скрещенными на груди руками. Увидев Лаврецкого, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда и сюда по комнате, как будто отыскивая свой чепец.

— А, вот ты, вот,— заговорила она, избегая его взора и суетясь,— ну, здравствуй. Ну, что ж? Что же делать? Где ты был вчера? Ну, она приехала, ну да. Ну, надо уж так... как-нибудь.

Лаврецкий опустился на стул.

— Ну, садись, садись,— продолжала старушка.— Ты прямо наверх прошел? Ну да, разумеется. Что ж? ты на меня пришел посмотреть? Спасибо.

Старушка помолчала; Лаврецкий не знал, что сказать ей; но она его понимала.

— Лиза... да, Лиза сейчас здесь была,— продолжала Марфа Тимофеевна, завязывая и развязывая шнурки своего ридикюля.— Она не совсем здорова. Шурочка,

---

[1] «Да, сударь» *(франц.)*.

где ты? Поди сюда, мать моя, что это ты посидеть не можешь? И у меня голова болит. Должно быть, от *эфтого* от пенья да от музыки.

— От какого пенья, тетушка?

— Да как же; тут уж эти как, бишь, они по-вашему, дуэты пошли. И всё по-итальянски: *чи-чи* да *ча-ча*, настоящие сороки. Начнут ноты выводить, просто так за душу и тянут. Паншин этот да вот твоя. И как это всё скоро уладилось: уж точно по-родственному, без церемоний. А впрочем, и то сказать: собака — и та пристанища ищет, не пропадать же, благо люди не гонят.

— Все-таки, признаюсь, я этого не ожидал,— возразил Лаврецкий,— тут смелость нужна была большая.

— Нет, душа моя, это не смелость, это расчет. Да господь с ней! Ты ее, говорят, в Лаврики посылаешь, правда?

— Да, я предоставляю это именье Варваре Павловне.

— Денег спрашивала?

— Пока еще нет.

— Ну, это не затянется. А я тебя только теперь разглядела. Здоров ты?

— Здоров.

— Шурочка,— воскликнула вдруг Марфа Тимофеевна,— поди-ка скажи Лизавете Михайловне — то есть, нет, спроси у ней... ведь она внизу?

— Внизу-с.

— Ну да; так спроси у ней: куда, мол, она мою книжку дела? Она уж знает.

— Слушаю-с.

Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики в комоде. Лаврецкий сидел неподвижно на своем стуле.

Вдруг послышались легкие шаги по лестнице — и вошла Лиза.

Лаврецкий встал и поклонился; Лиза остановилась у двери.

— Лиза, Лизочка,— хлопотливо заговорила Марфа Тимофеевна,— куда ты мою книжку, книжку куда положила?

— Какую книжку, тетенька?

— Да книжку, боже мой! Я тебя, впрочем, не звала... Ну, всё равно. Что вы там внизу делаете? Вот и Федор Иваныч приехал. Что твоя голова?

— Ничего.

— Ты всё говоришь: ничего. Что у вас там внизу, опять музыка?

— Нет — в карты играют.

— Да, ведь она на все руки. Шурочка, я вижу, тебе по саду бегать хочется. Ступай.

— Да нет, Марфа Тимофеевна...

— Не рассуждай, пожалуйста, ступай. Настасья Карповна в сад пошла одна: ты с ней побудь. Уважь старуху.— Шурочка вышла.— Да где ж это мой чепец? Куда это он делся, право?

— Позвольте, я поищу,— промолвила Лиза.

— Сиди, сиди; у меня самой ноги еще не отвалились. Должно быть, он у меня там в спальне.

И, бросив исподлобья взор на Лаврецкого, Марфа Тимофеевна удалилась. Она оставила было дверь отворенной, но вдруг вернулась к ней и заперла ее.

Лиза прислонилась к спинке кресла и тихо занесла себе руки на лицо; Лаврецкий остался, где был.

— Вот как мы должны были увидеться,— проговорил он наконец.

Лиза приняла руки от лица.

— Да,— сказала она глухо,— мы скоро были наказаны.

— Наказаны,— проговорил Лаврецкий.— За что же вы-то наказаны?

Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали; они казались меньше и тусклей. Лицо ее было бледно; слегка раскрытые губы тоже побледнели.

Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви.

— Вы мне написали: всё кончено,— прошептал он,— да, всё кончено — прежде чем началось.

— Это всё надо забыть,— проговорила Лиза,— я рада, что вы пришли; я хотела вам написать, но этак лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иваныч, должны примириться с вашей женой.

— Лиза!

— Я вас прошу об этом; этим одним можно загладить... всё, что было. Вы подумаете — и не откажете мне.

— Лиза, ради бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать всё, что вы прикажете; но *теперь* примириться с нею!.. Я согласен на всё, я всё забыл; но не

могу же я заставить свое сердце... Помилуйте, это жестоко!

— Я не требую от вас... того, что вы говорите; не живите с ней, если вы не можете; но примиритесь,— возразила Лиза и снова занесла руку на глаза.— Вспомните вашу дочку; сделайте это для меня.

— Хорошо,— проговорил сквозь зубы Лаврецкий,— это я сделаю, положим; этим я исполню свой долг. Ну, а вы — в чем же ваш долг состоит?

— Про это я знаю.

Лаврецкий вдруг встрепенулся.

— Уж не собираетесь ли вы выйти за Паншина? — спросил он.

Лиза чуть заметно улыбнулась.

— О нет! — промолвила она.

— Ах, Лиза, Лиза! — воскликнул Лаврецкий,— как бы мы могли быть счастливы!

Лиза опять взглянула на него.

— Теперь вы сами видите, Федор Иваныч, что счастье зависит не от нас, а от бога.

— Да, потому что вы...

Дверь из соседней комнаты быстро растворилась, и Марфа Тимофеевна вошла с чепцом в руке.

— Насилу нашла,— сказала она, становясь между Лаврецким и Лизой.— Сама его заложила. Вот что значит старость-то, беда! А впрочем, и молодость не лучше. Что, ты сам с женой в Лаврики поедешь? — прибавила она, оборотясь к Федору Иванычу.

— С нею в Лаврики? я? Не знаю,— промолвил он, погодя немного.

— Ты вниз не сойдешь?

— Сегодня — нет.

— Ну, хорошо, как знаешь; а тебе, Лиза, я думаю, надо бы вниз пойти. Ах, батюшки-светы, я и забыла снегирю корму насыпать. Да вот постойте, я сейчас...

И Марфа Тимофеевна выбежала, не надев чепца.

Лаврецкий быстро подошел к Лизе.

— Лиза,— начал он умоляющим голосом,— мы расстаемся навсегда, сердце мое разрывается,— дайте мне вашу руку на прощание.

Лиза подняла голову. Ее усталый, почти погасший взор остановился на нем...

— Нет,— промолвила она и отвела назад уже протянутую руку,— нет, Лаврецкий (она в первый раз так его

называла), не дам я вам моей руки. К чему? Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю... да, я люблю вас,— прибавила она с усилием,— но нет... нет.

И она поднесла платок к своим губам.

— Дайте мне по крайней мере этот платок.

Дверь скрыпнула... Платок скользнул по коленям Лизы. Лаврецкий подхватил его, прежде чем он успел упасть на пол, быстро сунул его в боковой карман и, обернувшись, встретился глазами с Марфой Тимофеевной.

— Лизочка, мне кажется, тебя мать зовет,— промолвила старушка.

Лиза тотчас встала и ушла.

Марфа Тимофеевна опять села в свой уголок. Лаврецкий начал прощаться с нею.

— Федя,— сказала она вдруг.

— Что, тетушка?

— Ты честный человек?

— Как?

— Я спрашиваю тебя: честный ли ты человек?

— Надеюсь, да.

— Гм. А дай мне честное слово, что ты честный человек.

— Извольте. Но к чему это?

— Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, коли подумаешь хорошенько, ведь ты не глуп, сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю. А теперь прощай, батюшка. Спасибо, что навестил; а слово сказанное помни, Федя, да поцелуй меня. Ох, душа моя, тяжело тебе, знаю; да ведь и всем не легко. Уж на что я, бывало, завидовала мухам: вот, думала я, кому хорошо на свете пожить; да услыхала раз ночью, как муха у паука в лапках ноет,— нет, думаю, и на них есть гроза. Что делать, Федя; а слово свое все-таки помни. Ступай.

Лаврецкий вышел с заднего крыльца и уже приближался к воротам... Его нагнал лакей.

— Марья Дмитриевна приказали просить вас к ней пожаловать,— доложил он Лаврецкому.

— Скажи, братец, что я не могу теперь...— начал было Федор Иваныч.

— Приказали очинно просить,— продолжал лакей,— приказали сказать, что они одни.

— А разве гости уехали? — спросил Лаврецкий.

— Точно так-с,— возразил лакей и осклабился.

Лаврецкий пожал плечами и отправился вслед за ним.

XLIII

Марья Дмитриевна сидела одна у себя в кабинете на вольтеровском кресле и нюхала одеколон; стакан воды с флер-д'оранжем стоял возле нее на столике. Она волновалась и как будто трусила.

Лаврецкий вошел.

— Вы желали меня видеть,— сказал он, холодно кланяясь.

— Да,— возразила Марья Дмитриевна и отпила немного воды.— Я узнала, что вы прошли прямо к тетушке; я приказала вас просить к себе: мне нужно переговорить с вами. Садитесь, пожалуйста.— Марья Дмитриевна перевела дыхание.— Вы знаете,— продолжала она,— ваша жена приехала.

— Это мне известно,— промолвил Лаврецкий.

— Ну да, то есть я хотела сказать: она ко мне приехала, и я приняла ее; вот о чем я хочу теперь объясниться с вами, Федор Иваныч. Я, слава богу, заслужила, могу сказать, всеобщее уважение и ничего неприличного ни за что на свете не сделаю. Хоть я и предвидела, что это будет вам неприятно, однако я не решилась отказать ей, Федор Иваныч; она мне родственница — по вас: войдите в мое положение, какое же я имела право отказать ей от дома,— согласитесь?

— Вы напрасно волнуетесь, Марья Дмитриевна,— возразил Лаврецкий,— вы очень хорошо сделали; я нисколько не сержусь. Я вовсе не намерен лишать Варвару Павловну возможности видеть своих знакомых; сегодня я не вошел к вам только потому, что не хотел встретиться с нею,— вот и всё.

— Ах, как мне приятно слышать это от вас, Федор Иваныч,— воскликнула Марья Дмитриевна,— впрочем, я всегда этого ожидала от ваших благородных чувств. А что я волнуюсь — это не удивительно: я женщина и мать. А ваша супруга... конечно, я не могу судить вас с нею — это я ей самой сказала; но она такая любезная дама, что, кроме удовольствия, ничего доставить не может.

Лаврецкий усмехнулся и поиграл шляпой.

— И вот что я котела вам еще сказать, Федор Ива-

ныч,— продолжала Марья Дмитриевна, слегка подвигаясь к нему,— если б вы видели, как она скромно себя держит, как почтительна! Право, это даже трогательно. А если б вы слышали, как она о вас отзывается! Я, говорит, перед ним кругом виновата; я, говорит, не умела ценить его, говорит; это, говорит, ангел, а не человек. Право, так и говорит: ангел. Раскаяние у ней такое... Я, ей-богу, и не видывала такого раскаяния!

— А что, Марья Дмитриевна,— промолвил Лаврецкий,— позвольте полюбопытствовать: говорят, Варвара Павловна у вас пела; во время своего раскаяния она пела — или как?..

— Ах, как вам не стыдно так говорить! Она пела и играла для того только, чтобы сделать мне угодное, потому что я настоятельно ее просила об этом, почти приказывала ей. Я вижу, что ей тяжело, так тяжело; думаю, чем бы ее развлечь,— да и слышала-то я, что талант у ней такой прекрасный! Помилуйте, Федор Иваныч, она совсем уничтожена, спросите хоть Сергея Петровича; убитая женщина, tout-à-fait [1], что вы это?

Лаврецкий только плечами пожал.

— А потом, что это у вас за ангелочек эта Адочка, что за прелесть! Как она мила, какая умненькая; по-французски как говорит; и по-русски понимает — меня тетенькой назвала. И знаете ли, этак чтобы дичиться, как все почти дети в ее годы дичатся,— совсем этого нет. На вас так похожа, Федор Иваныч, что ужас. Глаза, брови... ну, вы, как есть — вы. Я маленьких таких детей не очень люблю, признаться; но в вашу дочку просто влюбилась.

— Марья Дмитриевна,— произнес вдруг Лаврецкий,— позвольте вас спросить, для чего вы это всё мне говорить изволите?

— Для чего? — Марья Дмитриевна опять понюхала одеколон и отпила воды.— А для того, Федор Иваныч, я это говорю, что... ведь я вам родственница, я принимаю в вас самое близкое участие... я знаю, сердце у вас добрейшее. Послушайте, mon cousin, я все-таки женщина опытная и не буду говорить на ветер! простите, простите вашу жену.— Глаза Марьи Дмитриевны вдруг наполнились слезами.— Подумайте: молодость, неопытность... ну, может быть, дурной пример: не было такой

[1] совершенно *(франц.)*.

матери, которая наставила бы ее на путь. Простите ее, Федор Иваныч, она довольно была наказана.

Слезы закапали по щекам Марьи Дмитриевны; она не утирала их: она любила плакать. Лаврецкий сидел как на угольях. «Боже мой,— думал он,— что же это за пытка, что за день мне выдался сегодня!»

— Вы не отвечаете,— заговорила снова Марья Дмитриевна,— как я должна вас понять? Неужели вы можете быть так жестоки? Нет, я этому верить не хочу. Я чувствую, что мои слова вас убедили, Федор Иваныч, бог вас наградит за вашу доброту, а вы примите теперь из рук моих вашу жену...

Лаврецкий невольно поднялся со стула; Марья Дмитриевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну. Бледная, полуживая, с опущенными глазами, она, казалось, отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли — отдалась вся в руки Марьи Дмитриевны.

Лаврецкий отступил шаг назад.

— Вы были здесь! — воскликнул он.

— Не вините ее,— поспешно проговорила Марья Дмитриевна,— она ни за что не хотела остаться, но я приказала ей остаться, я посадила ее за ширмы. Она уверяла меня, что это еще больше вас рассердит; я и слушать ее не стала; я лучше ее вас знаю. Примите же из рук моих вашу жену; идите, Варя, не бойтесь, припадите к вашему мужу (она дернула ее за руку) — и мое благословение...

— Постойте, Марья Дмитриевна,— перебил ее Лаврецкий глухим, но потрясающим голосом.— Вы, вероятно, любите чувствительные сцены (Лаврецкий не ошибался: Марья Дмитриевна еще с института сохранила страсть к некоторой театральности); они вас забавляют; но другим от них плохо приходится. Впрочем, я с вами говорить не буду: в *этой* сцене не вы главное действующее лицо. Что *вы* хотите от меня, сударыня? — прибавил он, обращаясь к жене.— Не сделал ли я для вас, что мог? Не возражайте мне, что не вы затеяли это свидание; я вам не поверю,— и вы знаете, что я вам верить не могу. Что же вы хотите? Вы умны,— вы ничего не делаете без цели. Вы должны понять, что жить с вами, как я жил прежде, я не в состоянии; не оттого, что я на вас сержусь, а оттого, что я стал другим человеком. Я сказал вам это на второй же день вашего возвраще-

ния, и вы сами, в это мгновенье, в душе со мной согласны. Но вы желаете восстановить себя в общем мнении; вам мало жить у меня в доме, вы желаете жить со мной под одной кровлей, — не правда ли?

— Я желаю, чтобы вы меня простили,— проговорила Варвара Павловна, не поднимая глаз.

— Она желает, чтобы вы ее простили,— повторила Марья Дмитриевна.

— И не для себя, для Ады,— шепнула Варвара Павловна.

— Не для нее, для вашей Ады,— повторила Марья Дмитриевна.

— Прекрасно. Вы этого хотите? — произнес с усилием Лаврецкий.— Извольте, я и на это согласен.

Варвара Павловна бросила на него быстрый взор, а Марья Дмитриевна воскликнула: «Ну, слава богу!» — и опять потянула Варвару Павловну за руку.— Примите же теперь от меня...

— Постойте, говорю вам,— перебил ее Лаврецкий.— Я соглашаюсь жить с вами, Варвара Павловна,— продолжал он,— то есть я вас привезу в Лаврики и проживу с вами, сколько сил хватит, а потом уеду — и буду наезжать. Вы видите, я вас обманывать не хочу; но не требуйте больше ничего. Вы бы сами рассмеялись, если бы я исполнил желание почтенной нашей родственницы и прижал бы вас к своему сердцу, стал бы уверять вас, что... что прошедшего не было, что срубленное дерево опять зацветет. Но я вижу: надо покориться. Вы это слово не так поймете... это всё равно. Повторяю... я буду жить с вами... или нет, я этого обещать не могу... Я сойдусь с вами, буду вас снова считать моей женой...

— Дайте же ей по крайней мере на том руку,— промолвила Марья Дмитриевна, у которой давно высохли слезы.

— Я до сих пор не обманывал Варвару Павловну,— возразил Лаврецкий,— она мне поверит и так. Я ее отвезу в Лаврики — и помните, Варвара Павловна: уговор наш будет считаться нарушенным, как только вы выедете оттуда. А теперь позвольте мне удалиться.

Он поклонился обеим дамам и торопливо вышел вон.

— Вы не берете ее с собою,— крикнула ему вслед Марья Дмитриевна...

— Оставьте его,— шепнула ей Варвара Павловна и

тотчас же обняла ее, начала ее благодарить, целовать у ней руки, называть ее своей спасительницей.

Марья Дмитриевна снисходительно принимала ее ласки; но в душе она не была довольна ни Лаврецким, ни Варварой Павловной, ни всей подготовленной ею сценой. Чувствительности вышло мало; Варвара Павловна, по ее мнению, должна была броситься к ногам мужа.

— Как это вы меня не поняли,— толковала она,— ведь я вам сказала: припадите.

— Этак лучше, милая тетушка; не беспокойтесь — всё прекрасно,— твердила Варвара Павловна.

— Ну, да ведь и он — холодный, как лед,— заметила Марья Дмитриевна.— Положим, вы не плакали, да ведь я перед ним разливалась. В Лавриках запереть вас хочет. Что ж, и ко мне вам нельзя будет ездить? Все мужчины бесчувственны,— сказала она в заключение и значительно покачала головой.

— Зато женщины умеют ценить доброту и великодушие,— промолвила Варвара Павловна и, тихонько опустившись на колени перед Марьей Дмитриевной, обвила ее полный стан руками и прижалась к ней лицом. Лицо это втихомолку улыбалось, а у Марьи Дмитриевны опять закапали слезы.

А Лаврецкий отправился к себе, заперся в комнатке своего камердинера, бросился на диван и пролежал так до утра.

XLIV

На следующий день было воскресенье. Колокольный звон к ранней обедне не разбудил Лаврецкого — он не смыкал глаз всю ночь,— но напомнил ему другое воскресенье, когда он, по желанию Лизы, ходил в церковь. Он поспешно встал; какой-то тайный голос говорил ему, что он и сегодня увидит ее там же. Он без шума вышел из дома, велел сказать Варваре Павловне, которая еще спала, что он вернется к обеду, и большими шагами направился туда, куда звал его однообразно-печальный звон. Он пришел рано: почти никого еще не было в церкви; дьячок на клиросе читал часы; изредка прерываемый кашлем, голос его мерно гудел, то упадая, то вздуваясь. Лаврецкий поместился недалеко от входа. Богомольцы приходили поодиночке, останавливались, крестились, кланялись на все стороны; шаги их звенели в пустоте и тишине, явственно отзываясь под сводами.

Дряхлая старушонка в ветхом капоте с капюшоном стояла на коленях подле Лаврецкого и прилежно молилась; ее беззубое, желтое, сморщенное лицо выражало напряженное умиление; красные глаза неотвратимо глядели вверх, на образа иконостаса; костлявая рука беспрестанно выходила из капота и медленно и крепко клала большой широкий крест. Мужик с густой бородой и угрюмым лицом, взъерошенный и измятый, вошел в церковь, разом стал на оба колена и тотчас же принялся поспешно креститься, закидывая назад и встряхивая голову после каждого поклона. Такое горькое горе сказывалось в его лице, во всех его движениях, что Лаврецкий решился подойти к нему и спросить его, что с ним. Мужик пугливо и сурово отшатнулся, посмотрел на него... «Сын помер»,— произнес он скороговоркой и снова принялся класть поклоны... «Что для них может заменить утешения церкви?» — подумал Лаврецкий и сам попытался молиться; но сердце его отяжелело, ожесточилось, и мысли были далеко. Он всё ждал Лизы — но Лиза не приходила. Церковь стала наполняться народом; ее всё не было. Обедня началась, дьякон уже прочитал евангелие, зазвонили к достойной; Лаврецкий подвинулся немного вперед — и вдруг увидел Лизу. Она пришла раньше его, но он ее не заметил; прижавшись в промежуточек между стеной и клиросом, она не оглядывалась, не шевелилась. Лаврецкий не свел с нее глаз до самого конца обедни: он прощался с нею. Народ стал расходиться, а она всё стояла; казалось, она ожидала ухода Лаврецкого. Наконец она перекрестилась в последний раз и пошла, не оборачиваясь; с ней была одна горничная. Лаврецкий вышел вслед за ней из церкви и догнал ее на улице; она шла очень скоро, наклонив голову и спустив вуаль на лицо.

— Здравствуйте, Лизавета Михайловна,— сказал он громко, с насильственной развязностью,— можно вас проводить?

Она ничего не сказала; он отправился с ней рядом.

— Довольны вы мной? — спросил он ее, понизив голос.— Вы слышали, что вчера произошло?

— Да, да,— проговорила она шёпотом,— это хорошо. И она пошла еще быстрей.

— Вы довольны?

Лиза только головой кивнула.

— Федор Иваныч,— начала она спокойным, но слабым голосом,— я хотела вас просить: не ходите больше

к нам, уезжайте поскорей; мы можем после увидеться — когда-нибудь, через год. А теперь сделайте это для меня; исполните мою просьбу, ради бога.

— Я вам во всем готов повиноваться, Лизавета Михайловна; но неужели мы так должны расстаться: неужели вы мне не скажете ни одного слова?..

— Федор Иваныч, вот вы теперь идете возле меня... А уж вы так далеко, далеко от меня. И не вы одни, а...

— Договаривайте, прошу вас! — воскликнул Лаврецкий,— что вы хотите сказать?

— Вы услышите, может быть... но что бы ни было, забудьте... нет, не забывайте меня, помните обо мне.

— Мне вас забыть...

— Довольно, прощайте. Не идите за мной.

— Лиза,— начал было Лаврецкий...

— Прощайте, прощайте! — повторила она, еще ниже спустила вуаль и почти бегом пустилась вперед.

Лаврецкий посмотрел ей вслед и, понурив голову, отправился назад по улице. Он наткнулся на Лемма, который тоже шел, надвинув шляпу на нос и глядя себе под ноги.

Они молча посмотрели друг на друга.

— Ну, что скажете? — проговорил наконец Лаврецкий.

— Что я скажу? — угрюмо возразил Лемм.— Ничего я не скажу. Всё умерло, и мы умерли (Alles ist todt, und wir sind todt). Ведь вам направо идти?

— Направо.

— А мне налево. Прощайте.

На следующее утро Федор Иваныч с женою отправился в Лаврики. Она ехала впереди в карете, с Адой и с Жюстиной; он сзади — в тарантасе. Хорошенькая девочка всё время дороги не отходила от окна кареты; она удивлялась всему: мужикам, бабам, избам, колодцам, дугам, колокольчикам и множеству грачей; Жюстина разделяла ее удивление; Варвара Павловна смеялась их замечаниям и восклицаниям. Она была в духе; перед отъездом из города О... она имела объяснение с своим мужем.

— Я понимаю ваше положение,— сказала она ему,— и он, по выражению ее умных глаз, мог заключить, что она понимала его положение вполне,— но вы отдадите мне хоть ту справедливость, что со мной легко живется;

я не стану вам навязываться, стеснять вас; я хотела обеспечить будущность Ады; больше мне ничего не нужно.

— Да, вы достигли всех ваших целей,— промолвил Федор Иваныч.

— Я об одном только мечтаю теперь: зарыться навсегда в глуши; я буду вечно помнить ваши благодеяния...

— Фи! полноте,— перебил он ее.

— И сумею уважать вашу независимость и ваш покой,— докончила она свою приготовленную фразу.

Лаврецкий ей низко поклонился. Варвара Павловна поняла, что муж в душе благодарил ее.

На второй день к вечеру прибыли они в Лаврики; неделю спустя Лаврецкий отправился в Москву, оставив жене тысяч пять на прожиток, а на другой день после отъезда Лаврецкого явился Паншин, которого Варвара Павловна просила не забывать ее в уединении. Она его приняла как нельзя лучше, и до поздней ночи высокие комнаты дома и самый сад оглашались звуками музыки, пенья и веселых французских речей. Три дня прогостил Паншин у Варвары Павловны; прощаясь с нею и крепко пожимая ее прекрасные руки, он обещался очень скоро вернуться — и сдержал свое обещание.

XLV

У Лизы была особая, небольшая комнатка во втором этаже дома ее матери, чистая, светлая, с белой кроваткой, с горшками цветов по углам и перед окнами, с маленьким письменным столиком, горкою книг и распятием на стене. Комнатка эта прозывалась детской; Лиза родилась в ней. Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она тщательнее обыкновенного привела всё у себя в порядок, отовсюду смела пыль, пересмотрела и перевязала ленточками все свои тетради и письма приятельниц, заперла все ящики, полила цветы и коснулась рукою каждого цветка. Всё это она делала не спеша, без шума, с какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице. Она остановилась, наконец, посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя к столу, над которым висело распятие, опустилась на колени, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной.

Марфа Тимофеевна вошла и застала ее в этом положении. Лиза не заметила ее прихода. Старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашляну-

ла. Лиза проворно поднялась и отерла глаза, на которых сияли светлые, непролившиеся слезы.

— А ты, я вижу, опять прибирала свою келейку,— промолвила Марфа Тимофеевна, низко наклоняясь к горшку с молодым розаном.— Как славно пахнет!

Лиза задумчиво посмотрела на свою тетку.

— Какое вы это произнесли слово! — прошептала она.

— Какое слово, какое? — с живостью подхватила старушка.— Что ты хочешь сказать? Это ужасно,— заговорила она, вдруг сбросив чепец и присевши на Лизиной кроватке,— это сверх сил моих: четвертый день сегодня, как я словно в котле киплю; я не могу больше притворяться, что ничего не замечаю, не могу видеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь, не могу, не могу.

— Да что с вами, тетушка? — промолвила Лиза,— я ничего...

— Ничего? — воскликнула Марфа Тимофеевна,— это ты другим говори, а не мне! Ничего! А кто сейчас стоял на коленях? у кого ресницы еще мокры от слез? Ничего! Да ты посмотри на себя, что ты сделала с своим лицом, куда глаза свои девала? — Ничего! разве я не всё знаю?

— Это пройдет, тетушка; дайте срок.

— Пройдет, да когда? Господи боже мой, владыко! неужели ты так его полюбила? да ведь он старик, Лизочка. Ну, я не спорю, он хороший человек, не кусается; да ведь что ж такое? все мы хорошие люди; земля не клином сошлась, этого добра всегда будет много.

— Я вам говорю, всё это пройдет, всё это уже прошло.

— Слушай, Лизочка, что я тебе скажу,— промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, то косынку.— Это тебе только так, сгоряча кажется, что горю твоему пособить нельзя. Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нет! Ты только вот скажи себе: «Не поддамся, мол, я, ну его!» — и сама потом как диву дашься, как оно скоро, хорошо проходит. Ты только потерпи.

— Тётушка,— возразила Лиза,— оно уже прошло, всё прошло.

— Прошло! какое прошло! Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь: прошло. Хорошо «прошло!»

— Да, прошло, тетушка, если вы только захотите мне помочь,— произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфе Тимофеевне.— Милая тетуш-

ка, будьте мне другом, помогите мне, не сердитесь, поймите меня...

— Да что такое, что такое, мать моя? Не пугай меня, пожалуйста; я сейчас закричу, не гляди так на меня; говори скорее, что такое!

— Я... я хочу...— Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны...— Я хочу идти в монастырь,— проговорила она глухо.

Старушка так и подпрыгнула на кровати.

— Перекрестись, мать моя, Лизочка, опомнись, что ты это, бог с тобою,— пролепетала она наконец,— ляг, голубушка, усни немножко; это всё у тебя от бессонницы, душа моя.

Лиза подняла голову, щеки ее пылали.

— Нет, тетушка,— промолвила она,— не говорите так; я решилась, я молилась, я просила совета у бога; всё кончено, кончена моя жизнь с вами. Такой урок недаром; да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня всё щемило. Я всё знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю всё. Всё это отмолить, отмолить надо. Вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки; но делать нечего; чувствую я, что мне не житье здесь; я уже со всем простилась, всему в доме поклонилась в последний раз; отзывает меня что-то; тошно мне, хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня, не отговаривайте, помогите мне, не то я одна уйду...

Марфа Тимофеевна с ужасом слушала свою племянницу.

«Она больна, бредит,— думала она,— надо послать за доктором, да за каким? Гедеоновский намедни хвалил какого-то; он всё врет — а может быть, на этот раз и правду сказал». Но когда она убедилась, что Лиза не больна и не бредит, когда на все ее возраженья Лиза постоянно отвечала одним и тем же, Марфа Тимофеевна испугалась и опечалилась не на шутку.

— Да ведь ты не знаешь, голубушка ты моя,— начала она ее уговаривать,— какова жизнь-то в монастырях! Ведь тебя, мою родную, маслищем конопляным зеленым кормить станут, бельище на тебя наденут толстое-претолстое; по холоду ходить заставят; ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка. Это всё в тебе Агашины следы; это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила, и в свое удовольствие пожила; поживи и ты. Дай

мне по крайней мере умереть спокойно, а там делай что хочешь. И кто ж это видывал, чтоб из-за эдакой из-за козьей бороды, прости господи, из-за мужчины в монастырь идти? Ну, коли тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен отслужи, да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя...

И Марфа Тимофеевна горько заплакала.

Лиза утешала ее, отирала ее слезы, сама плакала, но осталась непреклонной. С отчаянья Марфа Тимофеевна попыталась пустить в ход угрозу: всё сказать матери..., но и это не помогло. Только вследствие усиленных просьб старушки Лиза согласилась отложить исполнение своего намерения на полгода; зато Марфа Тимофеевна должна была дать ей слово, что сама поможет ей и выхлопочет согласие Марьи Дмитриевны, если через шесть месяцев она не изменит своего решения.

С наступившими первыми холодами Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где наняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее Паншиным, который еще раньше ее покинул О...скую губернию. В последнее время своего пребывания в О... он совершенно лишился расположения Марьи Дмитриевны; он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из Лавриков. Варвара Павловна его поработила, именно поработила: другим словом нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним.

Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весною следующего года дошла до него весть, что Лиза постриглась в Б......м монастыре, в одном из отдаленнейших краев России.

ЭПИЛОГ

Прошло восемь лет. Опять настала весна... Но скажем прежде несколько слов о судьбе Михалевича, Паншина, г-жи Лаврецкой — и расстанемся с ними. Михалевич, после долгих странствований, попал, наконец, на настоящее свое дело: он получил место старшего надзирателя в казенном заведении. Он очень доволен своей судьбой, и воспитанники его «обожают», хотя и передразнивают его. Паншин сильно подвинулся в чинах и

метит уже в директоры; ходит несколько согнувшись: должно быть, Владимирский крест, пожалованный ему на шею, оттягивает его вперед. Чиновник в нем взял решительный перевес над художником; его всё еще моложавое лицо пожелтело, волосы поредели, и он уже не поет, не рисует, но втайне занимается литературой: написал комедийку, вроде «пословиц», и так как теперь все пишущие непременно «выводят» кого-нибудь или что-нибудь, то и он вывел в ней кокетку и читает ее исподтишка двум-трем благоволящим к нему дамам. В брак он, однако, не вступил, хотя много представлялось к тому прекрасных случаев: в этом виновата Варвара Павловна. Что касается до нее, то она по-прежнему постоянно живет в Париже: Федор Иваныч дал ей на себя вексель и откупился от нее, от возможности вторичного неожиданного наезда. Она постарела и потолстела, но всё еще мила и изящна. У каждого человека есть свой идеал: Варвара Павловна нашла свой — в драматических произведениях г-на Дюма-сына. Она прилежно посещает театр, где выводятся на сцену чахоточные и чувствительные камелии; быть г-жою Дош кажется ей верхом человеческого благополучия: она однажды объявила, что не желает для своей дочери лучшей участи. Должно надеяться, что судьба избавит mademoiselle Ada от подобного благополучия: из румяного, пухлого ребенка она превратилась в слабогрудую, бледненькую девочку; нервы ее уже расстроены. Число поклонников Варвары Павловны уменьшилось, но они не перевелись; некоторых она, вероятно, сохранит до конца своей жизни. Самым рьяным из них в последнее время был некто Закурдало-Скубырников, из отставных гвардейских усоносов, человек лет тридцати восьми, необыкновенной крепости сложения. Французские посетители салона г-жи Лаврецкой называют его «le gros taureau de l'Ukraïne» [1]; Варвара Павловна никогда не приглашает его на свои модные вечера, но он пользуется ее благорасположением вполне.

Итак... прошло восемь лет. Опять повеяло с неба сияющим счастьем весны; опять улыбнулась она земле и людям; опять под ее лаской всё зацвело, полюбило и запело. Город О... мало изменился в течение этих восьми лет; но дом Марьи Дмитриевны как будто помолодел: его недавно выкрашенные стены белели приветно, и стекла рас-

[1] «тучный бык с Украины» *(франц.)*.

крытых окон румянились и блестели на заходившем солнце; из этих окон неслись на улицу радостные, легкие звуки звонких молодых голосов, беспрерывного смеха; весь дом, казалось, кипел жизнью и переливался весельем через край. Сама хозяйка дома давно сошла в могилу: Марья Дмитриевна скончалась года два спустя после пострижения Лизы; и Марфа Тимофеевна не долго пережила свою племянницу; рядом покоятся они на городском кладбище. Не стало и Настасьи Карповны; верная старушка в течение нескольких лет еженедельно ходила молиться над прахом своей приятельницы.... Пришла пора, и ее косточки тоже улеглись в сырой земле. Но дом Марьи Дмитриевны не поступил в чужие руки, не вышел из ее рода, гнездо не разорилось: Леночка, превратившаяся в стройную, красивую девушку, и ее жених — белокурый гусарский офицер; сын Марьи Дмитриевны, только что женившийся в Петербурге и вместе с молодой женой приехавший на весну в О...; сестра его жены, шестнадцатилетняя институтка с алыми щеками и ясными глазками; Шурочка, тоже выросшая и похорошевшая — вот какая молодежь оглашала смехом и говором стены калитинского дома. Всё в нем изменилось, всё стало под лад новым обитателям. Безбородые дворовые ребята, зубоскалы и балагуры, заменили прежних степенных стариков; там, где некогда важно расхаживала зажиревшая Роска, две легавых собаки бешено возились и прыгали по диванам; на конюшне завелись поджарые иноходцы, лихие коренники, рьяные пристяжные с плетеными гривами, донские верховые кони; часы завтрака, обеда, ужина перепутались и смешались; пошли, по выражению соседей, «порядки небывалые».

В тот вечер, о котором зашла у нас речь, обитатели калитинского дома (старшему из них, жениху Леночки, было всего двадцать четыре года) занимались немногосложной, но, судя по их дружному хохотанью, весьма для них забавной игрой: они бегали по комнатам и ловили друг друга; собаки тоже бегали и лаяли, и висевшие в клетках перед окнами канарейки наперерыв драли горло, усиливая всеобщий гам звонкой трескотней своего яростного щебетанья. В самый разгар этой оглушительной потехи к воротам подъехал загрязненный тарантас, и человек лет сорока пяти, в дорожном платье, вылез из него и остановился в изумленье. Он постоял некоторое время неподвижно, окинул дом внимательным взором, вошел через калитку на двор и медленно взо-

брался на крыльцо. В передней никто его не встретил; но дверь залы быстро распахнулась — из нее, вся раскрасневшаяся, выскочила Шурочка, и мгновенно, вслед за ней, с звонким криком выбежала вся молодая ватага. Она внезапно остановилась и затихла при виде незнакомого; но светлые глаза, устремленные на него, глядели так же ласково, свежие лица не перестали смеяться. Сын Марьи Дмитриевны подошел к гостю и приветливо спросил его, что ему угодно?

— Я Лаврецкий,— промолвил гость.

Дружный крик раздался ему в ответ — и не потому, чтобы вся эта молодежь очень обрадовалась приезду отдаленного, почти забытого родственника, а просто потому, что она готова была шуметь и радоваться при всяком удобном случае. Лаврецкого тотчас окружили: Леночка, как старинная знакомая, первая назвала себя, уверила его, что еще бы немножко — и она непременно его бы узнала, и представила ему всё остальное общество, называя каждого, даже жениха своего, уменьшительными именами. Вся толпа двинулась через столовую в гостиную. Обои в обеих комнатах были другие, но мебель уцелела; Лаврецкий узнал фортепьяно; даже пяльцы у окна стояли те же, в том же положении — и чуть ли не с тем же неконченным шитьем, как восемь лет тому назад. Его усадили на покойное кресло; все чинно уселись вокруг него. Вопросы, восклицания, рассказы посыпались наперерыв.

— А давно мы вас не видали,— наивно заметила Леночка,— и Варвару Павловну тоже не видали.

— Еще бы! — поспешно подхватил ее брат.— Я тебя в Петербург увез, а Федор Иваныч всё жил в деревне.

— Да, ведь с тех пор и мамаша скончалась.

— И Марфа Тимофеевна,— промолвила Шурочка.

— И Настасья Карповна,— возразила Леночка,— и мосье Лемм...

— Как? и Лемм умер? — спросил Лаврецкий.

— Да,— отвечал молодой Калитин,— он уехал отсюда в Одессу; говорят, кто-то его туда сманил; там он и скончался.

— Вы не знаете, музыки после него не осталось?

— Не знаю; едва ли.

Все замолкли и переглянулись. Облачко печали налетело на все молодые лица.

— А Матроска жив,— заговорила вдруг Леночка.

— И Гедеоновский жив,— прибавил ее брат.

При имени Гедеоновского разом грянул дружный смех.

— Да, он жив и лжет по-прежнему,— продолжал сын Марьи Дмитриевны,— и вообразите, вот эта егоза (он указал на институтку, сестру своей жены) вчера ему перцу в табакерку насыпала.

— Как он чихал! — воскликнула Леночка,— и снова зазвенел неудержимый смех.

— Мы о Лизе недавно имели вести,— промолвил молодой Калитин,— и опять кругом всё притихло,— ей хорошо, здоровье ее теперь поправляется понемногу.

— Она всё в той же обители? — спросил не без усилия Лаврецкий.

— Всё в той же.

— Она к вам пишет?

— Нет, никогда; к нам через людей вести доходят.— Сделалось внезапное, глубокое молчанье; вот «тихий ангел пролетел»,— подумали все.

— Не хотите ли вы в сад? — обратился Калитин к Лаврецкому,— он очень хорош теперь, хотя мы его и запустили немножко.

Лаврецкий вышел в сад, и первое, что бросилось ему в глаза,— была та самая скамейка, на которой он некогда провел с Лизой несколько счастливых, не повторившихся мгновений; она почернела, искривилась; но он узнал ее, и душу его охватило то чувство, которому нет равного и в сладости и в горести,— чувство живой грусти об исчезнувшей молодости, о счастье, которым когда-то обладал. Вместе с молодежью прошелся он по аллеям; липы немного постарели и выросли в последние восемь лет, тень их стала гуще; зато все кусты поднялись, малинник вошел в силу, орешник совсем заглох, и отовсюду пахло свежим дромом, лесом, травою, сиренью.

— Вот где хорошо бы играть в четыре угла,— вскрикнула вдруг Леночка, войдя на небольшую зеленую поляну, окруженную липами,— нас, кстати, пятеро.

— А Федора Ивановича ты забыла? — заметил ее брат.— Или ты себя не считаешь?

Леночка слегка покраснела.

— Да разве Федор Иванович, в его лета, может...— начала она.

— Пожалуйста, играйте,— поспешно подхватил Лаврецкий,— не обращайте внимания на меня. Мне самому будет приятнее, когда я буду знать, что я вас не стесняю.

А занимать вам меня нечего; у нашего брата, старика, есть занятие, которого вы еще не ведаете и которого никакое развлечение заменить не может: воспоминания.

Молодые люди выслушали Лаврецкого с приветливой и чуть-чуть насмешливой почтительностью,— точно им учитель урок прочел,— и вдруг посыпали от него все прочь, вбежали на поляну; четверо стало около деревьев, один на середине — и началась потеха.

А Лаврецкий вернулся в дом, вошел в столовую, приблизился к фортепьяно и коснулся одной из клавиш; раздался слабый, но чистый звук и тайно задрожал у него в сердце: этой нотой начиналась та вдохновенная мелодия, которой, давно тому назад, в ту же самую счастливую ночь, Лемм, покойный Лемм, привел его в такой восторг. Потом Лаврецкий перешел в гостиную и долго не выходил из нее: в этой комнате, где он так часто видал Лизу, живее возникал перед ним ее образ; ему казалось, что он чувствовал вокруг себя следы ее присутствия; но грусть о ней была томительна и не легка: в ней не было тишины, навеваемой смертью. Лиза еще жила где-то, глухо, далеко; он думал о ней, как о живой, и не узнавал девушки, им некогда любимой, в том смутном, бледном призраке, облаченном в монашескую одежду, окруженном дымными волнами ладана. Лаврецкий сам бы себя не узнал, если б мог так взглянуть на себя, как он мысленно взглянул на Лизу. В течение этих восьми лет совершился, наконец, перелом в его жизни, тот перелом, которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца; он действительно перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях. Он утих и — к чему таить правду? — постарел не одним лицом и телом, постарел душою; сохранить до старости сердце молодым, как говорят иные, и трудно и почти смешно; тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянства воли, охоты к деятельности. Лаврецкий имел право быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян.

Лаврецкий вышел из дома в сад, сел на знакомой ему скамейке — и на этом дорогом месте, перед лицом того дома, где он в последний раз напрасно простирал свои руки к заветному кубку, в котором кипит и играет золотое вино наслажденья,— он, одинокий, бездомный странник,

нем долетавшие до него веселые клики уже заменившего его молодого поколения, оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не прискорбно: сожалеть ему было о чем, стыдиться — нечего. «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы,— думал он, и не было горечи в его думах,— жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить: вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о том, как бы уцелеть — и сколько из нас не уцелело! — а вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата, старика, будет с вами. А мне, после сегодняшнего дня, после этих ощущений, остается отдать вам последний поклон — и, хотя с печалью, но без зависти, безо всяких темных чувств, сказать, в виду конца, в виду ожидающего бога: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!»

Лаврецкий тихо встал и тихо удалился; его никто не заметил, никто не удерживал; веселые клики сильнее прежнего раздавались в саду за зеленой сплошной стеной высоких лип. Он сел в тарантас и велел кучеру ехать домой и не гнать лошадей.

«И конец? — спросит, может быть, неудовлетворенный читатель.— А что же сталось потом с Лаврецким? с Лизой?» Но что сказать о людях, еще живых, но уже сошедших с земного поприща, зачем возвращаться к ним? Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза,— увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини — и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо — и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать — и пройти мимо.

НАКАНУНЕ

1859

I

В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва пробились и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких карих глазах, красивых выпуклых губках и белых ручках. Всё в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью — беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.

В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его,

некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.

— Отчего ты не лежишь, ка́к я, на груди? — начал Шубин.— Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку — вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж — смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!

Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полушутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфекты), и, не дождавшись ответа, продолжал:

— Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созданья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?

— Что? — проговорил, встрепенувшись, Берсенев.

— Что! — повторил Шубин.— Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.

— Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенев немного пришепетывал.)

— Важный пущен ко́лер,— промолвил Шубин.— Одно слово, натура!

Берсенев покачал головой.

— Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.

— Нет-с; это не по моей части-с,— возразил Шубин и надел шляпу на затылок.— Я мясник-с; мое дело — мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет,

законченности нет, разъехалось во все стороны... Пойди поймай!

— Да ведь и тут красота,— заметил Берсенев.— Кстати, кончил ты свой барельеф?

— Какой?

— Ребенка с козлом.

— К чёрту! к чёрту! к чёрту! — воскликнул нараспев Шубин.— Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоем носе красота, да за всякою красотой не угоняешься. Старики — те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда — бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да и караулим. Клюнет — браво! а не клюнет...

Шубин высунул язык.

— Постой, постой,— возразил Берсенев.— Это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоем искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь...

— Эх ты, сочувственник! — брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову, а Берсенев задумался.— Нет, брат,— продолжал Шубин,— ты умница, философ, третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту; но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах... в девушках, да и то с некоторых пор...

Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.

Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей.

— Кстати, о женщинах,— заговорил опять Шубин.— Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве?

— Нет.

— Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазеют друг на друга, так глупо... Даже противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством бог благословил

этого человека: нет, подай ему Августину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии! На днях я вылепил ее карикатуру, в дантановском вкусе. Очень вышло недурно. Я тебе покажу.

— А Елены Николаевны бюст,— спросил Берсенев,— подвигается?

— Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые; кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было... Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только выражение взгляда беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо... странное существо,— прибавил он после короткого молчания.

— Да; она удивительная девушка,— повторил за ним Берсенев.

— А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но ведь она курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!

Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал. Берсенев вообще не грешил многоглаголанием и, когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу,— тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по нескольку часов в день. Бездействие, нега и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа — все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокоивало его, и волновало, и обессиливало... Он был очень нервический молодой человек.

Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как очарованные, как мертвые, висели маленькие гроздья желтых цветов па нижних ветках

липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона всё сверкало, всё горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания.

— Заметил ли ты,— начал вдруг Берсенев, помогая своей речи движениями рук,— какое странное чувство возбуждает в нас природа? Всё в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любуемся этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?

— Гм,— возразил Шубин,— я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего всё это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа — та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это просто своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и всё тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему природа? Ты послушай сам: любовь... какое сильное, горячее слово! Природа... какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин запел): «Да здравствует Марья Петровна!» — или нет,— прибавил он,— не Марья Петровна, ну да всё равно! Ву ме компрене́ [1].

Берсенев приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки.

— Зачем насмешка,— проговорил он, не глядя на

---

[1] Вы меня понимаете (Vous me comprenez — *франц.*).

своего товарища,— зачем глумление? Да, ты прав: любовь — великое слово, великое чувство... Но о какой любви говоришь ты?

Шубин тоже приподнялся.

— О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил...

— От всей души,— подхватил Берсенев.

— Ну да, это само собой разумеется, душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено... Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует. Потому, что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, всё, всё вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если б эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты даже глядел *ее* глазами, чувствовал не своим, одиноким, а *ее* чувством,— не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!

Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенев наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской.

— Я не совсем согласен с тобою,— начал он,— не всегда природа намекает нам на... любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о страшных... да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь.

— И в любви жизнь и смерть,— перебил Шубин.

— А потом,— продолжал Берсенев,— когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога (Берсеневу стало немножко совестно, когда он выговорил эти слова),— разве и это...

— Жажда любви, жажда счастия, больше ничего! — подхватил Шубин.— Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью

леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастия, я во всем чую его приближение, слышу его призыв! «Мой бог — бог светлый и веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак подобрать не мог. Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Чёрт возьми! — продолжал Шубин с внезапным порывом,— мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастие!

Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх, на небо. Берсенев поднял на него глаза.

— Будто нет ничего выше счастья? — проговорил он тихо.

— А например? — спросил Шубин и остановился.

— Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для себя счастья... Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

— Да; и их не мало; и ты их знаешь.

— Ну-ка? какие это слова?

— Да хоть бы искусство,— так как ты художник,— родина, наука, свобода, справедливость.

— А любовь? — спросил Шубин.

— И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, любовь-жертва.

Шубин нахмурился.

— Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.

— Номером первым,— повторил Берсенев.— А мне кажется, поставить себя номером вторым — всё назначение нашей жизни.

— Если все так будут поступать, как ты советуешь,— промолвил с жалобною гримасой Шубин,— никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.

— Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся:

всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать.

Оба приятеля помолчали.

— Я на днях опять встретил Инсарова,— начал Берсенев,— я пригласил его к себе; я непременно хочу познакомить его с тобой... и с Стаховыми.

— Какой это Инсаров? Ах, да, этот серб или болгар, о котором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил тебе все эти философические мысли?

— Может быть.

— Необыкновенный он индивидуум, что ли?

— Да.

— Умный? Даровитый?

— Умный?... Да. Даровитый? Не знаю, не думаю.

— Нет? Что же в нем замечательного?

— Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора идти. Анна Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час?

— Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю кровь зажег. И у тебя была минута... я недаром артист: я на всё заметлив. Признайся, занимает тебя женщина?..

Шубин хотел заглянуть в лицо Берсеневу, но он отвернулся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним, развалисто-грациозно переступая своими маленькими ножками. Берсенев двигался неуклюже, высоко поднимал на ходу плечи, вытягивал шею; а все-таки он казался более порядочным человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказали бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.

II

Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух.

— Я бы опять выкупался,— заговорил Шубин,— да боюсь опоздать. Посмотри на реку: она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа! мы толстокожие скифы.

— У нас есть русалки,— заметил Берсенев.

— Поди ты с своими русалками! На что мне, ваятелю, эти исчадия запуганной, холодной фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора... Когда же, боже мой, поеду я в Италию? Когда...

— То есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?

— Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил, как дурак: добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам, есть галушки, и...

— Не договаривай, пожалуйста,— перебил Берсенев.

— И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидал там такие типы, особенно женские... Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!

— Ты поедешь в Италию,— проговорил Берсенев, не оборачиваясь к нему,— и ничего не сделаешь. Будешь всё только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас!

— Ставассер полетел же... И не он один. А не полечу — значит, я пингуин морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу,— продолжал Шубин,— там солнце, там красота...

Молодая девушка, в широкой соломенной шляпе, с розовым зонтиком на плече, показалась в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.

— Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота! Привет смиренного художника очаровательной Зое! — крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.

Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-чуть картавя:

— Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.

— Что я слышу? — заговорил, всплеснув руками, Шубин.— Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не произносите этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.

— Ах, перестаньте, Павел Яковлевич,— возразила не без досады девушка,— отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь,— прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.

— Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна; вы не захотите повергнуть меня в мрачную безд-

ну исступленного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я не серьезный человек.

Девушка пожала плечом и обратилась к Берсеневу.

— Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком; а мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая.

— О, боже! — простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берсенев усмехнулся молча.

Девушка топнула ножкой.

— Павел Яковлевич! Я рассержусь! Hélène пошла было со мною,— продолжала она,— да осталась в саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.

Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку, мягкие длинные локоны от лица.

Приятели пошли за нею (Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы) и несколько мгновений спустя очутились перед одною из многочисленных дач, окружающих Кунцево. Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовою краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закричала: «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шёлковом платье и, подняв вышитый батистовый платок над головой для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.

III

Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротою и наследницей довольно значительного имения. У нее были родственники очень богатые и очень бедные — бедные по отцу, богатые по матери: сенатор Волгин, князья Чикурасовы. Князь Ардалион Чикурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в «прелестном розовом платье с куафюрой из малень-

ких роз». Она берегла эту куафюру... Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненного в двенадцатом году и получившего доходное место в Петербурге, шестнадцати лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги. Смолоду его занимали две мечты: попасть в флигель-адъютанты и выгодно жениться; с первою мечтой он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском,— и всегда держался того мнения, что нельзя.

Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к ералашу. Дома он скучал; сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти всё время. На лето 53-го года он не переехал в Кунцево: он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами; в сущности, ему не хотелось расстаться с своею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д. Раз кто-то назвал его frondeur; это название очень ему понравилось. «Да,— думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь,— меня удовлетворить не легко; меня не надуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово «нервы» и скажет: «А что такое нервы?» — или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «Всё это одни фразы». Должно сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине,

Феодолинде Петерзилиус, называла его: Mein Pinselchen [1].

Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина, с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом всё это бросила; стала рядиться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кончилось тем, что она только и делала что грустила и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать; ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемогала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.

Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать наклонность к ваянию, тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тетки (ему было тогда лет шестнадцать) и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера — и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он, с грехом пополам, девятнадцати лет поступил в университет, на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но, по существовавшему в то время штату студентов, ни в какой другой факультет поступить было невозможно; притом он надеялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел

[1] Мой дурачок *(нем.)*.

из университета с тем, чтобы посвятиться исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходился с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, италиянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным,— его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упросила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание: он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.

IV

— Пойдемте же кушать, пойдемте,— проговорила жалостным голосом хозяйка, и все отправились в столовую.— Сядьте подле меня, Zoé,— промолвила Анна Васильевна,— а ты, Hélène, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни Zoé. У меня голова болит сегодня.

Шубин опять возвел глаза к небу; Zoé ответила ему полуулыбкой. Эта Zoé, или, говоря точнее, Зоя Никитишна Мюллер, была миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно пела русские романсы, чистенько разыгрывала на фортепьяно разные то веселенькие, то чувствительные штучки; одевалась со вкусом, но как-то по-детски и уже слишком опрятно. Анна Васильевна взяла ее в компаньонки к своей дочери и почти постоянно держала ее при себе. Елена на это не жаловалась: она решительно не знала, о чем ей говорить с Зоей, когда ей случалось остаться с ней наедине.

Обед продолжался довольно долго; Берсенев разговаривал с Еленой об университетской жизни, о своих намерениях и надеждах; Шубин прислушивался и молчал, ел с преувеличенною жадностию, изредка бросая комически унылые взоры на Зою, которая отвечала ему все тою же флегматической улыбочкой. После обеда Елена с Берсеневым и Шубиным отправились в сад; Зоя по-

смотрела им вслед и, слегка пожав плечиком, села за фортепьяно. Анна Васильевна проговорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять?» — но, не дождавшись ответа, прибавила: «Сыграйте мне что-нибудь такое грустное...»

— «La dernière pensée» de Weber? [1] — спросила Зоя.

— Ах да, Вебера,— промолвила Анна Васильевна, опустилась в кресла, и слеза навернулась на ее ресницу.

Между тем Елена повела обоих приятелей в беседку из акаций, с деревянным столиком посередине и скамейками вокруг. Шубин оглянулся, подпрыгнул несколько раз и, промолвив шёпотом: «Подождите!», сбегал к себе в комнату, принес кусок глины и начал лепить фигуру Зои, покачивая головой, бормоча и посмеиваясь.

— Опять старые шутки,—произнесла Елена, взглянув на его работу, и обратилась к Берсеневу, с которым продолжала разговор, начатый за обедом.

— Старые шутки,— повторил Шубин.— Предмет-то больно неистощимый! Сегодня особенно она меня из терпения выводит.

— Это почему? — спросила Елена.— Подумаешь, вы говорите о какой-нибудь злой, неприятной старухе. Хорошенькая, молоденькая девочка...

— Конечно,— перебил Шубин,— она хорошенькая, очень хорошенькая; я уверен, что всякий прохожий, взглянув на нее, непременно должен подумать: вот бы с кем отлично... польку протанцевать; я также уверен, что она это знает и что это ей приятно... К чему же эти стыдливые ужимки, эта скромность? Ну, да вам известно, что я хочу сказать,— прибавил он сквозь зубы.— Впрочем, вы теперь другим заняты.

И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с досадой лепить и мять глину.

— Итак, вы желали бы быть профессором? — спросила Елена Берсенева.

— Да,— возразил тот, втискивая между колен свои красные руки.— Это моя любимая мечта. Конечно, я очень хорошо знаю всё, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого... Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен, но я надеюсь получить позволение съездить за границу; пробуду там три-четыре года, если нужно, и тогда...

---

[1] «Последнюю думу» Вебера? *(франц.)*.

Он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко улыбаясь, поправил волосы. Когда Берсенев говорил с женщиной, речь его становилась еще медлительнее и он еще более пришепетывал.

— Вы хотите быть профессором истории? — спросила Елена.

— Да, или философии,— прибавил он, понизив голос,— если это будет возможно.

— Он уже теперь силен, как чёрт, в философии,— заметил Шубин, проводя глубокие черты ногтем по глине,— на что ему за границу ездить?

— И вы будете вполне довольны вашим положением? — спросила Елена, подпершись локтем и глядя ему прямо в лицо.

— Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича... Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением, да... смущением, которого... которое происходит от сознания моих малых сил. Покойный батюшка благословил меня на это дело... Я никогда не забуду его последних слов.

— Ваш батюшка скончался нынешнею зимой?

— Да, Елена Николаевна, в феврале.

— Говорят,— продолжала Елена,— он оставил замечательное сочинение в рукописи; правда ли это?

— Да, оставил. Это был чудесный человек. Вы бы полюбили его, Елена Николаевна.

— Я в этом уверена. А какое содержание этого сочинения?

— Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был человек очень ученый, шеллингианец, он употреблял выражения не всегда ясные...

— Андрей Петрович,— перебила его Елена,— извините мое невежество, что такое значит: шеллингианец?

Берсенев слегка улыбнулся.

— Шеллингианец, это значит последователь Шеллинга, немецкого философа, а в чем состояло учение Шеллинга...

— Андрей Петрович! — воскликнул вдруг Шубин,— ради самого бога! Уж не хочешь ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Пощади!

— Вовсе не лекцию,— пробормотал Берсенев и покраснел,— я хотел...

— А почему ж бы и не лекцию,— подхватила Елена.— Нам с вами лекции очень нужны, Павел Яковлевич.

Шубин уставился на нее и вдруг захохотал.

— Чему же вы смеетесь? — спросила она холодно и почти резко.

Шубин умолк.

— Ну полноте, не сердитесь,— промолвил он спустя немного.— Я виноват. Но в самом деле, что за охота, помилуйте, теперь, в такую погоду, под этими деревьями, толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, о розах, о молодых глазах и улыбках.

— Да; и о французских романах, о женских тряпках,— продолжала Елена.

— Пожалуй, и о тряпках,— возразил Шубин,— если они красивы.

— Пожалуй. Но если нам не хочется говорить о тряпках? Вы величаете себя свободным художником, зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мыслей зачем вы нападаете на Зою? С ней особенно удобно говорить о тряпках и о розах.

Шубин вдруг вспыхнул и приподнялся со скамейки.

— А, вот как? — начал он неверным голосом.— Я понимаю ваш намек; вы меня отсылаете к ней, Елена Николаевна. Другими словами, я здесь лишний?

— Я не думала отсылать вас отсюда.

— Вы хотите сказать,— продолжал запальчиво Шубин,— что я не стою другого общества, что я ей под пару, что я так же пуст, и вздорен, и мелок, как эта сладковатая немочка? Не так ли-с?

Елена нахмурила брови.

— Вы не всегда так о ней отзывались, Павел Яковлевич,— заметила она.

— А! упрек! упрек теперь! — воскликнул Шубин.— Ну да, я не скрываю, была минута, именно одна минута, когда эти свежие, пошлые щечки... Но если б *я* захотел отплатить вам упреком и напомнить вам... Прощайте-с,— прибавил он вдруг,— я готов завраться.

И, ударив рукой по слепленной в виде головы глине, он выбежал из беседки и ушел к себе в комнату.

— Дитя,— проговорила Елена, поглядев ему вслед.

— Художник,— промолвил с тихой улыбкой Берсенев.— Все художники таковы. Надобно им прощать их капризы. Это их право.

— Да,— возразила Елена,— но Павел до сих пор

еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор? Дайте мне руку и пойдемте по аллее. Он помешал нам. Мы говорили о сочинении вашего батюшки.

Берсенев взял руку Елены и пошел за ней по саду, но начатый разговор, слишком рано прерванный, не возобновился; Берсенев снова принялся излагать свои воззрения на профессорское звание, на будущую свою деятельность. Он тихо двигался рядом с Еленой, неловко выступал, неловко поддерживал ее руку, изредка толкал ее плечом и ни разу не взглянул на нее; но речь его текла легко, если не совсем свободно, он выражался просто и верно, и в глазах его, медленно блуждавших по стволам деревьев, по песку дорожки, по траве, светилось тихое умиление благородных чувств, а в успокоенном голосе слышалась радость человека, который сознает, что ему удается высказываться перед другим, дорогим ему человеком. Елена слушала его внимательно и, обернувшись к нему вполовину, не отводила взора от его слегка побледневшего лица, от глаз его, дружелюбных и кротких, хотя избегавших встречи с ее глазами. Душа ее раскрывалась, и что-то нежное, справедливое, хорошее не то вливалось в ее сердце, не то вырастало в нем.

V

Шубин не выходил из своей комнаты до самой ночи. Уже совсем стемнело, неполный месяц стоял высоко на небе. Млечный Путь забелел и звезды запестрели, когда Берсенев, простившись с Анной Васильевной, Еленой и Зоей, подошел к двери своего приятеля. Он нашел ее запертою и постучался.

— Кто там? — раздался голос Шубина.

— Я,— отвечал Берсенев.

— Чего тебе?

— Впусти меня, Павел, полно капризничать; как тебе не стыдно?

— Я не капризничаю, я сплю и вижу во сне Зою.

— Перестань, пожалуйста. Ты не ребенок. Впусти меня. Мне нужно с тобою поговорить.

— Ты не наговорился еще с Еленой?

— Полно же, полно; впусти меня!

Шубин отвечал притворным храпеньем. Берсенев пожал плечами и отправился домой.

Ночь была тепла и как-то особенно безмолвна, точно всё кругом прислушивалось и караулило; и Берсенев, охваченный неподвижною мглою, невольно останавливался и тоже прислушивался и караулил. Легкий шорох, подобный шелесту женского платья, поднимался по временам в верхушках близких деревьев и возбуждал в Берсеневе ощущение сладкое и жуткое, ощущение полустраха. Мурашки пробегали по его щекам, глаза холодели от мгновенной слезы,— ему бы хотелось выступать совсем неслышно, прятаться, красться. Резкий ветерок набежал на него сбоку: он чуть-чуть вздрогнул и замер на месте; сонный жук свалился с ветки и стукнулся о дорогу; Берсенев тихо воскликнул: «А!» — и опять остановился. Но он начал думать о Елене, и все эти мимолетные ощущения исчезли разом: осталось одно живительное впечатление ночной свежести и ночной прогулки; всю душу его занял образ молодой девушки. Берсенев шел, потупя голову, и припоминал ее слова, ее вопросы. Топот быстрых шагов почудился ему сзади. Он приник ухом: кто-то бежал, кто-то догонял его; послышалось прерывистое дыхание, и вдруг перед ним, из черного круга тени, падавшей от большого дерева, без шапки на растрепанных волосах, весь бледный при свете луны, вынырнул Шубин.

— Я рад, что ты пошел по этой дороге,— с трудом проговорил он,— я бы всю ночь не заснул, если б я не догнал тебя. Дай мне руку. Ведь ты домой идешь?

— Домой.

— Я тебя провожу.

— Да как же ты пойдешь без шапки?

— Ничего. Я и галстух снял. Теперь тепло.

Приятели сделали несколько шагов.

— Не правда ли, я был очень глуп сегодня? — спросил внезапно Шубин.

— Откровенно говоря, да. Я тебя понять не мог. Я тебя таким никогда не видал. И отчего ты рассердился, помилуй! Из-за каких пустяков?

— Гм,— промычал Шубин.— Вот как ты выражаешься, а мне не до пустяков. Видишь ли,— прибавил он,— я должен тебе заметить, что я... что... Думай обо мне что хочешь... я... ну да! я влюблен в Елену.

— Ты влюблен в Елену! — повторил Берсенев и остановился.

— Да,— с принужденною небрежностию продолжал Шубин.— Это тебя удивляет? Скажу тебе более. До

нынешнего вечера я мог надеяться, что и она со временем меня полюбит. Но сегодня я убедился, что мне надеяться нечего. Она полюбила другого.

— Другого? кого же?

— Кого? Тебя! — воскликнул Шубин и ударил Берсенева по плечу.

— Меня!

— Тебя,— повторил Шубин.

Берсенев отступил шаг назад и остался неподвижен. Шубин зорко посмотрел на него.

— И это тебя удивляет? Ты скромный юноша. Но она тебя любит. На этот счет ты можешь быть спокоен.

— Что за вздор ты мелешь! — произнес, наконец, с досадой Берсенев.

— Нет, не вздор. А впрочем, что же мы стоим? Пойдем вперед. На ходу легче. Я ее давно знаю, и хорошо ее знаю. Я не могу ошибиться. Ты пришелся ей по сердцу. Было время, я ей нравился; но, во-первых, я для нее слишком легкомысленный молодой человек, а ты существо серьезное, ты нравственно и физически опрятная личность, ты... постой, я не кончил, ты добросовестно-умеренный энтузиаст, истый представитель тех жрецов науки, которыми,— нет, не которыми,— *коими* столь справедливо гордится класс среднего русского дворянства! А во-вторых, Елена на днях застала меня целующим руки у Зои!

— У Зои?

— Да, у Зои. Что прикажешь делать? У нее плечи так хороши.

— Плечи?

— Ну да, плечи, руки, не всё ли равно? Елена застала меня посреди этих свободных занятий после обеда, а перед обедом я в ее присутствии бранил Зою. Елена, к сожалению, не понимает всей естественности подобных противоречий. Тут *ты* подвернулся: ты идеалист, ты веришь... во что, бишь, ты веришь?.. ты краснеешь, смущаешься, толкуешь о Шиллере, о Шеллинге (она же всё отыскивает замечательных людей), вот ты и победил, а я, несчастный, стараюсь шутить... и... и... между тем...

Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы.

Берсенев приблизился к нему.

— Павел,— начал он,— что это за детство? Помилуй! Что с тобою сегодня? Бог знает, какой вздор взбрел

тебе в голову, и ты плачешь. Мне, право, кажется, что ты притворяешься.

Шубин поднял голову. Слезы блистали на его щеках в лучах луны, но лицо его улыбалось.

— Андрей Петрович,— заговорил он,— ты можешь думать обо мне что тебе угодно. Я даже готов согласиться, что у меня теперь истерика, но я, ей-богу, влюблен в Елену, и Елена тебя любит. Впрочем, я обещал проводить тебя до дому и сдержу свое обещание.

Он встал.

— Какая ночь! серебристая, темная, молодая! Как хорошо теперь тем, кого любят! Как им весело не спать! Ты будешь спать, Андрей Петрович?

Берсенев ничего не отвечал и ускорил шаги.

— Куда ты торопишься? — продолжал Шубин.— Поверь моим словам, такой ночи в твоей жизни не повторится, а дома ждет тебя Шеллинг. Правда, он сослужил тебе сегодня службу; но ты все-таки не спеши. Пой, если умеешь, пой еще громче; если не умеешь — сними шляпу, закинь голову и улыбайся звездам. Они все на тебя смотрят, на одного тебя: звезды только и делают что смотрят на влюбленных людей,— оттого они так прелестны. Ведь ты влюблен, Андрей Петрович?.. Ты не отвечаешь мне... Отчего ты не отвечаешь? — заговорил опять Шубин.— О, если ты чувствуешь себя счастливым, молчи, молчи! Я болтаю, потому что я горемыка, я нелюбимый, я фокусник, артист, фигляр; но какие безмолвные восторги пил бы я в этих ночных струях, под этими звездами, под этими алмазами, если б я знал, что меня любят!.. Берсенев, ты счастлив?

Берсенев по-прежнему молчал и быстро шел по ровной дороге. Впереди, между деревьями, замелькали огни деревеньки, в которой он жил; она вся состояла из десятка небольших дач. При самом ее начале, направо от дороги, под двумя развесистыми березами, находилась мелочная лавочка; окна в ней уже были все заперты, но широкая полоса света падала веером из растворенной двери на притоптанную траву и била вверх по деревьям, резко озаряя беловатую изнанку сплошных листьев. Девушка, с виду горничная, стояла в лавке спиной к порогу и торговалась с хозяином: из под красного платка, который она накинула себе на голову и придерживала обнаженной рукой у подбородка, едва виднелась ее круглая щечка и тонкая шейка. Молодые люди вступили в полосу света, Шубин глянул

во внутренность лавки, остановился и кликнул: «Аннушка!» Девушка живо обернулась. Показалось миловидное, немножко широкое, но свежее лицо с веселыми карими глазами и черными бровями. «Аннушка!» — повторил Шубин. Девушка всмотрелась в него, испугалась, застыдилась и, не кончив покупки, спустилась с крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла через дорогу, налево. Лавочник, человек пухлый и равнодушный ко всему на свете, как все загородные мелочные торговцы, крякнул и зевнул ей вслед, а Шубин обратился к Берсеневу со словами: «Это... это, вот видишь... тут есть у меня знакомое семейство... так это у них... ты не подумай...» — и, не докончив речи, побежал за уходившею девушкой.

— Утри по крайней мере свои слезы,— крикнул ему Берсенев и не мог удержаться от смеха. Но когда он вернулся домой, на лице его не было веселого выражения; он не смеялся более. Он ни на одно мгновение не поверил тому, что сказал ему Шубин, но слово, им произнесенное, запало глубоко ему в душу. «Павел меня дурачил,— думал он...— но она когда-нибудь полюбит... Кого полюбит она?»

У Берсенева в комнате стояло фортепьяно, небольшое и не новое, но с мягким и приятным, хоть и не совсем чистым тоном. Берсенев присел к нему и начал брать аккорды. Как все русские дворяне, он в молодости учился музыке и, как почти все русские дворяне, играл очень плохо; но он страстно любил музыку. Собственно говоря, он любил в ней не искусство, не формы, в которых она выражается (симфонии и сонаты, даже оперы наводили на него уныние), а ее стихию: любил те смутные и сладкие, беспредметные и всеобъемлющие ощущения, которые возбуждаются в душе сочетанием и переливами звуков. Более часа не отходил он от фортепьяно, много раз повторяя одни и те же аккорды, неловко отыскивая новые, останавливаясь и замирая на уменьшенных септимах. Сердце в нем ныло, и глаза не однажды наполнялись слезами. Он не стыдился их: он проливал их в темноте. «Прав Павел,— думал он,— я предчувствую: этот вечер не повторится». Наконец он встал, зажег свечку, накинул халат, достал с полки второй том «Истории Гогенштауфенов» Раумера — и, вздохнув раза два, прилежно занялся чтением.

VI

Между тем Елена вернулась в свою комнату, села перед раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты вошло у ней в привычку. Она беседовала сама с собою в это время, отдавала себе отчет в протекшем дне. Ей недавно минул двадцатый год. Росту она была высокого, лицо имела бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие: она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед. Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как с больною бабушкой; а отец, который гордился ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она какая-то восторженная республиканка, бог знает в кого! Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала «во веки веков»; требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение,— а суд произносила она скоро, часто слишком скоро,— и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь.

Гувернантка, которой Анна Васильевна поручила докончить воспитание своей дочери,— воспитание, заметим в скобках, даже не начатое скучавшей барыней,— была из русских, дочь разорившегося взяточника, институтка, очень чувствительное, доброе и лживое существо; она то и дело влюблялась и кончила тем, что в пятидесятом году (когда Елене минуло семнадцать лет) вышла замуж за какого-то офицера, который тут же ее и бросил. Гувернантка эта очень любила литературу и сама пописывала стишки; она приохотила Елену к чтению, но чтение одно

ее не удовлетворяло: она с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала об них всех своих знакомых; милостыню она подавала заботливо, с невольною важностью, почти с волнением. Все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими. Мать не мешала ей; зато отец очень негодовал на свою дочь за ее, как он выражался, пошлое нежничанье и уверял, что от собак да кошек в доме ступить негде. «Леночка,— кричал он ей бывало,— иди скорей, паук муху сосет, освобождай несчастную!» И Леночка, вся встревоженная, прибегала, освобождала муху, расклеивала ей лапки. «Ну, теперь дай себя покусать, коли ты такая добрая»,— иронически замечал отец; но она его не слушала. На десятом году Елена познакомилась с нищею девочкой Катей и тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички — игрушек Катя не брала. Она садилась с ней рядом на сухую землю, в глуши, за кустом крапивы; с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб, слушала ее рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била; Катя ее ненавидела и всё говорила о том, как она убежит от тетки, как будет жить на *всей божьей воле;* с тайным уважением и страхом внимала Елена этим неведомым, новым словам, пристально смотрела на Катю, и всё в ней тогда — ее черные, быстрые, почти звериные глаза, ее загорелые руки, глухой голосок, даже ее изорванное платье — казалось Елене чем-то особенным, чуть не священным. Елена возвращалась домой и долго потом думала о нищих, о божьей воле; думала о том, как она вырежет себе ореховую палку, и сумку наденет, и убежит с Катей, как она будет скитаться по дорогам в венке из васильков: она однажды видела Катю в таком венке. Входил ли в это время кто-нибудь из родных в комнату, она дичилась и глядела букой. Однажды она в дождь бегала на свиданье с Катей и запачкала себе платье; отец увидал ее и назвал замарашкой, крестьянкой. Она вспыхнула вся — и страшно и чудно стало ей на сердце. Катя часто напевала какую-то полудикую солдатскую песенку; Елена выучилась у ней этой песенке... Анна Васильевна подслушала ее и пришла в негодование.

— Откуда ты набралась этой мерзости? — спросила она свою дочь.

Елена только посмотрела на мать и ни слова не сказала: она почувствовала, что скорее позволит растерзать себя на части, чем выдаст свою тайну, и опять стало ей и страшно и сладко на сердце. Впрочем, знакомство ее с Катей продолжалось недолго: бедная девочка занемогла горячкой и через несколько дней умерла.

Елена очень тосковала и долго по ночам заснуть не могла, когда узнала о смерти Кати. Последние слова нищей девочки беспрестанно звучали у ней в ушах, и ей самой казалось, что ее зовут...

А годы шли да шли; быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены, в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге. Подруг у ней не было: изо всех девиц, посещавших дом Стаховых, она не сошлась ни с одной. Родительская власть никогда не тяготела над Еленой, а с шестнадцатилетнего возраста она стала почти совсем независима; она зажила собственною своею жизнию, но жизнию одинокою. Ее душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не было: никто не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Всё, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным. «Как жить без любви? а любить некого!» — думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений. Восемнадцати лет она чуть не умерла от злокачественной лихорадки; потрясенный до основания, весь ее организм, от природы здоровый и крепкий, долго не мог справиться: последние следы болезни исчезли наконец, но отец Елены Николаевны всё еще не без озлобления толковал об ее нервах. Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России. Потом она утихала, даже смеялась над собой, беспечно проводила день за днем, но внезапно что-то сильное, безымянное, с чем она совладеть не умела, так и закипало в ней, так и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталые, не взлетевшие крылья; но эти порывы не обходились ей даром. Как она ни старалась не выдать того, что в ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась в самом ее наружном спокойствии, и родные ее часто были вправе пожимать плечами, удивляться и не понимать ее «странностей».

[illegible]

ПЛАН РОМАНА «НАКАНУНЕ». СТРАНИЦА АВТОГРАФА.
Национальная библиотека, Париж.

В день, с которого начался наш рассказ, Елена дольше обыкновенного не отходила от окна. Она много думала о Берсеневе, о своем разговоре с ним. Он ей нравился; она верила теплоте его чувств, чистоте его намерений. Он никогда еще так не говорил с ней, как в тот вечер. Она вспомнила выражение его несмелых глаз, его улыбки — и сама улыбнулась и задумалась, но уже не о нем. Она принялась глядеть «в ночь» через открытое окно. Долго глядела она на темное, низко нависшее небо; потом она встала, движением головы откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, протянула к нему, к этому небу, свои обнаженные, похолодевшие руки; потом она их уронила, стала на колени перед своею постелью, прижалась лицом к подушке и, несмотря на все свои усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами.

VII

На другой день, часу в двенадцатом, Берсенев отправился на обратном извозчике в Москву. Ему нужно было получить с почты деньги, купить кой-какие книги, да кстати ему хотелось повидаться с Инсаровым и переговорить с ним. Берсеневу, во время последней беседы с Шубиным, пришла мысль пригласить Инсарова к себе на дачу. Но он не скоро отыскал его: с прежней своей квартиры он переехал на другую, до которой добраться было нелегко: она находилась на заднем дворе безобразного каменного дома, построенного на петербургский манер между Арбатом и Поварской. Тщетно Берсенев скитался от одного грязного крылечка к другому, тщетно взывал то к дворнику, то к «кому-нибудь». Дворники и в Петербурге стараются избегать взоров посетителей, а в Москве подавно: никто не откликнулся Берсеневу; только любопытный портной, в одном жилете и с мотком серых ниток на плече, выставил молча из высокой форточки свое тусклое и небритое лицо с подбитым глазом да черная безрогая коза, взобравшаяся на навозную кучу, обернулась, проблеяла жалобно и проворнее прежнего зажевала свою жвачку. Какая-то женщина в старом салопе и стоптанных сапогах сжалилась, наконец, над Берсеневым и указала ему квартиру Инсарова. Берсенев застал его дома. Он нанимал комнату у самого того портного, который столь равнодушно взирал из форточки на затруднение забредшего человека,— большую, почти совсем пустую комнату

с темно-зелеными стенами, тремя квадратными окнами, крошечною кроваткой в одном углу, кожаным диванчиком в другом и громадной клеткой, подвешенной под самый потолок; в этой клетке когда-то жил соловей. Инсаров пошел навстречу Берсеневу, как только тот переступил порог дверей, но не воскликнул: «А, это вы!» или: «Ах, боже мой! какими судьбами?», не сказал даже: «Здравствуйте», а просто стиснул ему руку и подвел его к единственному, находившемуся в комнате, стулу.

— Сядьте,— сказал он и сам присел на край стола.

— У меня, вы видите, еще беспорядок,— прибавил Инсаров, указывая на груду бумаг и книг на полу,— еще не обзавелся как должно. Некогда еще было.

Инсаров говорил по-русски совершенно правильно, крепко и чисто произнося каждое слово; но его гортанный, впрочем приятный голос звучал чем-то нерусским. Иностранное происхождение Инсарова (он был болгар родом) еще яснее сказывалось в его наружности: это был молодой человек лет двадцати пяти, худощавый и жилистый, с впалою грудью, с узловатыми руками; черты лица имел он резкие, нос с горбиной, иссиня-черные прямые волосы, небольшой лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза, густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчетливо очерченных губ. Одет он был в старенький, но опрятный сюртучок, застегнутый доверху.

— Зачем вы с прежней вашей квартиры съехали? — спросил его Берсенев.

— Эта дешевле; к университету ближе.

— Да ведь теперь вакации... И что вам за охота жить в городе летом! Наняли бы дачу, коли уж решились переезжать.

Инсаров ничего не отвечал на это замечание и предложил Берсеневу трубку, примолвив: «Извините, папирос и сигар не имею».

Берсенев закурил трубку.

— Вот я,— продолжал он,— нанял себе домик возле Кунцева. Очень дешево и очень удобно. Так что даже лишняя есть комната наверху.

Инсаров опять ничего не отвечал.

Берсенев затянулся.

— Я даже думал,— заговорил он снова, выпуская дым тонкою струей,— что если бы, например, нашелся

кто-нибудь... вы, например, так думал я... который бы захотел... который бы согласился поместиться у меня там наверху... как бы это хорошо было! Как вы полагаете, Дмитрий Никанорыч?

Инсаров вскинул на него свои небольшие глазки.

— Вы мне предлагаете жить у вас на даче?

— Да; у меня наверху там есть лишняя комната.

— Очень вам благодарен, Андрей Петрович; но я полагаю, средства мои мне не позволяют этого.

— То есть как же не позволяют?

— Не позволяют жить на даче. Мне две квартиры держать невозможно.

— Да ведь я...— начал было Берсенев и остановился.— Вам от этого никаких лишних расходов бы не было,— продолжал он.— Здешняя квартира осталась бы, положим, за вами; зато там всё очень дешево; можно бы даже так устроиться, чтоб обедать, например, вместе.

Инсаров молчал. Берсеневу стало неловко.

— По крайней мере навестите меня когда-нибудь,— начал он, погодя немного.— От меня в двух шагах живет семейство, с которым мне очень хочется вас познакомить. Какая там есть чудная девушка, если бы вы знали, Инсаров! Там также живет один мой близкий приятель, человек с большим талантом; я уверен, что вы с ним сойдетесь. (Русский человек любит потчевать — коли нечем иным, так своими знакомыми.) Право, приезжайте. А еще лучше, переселяйтесь к нам, право. Мы бы могли вместе работать, читать... Я, вы знаете, занимаюсь историей, философией. Всё это вас интересует, у меня и книг много.

Инсаров встал и прошелся по комнате.

— Позвольте узнать,— спросил он наконец,— сколько вы платите за вашу дачу?

— Сто рублей серебром.

— А сколько в ней всего комнат?

— Пять.

— Стало быть, по расчету, приходилось бы за одну комнату двадцать рублей?

— По расчету... Да помилуйте, она мне совсем не нужна. Просто стоит пустая.

— Может быть; но послушайте,— прибавил Инсаров с решительным и в то же время простодушным движением головы.— Я только в таком случае могу воспользоваться вашим предложением, если вы согласитесь взять с меня деньги по расчету. Двадцать рублей

дать я в силах, тем более что, по вашим словам, я буду там делать экономию на всем прочем.

— Разумеется; но, право же, мне совестно.

— Иначе нельзя, Андрей Петрович.

— Ну, как хотите; только какой же вы упрямый!

Инсаров опять ничего не ответил.

Молодые люди условились насчет дня, в который Инсаров должен был переселиться. Позвали хозяина; но он сперва прислал свою дочку, девочку лет семи, с огромным пестрым платком на голове; она внимательно, чуть не с ужасом, выслушала всё, что ей сказал Инсаров, и ушла молча; вслед за ней появилась ее мать, беременная на сносе, тоже с платком на голове, только крошечным. Инсаров объяснил ей, что он переезжает на дачу возле Кунцева, но оставляет квартиру за собой и поручает ей все свои вещи; портниха тоже словно испугалась и удалилась. Наконец, пришел хозяин; этот сначала ка́к будто всё понял и только задумчиво проговорил: «Возле Кунцева?» — а потом вдруг отпер дверь и закричал: «За вами, што ль, фатера?» Инсаров его успокоил. «Потому, надо знать»,— повторил портной сурово и скрылся.

Берсенев отправился восвояси, очень довольный успехом своего предложения. Инсаров проводил его до двери с любезною, в России мало употребительною вежливостью и, оставшись один, бережно снял сюртук и занялся раскладыванием своих бумаг.

VIII

Вечером того же дня Анна Васильевна сидела в своей гостиной и собиралась плакать. Кроме ее, в комнате находился ее муж да еще некто Увар Иванович Стахов, троюродный дядя Николая Артемьевича, отставной корнет лет шестидесяти, человек тучный до неподвижности, с сонливыми желтыми глазками и бесцветными толстыми губами на желтом пухлом лице. Он с самой отставки постоянно жил в Москве процентами с небольшого капитала, оставленного ему женой из купчих. Он ничего не делал и навряд ли думал, а если и думал, так берег свои думы про себя. Раз только в жизни он пришел в волнение и оказал деятельность, а именно: он прочел в газетах о новом инструменте на всемирной лондонской выставке — «контробомбардоне» и пожелал выписать себе этот инструмент, даже спрашивал, куда послать деньги и через какую контору? Увар Иванович носил просторный сюртук табачного

цвета и белый платок на шее, ел часто и много, и только в затруднительных случаях, то есть всякий раз, когда ему приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая: «Надо бы... как-нибудь, того...»

Увар Иванович сидел в креслах возле окна и дышал напряженно. Николай Артемьевич ходил большими шагами по комнате, засунув руки в карманы; лицо его выражало неудовольствие.

Он остановился наконец и покачал головой.

— Да,— начал он,— в наше время молодые люди были иначе воспитаны. Молодые люди не позволяли себе манкировать старшим. (Он произнес: *ман*, в нос, по-французски.) А теперь я только гляжу и удивляюсь. Может быть, не прав *я*, а *они* правы; может быть. Но всё же у меня есть свой взгляд на вещи: не олухом же я родился. Как вы об этом думаете, Увар Иванович?

Увар Иванович только поглядел на него и поиграл пальцами.

— Елену Николаевну, например,— продолжал Николай Артемьевич,— Елену Николаевну я не понимаю, точно. Я для нее не довольно возвышен. Ее сердце так обширно, что обнимает всю природу, до малейшего таракана или лягушки, словом всё, за исключением родного отца. Ну, прекрасно; я это знаю и уж не суюсь. Потому тут и нервы, и ученость, и паренье в небеса, это всё не по нашей части. Но господин Шубин... положим, он артист удивительный, необыкновенный, я об этом не спорю; однако манкировать старшему, человеку, которому он все-таки, можно сказать, обязан многим,— это я, признаюсь, dans mon gros bon sens [1], допустить не могу. Я от природы не взыскателен, нет; но всему есть мера.

Анна Васильевна позвонила с волнением. Вошел казачок.

— Что же Павел Яковлевич не идет? — проговорила она.— Что это я его дозваться не могу?

Николай Артемьевич пожал плечами.

— Да на что, помилуйте, вы хотите его позвать? Я этого вовсе не требую, не желаю даже.

— Как на что, Николай Артемьевич? Он вас обес-

[1] по моему простому здравому смыслу *(франц.)*.

покоил; может быть, помешал курсу вашего лечения. Я хочу объясниться с ним. Я хочу знать, чем он мог вас прогневать.

— Я вам повторяю, что я этого не требую. И что за охота... devant les domestiques[1]...

Анна Васильевна слегка покраснела.

— Напрасно вы это говорите, Николай Артемьевич. Я никогда... devant... les domestiques... Ступай, Федюшка, да смотри, сейчас приведи сюда Павла Яковлевича.

Казачок вышел.

— И нисколько это всё не нужно,— проговорил сквозь зубы Николай Артемьевич и снова принялся шагать по комнате.— Я совсем не к тому речь вел.

— Помилуйте, Paul должен извиниться перед вами.

— Помилуйте, на что мне его извинения? И что такое извинения? Это всё фразы.

— Как на что? его вразумить надо.

— Вразумите его вы сами. Он вас скорей послушает. А я на него не в претензии.

— Нет, Николай Артемьевич, вы сегодня с самого вашего приезда не в духе. Вы даже, на мои глаза, похудели в последнее время. Я боюсь, что курс лечения вам не помогает.

— Курс лечения мне необходим,— заметил Николай Артемьевич,— у меня печень не в порядке.

В это мгновение вошел Шубин. Он казался усталым. Легкая, чуть-чуть насмешливая улыбка играла на его губах.

— Вы меня спрашивали, Анна Васильевна? — промолвил он.

— Да, конечно спрашивала. Помилуй, Paul, это ужасно. Я тобой очень недовольна. Как ты можешь манкировать Николаю Артемьевичу?

— Николай Артемьевич вам жаловался на меня? — спросил Шубин и с тою же усмешкой на губах глянул на Стахова.

Тот отвернулся и опустил глаза.

— Да, жаловался. Я не знаю, чем ты перед ним провинился, но ты должен сейчас извиниться, потому что его здоровье очень теперь расстроено, и, наконец, мы все в молодых летах должны уважать своих благодетелей.

---

[1] при слугах... *(франц.)*.

«Эх, логика!» — подумал Шубин и обратился к Стахову:

— Я готов извиниться перед вами, Николай Артемьевич,— проговорил он с учтивым полупоклоном,— если я вас точно чем-нибудь обидел.

— Я вовсе... не с тем,— возразил Николай Артемьевич, по-прежнему избегая взоров Шубина.— Впрочем, я охотно вас прощаю, потому что, вы знаете, я невзыскательный человек.

— О, это не подвержено никакому сомнению! — промолвил Шубин.— Но позвольте полюбопытствовать: известно ли Анне Васильевне, в чем именно состоит моя вина?

— Нет, я ничего не знаю,— заметила Анна Васильевна и вытянула шею.

— О боже мой! — торопливо воскликнул Николай Артемьевич,— сколько раз уж я просил, умолял, сколько раз говорил, как мне противны все эти объяснения и сцены! В кои-то веки приедешь домой, хочешь отдохнуть,— говорят: семейный круг, intérieur, будь семьянином,— а тут сцены, неприятности. Минуты нет покоя. Поневоле поедешь в клуб или... или куда-нибудь. Человек живой, у него физика, она имеет свои требования, а тут...

И, не докончив начатой речи, Николай Артемьевич быстро вышел вон и хлопнул дверью. Анна Васильевна посмотрела ему вслед.

— В клуб? — горько прошептала она.— Не в клуб вы едете, ветреник! В клубе некому дарить лошадей собственного завода — да еще серых! Любимой моей масти. Да, да, легкомысленный человек,— прибавила она, возвысив голос,— не в клуб вы едете. А ты, Paul,— продолжала она вставая,— как тебе не стыдно? Кажется, не маленький. Вот теперь у меня голова заболела. Где Зоя, не знаешь?

— Кажется, у себя наверху. Рассудительная сия лисичка в такую погоду всегда в свою норку прячется.

— Ну, пожалуйста, пожалуйста! — Анна Васильевна поискала вокруг себя.— Рюмочку мою с натертым хреном ты не видел? Paul, сделай одолжение, вперед не серди меня.

— Где вас рассердить, тетушка? Дайте мне вашу ручку поцеловать. А хрен ваш я видел в кабинете на столике.

— Дарья его вечно где-нибудь позабудет,— промолвила Анна Васильевна и удалилась, шумя шелковым платьем.

Шубин хотел было пойти за ней, но остановился, услышав за собою медлительный голос Увара Ивановича.

— Не так бы тебя, молокососа... следовало,— говорил вперемежку отставной корнет.

Шубин подошел к нему.

— А за что же бы меня следовало, достохвальный Увар Иванович?

— За что? Млад ты, так уважай. Да.

— Кого?

— Кого? Известно кого. Скаль зубы-то.

Шубин скрестил руки на груди.

— Ах вы, представитель хорового начала,— воскликнул он,— черноземная вы сила, фундамент вы общественного здания!

Увар Иванович заиграл пальцами.

— Полно, брат, не искушай.

— Ведь вот,— продолжал Шубин,— не молодой, кажется, дворянин, а сколько в нем еще таится счастливой, детской веры! Уважать! Да знаете ли вы, стихийный вы человек, за что Николай Артемьевич гневается на меня? Ведь я с ним сегодня целое утро провел у его немки; ведь мы сегодня втроем пели «Не отходи от меня»; вот бы вы послушали. Вас, кажется, это берет. Пели мы, сударь мой, пели — ну и скучно мне стало; вижу я: дело неладно, нежности много. Я и начал дразнить обоих. Хорошо вышло. Сперва она на меня рассердилась, а потом на него; а потом он на нее рассердился и сказал ей, что он только дома счастлив и что у него там рай; а она ему сказала, что он нравственности не имеет; а я ей сказал «Ах!» по-немецки; он ушел, а я остался; он приехал сюда, в рай то есть, а в раю ему тошно. Вот он и принялся брюзжать. Ну-с, кто теперь, по-вашему, виноват?

— Конечно, ты,— возразил Увар Иванович.

Шубин уставился на него.

— Осмелюсь спросить у вас, почтенный витязь,— начал он подобострастным голосом,— эти загадочные слова вы изволили произнести вследствие какого-либо соображения вашей мыслительной способности или же под наитием мгновенной потребности произвести сотрясение в воздухе, называемое звуком?

— Не искушай, говорят! — простонал Увар Иванович.

Шубин засмеялся и выбежал вон.

— Эй! — воскликнул четверть часа спустя Увар Иванович,— того... рюмку водки.

Казачок принес водки и закуску на подносе. Увар Иванович тихонько взял с подноса рюмку и долго, с усиленным вниманием глядел на нее, как будто не понимая хорошенько, что у него такое в руке. Потом он посмотрел на казачка и спросил: не Васькой ли его зовут? Потом он принял огорченный вид, выпил водки, закусил и полез доставать носовой платок из кармана. Но казачок уже давно отнес поднос и графин на место, и остаток селедки съел, и уже успел соснуть, прикорнув к барскому пальто, а Увар Иванович всё еще держал платок перед собой на растопыренных пальцах и с тем же усиленным вниманием посматривал то в окно, то на пол и стены.

IX

Шубин вернулся к себе во флигель и раскрыл было книгу. Камердинер Николая Артемьевича осторожно вошел в его комнату и вручил ему небольшую трехугольную записку, запечатанную крупною гербовою печатью. «Я надеюсь,— стояло в этой записке,— что вы, как честный человек, не позволите себе намекнуть даже единым словом на некоторый вексель, о котором была сегодня утром речь. Вам известны мои отношения и мои правила, незначительность самой суммы и другие обстоятельства; наконец, есть семейные тайны, которые должно уважать, и семейное спокойствие есть такая святыня, которую одни êtres sans coeur [1], к которым я не имею причины вас причислить, отвергают! (Сию записку возвратите.) Н. С.».

Шубин начертил внизу карандашом: «Не беспокойтесь — я еще пока платков из карманов не таскаю»; возвратил записку камердинеру и снова взялся за книгу. Но она скоро выскользнула у него из рук. Он посмотрел на заалевшееся небо, на две молодые могучие сосны, стоявшие особняком от остальных деревьев, подумал: «Днем сосны синеватые бывают, а какие они великолепно-зеленые вечером» — и отправился в сад, с тайною надеждой встретить там Елену. Он не обманулся. Впереди, на дороге между кустами, мелькнуло ее платье. Он нагнал ее и, поравнявшись с нею, промолвил:

— Не глядите в мою сторону, я не сто́ю.

Она бегло взглянула на него, бегло улыбнулась и пошла дальше, в глубь сада. Шубин отправился вслед за нею.

---

[1] бессердечные существа *(франц.)*.

— Я прошу вас не смотреть на меня,— начал он,— а заговариваю с вами: противоречие явное! Но это всё равно, мне не впервой. Я сейчас вспомнил, что я еще не попросил у вас как следует прощения в моей глупой вчерашней выходке. Вы не сердитесь на меня, Елена Николаевна?

Она остановилась и не тотчас отвечала ему — не потому, чтоб она сердилась, а ее мысли были далеко.

— Нет,— сказала она наконец,— я нисколько не сержусь.

Шубин закусил губу.

— Какое озабоченное... и какое равнодушное лицо! — пробормотал он.— Елена Николаевна,— продолжал он, возвысив голос,— позвольте мне рассказать вам маленький анекдотец. У меня был приятель, а у этого приятеля был тоже приятель, который сперва вел себя, как следует порядочному человеку, а потом запил. Вот однажды рано поутру мой приятель встречает его на улице (а уж они, заметьте, раззнакомились), встречает его и видит, что он пьян. Мой приятель взял да отвернулся от него. А тот-то подошел, да и говорит: «Я бы не рассердился, говорит, если б вы не поклонились, но зачем отворачиваться? Может быть, это я с горя. Мир моему праху!»

Шубин умолк.

— И только? — спросила Елена.

— Только.

— Я вас не понимаю. На что вы намекаете? Сейчас вы говорили мне, чтоб я не глядела в вашу сторону.

— Да, а теперь я вам рассказал, как нехорошо отворачиваться.

— Да разве я...— начала было Елена.

— А разве нет?

Елена слегка покраснела и протянула Шубину руку. Он крепко пожал ее.

— Вот вы меня как будто поймали на дурном чувстве,— сказала Елена,— а ваше подозрение несправедливо. Я и не думала чуждаться вас.

— Положим, положим. Но сознайтесь, что у вас в эту минуту тысяча мыслей в голове, из которых вы мне ни одной не поверите. Что? небось не правду я сказал?

— Может быть.

— Да отчего же это? отчего?

— Мои мысли мне самой не ясны,— проговорила Елена.

— Тут-то их и доверять другому,— подхватил Шубин.— Но я вам скажу, в чем дело. Вы дурного мнения обо мне.

— Я?

— Да, вы. Вы воображаете, что во мне всё наполовину притворно, потому что я художник; что я не способен не только ни на какое дело,— в этом вы, вероятно, правы,— но даже ни к какому истинному, глубокому чувству: что я и плакать-то искренно не могу, что я болтун и сплетник,— и всё потому, что я художник. Что же мы после этого за несчастные, богом убитые люди? Вы, например, я побожиться готов, не верите в мое раскаяние.

— Нет, Павел Яковлевич, я верю в ваше раскаяние, и в ваши слезы я верю. Но мне кажется, самое ваше раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже.

Шубин дрогнул.

— Ну, я вижу, это, как выражаются доктора, неизлечимый казус, casus incurabilis. Тут остается только поникнуть головой да покориться. А между тем, господи! неужели это правда, неужели же я всё с собой вожусь, когда рядом живет такая душа? И знать, что никогда не проникнешь в эту душу, никогда не будешь ведать, отчего она грустит, отчего она радуется, что́ в ней бродит, чего ей хочется, куда она идет... Скажите,— промолвил он после небольшого молчания,— вы никогда, ни за что, ни в каком случае не полюбили бы художника?

Елена посмотрела ему прямо в глаза.

— Не думаю, Павел Яковлевич; нет.

— Что и требовалось доказать,— проговорил с комической унылостию Шубин.— Засим, я полагаю, мне приличнее не мешать вашей уединенной прогулке. Профессор спросил бы вас: а на основании каких данных вы сказали нет? Но я не профессор, я дитя, по вашим понятиям; но от детей не отворачиваются, помните. Прощайте. Мир моему праху!

Елена хотела было остановить его, но подумала и тоже сказала:

— Прощайте.

Шубин вышел со двора. В недальнем расстоянии от дачи Стаховых встретился ему Берсенев. Он шел проворными шагами, наклонив голову и сдвинув шляпу на затылок.

— Андрей Петрович! — крикнул Шубин.

Тот остановился.

— Ступай, ступай,— продолжал Шубин,— я только так, я тебя не задерживаю,— и проберись прямо в сад; там ты найдешь Елену. Она, кажется, тебя ждет... кого-то она ждет во всяком случае... Понимаешь ты силу этих слов: она ждет! А знаешь, брат, какое удивительное обстоятельство? Представь, вот уже два года, как я живу с ней в одном доме, я в нее влюблен, и только сейчас, сию минуту, не то что понял, а увидал ее. Увидал и руки расставил. Не взирай на меня, пожалуйста, с этою лжеязвительною усмешкой, которая мало идет к твоим степенным чертам. Ну да, разумею, ты хочешь напомнить мне об Аннушке. Что же? Я не отказываюсь. Нашему брату Аннушки под стать. Да здравствуют же Аннушки, и Зои, и самые даже Августины Христиановны! Ты ступай к Елене теперь, а я отправлюсь... ты думаешь, к Аннушке? Нет, брат, хуже: к князю Чикурасову. Есть такой меценат из казанских татар, вроде Волгина. Видишь ты это пригласительное письмо, эти буквы: R. S. V. P.? [1] И в деревне мне нет покоя. Addio! [2]

Берсенев выслушал тираду Шубина молча и как будто конфузясь немножко за него; потом он вошел на двор стаховской дачи. А Шубин действительно поехал к князю Чикурасову, которому наговорил, с самым любезным видом, самых колких дерзостей. Меценат из казанских татар хохотал, гости мецената смеялись, а никому не было весело и, расставшись, все злились. Так два малознакомых господина, встретившись на Невском, внезапно оскалят друг перед другом зубы, приторно съежат глаза, нос и щеки и тотчас же, миновав друг друга, принимают прежнее, равнодушное или угрюмое, большею частию геморроидальное выражение.

X

Елена дружелюбно встретила Берсенева, уже не в саду, а в гостиной, и тотчас же, почти нетерпеливо, возобновила вчерашний разговор. Она была одна: Николай Артемьевич тихонько скрылся куда-то, Анна Васильевна лежала наверху с мокрою повязкой на голове. Зоя сидела возле нее, аккуратно расправив юбку и сложив на коленях ручки; Увар Иванович почивал в мезонине на широком и удобном

---

[1] Répondez s'il vous plaît — Ответьте, пожалуйста *(франц.)*.
[2] Прощай *(итал.)*.

диване, получившем прозвище «Самосон». Берсенев снова упомянул о своем отце: он свято чтил его память. Скажем и мы несколько слов о нем.

Владелец восьмидесяти двух душ, которых он освободил перед смертию, иллюминат, старый гёттингенский студент, автор рукописного сочинения о «Проступлениях или прообразованиях духа в мире», сочинения, в котором шеллингианизм, сведенборгианизм и республиканизм смешались самым оригинальным образом, отец Берсенева привез его в Москву еще мальчиком, тотчас после кончины его матери, и сам занялся его воспитанием. Он подготовлялся к каждому уроку, трудился необыкновенно добросовестно и совершенно неуспешно: он был мечтатель, книжник, мистик, говорил с запинкой, глухим голосом, выражался темно и кудряво, всё больше сравнениями, дичился даже сына, которого любил страстно. Не мудрено, что сын только хлопал глазами за его уроками и не подвигался ни на волос. Старик (ему было под пятьдесят лет, он женился очень поздно) догадался наконец, что дело не идет на лад, и поместил своего Андрюшу в пансион. Андрюша стал учиться, но из-под родительского присмотра не вышел: отец навещал его беспрестанно, надоедая содержателю своими наставлениями и беседами; надзиратели также тяготились незваным гостем: он то и дело приносил им какие-то, по их словам, премудреные книги о воспитании. Даже школьникам становилось неловко при виде смуглого и рябого лица старика, его тощей фигуры, постоянно облеченной в какой-то востроползый серый фрак. Школьники не подозревали тогда, что этот угрюмый, никогда не улыбавшийся господин, с журавлиной походкой и длинным носом — сердцем сокрушался и болел о каждом из них почти так же, как о собственном сыне. Он однажды вздумал побеседовать с ними о Вашингтоне. «Юные питомцы!» — начал он, но при первых звуках его странного голоса юные питомцы разбежались. Честный гёттингенец жил не на розах: он был постоянно подавлен ходом истории, всякого рода вопросами и соображениями. Когда молодой Берсенев поступил в университет, он ездил с ним на лекции; но уже здоровье начинало изменять ему. События 48-го года потрясли его до основания (надо было всю книгу переделать), и он умер зимой 53-го года, не дождавшись выхода сына из университета, но заранее поздравив его кандидатом и благословив его на служение науке. «Передаю тебе светоч, — говорил он ему за два часа до

смерти,— я держал его, покамест мог, не выпускай и ты сей светоч до конца».

Берсенев долго говорил с Еленой о своем отце. Неловкость, которую он чувствовал в ее присутствии, исчезла. и пришепетывал он не так сильно. Разговор перешел к университету.

— Скажите,— спросила его Елена,— между вашими товарищами были замечательные люди?

Берсенев вспомнил слова Шубина.

— Нет, Елена Николаевна, сказать вам по правде, не было между нами ни одного замечательного человека. Да и где! Было, говорят, время в Московском университете! Только не теперь. Теперь это училище — не университет. Мне было тяжело с моими товарищами,— прибавил он, понизив голос.

— Тяжело?..— прошептала Елена.

— Впрочем,— продолжал Берсенев,— я должен оговориться. Я знаю одного студента,— правда, он не моего курса,— это действительно замечательный человек.

— Как его зовут? — с живостью спросила Елена.

— Инсаров, Дмитрий Никанорович. Он болгар.

— Не русский?

— Нет, не русский.

— Зачем же он живет в Москве?

— Он приехал сюда учиться. И знаете ли, с какою целью он учится? У него одна мысль: освобождение его родины. И судьба его необыкновенная. Отец его был довольно зажиточный купец, родом из Тырнова. Тырнов теперь небольшой городок, а в старину это была столица Болгарии, когда еще Болгария была независимым королевством. Торговал он в Софии, имел сношения с Россией; сестра его, родная тетка Инсарова, до сих пор живет в Киеве, замужем за старшим учителем истории в тамошней гимназии. В 1835 году, стало быть восемнадцать лет тому назад, совершилось ужасное злодеяние: мать Инсарова вдруг пропала без вести; через неделю ее нашли зарезанною. Елена содрогнулась. Берсенев остановился.

— Продолжайте, продолжайте,— проговорила она.

— Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага; ее муж, отец Инсарова, дознался правды, хотел отмстить, но он только ранил кинжалом агу... Его расстреляли.

— Расстреляли? без суда?

— Да. Инсарову в то время пошел восьмой год. Он остался на руках у соседей. Сестра узнала об участи брат-

ниного семейства и пожелала иметь племянника у себя. Его доставили в Одессу, а оттуда в Киев. В Киеве он прожил целых двенадцать лет. Оттого он так хорошо говорит по-русски.

— Он говорит по-русски?

— Как мы с вами. Когда ему минуло двадцать лет (это было в начале 48 года), он пожелал вернуться на родину. Был в Софии и Тырнове, всю Болгарию исходил вдоль и поперек, провел в ней два года, выучился опять родному языку. Турецкое правительство преследовало его, и он, вероятно, в эти два года подвергался большим опасностям; я раз увидел у него на шее широкий рубец, должно быть след раны; но он об этом говорить не любит. Он тоже в своем роде молчальник. Я пытался его расспрашивать — не тут-то было. Отвечает общими фразами. Он ужасно упрям. В 50-м году он опять приехал в Россию, в Москву, с намерением образоваться вполне, сблизиться с русскими, а потом, когда он выйдет из университета...

— Что же тогда? — перебила Елена.

— А что бог даст. Мудрено вперед загадывать.

Елена долго не спускала глаз с Берсенева.

— Вы очень заинтересовали меня своим рассказом,— промолвила она.— Каков он из себя, этот ваш, как вы его назвали... Инсаров?

— Как вам сказать? по-моему, недурен. Да вот вы сами его увидите.

— Как так?

— Я его приведу сюда, к вам. Он послезавтра переезжает в нашу деревеньку и будет жить со мной на одной квартире.

— Неужели? Да захочет ли он прийти к нам?

— Еще бы! Он очень будет рад.

— Он не горд?

— Он? Нимало. То есть, если хотите, он горд, только не в том смысле, как вы понимаете. Денег он, например, взаймы ни от кого не возьмет.

— А он беден?

— Да, не богат. Ездивши в Болгарию, он собрал кой-какие крохи, уцелевшие от отцовского достояния, и тетка ему помогает; но всё это безделица.

— У него, должно быть, много характера,— заметила Елена.

— Да. Это железный человек. И в то же время, вы увидите, в нем есть что-то детское, искреннее, при всей

его сосредоточенности и даже скрытности. Правда, его искренность — не наша дрянная искренность, искренность людей, которым скрывать решительно нечего... Да вот я его к вам приведу, погодите.

— И не застенчив он? — спросила опять Елена.

— Нет, не застенчив. Одни самолюбивые люди застенчивы.

— А разве вы самолюбивы?

Берсенев смешался и развел руками.

— Вы возбуждаете мое любопытство,— продолжала Елена.— Ну, а скажите, не отомстил он этому турецкому аге?

Берсенев улыбнулся.

— Мстят только в романах, Елена Николаевна; да и притом в двенадцать лет этот ага мог умереть.

— Однако господин Инсаров вам ничего об этом не говорил?

— Ничего.

— Зачем он ездил в Софию?

— Там отец его жил.

Елена задумалась.

— Освободить свою родину! — промолвила она.— Эти слова даже выговорить страшно, так они велики...

В это мгновение вошла в комнату Анна Васильевна, и разговор прекратился.

Странные ощущения волновали Берсенева, когда он возвращался домой в тот вечер. Он не раскаивался в своем намерении познакомить Елену с Инсаровым, он находил весьма естественным то глубокое впечатление, которое произвели на нее его рассказы о молодом болгаре... не сам ли он старался усилить это впечатление! Но тайное и темное чувство скрытно гнездилось в его сердце; он грустил нехорошею грустию. Эта грусть не помешала ему, однако, взяться за «Историю Гогенштауфенов» и начать читать ее с самой той страницы, на которой он остановился накануне.

XI

Два дня спустя Инсаров, по обещанию, явился к Берсеневу с своею поклажей. Слуги у него не было, но он без всякой помощи привел свою комнату в порядок, уставил мебель, подтер пыль и вымел пол. Особенно долго возился он с письменным столом, который никак не хотел поместиться в назначенный для него простенок; но Инсаров,

с свойственною ему молчаливою настойчивостью, добился своего. Устроившись, он попросил Берсенева взять с него десять рублей вперед и, вооружившись толстой палкой, отправился осматривать окрестности своего нового жилища. Он вернулся часа через три и на приглашение Берсенева разделить с ним его трапезу отвечал, что он не отказывается обедать с ним сегодня, но что он уже переговорил с хозяйкой дома и будет вперед получать свою еду от нее.

— Помилуйте,— возразил Берсенев,— вас будут скверно кормить: эта баба совсем стряпать не умеет. Отчего вы не хотите обедать со мною? Мы бы расход пополам делили.

— Мои средства не позволяют мне обедать так, как вы обедаете,— отвечал с спокойной улыбкой Инсаров.

В этой улыбке было что-то такое, что не позволяло настаивать: Берсенев слова не прибавил. После обеда он предложил Инсарову свести его к Стаховым; но тот отвечал, что располагает посвятить весь вечер на переписку с своими болгарами и потому просит его отсрочить посещение Стаховых до другого дня. Непреклонность воли Инсарова была уже прежде известна Берсеневу; но только теперь, находясь с ним под одной кровлей, он мог окончательно убедиться в том, что Инсаров никогда не менял никакого своего решения, точно так же как никогда не откладывал исполнения данного обещания. Берсеневу, как коренному русскому человеку, эта более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколько дикою, немножко даже смешною; но он скоро привык к ней и кончил тем, что находил ее если не почтенною, то по крайней мере весьма удобною.

На второй день после своего переселения Инсаров встал в четыре часа утра, обегал почти всё Кунцево, искупался в реке, выпил стакан холодного молока и принялся за работу; а работы у него было немало: он учился и русской истории, и праву, и политической экономии, переводил болгарские песни и летописи, собирал материалы о восточном вопросе, составлял русскую грамматику для болгар, болгарскую для русских. Берсенев зашел к нему и потолковал с ним о Фейербахе. Инсаров слушал его внимательно, возражал редко, но дельно; из возражений его видно было, что он старался дать самому себе отчет в том, нужно ли ему заняться Фейербахом, или же можно обойтись без него. Берсенев навел потом речь на его занятия и спросил: не покажет ли он ему что-нибудь? Инсаров прочел

ему свой перевод двух или трех болгарских песен и пожелал узнать его мнение. Берсенев нашел перевод правильным, но не довольно оживленным. Инсаров принял его замечание к сведению. От песен Берсенев перешел к современному положению Болгарии, и тут он впервые заметил, какая совершалась перемена в Инсарове при одном упоминовении его родины: не то чтобы лицо его разгоралось или голос возвышался — нет! но всё существо его как будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обозначалось резче и неумолимее, а в глубине глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь. Инсаров не любил распространяться о собственной своей поездке на родину, но о Болгарии вообще говорил охотно со всяким. Он говорил, не спеша, о турках, об их притеснениях, о горе и бедствиях своих сограждан, об их надеждах; сосредоточенная обдуманность единой и давней страсти слышалась в каждом его слове.

«А ведь чего доброго,— подумал между тем Берсенев,— турецкий ага, пожалуй, поплатился ему за смерть матери и отца».

Инсаров не успел еще умолкнуть, как дверь растворилась и на пороге появился Шубин.

Он вошел в комнату как-то слишком развязно и добродушно; Берсенев, который знал его хорошо, тотчас понял, что его что-то коробило.

— Рекомендуюсь без церемоний,— начал он с светлым и открытым выражением лица,— моя фамилия Шубин; я приятель вот этого молодого человека. (Он указал на Берсенева.) Ведь вы господин Инсаров, не так ли?

— Я Инсаров.

— Так дайте же руку и познакомимтесь. Не знаю, говорил ли вам Берсенев обо мне, а мне он много говорил об вас. Вы здесь поселились? Отлично! Не сердитесь на меня, что я так пристально на вас гляжу. Я по ремеслу моему ваятель и предвижу, что в скором времени попрошу у вас позволение слепить вашу голову.

— Моя голова к вашим услугам,— проговорил Инсаров.

— Что же мы делаем сегодня, а? — заговорил Шубин, внезапно садясь на низенький стул и опираясь обеими руками на широко расставленные колени.— Андрей Петрович, есть какой-нибудь план на нынешний день у вашего благородия? Погода славная; сеном и сухою земляникой пахнет так... словно грудной чай пьешь. Надо бы сочинить какой-нибудь фокус. Покажем новому обитателю Кунцева

все его многочисленные красоты. («А его коробит»,— продолжал думать про себя Берсенев.) Ну, что ж ты молчишь, мой друг Горацио? Раскрой свои вещие уста. Сочиним мы фокус или нет?

— Я не знаю,— заметил Берсенев,— как Инсаров. Он, кажется, собирается работать.

Шубин повернулся на стуле.

— Вы хотите работать? — спросил он как-то в нос.

— Нет,— отвечал тот,— нынешний день я могу посвятить прогулке.

— А! — промолвил Шубин.— Ну и прекрасно. Ступайте, друг мой Андрей Петрович, прикройте шляпой вашу мудрую голову, и пойдемте куда глаза глядят. Наши глаза молодые — глядят далеко. Я знаю трактирчик прескверненький, где нам дадут обедишко препакостный; а нам будет очень весело. Пойдемте.

Полчаса спустя они все трое шли по берегу Москвы-реки. У Инсарова оказался довольно странный, ушастый картуз, от которого Шубин пришел в не совсем естественный восторг. Инсаров выступал не спеша, глядел, дышал, говорил и улыбался спокойно: он отдал этот день удовольствию и наслаждался вполне. «Благоразумные мальчики так гуляют по воскресеньям»,— шепнул Шубин Берсеневу на ухо. Сам Шубин очень дурачился, выбегал вперед, становился в позы известных статуй, кувыркался на траве: спокойствие Инсарова не то чтобы раздражало его, а заставляло его кривляться. «Что ты так егозишь, француз!» — раза два заметил ему Берсенев. «Да, я француз, полуфранцуз,— возражал ему Шубин,— а ты держи середину между шуткою и серьезом, как говаривал мне один половой». Молодые люди повернули прочь от реки и пошли по узкой и глубокой рытвине между двумя стенами золотой высокой ржи; голубоватая тень падала на них от одной из этих стен; лучистое солнце, казалось, скользило по верхушкам колосьев; жаворонки пели, перепела кричали; повсюду зеленели травы; теплый ветерок шевелил и поднимал их листья, качал головки цветов. После долгих странствований, отдыхов, болтовни (Шубин пробовал даже играть в чехарду с каким-то прохожим беззубым мужичком, который всё смеялся, что с ним ни делали господа) молодые люди добрели до «скверненького» трактирчика. Слуга чуть не сшиб каждого из них с ног и действительно накормил их очень дурным обедом, с каким-то забалканским вином, что, впрочем, не мешало им веселиться от

души, как предсказывал Шубин; сам он веселился громче всех — и меньше всех. Он пил здоровье непонятного, но великого Венелина, здоровье болгарского короля Крума, Хрума или Хрома, жившего чуть не в Адамовы времена.

— В девятом столетии,— поправил его Инсаров.

— В девятом столетии? — воскликнул Шубин.— О, какое счастье!

Берсенев заметил, что посреди всех своих проказ, выходок и шуток Шубин всё как будто бы экзаменовал Инсарова, как будто щупал его и волновался внутренно,— а Инсаров оставался по-прежнему спокойным и ясным.

Наконец они вернулись домой, переоделись и, чтобы уже не выходить из колеи, в которую попали с утра, решились отправиться в тот же вечер к Стаховым. Шубин побежал вперед известить об их приходе.

XII

— *Ирой* Инсаров сейчас сюда пожалует! — торжественно воскликнул он, входя в гостиную Стаховых, где в ту минуту находились только Елена да Зоя.

— Wer? [1] — спросила по-немецки Зоя. Взятая врасплох, она всегда выражалась на родном языке. Елена выпрямилась. Шубин поглядел на нее с игривою улыбочкой на губах. Ей стало досадно, но она ничего не сказала.

— Вы слышали,— повторил он,— господин Инсаров сюда идет.

— Слышала,— отвечала она,— и слышала, как вы его назвали. Удивляюсь вам, право. Нога господина Инсарова еще здесь не была, а вы уже считаете за нужное ломаться.

Шубин вдруг опустился.

— Вы правы, вы всегда правы, Елена Николаевна,— пробормотал он,— но это я только так, ей-богу. Мы целый день с ним вместе гуляли, и он, я уверяю вас, отличный человек.

— Я об этом вас не спрашивала,— промолвила Елена и встала.

— Господин Инсаров молод? — спросила Зоя.

— Ему сто сорок четыре года,— отвечал с досадой Шубин.

Казачок доложил о приходе двух приятелей. Они вошли.

---

[1] Кто? *(нем.)*.

Берсенев представил Инсарова. Елена попросила их сесть и сама села, а Зоя отправилась наверх: надо было предуведомить Анну Васильевну. Начался разговор, довольно незначительный, как все первые разговоры. Шубин наблюдал молчком из уголка, но наблюдать было не за чем. В Елене он замечал следы сдержанной досады против него, Шубина,— и только. Он глядел на Берсенева и на Инсарова и, как ваятель, сравнивал их лица. «Оба,— думал он,— не красивы собой; у болгара характерное, скульптурное лицо; вот теперь оно хорошо осветилось; у великоросса просится больше в живопись: линий нету, физиономия есть. А пожалуй, и в того и в другого влюбиться можно. Она еще не любит, но полюбит Берсенева»,— решил он про себя. Анна Васильевна появилась в гостиную, и разговор принял оборот совершенно *дачный*, именно дачный, не деревенский. То был разговор весьма разнообразный по обилию обсуждаемых предметов; но коротенькие, довольно томительные паузы прерывали его каждые три минуты. В одну из этих пауз Анна Васильевна обратилась к Зое. Шубин понял ее немой намек и скорчил кислую рожу, а Зоя села за фортепьяно, сыграла и спела все свои штучки. Увар Иванович показался было из-за двери, но пошевелил перстами и отретировался. Потом подали чай, потом прошлись всем обществом по саду... На дворе стемнело, и гости удалились.

Инсаров действительно произвел на Елену меньше впечатления, чем она сама ожидала, или, говоря точнее, он произвел на нее не то впечатление, которого ожидала она. Ей понравилась его прямота и непринужденность, и лицо его ей понравилось; но всё существо Инсарова, спокойно твердое и обыденно простое, как-то не ладилось с тем образом, который составился у нее в голове от рассказов Берсенева. Елена, сама того не подозревая, ожидала чего-то более «фатального». «Но,— думала она,— он сегодня говорил очень мало, я сама виновата; я не расспрашивала его; подождем до другого раза... а глаза у него выразительные, честные глаза!». Она чувствовала, что ей не преклониться перед ним хотелось, а подать ему дружески руку, и она недоумевала: не такими воображала она себе людей, подобных Инсарову, «героев». Это последнее слово напомнило ей Шубина, и она, уже лежа в постели, вспыхнула и рассердилась.

— Как вам понравились ваши новые знакомые? — спросил на возвратном пути Берсенев у Инсарова.

— Они мне очень понравились,— отвечал Инсаров,— особенно дочь. Славная, должно быть, девушка. Она волнуется, но в ней это хорошее волнение.

— Надо будет к ним ходить почаще,— заметил Берсенев.

— Да, надо,— проговорил Инсаров и ничего больше не сказал до самого дома. Он тотчас заперся в своей комнате, но свеча горела у него далеко за полночь.

Берсенев не успел еще прочесть страницу из Раумера, как горсть брошенного мелкого песку стукнула о стекла его окна. Он невольно вздрогнул, раскрыл окно и увидал Шубина, бледного, как полотно.

— Экой ты неугомонный! ночная ты бабочка! — начал было Берсенев.

— Тс! — перебил его Шубин,— я пришел к тебе украдкой, как Макс к Агате. Мне непременно нужно сказать тебе два слова наедине.

— Да войди же в комнату.

— Нет, не нужно,— возразил Шубин и облокотился на оконницу,— этак веселее, больше на Испанию похоже. Во-первых, поздравляю тебя: твои акции поднялись. Твой хваленый необыкновенный человек провалился. За это я тебе поручиться могу. А чтоб тебе доказать мою беспристрастность, слушай: вот формулярный список господина Инсарова. Талантов никаких, поэзии *нема*, способностей к работе пропасть, память большая, ум не разнообразный и не глубокий, но здравый и живой; сушь и сила, и даже дар слова, когда речь идет об его, между нами сказать, скучнейшей Болгарии. Что? ты скажешь, я несправедлив? Еще замечание: ты с ним никогда на *ты* не будешь, и никто с ним на *ты* не бывал; я, как артист, ему противен, чем я горжусь. Сушь, сушь, а всех нас в порошок стереть может. Он с своею землею связан — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука! Но все эти качества, слава богу, не нравятся женщинам. Обаяния нет, *шарму*; не то что в нас с тобой.

— К чему ты меня приплел? — пробормотал Берсенев.— И в остальном ты не прав: ты ему нисколько не противен, и с своими соотечественниками он на *ты*... я это знаю.

— Это другое дело! Для них он герой; а, признаться сказать, я себе героев иначе представляю; герой не должен

уметь говорить: герой мычит, как бык; зато двинет рогом — стены валятся. И он сам не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои другого калибра.

— Что тебя Инсаров так занимает? — спросил Берсенев.— Неужели ты только для того прибежал сюда, чтоб описать мне его характер?

— Я пришел сюда,— начал Шубин,— потому что мне дома очень было грустно.

— Вот как! Уже не хочешь ли ты опять заплакать?

— Смейся! Я пришел сюда, потому что я готов локти себе кусать, потому что отчаяние меня грызет, досада, ревность...

— Ревность? к кому?

— К тебе, к нему, ко всем. Меня терзает мысль, что если б я раньше понял ее, если б я умеючи взялся за дело... Да что толковать! Кончится тем, что я буду всё смеяться, дурачиться, ломаться, как она говорит, а там возьму да удавлюсь.

— Ну, удавиться ты не удавишься,— заметил Берсенев.

— В такую ночь, конечно, нет; но дай нам только дожить до осени. В такую ночь люди умирают тоже, только от счастья. Ах, счастье! Каждая вытянутая через дорогу тень от дерева так, кажется, и шепчет теперь: «Знаю я, где счастье... Хочешь, скажу?» Я бы позвал тебя гулять, да ты теперь под влиянием прозы. Спи, и да снятся тебе математические фигуры! А у меня душа разрывается. Вы, господа, видите, что человек смеется, значит, по-вашему, ему легко; вы можете доказать ему, что он самому себе противоречит,— значит, он не страдает... Бог с вами!

Шубин быстро отошел от окошка. «Аннушка!» — хотел было крикнуть ему вслед Берсенев, но удержался: на Шубине действительно лица не было. Минуты две спустя Берсеневу даже почудились рыдания: он встал, отворил окно; всё было тихо; только где-то вдали какой-то, должно быть, проезжий мужичок тянул «Степь моздокскую».

XIII

В течение первых двух недель после переселения Инсарова в соседство Кунцева он не более четырех или пяти раз посетил Стаховых; Берсенев ходил к ним через день. Елена всегда ему была рада, всегда завязывалась между им и ею живая и интересная беседа, и все-таки он возвра-

щался домой часто с печальным лицом. Шубин почти не показывался; он с лихорадочною деятельностию занялся своим искусством: либо сидел взаперти у себя в комнате и выскакивал оттуда в блузе, весь выпачканный глиной, либо проводил дни в Москве, где у него была студия, куда приходили к нему модели и италиянские формовщики, его приятели и учители. Елена ни разу не поговорила с Инсаровым так, как бы она хотела; в его отсутствие она готовилась расспросить его о многом, но когда он приходил, ей становилось совестно своих приготовлений. Самое спокойствие Инсарова ее смущало: ей казалось, что она не имеет права заставить его высказываться, и она решалась ждать; со всем тем она чувствовала, что с каждым его посещением, как бы незначительны ни были обмененные между ними слова, он привлекал ее более и более; но ей не пришлось остаться с ним наедине, а чтобы сблизиться с человеком — нужно хоть однажды побеседовать с ним с глазу на глаз. Она много говорила о нем с Берсеневым. Берсенев понимал, что воображение Елены поражено Инсаровым, и радовался, что его приятель не провалился, как утверждал Шубин; он с жаром, до малейших подробностей, рассказывал ей всё, что знал о нем (мы часто, когда сами хотим понравиться другому человеку, превозносим в разговоре с ним наших приятелей, почти никогда притом не подозревая, что мы тем самих себя хвалим), и лишь изредка, когда бледные щеки Елены слегка краснели, а глаза светлели и расширялись, та нехорошая, уже им испытанная, грусть щемила его сердце.

Однажды Берсенев пришел к Стаховым не в обычную пору, часу в одиннадцатом утра. Елена вышла к нему в залу.

— Вообразите себе,— начал он с принужденной улыбкой,— наш Инсаров пропал.

— Как пропал? — проговорила Елена.

— Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то, и с тех пор его нет.

— Он не сказал вам, куда он пошел?

— Нет.

Елена опустилась на стул.

— Он, вероятно, в Москву отправился,— промолвила она, стараясь казаться равнодушной и в то же время сама дивясь тому, что она старается казаться равнодушной.

— Не думаю,— возразил Берсенев.— Он ушел не один.

— С кем же?

— К нему третьего дня, перед обедом, явились два каких-то человека, должно быть его соотечественники.

— Болгары? почему вы это думаете?

— А потому, что, сколько я мог расслышать, они говорили с ним на языке, мне не известном, но славянском... Вот вы всё находите, Елена Николаевна, что в Инсарове таинственного мало: уж на что таинственнее этого посещения? Представьте: вошли к нему — и ну кричать и спорить, да так дико, злобно... И он кричал.

— И он?

— И он. Кричал на них. Они как будто жаловались друг на друга. И если бы вы взглянули на этих посетителей! Лица смуглые, широкоскулые, тупые, с ястребиными носами, лет каждому за сорок, одеты плохо, в пыли, в поту, с виду ремесленники — не ремесленники и не господа... Бог знает что за люди.

— И он с ними отправился?

— С ними. Накормил их да ушел с ними. Хозяйка мне сказывала,— они вдвоем целый огромный горшок каши съели. Так, говорит, вперегонку и глотали, словно волки.

Елена слабо усмехнулась.

— Вы увидите,— промолвила она,— всё это разрешится чем-нибудь очень прозаическим.

— Дай бог! Только напрасно вы употребили это слово. В Инсарове нет ничего прозаического, хотя Шубин и уверяет...

— Шубин! — перебила Елена и пожала плечом.— Но сознайтесь, что эти два господина, глотающие кашу...

— И Фемистокл ел накануне Саламинского сражения,— с улыбкой заметил Берсенев.

— Так; но зато на другой день и было сражение.— А вы все-таки дайте мне знать, когда он вернется,— прибавила Елена и попыталась переменить разговор, но разговор не клеился.

Появилась Зоя и стала ходить по комнате на цыпочках, давая тем знать, что Анна Васильевна еще не проснулась.

Берсенев ушел.

В тот же день, вечером, принесли от него записку Елене. «Вернулся,— писал он ей,— загорелый и в пыли по самые брови; но зачем и куда ездил, не знаю; не узнаете ли вы?»

— Не узнаете ли вы! — прошептала Елена.— Разве он говорит со мной?

XIV

На следующий день, часу во втором, Елена стояла в саду перед небольшою закуткой, где у ней воспитывались два дворовые щенка. (Садовник нашел их заброшенными под забором и принес их барышне, про которую ему сказали прачки, что она, мол, всяких зверей и скотов жалует. Он не ошибся в расчете: Елена дала ему четвертак.) Она заглянула в закутку, убедилась, что щенки живы и здоровы и что солому им постлали свежую, обернулась и чуть не вскрикнула: прямо к ней, по аллее, шел Инсаров, один.

— Здравствуйте,— промолвил он, приближаясь к ней и снимая картуз. Она заметила, что он точно сильно загорел в последние три дня.— Я хотел прийти сюда с Андреем Петровичем, да он что-то замешкался; вот я и отправился без него. В доме у вас никого нет: все спят или гуляют, я и пришел сюда.

— Вы как будто извиняетесь,— отвечала Елена.— Это совсем не нужно. Мы все очень рады вас видеть... Сядемте тут на скамейке, в тени.

Она села. Инсаров поместился возле нее.

— Вас, кажется, дома не было это время? — начала она.

— Да,— отвечал он,— я уходил... Вам Андрей Петрович сказывал?

Инсаров глянул на нее, улыбнулся и начал играть картузом. Улыбаясь, он быстро моргал глазами и выдвигал вперед губы, что придавало ему очень добродушный вид.

— Андрей Петрович, вероятно, вам также сказал, что я ушел с какими-то... безобразными людьми,— проговорил он, продолжая улыбаться.

Елена немного смутилась, но тотчас почувствовала, что Инсарову надо всегда говорить правду.

— Да,— сказала она решительно.

— Что же вы подумали обо мне? — спросил он ее вдруг.

Елена подняла на него глаза.

— Я подумала,— промолвила она...— я подумала, что вы всегда знаете, что́ делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать.

— Ну, и спасибо вам за это. Вот видите ли, Елена Николаевна,— начал он, как-то доверчиво подсаживаясь

к ней,— наших здесь небольшая семейка; есть между нами люди мало образованные; но все крепко преданы общему делу. К несчастию, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне; вот и позвали меня разобрать одну ссору. Я отправился.

— Далеко отсюда?

— Я за шестьдесят верст ездил, в Троицкий посад. Там, при монастыре, тоже есть наши. По крайней мере недаром хлопотал: уладил дело.

— И трудно вам было?

— Трудно. Один всё упрямился. Деньги не хотел отдать.

— Как? Из-за денег была ссора?

— Да; и деньги-то небольшие. А вы что полагали?

— И вы для таких пустяков за шестьдесят верст ездили? Три дня потеряли?

— То не пустяки, Елена Николаевна, когда свои земляки замешаны. Тут отказаться грех. Вы вот, я вижу, даже щенкам не отказываете в помощи, и я вас хвалю за это. А что я время-то потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит.

— Кому же?

— А всем, кому в нас нужда. Я вам всё это так сбухтабарахта рассказал, потому что я дорожу вашим мнением. Я воображаю, как Андрей Петрович вас удивил!

— Вы дорожите моим мнением,— проговорила Елена вполголоса,— почему?

Инсаров опять улыбнулся.

— Потому что вы хорошая барышня, не аристократка... вот и всё.

Настало небольшое молчание.

— Дмитрий Никанорович,— сказала Елена,— знаете ли вы, что вы в первый раз со мной так откровенны?

— Как так? Мне кажется, я всегда говорил вам всё, что думал.

— Нет, это в первый раз, и я очень этому рада, и я тоже хочу быть откровенною с вами. Можно?

Инсаров засмеялся и сказал:

— Можно.

— Предваряю вас, что я очень любопытна.

— Ничего, говорите.

— Мне Андрей Петрович много рассказывал о вашей жизни, о вашей молодости. Мне известно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство... Я знаю, что вы ездили

потом к себе на родину... Не отвечайте мне, ради бога, если мой вопрос вам покажется нескромным, но меня мучит одна мысль... Скажите, встретились ли вы с тем человеком...

Дыхание захватило у Елены. Ей стало и стыдно и страшно своей смелости. Инсаров глядел на нее пристально, слегка прищурив глаза и трогая пальцами подбородок.

— Елена Николаевна,— начал он наконец, и голос его был тише обыкновенного, что почти испугало Елену,— я понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я не встретился с ним, и слава богу! Я не искал его. Я не искал его не потому, чтоб я не почитал себя вправе убить его,— я бы очень спокойно убил его,— но потому, что тут не до частной мести, когда дело идет о народном, общем отмщении... или нет, это слово не годится... когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет... И то не уйдет,— повторил он и покачал головой.

Елена посмотрела на него сбоку.

— Вы очень любите свою родину? — произнесла она робко.

— Это еще не известно,— отвечал он.— Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил.

— Так что, если бы вас лишили возможности возвратиться в Болгарию,— продолжала Елена,— вам было бы очень тяжело в России?

Инсаров потупился.

— Мне кажется, я бы этого не вынес,— проговорил он.

— Скажите,— начала опять Елена,— трудно выучиться болгарскому языку?

— Нисколько. Русскому стыдно не знать по-болгарски. Русский должен знать все славянские наречия. Хотите, я вам принесу болгарские книги? Вы увидите, как это легко. Какие у нас песни! не хуже сербских. Да вот постойте, я вам переведу одну из них. В ней говорится про... Да вы знаете ли хоть немножко нашу историю?

— Нет, я ничего не знаю,— ответила Елена.

— Постойте, я вам принесу книжку. Вы из нее хоть главные факты узнаете. Так слушайте же песню... Впрочем, я вам лучше принесу написанный перевод. Я уверен, вы полюбите нас: вы всех притесненных любите. Если бы вы знали, какой наш край благодатный! А между тем его топчут, его терзают,— подхватил он с невольным движе-

нием руки, и лицо его потемнело,— у нас всё отняли, всё: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут...

— Дмитрий Никанорович! — воскликнула Елена.

Он остановился.

— Извините меня. Я не могу говорить об этом хладнокровно. Но вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после бога? И когда эта родина нуждается в тебе... Заметьте: последний мужик, последний нищий в Болгарии и я — мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость!

Инсаров замолк на мгновение и снова заговорил о Болгарии. Елена слушала его с пожирающим, глубоким и печальным вниманием. Когда он кончил, она еще раз спросила его:

— Так вы ни за что не остались бы в России?

А когда он ушел, она долго смотрела ему вслед. Он в этот день стал для нее другим человеком. Не таким она провожала его, каким встретила его за два часа тому назад.

С того дня он стал ходить всё чаще и чаще, а Берсенев всё реже. Между обоими приятелями завелось что-то странное, что они оба хорошо чувствовали, но назвать не могли, а разъяснить боялись. Так прошел месяц.

XV

Анна Васильевна любила сидеть дома, как уже известно читателю; но иногда, совершенно неожиданно, проявлялось в ней непреодолимое желание чего-нибудь необыкновенного, какой-нибудь удивительной partie de plaisir [1]; и чем затруднительнее была эта partie de plaisir, чем больше требовала она приготовлений и сборов, чем больше волновалась сама Анна Васильевна, тем ей было приятнее. Находил ли на нее этот *стих* зимой — она приказывала нанять две-три ложи рядом, забирала всех своих знакомых и отправлялась в театр или даже в маскарад; летом — она ехала за город, куда-нибудь подальше. На другой день она жаловалась на головную боль, кряхтела и не вставала с постели, а месяца через два в ней опять загоралась жажда «необыкновенного». То же случилось и теперь. Кто-то упомянул при ней о красотах Царицына, и Анна Василь-

---

[1] увеселительной прогулки *(франц.)*.

евна внезапно объявила, что она послезавтра намерена ехать в Царицыно. Поднялась тревога в доме: нарочный поскакал в Москву за Николаем Артемьевичем; с ним же поскакал и дворецкий закупать вина, паштетов и всяких съестных припасов; Шубину вышел приказ нанять ямскую коляску (одной кареты было мало) и приготовить подставных лошадей; казачок два раза сбегал к Берсеневу и Инсарову и снес им две пригласительные записки, написанные сперва по-русски, потом по-французски, Зоей; сама Анна Васильевна хлопотала о дорожном туалете барышень. Между тем partie de plaisir чуть не расстроилась: Николай Артемьевич прибыл из Москвы в кислом и недоброжелательном, фрондерском расположении духа (он всё еще дулся на Августину Христиановну) и, узнав в чем дело, решительно объявил, что он не поедет; что скакать из Кунцева в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из Царицына опять в Москву, а из Москвы опять в Кунцево — нелепость,— и, наконец, прибавил он, пусть мне сперва докажут, что на одном пункте земного шара может быть веселее, чем на другом пункте, тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, доказать не мог, и Анна Васильевна, за неимением солидного кавалера, уже готова была отказаться от partie de plaisir, да вспомнила об Уваре Ивановиче и с горя послала за ним в его комнатку, говоря: «Утопающий и за соломинку хватается». Его разбудили; он сошел вниз, выслушал молча предложение Анны Васильевны, поиграл пальцами и, к общему изумлению, согласился. Анна Васильевна поцеловала его в щеку и назвала миленьким; Николай Артемьевич улыбнулся презрительно и сказал: «Quelle bourde!» [1] (он любил при случае употреблять «шикарные» французские слова) — а на следующее утро, в семь часов, карета и коляска, нагруженные доверху, выкатились со двора стаховской дачи. В карете сидели дамы, горничная и Берсенев; Инсаров поместился на козлах; а в коляске находились Увар Иванович и Шубин. Увар Иванович сам движением пальца подозвал к себе Шубина; он знал, что тот будет дразнить его всю дорогу, но между «черноземной силой» и молодым художником существовала какая-то странная связь и бранчивая откровенность. Впрочем, на этот раз Шубин оставил своего толстого друга в покое: он был молчалив, рассеян и мягок.

Солнце уже высоко стояло на безоблачной лазури,

[1] Какая нелепость! *(франц.)*.

когда экипажи подкатили к развалинам Царицынского замка, мрачным и грозным даже в полдень. Всё общество спустилось на траву и тотчас же двинулось в сад. Впереди шли Елена и Зоя с Инсаровым; за ними, с выражением полного счастия на лице, выступала Анна Васильевна под руку с Уваром Ивановичем. Он пыхтел и переваливался, новая соломенная шляпа резала ему лоб, и ноги горели в сапогах, но и ему было хорошо; Шубин и Берсенев замыкали шествие. «Мы будем, братец, в резерве, как некие ветераны,— шепнул Берсеневу Шубин.— Там теперь Болгария»,— прибавил он, показав бровями на Елену.

Погода была чудесная. Всё кругом цвело, жужжало и пело; вдали сияли воды прудов; праздничное, светлое чувство охватывало душу. «Ах, хорошо! ах, хорошо!» — беспрестанно твердила Анна Васильевна; Увар Иванович потряхивал одобрительно головой в ответ на ее восторженные восклицания и раз даже промолвил: «Что толковать!» Елена изредка менялась словами с Инсаровым; Зоя придерживала двумя пальчиками край широкой шляпы, кокетливо выносила из-под розового барежевого платья свои маленькие ножки, обутые в светло-серые ботинки с тупыми носками, и посматривала то вбок, то назад. «Эге! — воскликнул вдруг вполголоса Шубин,— Зоя Никитишна никак оглядывается. Пойду-ка я к ней. Елена Николаевна теперь меня презирает, а тебя, Андрей Петрович, уважает, что на одно выходит. Пойду; довольно я кис. Тебе же, мой друг, советую ботанизировать: в твоем положении это самое лучшее, что́ ты придумать можешь; оно же и в ученом отношении полезно. Прощай!» Шубин подбежал к Зое, подставил ей руку кренделем и, сказав: «Ihre Hand, Madame» [1], подхватил ее и пустился с ней вперед. Елена остановилась, подозвала Берсенева и тоже взяла его руку, но продолжала говорить с Инсаровым. Она спрашивала у него, как на его языке называются ландыш, клен, дуб, липа... («Болгария!» — подумал бедный Андрей Петрович.)

Вдруг впереди раздался крик; все подняли голову: сигарочница Шубина летела в куст, брошенная рукой Зои. «Погодите, я с вами за это рассчитаюсь!» — воскликнул он, полез в куст, нашел там сигарочницу и вернулся было к Зое; но не успел он к ней приблизиться, как уже опять его сигарочница летела через дорожку. Раз пять повторилась

[1] Вашу руку, сударыня *(нем.)*.

эта проделка, он всё хохотал и грозился, а Зоя только втихомолку улыбалась и пожималась, как кошечка. Наконец он поймал ее пальцы и так их тиснул, что она пискнула и долго потом дула на руку, притворно сердилась, а он ей напевал что-то на ухо.

— Шалуны, молодой народ,— весело заметила Анна Васильевна Увару Ивановичу.

Тот поиграл перстами.

— Какова Зоя Никитишна? — сказал Берсенев Елене.

— А Шубин? — отвечала она.

Между тем всё общество подошло к беседке, известной под именем Миловидовой, и остановилось, чтобы полюбоваться зрелищем Царицынских прудов. Они тянулись один за другим на несколько верст; сплошные леса темнели за ними. Мурава, покрывавшая весь скат холма до главного пруда, придавала самой воде необыкновенно яркий, изумрудный цвет. Нигде, даже у берега, не вспухала волна, не белела пена; даже ряби не пробегало по ровной глади. Казалось, застывшая масса стекла тяжело и светло улеглась в огромной купели, и небо ушло к ней на дно, и кудрявые деревья неподвижно гляделись в ее прозрачное лоно. Все долго и молча любовались видом; даже Шубин притих, даже Зоя задумалась. Наконец, все единодушно захотели покататься по воде. Шубин, Инсаров и Берсенев побежали вниз по траве взапуски. Они отыскали большую раскрашенную лодку, отыскали двух гребцов и позвали дам. Дамы сошли к ним; Увар Иванович осторожно спустился за дамами. Пока он входил в лодку, пока усаживался, много было смеху. «Смотрите, барин, не затопите нас»,— заметил один из гребцов, молодой курносый парень в александрийской рубахе. «Ну, ну, фуфыря!» — проговорил Увар Иванович. Лодка отчалила. Молодые люди взялись было за весла, но грести умел из них один Инсаров. Шубин предложил спеть хором какую-нибудь русскую песню и сам затянул: «Вниз по матушке...» Берсенев, Зоя и даже Анна Васильевна подхватили (Инсаров не умел петь), но вышла разноголосица; на третьем стихе певцы запутались, один Берсенев пытался продолжать басом: «Ничего в волнах не видно»,— но тоже скоро сконфузился. Гребцы перемигнулись и оскалили зубы молча. «Что? — обратился к ним Шубин,— видно, господа петь-то не умеют?» Малый в александрийской рубахе только головой тряхнул. «Так погоди ж, курносый,— возразил Шубин,— мы тебе покажем. Зоя Никитишна, спойте нам:

„Le lac“ [1] Нидермейера. Не гребите, вы!» Мокрые весла поднялись на воздух, как крылья, и так и замерли, звонко роняя капли; лодка проплыла еще немного и остановилась, чуть-чуть закружившись на воде, как лебедь. Зоя поломалась... «Allons!» [2] — ласково промолвила Анна Васильевна... Зоя скинула шляпу и запела: «O lac! l'année á peine a fini sa carrière...» [3]

Ее небольшой, но чистый голосок так и помчался по зеркалу пруда; далеко в лесах отзывалось каждое слово; казалось, и там кто-то пел четким и таинственным, но нечеловеческим, нездешним голосом. Когда Зоя кончила, громкое браво раздалось из одной прибрежной беседки и оттуда выскочило несколько краснорожих немцев, приехавших *покнейпировать* в Царицыно. Некоторые из них были без сюртуков, без галстухов и даже без жилетов и до того неистово кричали bis!, что Анна Васильевна велела поскорее отъехать на другой конец пруда. Но прежде чем лодка пристала к берегу, Увару Ивановичу еще раз удалось удивить своих знакомых: заметив, что в одном месте леса эхо особенно ясно повторяло каждый звук, он вдруг начал кричать перепелом. Сперва все вздрогнули, но тотчас же почувствовали истинное удовольствие, тем более что Увар Иванович кричал очень верно и похоже. Это его поощрило, и он попробовал мяукать; но мяуканье выходило у него не так хорошо; он крикнул еще раз перепелом, посмотрел на всех и умолк. Шубин бросился его целовать; он оттолкнул его. В это мгновение лодка причалила, и всё общество вышло на берег.

Между тем кучер с лакеем и горничной принесли корзинки из кареты и приготовили обед на траве под старыми липами. Все уселись вокруг разостланной скатерти и принялись за паштет и прочие яства. У всех аппетит был отличный, а Анна Васильевна то и дело угащивала и уговаривала своих гостей, чтобы побольше ели, уверяя, что на воздухе это очень здорово; она обращалась с такими речами к самому Увару Ивановичу. «Будьте спокойны»,— промычал он ей с набитым ртом. «Дал же господь такой славный день!» — твердила она беспрестанно. Ее нельзя было узнать: она точно двадцатью годами помолодела. Берсенев заметил ей это. «Да, да,— сказала она,— была

---

[1] «Озеро» *(франц.)*.
[2] «Ну же» *(франц.)*.
[3] «О озеро! год едва закончил свой бег» *(франц.)*.

и я в мое время хоть куда: из десятка бы меня не выкинули». Шубин присоседился к Зое и беспрестанно наливал ей вина; она отказывалась, он ее потчевал и кончал тем, что сам выпивал стакан и потом опять ее потчевал; он также уверял ее, что желает преклонить свою голову к ней на колени; она никак не хотела позволить ему «этакую большую вольность». Елена казалась серьезнее всех, но на сердце у ней было чудное спокойствие, какого она давно не испытала. Она чувствовала себя бесконечно доброю, и ей всё хотелось иметь возле себя не одного только Инсарова, но и Берсенева... Андрей Петрович смутно понимал, что это значило, и вздыхал украдкой.

Часы летели; вечер приближался. Анна Васильевна вдруг всполошилась. «Ах, батюшки мои, как поздно,— заговорила она.— Пожито, попито, господа; пора и бороду утирать». Она засуетилась, и все засуетились, встали и пошли в направлении к замку, где находились экипажи. Проходя мимо прудов, все остановились, чтобы в последний раз полюбоваться Царицыным. Везде горели яркие, передвечерние краски; небо рдело, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся ветерком; растопленным золотом струились отдаленные воды; резко отделялись от темной зелени деревьев красноватые башенки и беседки, кое-где разбросанные по саду. «Прощай, Царицыно, не забудем мы сегодняшнюю поездку!» — промолвила Анна Васильевна... Но в это мгновенье, и как бы в подтверждение ее последних слов, случилось странное происшествие, которое действительно не так-то легко было позабыть.

А именно: не успела Анна Васильевна послать свой прощальный привет Царицыну, как вдруг в нескольких шагах от нее, за высоким кустом сирени, раздались нестройные восклицания, хохотня и крики — и целая гурьба растрепанных мужчин, тех самых любителей пения, которые так усердно хлопали Зое, высыпала на дорожку. Господа любители казались сильно навеселе. Они остановились при виде дам; но один из них, огромного росту, с бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами, отделился от своих товарищей и, неловко раскланиваясь и покачиваясь на ходу, приблизился к окаменевшей от испуга Анне Васильевне.

— Бонжур, мадам,— проговорил он сиплым голосом,— как ваше здоровье?

Анна Васильевна пошатнулась назад.

— А отчего вы,— продолжал великан дурным русским языком,— не хотел петь bis, когда наш компани кричал bis, и браво, и форо?

— Да, да, отчего? — раздалось в рядах компании.

Инсаров шагнул было вперед, но Шубин остановил его и сам заслонил Анну Васильевну.

— Позвольте,— начал он,— почтенный незнакомец, выразить вам то неподдельное изумление, в которое вы повергаете всех нас своими поступками. Вы, сколько я могу судить, принадлежите к саксонской отрасли кавказского племени; следовательно, мы должны предполагать в вас знание светских приличий, а между тем вы заговариваете с дамой, которой вы не были представлены. Поверьте, в другое время я в особенности был бы очень рад сблизиться с вами, ибо замечаю в вас такое феноменальное развитие мускулов biceps, triceps и deltoïdeus, что, как ваятель, почел бы за истинное счастие иметь вас своим натурщиком; но на сей раз оставьте нас в покое.

«Почтенный незнакомец» выслушал всю речь Шубина, презрительно скрутив голову на сторону и уперши руки в бока.

— Я ничего не понимайт, что вы говорит такое,— промолвил он наконец.— Вы думает, может быть, я сапожник или часовых дел мастер? Э! Я официр, я чиновник, да.

— Я не сомневаюсь в этом,— начал было Шубин...

— А я вот что говорю,— продолжал незнакомец, отстраняя его своею мощною рукой, как ветку с дороги,— я говорю: отчего вы не пел bis, когда мы кричал bis? А теперь я сейчас, сей минутой уйду, только вот нушна, штоп эта фрейлейн, не эта мадам, нет, эта не нушна, а вот эта или эта (он указал на Елену и Зою) дала мне einen Kuss, как мы это говорим по-немецки, поцалуйшик, да; что ж? это ничего.

— Ничего, einen Kuss, это ничего,— раздалось опять в рядах компании.

— Ih! der Sakramenter! [1] — проговорил, давясь от смеху, один уже совершенно чирый немец.

Зоя ухватила за руку Инсарова, но он вырвался у нее и стал прямо перед великорослым нахалом.

— Извольте идти прочь,— сказал он ему не громким, но резким голосом.

Немец тяжело захохотал.

---

[1] Ох! вот чудодей! *(нем.)*.

— Как прочь? Вот это и я люблю! Разве я тоже не могу гуляйт? Как это прочь? Отчего прочь?

— Оттого что вы осмелились беспокоить даму,— проговорил Инсаров и вдруг побледнел,— оттого что вы пьяны.

— Как? я пьян? Слышить? Hören Sie das, Herr Provisor? [1] Я официр, а он смеет... Теперь я требую Satisfaction! Einen Kuss will ich! [2]

— Если вы сделаете еще шаг,— начал Инсаров...

— Ну? И что тогда?

— Я вас брошу в воду.

— В воду? Herr Je! [3] И только? Ну, посмотрим, это очень любопытно, как это в воду...

Господин *официр* поднял руки и подался вперед, но вдруг произошло нечто необыкновенное: он крякнул, всё огромное туловище его покачнулось, поднялось от земли, ноги брыкнули на воздухе, и, прежде чем дамы успели вскрикнуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это сделалось, господин *официр*, всей своей массой, с тяжким плеском бухнулся в пруд и тотчас же исчез под заклубившейся водой.

— Ай! — дружно взвизгнули дамы.

— Mein Gott! [4] — послышалось с другой стороны.

Прошла минута... и круглая голова, вся облепленная мокрыми волосами, показалась над водой; она пускала пузыри, эта голова; две руки судорожно барахтались у самых ее губ...

— Он утонет, спасите его, спасите! — закричала Анна Васильевна Инсарову, который стоял на берегу, расставив ноги и глубоко дыша.

— Выплывет,— проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью.— Пойдемте,— прибавил он, взявши Анну Васильевну за руку,— пойдемте, Увар Иванович, Елена Николаевна.

— А... а... о... о...— раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник.

Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось пройти мимо самой «компании». Но, лишившись своего

---

[1] Вы слышите это, господин провизор? *(нем.)*.
[2] Удовлетворения! Я хочу поцелуя! *(нем.)*.
[3] Господи Йсусе! *(нем.)*.
[4] Боже мой! *(нем.)*.

головы, гуляки присмирели и ни словечка не вымолвили; один только, самый храбрый из них, пробормотал, потряхивая головой: «Ну, это, однако... это бог знает что... после этого»; а другой даже шляпу снял. Инсаров казался им очень грозным, и недаром: что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего товарища, и тот, как только очутился на твердой земле, начал слезливо браниться и кричать вслед этим «русским мошенникам», что он жаловаться будет, что он к самому его превосходительству графу фон Кизериц пойдет...

Но «русские мошенники» не обращали внимания на его возгласы и как можно скорее спешили к замку. Все молчали, пока шли по саду, только Анна Васильевна слегка охала. Но вот они приблизились к экипажам, остановились, и неудержимый, несмолкаемый смех поднялся у них, как у небожителей Гомера. Первый визгливо, как безумный, залился Шубин, за ним горохом забарабанил Берсенев, там Зоя рассыпалась тонким бисером, Анна Васильевна тоже вдруг так и покатилась, даже Елена не могла не улыбнуться, даже Инсаров не устоял наконец. Но громче всех, и дольше всех, и неистовее всех хохотал Увар Иванович: он хохотал до колотья в боку, до чихоты, до удушья. Притихнет немного, да проговорит сквозь слезы: «Я... думаю... что́ это хлопнуло?.. а это... он... плашмя...» И вместе с последним, судорожно выдавленным словом новый взрыв хохота потрясал весь его состав. Зоя его еще больше подзадоривала. «Я, говорит, вижу, ноги по воздуху...» — «Да, да,— подхватит Увар Иванович,— ноги, ноги... а там хлоп! а это он п-п-плашмя!..» — «Да и как они это ухитрились, ведь немец-то втрое больше их был?» — спросила Зоя. «А я вам доложу,— ответил, утирая глаза, Увар Иванович,— я видел: одною рукой за поясницу, ногу подставил, да как хлоп! Я слышу: что это?.. а это он, плашмя...»

Уже экипажи давно тронулись, уже Царицынский замок скрылся из виду, а Увар Иванович всё не мог успокоиться. Шубин, который опять с ним поехал в коляске, пристыдил его наконец.

А Инсарову было совестно. Он сидел в карете против Елены (на козлах поместился Берсенев) и молчал; она тоже молчала. Он думал, что она его осуждает; а она не осуждала его. Она очень испугалась в первую минуту; потом ее поразило выражение его лица; потом она всё размышляла. Ей не было совершенно ясно, о чем размышляла

она. Чувство, испытанное ею в течение дня, исчезло: это она сознавала; но оно заменилось чем-то другим, чего она пока не понимала. Partie de plaisir продолжалась слишком долго: вечер незаметно перешел в ночь. Карета быстро неслась то вдоль созревающих нив, где воздух был душен и душист и отзывался хлебом, то вдоль широких лугов, и внезапная их свежесть била легкою волной по лицу. Небо словно дымилось по краям. Наконец выплыл месяц, тусклый и красный. Анна Васильевна дремала; Зоя высунулась из окна и глядела на дорогу. Елене пришло, наконец, в голову, что она более часу не говорила с Инсаровым. Она обратилась к нему с незначительным вопросом; он тотчас радостно ответил ей. В воздухе стали носиться какие-то неясные звуки; казалось, будто вдали говорили тысячи голосов: Москва неслась им навстречу. Впереди замелькали огоньки; их становилось всё более и более; наконец, под колесами застучали камни. Анна Васильевна проснулась; все заговорили в карете, хотя никто уже не мог расслышать, о чем шла речь: так сильно гремела мостовая под двумя экипажами и тридцатью двумя лошадиными ногами. Длинным и скучным показался переезд из Москвы в Кунцево; все спали или молчали, прижавшись головами к разным уголкам; одна Елена не закрывала глаз: она не сводила их с темной фигуры Инсарова. На Шубина напала грусть: ветерок дул ему в глаза и раздражал его; он завернулся в воротник шинели и чуть-чуть было не всплакнул. Увар Иванович благополучно похрапывал, качаясь направо и налево. Экипажи остановились наконец. Два лакея вынесли Анну Васильевну из кареты; она совсем расклеилась и, прощаясь с своими спутниками, объявила им, что она чуть жива; они стали ее благодарить, а она только повторила: «Чуть жива». Елена пожала в первый раз руку Инсарову и долго не раздевалась, сидя под окном; а Шубин улучил время шепнуть уходившему Берсеневу:

— Ну как же не герой: в воду пьяных немцев бросает!

— А ты и того не сделал,— возразил Берсенев и отправился домой с Инсаровым.

Заря уже занималась в небе, когда оба приятеля возвратились на свою квартиру. Солнце еще не вставало, но уже заиграл холодок, седая роса покрыла травы, и первые жаворонки звенели высоко-высоко в полусумрачной воздушной бездне, откуда, как одинокий глаз, смотрела крупная последняя звезда.

XVI

Елена вскоре после знакомства с Инсаровым начала (в пятый или шестой раз) дневник. Вот отрывки из этого дневника:

Июня... Андрей Петрович мне приносит книги, но я их читать не могу. Сознаться ему в этом — совестно; отдать книги, солгать, сказать, что читала,— не хочется. Мне кажется, это его огорчит. Он все за мной замечает. Он, кажется, очень ко мне привязан. Очень хороший человек Андрей Петрович.

...Чего мне хочется? Отчего у меня так тяжело на сердце, так томно? Отчего я с завистью гляжу на пролетающих птиц? Кажется, полетела бы с ними, полетела — куда, не знаю, только далеко, далеко отсюда. И не грешно ли это желание? У меня здесь мать, отец, семья. Разве я не люблю их? Нет, я не люблю их так, как бы хотелось любить. Мне страшно вымолвить это, но это правда. Может быть, я большая грешница; может быть, оттого мне так грустно, оттого мне нет покоя. Какая-то рука лежит на мне и давит меня. Точно я в тюрьме, и вот-вот сейчас на меня повалятся стены. Отчего же другие этого не чувствуют? Кого же я буду любить, если я к своим холодна? Видно, папенька прав: он упрекает меня, что я люблю одних собак да кошек. Надо об этом подумать. Я мало молюсь; надо молиться... А кажется, я бы умела любить!

...Я всё еще робею с господином Инсаровым. Не знаю, отчего; я, кажется, не молоденькая, а он такой простой и добрый. Иногда у него очень серьезное лицо. Ему, должно быть, не до нас. Я это чувствую, и мне как будто совестно отнимать у него время. Андрей Петрович — другое дело. Я с ним готова болтать хоть целый день. Но и он мне всё говорит об Инсарове. И какие страшные подробности! Я его видела сегодня ночью с кинжалом в руке. И будто он мне говорит: «Я тебя убью и себя убью». Какие глупости!

...О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю — этого мало; делать добро... да; это главное в жизни. Но как делать добро? О, если б я могла овладеть собою! Не понимаю, отчего я так часто думаю о господине Инсарове. Когда он приходит, и сидит и слушает внимательно, а сам не старается, не хлопочет, я гляжу на него, и мне приятно — но только; а когда он уйдет, я всё припоминаю его слова и досадую на себя и даже волнуюсь... сама не знаю отчего. (Он плохо говорит

по-французски, и не стыдится — это мне нравится.) Впрочем, я всегда много думаю о новых лицах. Разговаривая с ним, я вдруг вспомнила нашего буфетчика Василия, который вытащил из горевшей избы безногого старика и сам чуть не погиб. Папенька назвал его молодцом, мамаша дала ему пять рублей, а мне хотелось ему в ноги поклониться. И у него было простое, даже глупое лицо, и он потом сделался пьяницей.

...Я сегодня подала грош одной нищей, а она мне говорит: отчего ты такая печальная? А я и не подозревала, что у меня печальный вид. Я думаю, это оттого происходит, что я одна, всё одна, со всем моим добром, со всем моим злом. Некому протянуть руку. Кто подходит ко мне, того не надобно; а кого бы хотела... тот идет мимо.

...Я не знаю, что со мною сегодня; голова моя путается, я готова упасть на колени и просить и умолять пощады. Не знаю, кто и как, но меня как будто убивают, и внутренно я кричу и возмущаюсь; я плачу и не могу молчать... Боже мой! боже мой! укроти во мне эти порывы! Ты один это можешь, всё другое бессильно: ни мои ничтожные милостыни, ни занятия, ничего, ничего мне помочь не может. Пошла бы куда-нибудь в служанки, право: мне было бы легче.

К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем всё это?

...Инсаров, господин Инсаров,— я, право, не знаю, как писать,— продолжает занимать меня. Мне хочется знать, что у него там в душе? Он, кажется, так открыт, так доступен, а мне ничего не видно. Иногда он глядит на меня какими-то испытующими глазами... или это одна моя фантазия? Поль меня всё дразнит — я сердита на Поля. Что ему надобно? Он в меня влюблен... да мне не нужно его любви. Он и в Зою влюблен. Я к нему несправедлива; он мне вчера сказал, что я не умею быть несправедливой вполовину... это правда. Это очень дурно.

Ах, я чувствую, человеку нужно несчастье, или бедность, или болезнь, а то как раз зазнаешься.

...Зачем Андрей Петрович рассказал мне сегодня об этих двух болгарах! Он как будто с намерением рассказал мне это. Что мне до господина Инсарова? Я сердита на Андрея Петровича.

...Берусь за перо и не знаю, как начать. Как неожиданно он сегодня заговорил со мною в саду! Как он был ласков и доверчив! Как это скоро сделалось! Точно мы старые,

старые друзья и только сейчас узнали друг друга. Как я могла не понимать его до сих пор! Как он теперь мне близок! И вот что удивительно: я теперь гораздо спокойнее стала. Мне смешно: вчера я сердилась на Андрея Петровича, на него, я даже назвала его *господин Инсаров*, а сегодня... Вот, наконец, правдивый человек; вот на кого положиться можно. Этот не лжет; это первый человек, которого я встречаю, который не лжет: все другие лгут, всё лжет. Андрей Петрович, милый, добрый, за что же я вас обижаю? Нет! Андрей Петрович, может быть, ученее его, может быть, даже умнее... Но, я не знаю, он перед ним такой маленький. Когда *тот* говорит о своей родине, он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит — он делал и будет делать. Я его расспрошу... Как он вдруг обернулся ко мне и улыбнулся мне!.. Только братья так улыбаются. Ах, как я довольна! Когда он пришел к нам в первый раз, я никак не думала, что мы так скоро сблизимся. А теперь мне даже нравится, что я в первый раз осталась равнодушною... Равнодушною! Разве я теперь не равнодушна?

...Я давно не чувствовала такого внутреннего спокойствия. Так тихо во мне, так тихо. И записывать нечего. Я его часто вижу, вот и всё. Что еще записывать?

...Поль заперся; Андрей Петрович стал реже ходить... бедный! Мне кажется, он... Впрочем, это быть не может. Я люблю говорить с Андреем Петровичем: никогда ни слова о себе, всё о чем-нибудь дельном, полезном. Не то, что Шубин. Шубин наряден, как бабочка, да любуется своим нарядом; этого бабочки не делают. Впрочем, и Шубин и Андрей Петрович... я знаю, что я хочу сказать.

...*Ему* приятно к нам ходить, я это вижу. Но отчего? что он нашел во мне? Правда, у нас вкусы похожи: и он и я, мы оба стихов не любим, оба не знаем толка в художестве. Но насколько он лучше меня! Он спокоен, а я в вечной тревоге; у него есть дорога, есть цель — а я, куда я иду? где мое гнездо? Он спокоен, но все его мысли далеко. Придет время, и он покинет нас навсегда, уйдет к себе, туда, за море. Что ж? Дай бог ему! А я все-таки буду рада, что я его узнала, пока он здесь был.

Отчего он не русский? Нет, он не мог быть русским.

И мамаша его любит; говорит: скромный человек. Добрая мамаша! Она его не понимает. Поль молчит: он догадался, что мне его намеки неприятны, но он к нему рев-

нует. Злой мальчик! И с какого права? Разве я когда-нибудь...

Всё это пустяки! Зачем мне это всё в голову приходит?

...А ведь странно, однако, что я до сих пор, до двадцати лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть его Д., мне нравится это имя: Димитрий) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тот уж ни за что не отвечает. Не *я* хочу: *то* хочет. Кстати, и он и я, мы одни цветы любим. Я сегодня сорвала розу. Один лепесток упал, он его поднял... Я ему отдала всю розу.

Я с некоторых пор вижу странные сны. Что бы это значило?

...Д. к нам ходит часто. Вчера он просидел целый вечер. Он хочет учить меня по-болгарски. Мне с ним хорошо, как дома. Лучше, чем дома.

...Дни летят... И хорошо мне, и почему-то жутко, и бога благодарить хочется, и слезы недалеко. О теплые, светлые дни!

...Мне всё по-прежнему легко и только изредка, изредка немножко грустно. Я счастлива. Счастлива ли я?

...Долго не забуду я вчерашней поездки. Какие странные, новые, страшные впечатления! Когда он вдруг взял этого великана и швырнул его, как мячик, в воду, я не испугалась... но он меня испугал. И потом — какое лицо зловещее, почти жестокое! Как он сказал: выплывет! Это меня перевернуло. Стало быть, я его не понимала. И потом, когда все смеялись, когда я смеялась, как мне было больно за него! Он стыдился, я это чувствовала, он меня стыдился. Он мне это сказал потом в карете, в темноте, когда я старалась его разглядеть и боялась его. Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким? Жизнь дело грубое, сказал он мне недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу; он не согласился с Д. Кто из них прав? А как начался этот день! Как мне было хорошо идти с ним рядом, даже молча... Но я рада тому, что случилось. Видно, так следовало.

...Опять беспокойство... Я не совсем здорова.

...Я все эти дни ничего не записывала в этой тетрадке, потому что писать не хотелось. Я чувствовала: что бы я ни написала, всё будет не то, что у меня на душе... А что

у меня на душе? Я имела с ним большой разговор, который мне открыл многое. Он мне рассказал свои планы (кстати, я теперь знаю, отчего у него рана на шее... Боже мой! когда я подумаю, что он уже был приговорен к смерти, что он едва спасся, что его изранили...). Он предчувствует войну и радуется ей. И со всем тем я никогда не видала Д. таким грустным. О чем он... он!.. может грустить? Папенька из города вернулся, застал нас обоих и как-то странно поглядел на нас. Андрей Петрович пришел; я заметила, что он очень стал худ и бледен. Он упрекнул меня, будто бы я уже слишком холодно и небрежно обращаюсь с Шубиным. А я совсем забыла о Поле. Увижу его, постараюсь загладить свою вину. Мне теперь не до него... и ни до кого в мире. Андрей Петрович говорил со мною с каким-то сожалением. Что всё это значит? Отчего так темно вокруг меня и во мне? Мне кажется, что вокруг меня и во мне происходит что-то загадочное, что нужно найти слово...

...Я не спала ночь, голова болит. К чему писать? Он сегодня ушел так скоро, а мне хотелось поговорить с ним... Он как будто избегает меня. Да, он меня избегает.

...Слово найдено, свет озарил меня! Боже! сжалься надо мною... Я влюблена!

XVII

В тот самый день, когда Елена вписывала это последнее, роковое слово в свой дневник, Инсаров сидел у Берсенева в комнате, а Берсенев стоял перед ним, с выражением недоумения на лице. Инсаров только что объявил ему о своем намерении на другой же день переехать в Москву.

— Помилуйте! — воскликнул Берсенев,— теперь наступает самое красное время. Что вы будете делать в Москве? Что за внезапное решение! Или вы получили какое-нибудь известие?

— Я никакого известия не получал,— возразил Инсаров,— но, по моим соображениям, мне нельзя здесь оставаться.

— Да как же это можно...

— Андрей Петрович,— проговорил Инсаров,— будьте так добры, не настаивайте, прошу вас. Мне самому тяжело расстаться с вами, да делать нечего.

Берсенев пристально посмотрел на него.

— Я знаю,— проговорил он наконец,— вас не убедишь. Итак, это дело решенное?

— Совершенно решенное,— отвечал Инсаров, встал и удалился.

Берсенев прошелся по комнате, взял шляпу и отправился к Стаховым.

— Вы имеете сообщить мне что-то,— сказала ему Елена, как только они остались вдвоем.

— Да; почему вы догадались?

— Это всё равно. Говорите, что такое?

Берсенев передал ей решение Инсарова.

Елена побледнела.

— Что это значит? — произнесла она с трудом.

— Вы знаете,— промолвил Берсенев,— что Дмитрий Никанорович не любит отдавать отчета в своих поступках. Но я думаю... Сядемте, Елена Николаевна, вы как будто не совсем здоровы... Я, кажется, могу догадаться, какая собственно причина этого внезапного отъезда.

— Какая, какая причина? — повторила Елена, крепко стискивая, и сама того не замечая, руку Берсенева в своей похолодевшей руке.

— Вот видите ли,— начал Берсенев с грустною улыбкой,— как бы это вам объяснить? Придется мне возвратиться к нынешней весне, к тому времени, когда я ближе познакомился с Инсаровым. Я тогда встретился с ним в доме одного родственника; у этого родственника была дочка, очень хорошенькая. Мне показалось, что Инсаров к ней неравнодушен, и я сказал ему это. Он рассмеялся и отвечал мне, что я ошибался, что сердце его не пострадало, но что он немедленно бы уехал, если бы что-нибудь подобное с ним случилось, так как он не желает,— это были его собственные слова,— для удовлетворения личного чувства изменить своему делу и своему долгу. «Я болгар,— сказал он,— и мне русской любви не нужно...»

— Ну... и что же... вы теперь...— прошептала Елена, невольно отворачивая голову, как человек, ожидающий удара, но всё не выпуская схваченной руки Берсенева.

— Я думаю,— промолвил он и сам понизил голос,— я думаю, что теперь сбылось то, что я тогда напрасно предполагал.

— То есть... вы думаете... не мучьте меня! — вырвалось вдруг у Елены.

— Я думаю,— поспешно подхватил Берсенев,— что Инсаров полюбил теперь одну русскую девушку и, по обещанию своему, решается бежать.

Елена еще крепче стиснула его руку и еще ниже накло-

нила голову, как бы желая спрятать от чужого взора румянец стыда, обливший внезапным пламенем всё лицо ее и шею.

— Андрей Петрович, вы добры как ангел,— проговорила она,— но ведь он придет проститься?

— Да, я полагаю, наверное он придет, потому что не захочет уехать...

— Скажите ему, скажите...

Но тут бедная девушка не выдержала: слезы хлынули у ней из глаз, и она выбежала из комнаты.

«Так вот как она его любит,— думал Берсенев, медленно возвращаясь домой.— Я этого не ожидал; я не ожидал, что это уже так сильно. Я добр, говорит она,— продолжал он свои размышления...— Кто скажет, в силу каких чувств и побуждений я сообщил всё это Елене? Но не по доброте, не по доброте. Всё проклятое желание убедиться, действительно ли кинжал сидит в ране? Я должен быть доволен — они любят друг друга, и я им помог... „Будущий посредник между наукой и российскою публикой",— зовет меня Шубин; видно, мне на роду написано быть посредником. Но если я ошибся? Нет, я не ошибся...»

Горько было Андрею Петровичу, и не шел ему в голову Раумер.

На следующий день, часу во втором, Инсаров явился к Стаховым. Как нарочно, о ту пору в гостиной Анны Васильевны сидела гостья, соседка протопопица, очень хорошая и почтенная женщина, но имевшая маленькую неприятность с полицией за то, что вздумала в самый припек жара выкупаться в пруду, близ дороги, по которой часто проезжало какое-то важное генеральское семейство. Присутствие постороннего лица было сперва даже приятно Елене, у которой кровинки в лице не осталось, как только она услышала походку Инсарова; но сердце у ней замерло при мысли, что он может проститься, не поговоривши с ней наедине. Он же казался смущенным и избегал ее взгляда. «Неужели он сейчас будет прощаться?» — думала Елена. Действительно, Инсаров обратился было к Анне Васильевне; Елена поспешно встала и отозвала его в сторону, к окну. Протопопица удивилась и попыталась обернуться; но она так туго затянулась, что корсет скрипел на ней при каждом движении. Она осталась неподвижною.

— Послушайте,— торопливо проговорила Елена,— я знаю, зачем вы пришли; Андрей Петрович сообщил мне ваше намерение, но я прошу вас, я вас умоляю не прощать-

ся с нами сегодня, а прийти завтра сюда пораньше, часов в одиннадцать. Мне нужно сказать вам два слова.

Инсаров молча наклонил голову.

— Я вас не буду удерживать... Вы мне обещаете?

Инсаров опять поклонился, но ничего не сказал.

— Леночка, поди сюда,— промолвила Анна Васильевна,— посмотри, какой у матушки чудесный ридикюль.

— Сама вышивала,— заметила протопопица.

Елена отошла от окна.

Инсаров остался не более четверти часа у Стаховых. Елена наблюдала за ним украдкой. Он переминался на месте, по-прежнему не знал, куда девать глаза, и ушел как-то странно, внезапно; точно исчез.

Медлительно прошел этот день для Елены; еще медлительнее протянулась долгая, долгая ночь. Елена то сидела на кровати, обняв колени руками и положив на них голову, то подходила к окну, прикладывалась горячим лбом к холодному стеклу и думала, думала, до изнурения думала всё одни и те же думы. Сердце у ней не то окаменело, не то исчезло из груди; она его не чувствовала, но в голове тяжко бились жилы, и волосы ее жгли, и губы сохли. «Он придет... он не простился с мамашей... он не обманет... Неужели Андрей Петрович правду сказал? Быть не может... Он словами не обещал прийти... Неужели я навсегда с ним рассталась?» Вот какие мысли не покидали ее... именно не покидали: они не приходили, не возвращались — они беспрестанно колыхались в ней, как туман. «Он меня любит!» — вспыхивало вдруг во всем ее существе, и она пристально глядела в темноту; никому не видимая тайная улыбка раскрывала ее губы... но она тотчас встряхивала головой, заносила к затылку сложенные пальцы рук, и снова, как туман, колыхались в ней прежние думы. Перед утром она разделась и легла в постель, но заснуть не могла. Первые огнистые лучи солнца ударили в ее комнату... «О, если он меня любит!» — воскликнула она вдруг и, не стыдясь озарившего ее света, раскрыла свои объятия...

Она встала, оделась, сошла вниз. Еще никто не просыпался в доме. Она пошла в сад; но в саду так было тихо, и зелено, и свежо, так доверчиво чирикали птицы, так радостно выглядывали цветы, что ей жутко стало. «О! — подумала она,— если это правда, нет ни одной травки счастливее меня, да правда ли это?» Она вернулась в свою комнату и, чтоб как-нибудь убить время, стала менять платье. Но всё у ней падало и скользило из рук, и она еще

сидела полураздетая перед своим туалетным зеркальцем, когда ее позвали чай пить. Она сошла вниз; мать заметила ее бледность, но сказала только: «Какая ты сегодня интересная» — и, окинув ее взглядом, прибавила: «Это платье очень к тебе идет: ты его всегда надевай, когда вздумаешь кому понравиться». Елена ничего не отвечала и села в уголок. Между тем пробило девять часов; до одиннадцати оставалось еще два часа. Елена взялась за книгу, потом за шитье, потом опять за книгу; потом она дала себе слово пройтись сто раз по одной аллее и прошлась сто раз; потом она долго смотрела, как Анна Васильевна пасьянс раскладывала... да взглянула на часы: еще десяти не было. Шубин пришел в гостиную. Она попыталась заговорить с ним и извинилась перед ним, сама не зная в чем... Каждое ее слово не то чтоб усилий ей стоило, но возбуждало в ней самой какое-то недоумение. Шубин нагнулся к ней. Она ожидала насмешки, подняла глаза и увидела перед собою печальное и дружелюбное лицо... Она улыбнулась этому лицу. Шубин тоже улыбнулся ей, молча, и тихонько вышел. Она хотела удержать его, но не тотчас вспомнила, как позвать его. Наконец пробило одиннадцать часов. Она стала ждать, ждать, ждать и прислушиваться. Она уже ничего не могла делать; она перестала даже думать. Сердце в ней ожило и стало биться громче, всё громче, и странное дело! время как будто помчалось быстрее. Прошло четверть часа, прошло полчаса, прошло еще несколько минут, по мнению Елены, и вдруг она вздрогнула: часы пробили не двенадцать, они пробили час. «Он не придет, он уедет, не простясь...» Эта мысль, вместе с кровью, так и бросилась ей в голову. Она почувствовала, что дыхание ей захватывает, что она готова зарыдать... Она побежала в свою комнату и упала, лицом на сложенные руки, на постель.

Полчаса пролежала она неподвижно; сквозь ее пальцы на подушку лились слезы. Она вдруг приподнялась и села; что-то странное совершалось в ней: лицо ее изменилось, влажные глаза сами собою высохли и заблестели, брови надвинулись, губы сжались. Прошло еще полчаса. Елена в последний раз приникла ухом: не долетит ли до нее знакомый голос? встала, надела шляпу, перчатки, накинула мантилью на плечи и, незаметно выскользнув из дома, пошла проворными шагами по дороге, ведущей к квартире Берсенева.

XVIII

Елена шла, потупив голову и неподвижно устремив глаза вперед. Она ничего не боялась, она ничего не соображала; она хотела еще раз увидаться с Инсаровым. Она шла, не замечая, что солнце давно скрылось, заслоненное тяжелыми черными тучами, что ветер порывисто шумел в деревьях и клубил ее платье, что пыль внезапно поднималась и неслась столбом по дороге... Крупный дождик закапал, она и его не замечала; но он пошел всё чаще, всё сильнее, сверкнула молния, гром ударил. Елена остановилась, посмотрела вокруг... К ее счастию, невдалеке от того места, где застала ее гроза, находилась ветхая заброшенная часовенка над развалившимся колодцем. Она добежала до нее и вошла под низенький навес. Дождь хлынул ручьями; небо кругом обложилось. С немым отчаянием глядела Елена на частую сетку быстро падавших капель. Последняя надежда увидеться с Инсаровым исчезала. Старушка нищая вошла в часовенку, отряхнулась, проговорила с поклоном: «От дождя, матушка» — и, кряхтя и охая, присела на уступчик возле колодца. Елена опустила руку в карман: старушка заметила это движение, и лицо ее, сморщенное и желтое, но когда-то красивое, оживилось. «Спасибо тебе, кормилица, родная»,— начала она. В кармане Елены не нашлось кошелька, а старушка протягивала уже руку...

— Денег у меня нет, бабушка,— сказала Елена,— а вот возьми, на что-нибудь пригодится.

Она подала ей свой платок.

— О-ох, красавица ты моя,— проговорила нищая,— да на что же мне платочек твой? Разве внучке подарить, когда замуж выходить будет. Пошли тебе господь за твою доброту!

Раздался удар грома.

— Господи, Иисусе Христе,— пробормотала нищая и перекрестилась три раза.— Да никак я уже тебя видела,— прибавила она погодя немного.— Никак ты мне Христову милостыню подавала?

Елена вгляделась в старуху и узнала ее.

— Да, бабушка,— отвечала она.— Ты еще меня спросила, отчего я такая печальная.

— Так, голубка, так. То-то я тебя признала. Да ты и теперь словно кручинна живешь. Вот и платочек твой

мокрый, знать от слез. Ох вы, молодушки, всем вам одна печаль, горе великое!

— Какая же печаль, бабушка?

— Какая? Эх, барышня хорошая, не моги ты со мной, со старухой, лукавить. Знаю я, о чем ты тужишь: не сиротское твое горе. Ведь и я была молода, светик, мытарства-то эти я тоже проходила. Да. А я тебе, за твою доброту, вот что скажу: попался тебе человек хороший, не ветреник, ты уже держись одного; крепче смерти держись. Уж быть, так быть, а не быть, видно богу так угодно. Да. Ты что на меня дивишься? Я та же ворожея. Хошь, унесу с твоим платочком всё твое горе? Унесу, и полно. Вишь, дождик реденький пошел; ты-то подожди еще, а я пойду. Меня ему не впервой мочить. Помни же, голубка: была печаль, сплыла печаль, и помину ей нет. Господи, помилуй!

Нищая приподнялась с уступчика, вышла из часовенки и поплелась своею дорогой. Елена с изумлением посмотрела ей вслед. «Что это значит?» — прошептала она невольно.

Дождик сеялся всё мельче и мельче, солнце заиграло на мгновение. Елена уже собиралась покинуть свое убежище... Вдруг в десяти шагах от часовни она увидела Инсарова. Закутанный плащом, он шел по той же самой дороге, по которой пришла Елена; казалось, он спешил домой.

Она оперлась рукой о ветхое перильце крылечка, хотела позвать его, но голос изменил ей... Инсаров уже проходил мимо, не поднимая головы...

— Дмитрий Никанорович! — проговорила она наконец.

Инсаров внезапно остановился, оглянулся... В первую минуту он не узнал Елены, но тотчас же подошел к ней.

— Вы! вы здесь! — воскликнул он.

Она отступила молча в часовню. Инсаров последовал за Еленой.

— Вы здесь? — повторил он.

Она продолжала молчать и только глядела на него каким-то долгим, мягким взглядом. Он опустил глаза.

— Вы шли от нас? — спросила она его.

— Нет... не от вас.

— Нет? — повторила Елена и постаралась улыбнуться.— Так-то вы держите ваши обещания? Я вас ждала с утра.

— Я вчера, вспомните, Елена Николаевна, ничего не обещал.

Елена опять едва улыбнулась и провела рукой по лицу. И лицо и рука были очень бледны.

— Вы, стало быть, хотели уехать, не простившись с нами?

— Да,— сурово и глухо промолвил Инсаров.

— Как? После нашего знакомства, после этих разговоров, после всего... Стало быть, если б я вас здесь не встретила случайно (голос Елены зазвенел, и она умолкла на мгновение)... так бы вы и уехали, и руки бы мне не пожали в последний раз, и вам бы не было жаль?

Инсаров отвернулся.

— Елена Николаевна, пожалуйста, не говорите так. Мне и без того невесело. Поверьте, мое решение мне стоило больших усилий. Если б вы знали...

— Я не хочу знать,— с испугом перебила его Елена,— зачем вы едете... Видно, так нужно. Видно, нам должно расстаться. Вы без причины не захотели бы огорчить ваших друзей. Но разве так расстаются друзья? Ведь мы друзья с вами, не правда ли?

— Нет,— сказал Инсаров.

— Как?..— промолвила Елена. Щеки ее покрылись легким румянцем.

— Я именно оттого и уезжаю, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать, что я не скажу.

— Вы прежде были со мной откровенны,— с легким упреком произнесла Елена.— Помните?

— Тогда я мог быть откровенным, тогда мне скрывать было нечего; а теперь...

— А теперь? — спросила Елена.

— А теперь... А теперь я должен удалиться. Прощайте.

Если бы в это мгновение Инсаров поднял глаза на Елену, он бы заметил, что лицо ее всё больше светлело, чем больше он сам хмурился и темнел; но он упорно глядел на пол.

— Ну, прощайте, Дмитрий Никанорович,— начала она.— Но по крайней мере, так как мы уже встретились, дайте мне теперь вашу руку.

Инсаров протянул было руку.

— Нет, и этого я не могу,— промолвил он и отвернулся снова.

— Не можете?

— Не могу. Прощайте.

И он направился к выходу часовни.

— Погодите еще немножко,— сказала Елена.— Вы как будто боитесь меня. А я храбрее вас,— прибавила она с внезапной легкой дрожью во всем теле.— Я могу вам сказать... хотите?.. отчего вы меня здесь застали? Знаете ли, куда я шла?

Инсаров с изумлением посмотрел на Елену.

— Я шла к вам.

— Ко мне?

Елена закрыла лицо.

— Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю,— прошептала она,— вот... я сказала.

— Елена! — вскрикнул Инсаров.

Она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь.

Он крепко обнял ее и молчал. Ему не нужно было говорить ей, что он ее любит. Из одного его восклицания, из этого мгновенного преобразования всего человека, из того, как поднималась и опускалась эта грудь, к которой она так доверчиво прильнула, как прикасались концы его пальцев к ее волосам, Елена могла понять, что она любима. Он молчал, и ей не нужно было слов. «Он тут, он любит... чего ж еще?» Тишина блаженства, тишина невозмутимой пристани, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и самой смерти придает и смысл и красоту, наполнила ее всю своею божественной волной. Она ничего не желала, потому что она обладала всем. «О мой брат, мой друг, мой милый!..» — шептали ее губы, и она сама не знала, чье это сердце, его ли, ее ли, так сладостно билось и таяло в ее груди.

А он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь, он ощущал на груди это новое, бесконечно дорогое бремя; чувство умиления, чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах его твердую душу, и никогда еще не изведанные слезы навернулись на его глаза...

А она не плакала; она твердила только: «О мой друг, о мой брат!»

— Так ты пойдешь за мною всюду? — говорил он ей четверть часа спустя, по-прежнему окружая и поддерживая ее своими объятиями.

— Всюду, на край земли. Где ты будешь, там я буду.

— И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на наш брак?

— Я себя не обманываю; я это знаю.

— Ты знаешь, что я беден, почти нищий?

— Знаю.

— Что я не русский, что мне не суждено жить в России, что тебе придется разорвать все твои связи с отечеством, с родными?

— Знаю, знаю.

— Ты знаешь также, что я посвятил себя делу трудному, неблагодарному, что мне... что нам придется подвергаться не одним опасностям, но и лишениям, унижению, быть может?

— Знаю, всё знаю... Я тебя люблю.

— Что ты должна будешь отстать от всех твоих привычек, что там, одна, между чужими, ты, может быть, принуждена будешь работать...

Она положила ему руку на губы.

— Я люблю тебя, мой милый.

Он начал горячо целовать ее узкую розовую руку. Елена не отнимала ее от его губ и с какою-то детскою радостью, с смеющимся любопытством глядела, как он покрывал поцелуями то самую руку ее, то пальцы...

Вдруг она покраснела и спрятала свое лицо на его груди.

Он ласково приподнял ее голову и пристально посмотрел ей в глаза.

— Так здравствуй же,— сказал он ей,— моя жена перед людьми и перед богом!

XIX

Час спустя Елена, с шляпою в одной руке, с мантильей в другой, тихо входила в гостиную дачи. Волосы ее слегка развились, на каждой щеке виднелось маленькое розовое пятнышко, улыбка не хотела сойти с ее губ, глаза смыкались и, полузакрытые, тоже улыбались. Она едва переступала от усталости, и ей была приятна эта усталость: да и всё ей было приятно. Всё казалось ей милым и ласковым. Увар Иванович сидел под окном; она подошла к нему, положила ему руку на плечо, потянулась немного и как-то невольно засмеялась.

— Чему? — спросил он, удивившись.

Она не знала, что сказать. Ей хотелось поцеловать Увара Ивановича.

— Плашмя!..— промолвила она наконец.

Но Увар Иванович даже бровью не повел и продолжал с удивлением глядеть на Елену. Она уронила на него и мантилью и шляпу.

— Милый Увар Иванович,— проговорила она,— я спать хочу, я устала,— и она опять засмеялась и упала на кресло возле него.

— Гм,— крякнул Увар Иванович и заиграл пальцами.— Это, надо бы, да...

А Елена глядела вокруг себя и думала: «Со всем этим я скоро должна расстаться... и странно: нет во мне ни страха, ни сомнения, ни сожаления... Нет, мамаши жалко!» Потом опять возникла перед ней часовенка, прозвучал опять его голос, она почувствовала вокруг себя его руки. Сердце ее радостно, но слабо шевельнулось: истома счастия лежала и на нем. Вспомнилась ей старушка нищая. «Точно, унесла она мое горе,— подумала она.— О, как я счастлива! как незаслуженно! как скоро!» Ей бы стоило дать себе крошечку воли, и полились бы у нее сладкие, нескончаемые слезы. Она удерживала их только тем, что посмеивалась. Какое положение она ни принимала, ей казалось, что уж лучше и ловчее нельзя: точно ее баюкали. Все движения ее были медленны и мягки; куда девалась ее торопливость, ее угловатость? Вошла Зоя: Елена решила, что она не видала прелестнее личика; Анна Васильевна вошла: что-то кольнуло Елену, но с какою нежностию она обняла свою добрую мать и поцеловала ее в лоб, подле волос, уже слегка поседелых! Потом она отправилась в свою комнатку: как там ей всё улыбнулось! С каким чувством стыдливого торжества и смирения села она на свою кроватку, на ту самую кроватку, где три часа тому назад она провела такие горькие мгновения! «А ведь уж я тогда знала, что он меня любит,— подумала она,— да и прежде... Ай, нет! нет! это грех». «Ты моя жена...» — прошептала она, закрывшись руками, и бросилась на колени.

К вечеру она стала задумчивее. Грусть ее взяла при мысли, что она не скоро увидится с Инсаровым. Он не мог, не возбуждая подозрения, оставаться у Берсенева, и потому вот на чем они с Еленой порешили: Инсаров должен был вернуться в Москву и приехать к ним в гости раза два до осени; с своей стороны, она обещалась писать ему письма и, если будет можно, назначить ему свидание где-нибудь около Кунцева. К чаю она сошла в гостиную и застала там всех своих домашних и Шубина, который зорко посмот-

рел на нее, как только она появилась; она хотела было заговорить с ним дружески, по-старому, да боялась его проницательности, боялась самой себя. Ей сдавалось, что он недаром более двух недель оставлял ее в покое. Скоро пришел Берсенев и передал Анне Васильевне поклон от Инсарова вместе с извинением его в том, что он вернулся в Москву, не засвидетельствовав ей своего почтения. Имя Инсарова в первый раз в течение дня произносилось перед Еленой; она почувствовала, что покраснела; она поняла в то же время, что ей следовало выразить сожаление о внезапном отъезде такого хорошего знакомого, но она не могла принудить себя к притворству и продолжала сидеть неподвижно и безмолвно, между тем как Анна Васильевна охала и горевала. Елена старалась держаться около Берсенева; она его не боялась, хоть он и знал часть ее тайны; она спасалась под его крылышко от Шубина, который всё продолжал посматривать на нее — не насмешливо, но внимательно. На Берсенева в течение вечера тоже находило недоумение: он ожидал, что увидит Елену более печальной. К счастию ее, между ним и Шубиным завязался спор об искусстве; она отодвинулась и словно сквозь сон слушала их голоса. Понемногу не только они, но и вся комната, всё, что окружало ее, показалось ей как бы сном — всё: и самовар на столе, и коротенький жилет Увара Ивановича, и гладкие ногти Зои, и масляный портрет великого князя Константина Павловича на стене: всё уходило, всё покрывалось дымкой, всё переставало существовать. Только жаль ей было их всех. «Для чего живут?» — думала она.

— Ты спать хочешь, Леночка? — спросила ее мать.

Она не слышала вопроса матери.

— Полусправедливый намек, говоришь ты?..— Эти слова, резко произнесенные Шубиным, внезапно возбудили внимание Елены.— Помилуй,— продолжал он,— в этом-то самый вкус и есть. Справедливый намек возбуждает уныние — это не по-христиански; к несправедливому человек равнодушен — это глупо, а от полусправедливого он и досаду чувствует и нетерпение. Например, если я скажу, что Елена Николаевна влюблена в одного из нас, какого рода это будет намек, ась?

— Ах, мсьё Поль,— проговорила Елена,— я бы хотела показать вам мою досаду, да право, не могу. Я очень устала.

— Что ж ты не ляжешь? — промолвила Анна Ва-

сильевна, которая вечером сама всегда дремала и оттого охотно посылала спать других.— Простись со мной да ступай с богом. Андрей Петрович извинит.

Елена поцеловала свою мать, поклонилась всем и пошла. Шубин проводил ее до двери.

— Елена Николаевна,— шепнул он ей на пороге,— вы топчете мсьё Поля, вы безжалостно ходите по нем, а мсьё Поль благословляет вас, и ваши ножки, и башмаки на ваших ножках, и подошвы ваших башмаков.

Елена пожала плечом, нехотя протянула ему руку — не ту, которую целовал Инсаров,— и вернувшись к себе в комнату, тотчас разделась, легла и заснула. Она спала глубоким, безмятежным сном... Так даже дети не спят: так спит только выздоровевший ребенок, когда мать сидит возле его колыбельки и глядит на него и слушает его дыхание.

XX

— Зайди ко мне на минутку,— сказал Берсеневу Шубин, как только тот простился с Анной Васильевной,— у меня есть кое-что тебе показать.

Берсенев отправился к нему во флигель. Его поразило множество студий, статуэток и бюстов, окутанных мокрыми тряпками и расставленных по всем уголкам комнаты.

— Да ты, я вижу, работаешь не на шутку,— заметил он Шубину.

— Что-нибудь надобно ж делать,— ответил тот.— Одно не везет, надо пробовать другое. Впрочем, я, как корсиканец, занимаюсь больше вендеттой, нежели чистым искусством. Trema, Bisanzia! [1]

— Я тебя не понимаю,— проговорил Берсенев.

— А вот погоди. Вот извольте поглядеть, любезный друг и благодетель, мою месть номер 1-й.

Шубин раскутал одну фигуру, и Берсенев увидел отменно схожий, отличный бюст Инсарова. Черты лица были схвачены Шубиным верно до малейшей подробности, и выражение он им придал славное: честное, благородное и смелое.

Берсенев пришел в восторг.

— Да это просто прелесть! —воскликнул он.— Поздравляю тебя. Хоть на выставку! Почему ты называешь это великолепное произведение местью?

---

[1] Трепещи, Византия! *(итал.)*.

— А потому, сэр, что я намерен поднести это, как вы изволили выразиться, великолепное произведение Елене Николаевне в день ее именин. Понимаете вы сию аллегорию? Мы не слепые, мы видим, что́ около нас происходит, но мы джентльмены, милостивый государь, и мстим по-джентльменски.

— А вот,— прибавил Шубин, раскутывая другую фигурку,— так как художник, по новейшим эстетикам, пользуется завидным правом воплощать в себе всякие мерзости, возводя их в перл создания, то мы, при возведении сего перла, номера второго, мстили уже вовсе не как джентльмены, а просто en canaille [1].

Он ловко сдернул полотно, и взорам Берсенева предстала статуэтка, в дантановском вкусе, того же Инсарова. Злее и остроумнее невозможно было ничего придумать. Молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии «супруга овец тонкорунных», и между тем сходство было до того поразительно, несомненно, что Берсенев не мог не расхохотаться.

— Что? забавно? — промолвил Шубин,— узнал ироя? На выставку тоже советуешь послать? Это, братец ты мой, я сам себе в собственные именины подарю... Ваше высокоблагородие, позвольте выкинуть коленце!

И Шубин прыгнул раза три, ударяя себя сзади подошвами.

Берсенев поднял с полу полотно и забросил им статуэтку.

— Ох ты, великодушный,— начал Шубин,— кто бишь в истории считается особенно великодушным? Ну, всё равно! А теперь,— продолжал он, торжественно и печально раскутывая третью, довольно большую массу глины,— ты узришь нечто, что докажет тебе смиренномудрие и прозорливость твоего друга. Ты убедишься в том, что он, опять-таки как истинный художник, чувствует потребность и пользу собственного заушения. Взирай!

Полотно взвилось, и Берсенев увидел две, рядом и близко поставленные, точно сросшиеся, головы... Он не тотчас понял, в чем дело, но, приглянувшись, узнал в одной из них Аннушку, в другой самого Шубина. Впрочем, это были скорее карикатуры, чем портреты. Аннушка была

---

[1] как канальи *(франц.)*.

представлена красивою жирною девкой с низким лбом, заплывшими глазами и бойко вздернутым носом. Ее крупные губы нагло ухмылялись; всё лицо выражало чувственность, беспечность и удаль, не без добродушия. Себя Шубин изобразил испитым, исхудалым жуиром, с ввалившимися щеками, с бессильно висящими косицами жидких волос, с бессмысленным выражением в погасших глазах, с заостренным, как у мертвеца, носом.

Берсенев отвернулся с отвращением.

— Какова двоешка, брат? — промолвил Шубин.— Не соблаговолишь ли сочинить приличную подпись? К первым двум штукам я уже подписи придумал. Под бюстом будет стоять: «Герой, намеревающийся спасти свою родину». Под статуэткой: «Берегитесь, колбасники!» А под этой штукой — как ты думаешь? — «Будущность художника Павла Яковлева Шубина...» Хорошо?

— Перестань,— возразил Берсенев.— Стоило терять время на такую...— Он не тотчас подобрал подходящее слово.

— Гадость? — хочешь ты сказать. Нет, брат, извини, уж коли чему на выставку идти, так этой группе.

— Именно гадость,— повторил Берсенев.— Да и что за вздор? В тебе вовсе нет тех залогов подобного развития, которыми до сих пор, к несчастию, так обильно одарены наши артисты. Ты просто наклеветал на себя.

— Ты полагаешь? — мрачно проговорил Шубин.— Если во мне их нет и если они ко мне привьются, то в этом будет виновата... одна особа. Ты знаешь ли,— прибавил он, трагически нахмурив брови,— что я уже пробовал пить?

— Врешь?!

— Пробовал, ей-богу,— возразил Шубин и вдруг осклабился и просветлел,— да невкусно, брат, в горло не лезет, и голова потом, как барабан. Сам великий Лущихин — Харлампий Лущихин, первая московская, а по другим, великороссийская воронка — объявил, что из меня проку не будет. Мне, по его словам, бутылка ничего не говорит.

Берсенев замахнулся было на группу, но Шубин остановил его.

— Полно, брат, не бей; это как урок годится, как пугало.

Берсенев засмеялся.

— В таком случае, пожалуй, пощажу твое пугало,— промолвил он,— и да здравствует вечное, чистое искусство!

— Да здравствует! — подхватил Шубин.— С ним и хорошее лучше и дурное не беда!

Приятели крепко пожали друг другу руку и разошлись.

XXI

Первым ощущением Елены, когда она проснулась, был радостный испуг. «Неужели? неужели?» — спрашивала она себя, и сердце ее замирало от счастия. Воспоминания нахлынули на нее... она потонула в них. Потом опять ее осенила та блаженная, восторженная тишина. Но в течение утра Еленой понемногу овладело беспокойство, а в следующие дни ей стало и томно и скучно. Правда, она теперь знала, чего она хотела, но от этого ей не было легче. То незабвенное свидание выбросило ее навсегда из старой колеи: она уже не стояла в ней, она была далеко, а между тем кругом всё совершалось обычным порядком, всё шло своим чередом, как будто ничего не изменилось; прежняя жизнь по-прежнему двигалась, по-прежнему рассчитывая на участие и содействие Елены. Она пыталась начать письмо к Инсарову, но и это не удалось: слова выходили на бумаге не то мертвые, не то лживые. Дневник свой она покончила: она под последнею строкой провела большую черту. То было прошедшее, а она всеми помыслами своими, всем существом ушла в будущее. Ей было тяжело. Сидеть с матерью, ничего не подозревающей, выслушивать ее, отвечать ей, говорить с ней — казалось Елене чем-то преступным; она чувствовала в себе присутствие какой-то фальши; она возмущалась, хотя краснеть ей было не за что; не раз поднималось в ее душе почти непреодолимое желание высказать всё без утайки, что бы там ни было потом. «Для чего,— думала она,— Дмитрий не тогда же, не из этой часовни увел меня, куда хотел? Не сказал ли он мне, что я его жена перед богом? Зачем я здесь?» Она вдруг стала дичиться всех, даже Увара Ивановича, который более чем когда-либо недоумевал и играл перстами. Уже ни ласковым, ни милым, ни даже сном не казалось ей всё окружающее: оно как кошмар давило ей грудь неподвижным, мертвенным бременем; оно как будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотело... Ты, мол, все-таки

наша. Даже ее бедные питомцы, угнетенные птицы и звери, глядели на нее,— по крайней мере так чудилось ей,— недоверчиво и враждебно. Ей становилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь это все-таки мой дом,— думала она,— моя семья, моя родина...».— «Нет, это больше не твоя родина, не твоя семья»,— твердил ей другой голос. Страх овладевал ею, и она досадовала на свое малодушие. Беда только начиналась, а уж она теряла терпение... То ли она обещала?

Не скоро она совладела с собою. Но прошла неделя, другая... Елена немного успокоилась и привыкла к новому своему положению. Она написала две маленькие записочки Инсарову и сама отнесла их на почту — она бы ни за что, и из стыдливости и из гордости, не решилась довериться горничной. Она начинала уже поджидать его самого... Но вместо его, в одно прекрасное утро, прибыл Николай Артемьевич.

XXII

Еще никто в доме отставного гвардии поручика Стахова не видал его таким кислым и в то же время таким самоуверенным и важным, как в тот день. Он вошел в гостиную в пальто и шляпе — вошел медленно, широко расставляя ноги и стуча каблуками; приблизился к зеркалу и долго смотрел на себя, с спокойною строгостью покачивая головой и кусая губы. Анна Васильевна встретила его с наружным волнением и тайною радостью (она его иначе никогда не встречала); он даже шляпы не снял, не поздоровался с нею и молча дал Елене поцеловать свою замшевую перчатку. Анна Васильевна стала его расспрашивать о курсе лечения — он ничего не отвечал ей; явился Увар Иванович — он взглянул на него и сказал: «Ба!» С Уваром Ивановичем он вообще обходился холодно и свысока, хотя признавал в нем «следы настоящей стаховской крови». Известно, что почти все русские дворянские фамилии убеждены в существовании исключительных, породистых особенностей, им одним свойственных: нам не однажды довелось слышать толки «между своими» о «подсаласкинских» носах и «перепреевских» затылках. Зоя вошла и присела перед Николаем Артемьевичем. Он крякнул, опустился в кресла, потребовал себе кофею и только тогда снял шляпу. Ему принесли кофею; он выпил чашку и, посмотрев поочередно на всех, промолвил сквозь зубы:

«Sortez, s'il vous plaît» [1], и, обратившись к жене, прибавил: «Et vous, madame, restez, je vous prie» [2].

Все вышли, кроме Анны Васильевны. У нее голова задрожала от волнения. Торжественность приемов Николая Артемьевича ее поразила. Она ожидала чего-то необыкновенного.

— Что такое! — воскликнула она, как только дверь затворилась.

Николай Артемьевич бросил равнодушный взгляд на Анну Васильевну.

— Ничего особенного, что это у вас за манера тотчас принимать вид какой-то жертвы? — начал он, безо всякой нужды опуская углы губ на каждом слове. — Я только хотел вас предуведомить, что у нас сегодня будет обедать новый гость.

— Кто такой?

— Курнатовский, Егор Андреевич. Вы его не знаете. Обер-секретарь в сенате.

— Он будет сегодня у нас обедать?

— Да.

— И вы только для того, чтобы мне это сказать, велели всем выйти?

Николай Артемьевич снова бросил на Анну Васильевну взгляд, на этот раз уже иронический.

— Вас это удивляет? Погодите удивляться.

Он умолк. Анна Васильевна тоже помолчала немного.

— Я желала бы,— заговорила она...

— Я знаю, вы меня всегда считали за «имморального» человека,— начал вдруг Николай Артемьевич.

— Я! — с изумлением пробормотала Анна Васильевна.

— И, может быть, вы и правы. Я не хочу отрицать, что действительно я вам иногда подавал справедливый повод к неудовольствию («серые лошади!» — промелькнуло в голове Анны Васильевны), хотя вы сами должны согласиться, что при известном вам состоянии вашей конституции...

— Да я вас нисколько не обвиняю, Николай Артемьевич.

— C'est possible [3]. Во всяком случае я не намерен себя оправдывать. Меня оправдает время. Но я почи-

---

[1] «Выйдите, пожалуйста» *(франц.)*.

[2] «А вы, сударыня, останьтесь, прошу вас» *(франц.)*.

[3] Возможно *(франц.)*.

таю своим долгом уверить вас, что знаю свои обязанности и умею радеть о... о пользах вверенного мне... вверенного мне семейства.

«Что всё это значит?» — думала Анна Васильевна. (Она не могла знать, что накануне, в английском клубе, в углу диванной, поднялось прение о неспособности русских произносить *спичи*. «Кто у нас умеет говорить? Назовите кого-нибудь?» — воскликнул один из споривших. «Да хоть бы Стахов, например»,— отвечал другой и указал на Николая Артемьевича, который тут же стоял и чуть не пискнул от удовольствия.)

— Например,— продолжал Николай Артемьевич,— дочь моя, Елена. Не находите ли вы, что пора ей, наконец, ступить твердой стопою на стезю... выйти замуж, я хочу сказать. Все эти умствования и филантропии хороши, но до известной степени, до известных лет. Пора ей покинуть свои туманы, выйти из общества разных артистов, школяров и каких-то черногорцев и сделаться как все.

— Как я должна понять ваши слова? — спросила Анна Васильевна.

— А вот извольте выслушать,— отвечал Николай Артемьевич всё с тем же опусканием губ.— Скажу вам прямо, без обиняков: я познакомился, я сблизился с этим молодым человеком — господином Курнатовским, в надежде иметь его своим зятем. Смею думать, что, увидевши его, вы не обвините меня в пристрастии или в опрометчивости суждений. (Николай Артемьевич говорил и сам любовался своим красноречием.) Образования отличного, он правовед, манеры прекрасные, тридцать три года, обер-секретарь, коллежский советник, и Станислав на шее. Вы, надеюсь, отдадите мне справедливость, что я не принадлежу к числу тех pères de comédie [1], которые бредят одними чинами; но вы сами мне говорили, что Елене Николаевне нравятся дельные, положительные люди: Егор Андреевич первый по своей части делец; теперь, с другой стороны, дочь моя имеет слабость к великодушным поступкам: так знайте же, что Егор Андреевич, как только достиг возможности, вы понимаете меня, возможности безбедно существовать своим жалованьем, тотчас отказался в пользу своих братьев от ежегодной суммы, которую назначал ему отец.

— А кто его отец? — спросила Анна Васильевна.

— Отец его? Отец его тоже известный в своем роде

[1] отцов из комедии *(франц.)*.

человек, нравственности самой высокой, un vrai stoïcien [1], отставной, кажется, майор, всеми имениями графов Б... управляет.

— А! — промолвила Анна Васильевна.

— А! что: а? — подхватил Николай Артемьевич.— Ужели и вы заражены предрассудками?

— Да я ничего не сказала,— начала было Анна Васильевна...

— Нет, вы сказали: а!.. Как бы то ни было, я счел нужным вас предупредить о моем образе мыслей и смею думать... смею надеяться, что господин Курнатовский будет принят à bras ouverts [2]. Это не какой-нибудь черногорец.

— Разумеется; надо будет только Ваньку-повара позвать, блюдо приказать прибавить.

— Вы понимаете, что я в это не вхожу,— проговорил Николай Артемьевич, встал, надел шляпу и, посвистывая (он от кого-то слышал, что посвистывать можно только у себя на даче и в манеже), отправился гулять в сад. Шубин поглядел на него из окошка своего флигеля и молча высунул ему язык.

В четыре часа без десяти минут к крыльцу стаховской дачи подъехала ямская карета, и человек еще молодой, благообразной наружности, просто и изящно одетый, вышел из нее и велел доложить о себе. Это был Егор Андреевич Курнатовский.

Вот что, между прочим, писала на следующий день Инсарову Елена.

«Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених. Он вчера у нас обедал; папенька познакомился с ним, кажется, в английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал вчера не женихом. Но добрая мамаша, которой папенька сообщил свои надежды, шепнула мне на ухо, что это за гость. Зовут его Егор Андреевич Курнатовский; он служит обер-секретарем при сенате. Опишу тебе сперва его наружность. Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен; черты у него правильные, он коротко острижен, носит большие бакенбарды. Глаза у него небольшие (как у тебя), карие, быстрые, губы плоские, широкие; на глазах и на губах постоянная улыбка, официальная какая-то; точно она у него дежурит. Держится он очень

[1] истинный стоик *(франц.)*.
[2] с распростертыми объятьями *(франц.)*.

просто, говорит отчетливо, и всё у него отчетливо: он ходит, смеется, ест, словно дело делает. «Как она его изучила!» — думаешь ты, может быть, в эту минуту. Да; для того, чтоб описать тебе его. Да и как же не изучать своего жениха! В нем есть что-то железное... и тупое и пустое в то же время — и честное; говорят, он точно очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом он сидел возле меня, против нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих предприятиях: говорят, он в них толк знает и чуть было не бросил своей службы, чтобы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался! Потом Шубин заговорил о театре; господин Курнатовский объявил, и — я должна сознаться — без ложной скромности, что он в художестве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило... но я подумала: нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем художества. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается. К Петербургу и к comme il faut он, впрочем, довольно равнодушен: он раз даже назвал себя пролетарием. Мы, говорит, чернорабочие. Я подумала: если бы Дмитрий это сказал, мне бы это не понравилось, а этот пускай себе говорит! пусть хвастается! Со мной он был очень вежлив; но мне всё казалось, что со мной беседует очень, очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он говорит, что у такого-то *есть правила* — это его любимое слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию (ты видишь: я беспристрастна), то есть к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда попасться ему в руки! За столом заговорили о взятках...

— Я понимаю,— сказал он,— что во многих случаях берущий взятку не виноват; он иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить.

Я вскрикнула.

— Раздавить невиноватого!

— Да, ради принципа.

— Какого? — спросил Шубин.

Курнатовский не то смешался, не то удивился и сказал:

— Этого нечего объяснять.

Папаша, который, кажется, благоговеет перед ним, подхватил, что, конечно, нечего, и, к досаде моей, разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенев и вступил с ним в ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Андрея Петровича в таком волнении. Гос-

подин Курнатовский вовсе не отрицал пользы науки, университетов и т. д. ... а между тем я понимала негодование Андрея Петровича. Тот смотрит на всё это как на гимнастику какую-то. Шубин подошел ко мне после стола и сказал: «Вот этот и некто другой (он твоего имени произнести не может) — оба практические люди, а посмотрите, какая разница; там настоящий, живой, жизнью данный идеал; а здесь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дельность без содержания». Шубин умен, и я для тебя запомнила его слова; а по-моему, что же общего между вами? Ты *веришь*, а тот нет, потому что только в самого себя *верить нельзя.*

Он уехал поздно, но мамаша успела мне сообщить, что я ему понравилась, что папенька в восторге... Уж не сказал ли он обо мне, что и у меня есть правила? А я чуть было не ответила мамаше, что мне очень жалко, но что у меня уже есть муж. Отчего тебя папенька так не любит? С мамашей еще можно было бы как-нибудь...

О мой милый! Я тебе так подробно описала этого господина для того, чтобы заглушить мою тоску. Я не живу без тебя, я беспрестанно тебя вижу, слышу... Я жду тебя, только не у нас, как ты было хотел, — представь, как нам будет тяжело и неловко! — а знаешь, где я тебе писала — в той роще... О мой милый! Как я тебя люблю!»

XXIII

Недели три после первого посещения Курнатовского Анна Васильевна, к великой радости Елены, переселилась в Москву, в свой большой деревянный дом возле Пречистенки, дом с колоннами, белыми лирами и венками над каждым окном, с мезонином, службами, палисадником, огромным зеленым двором, колодцем на дворе и собачьей конуркой возле колодца. Анна Васильевна никогда так рано не съезжала с дачи, но в тот год у ней от первых осенних холодов *разыгрались* флюсы; Николай Артемьевич, с своей стороны, окончивши курс лечения, соскучился по жене; притом же Августина Христиановна уехала погостить к своей кузине в Ревель; в Москву прибыло какое-то иностранное семейство, показывавшее *пластические позы*, des poses plastiques, описание которых в «Московских ведомостях» сильно возбудило любопытство Анны Васильевны. Словом, дальнейшее пребывание на даче оказалось неудобным и даже, по словам Николая Артемьевича, несовместным с исполнением его «предначертаний». Послед-

ние две недели показались очень длинными Елене. Курнатовский приезжал два раза, по воскресеньям; в другие дни он был занят. Он приезжал собственно для Елены, но разговаривал больше с Зоей, которой он очень понравился. «Das ist ein Mann!» [1] — думала она про себя, глядя на его смуглое и мужественное лицо, слушая его самоуверенные, снисходительные речи. По ее мнению, ни у кого не было такого чудного голоса, никто не умел так отлично произнести: «я имел чес-*с*-ть» или «я весьма доволен». Инсаров не был у Стаховых, но Елена видела его раз украдкой в небольшой рощице над Москвой-рекой, где она назначила ему свидание. Они едва успели сказать несколько слов друг другу. Шубин возвратился в Москву вместе с Анной Васильевной; Берсенев несколькими днями позже.

Инсаров сидел у себя в комнате и в третий раз перечитывал письма, доставленные ему из Болгарии с «оказией»; по почте их боялись посылать. Он был очень встревожен ими. События быстро развивались на Востоке; занятие княжеств русскими войсками волновало все умы; гроза росла, слышалось уже веяние близкой, неминуемой войны. Кругом занимался пожар, и никто не мог предвидеть, куда он пойдет, где остановится; старые обиды, давние надежды — всё зашевелилось. Сердце Инсарова сильно билось: и *его* надежды сбывались. «Но не рано ли? не напрасно ли? — думал он, стискивая руки.— Мы еще не готовы. Но так и быть! Надо будет ехать».

Что-то слегка зашумело за дверью, она быстро распахнулась — и в комнату вошла Елена.

Инсаров затрепетал весь, бросился к ней, упал перед нею на колени, обнял ее стан и крепко прижался к нему головой.

— Ты меня не ждал? — заговорила она, едва переводя дух. (Она быстро взбежала по лестнице.) Милый! милый! — Она положила ему обе руки на голову и оглянулась.— Так вот где ты живешь? Я тебя скоро нашла. Дочь твоего хозяина меня проводила. Мы третьего дня переехали. Я хотела тебе написать, но подумала, лучше я сама пойду. Я к тебе на четверть часа. Встань, запри дверь.

Он поднялся, проворно запер дверь, воротился к ней и взял ее за руки. Он не мог говорить; радость его душила.

---

[1] «Это — мужчина!» *(нем.)*.

Она с улыбкой глядела ему в глаза... в них было столько счастия... Она застыдилась.

— Постой,— сказала она, ласково отнимая у него руки,— дай мне шляпу снять.

Она развязала ленты шляпы, сбросила ее, спустила с плеч мантилью, поправила волосы и села на маленький старенький диванчик. Инсаров не шевелился и глядел на нее, как очарованный.

— Сядь же,— проговорила она, не поднимая на него глаз и указывая ему на место возле себя.

Инсаров сел, но не на диван, а на пол, у ее ног.

— На, сними с меня перчатки,— промолвила она неровным голосом. Ей становилось страшно.

Он принялся сперва расстегивать, потом стаскивать одну перчатку, стащил ее до половины и жадно прильнул губами к забелевшей под нею тонкой и нежной кисти.

Елена вздрогнула и хотела отслонить его другой рукою, он начал целовать другую руку. Елена потянула ее к себе, он откинул голову, она посмотрела ему в лицо, нагнулась — и губы их слились...

Прошло мгновение... Она вырвалась, встала, шепнула: «Нет, нет» — и быстро подошла к письменному столу.

— Ведь я здесь хозяйка, для меня не должно быть у тебя тайны,— проговорила она, стараясь казаться беспечной и становясь к нему спиной.— Сколько бумаг! Это что за письма?

Инсаров наморщил брови.

— Эти письма? — промолвил он, вставая с полу.— Ты можешь их прочесть.

Елена повертела их в руке.

— Их так много, и они так мелко написаны, а я сейчас должна уйти... Бог с ними! Не от соперницы?.. Да они и не по-русски,— прибавила она, перебирая тонкие листы.

Инсаров приблизился к ней и коснулся ее стана. Она вдруг обернулась к нему, светло ему улыбнулась и оперлась на его плечо.

— Эти письма из Болгарии, Елена; друзья мне пишут, они меня зовут.

— Теперь? Туда?

— Да... теперь. Пока еще время, пока проехать можно.

Она вдруг бросила ему обе руки вокруг шеи.

— Ведь ты меня возьмешь с собой?

Он прижал ее к сердцу.

— О моя милая девушка, о моя героиня, как ты про-

изнесла это слово! Но не грешно ли, не безумно ли мне, мне, бездомному, одинокому, увлекать тебя с собою... И куда же!

Она зажала ему рот.

— Тсс... или я рассержусь и никогда больше не приду к тебе. Разве не всё решено, не всё кончено между нами? Разве я не твоя жена? Разве жена расстается с мужем?

— Жены не идут на войну,— промолвил он с полупечальной улыбкой.

— Да, когда они могут остаться. А разве я могу остаться здесь?

— Елена, ты ангел!.. Но подумай, мне, может быть, придется выехать из Москвы... через две недели. Мне уже нельзя помышлять ни об университетских лекциях, ни об окончании работ.

— Что же такое? — перебила Елена.— Ты должен скоро ехать? Да хочешь ли, я теперь же, сейчас, сию минуту останусь у тебя, с тобой навсегда, и домой не вернусь, хочешь? Поедем сейчас, хочешь?

Инсаров с удвоенною силой заключил ее в свои объятия.

— Так пусть же бог накажет меня,— воскликнул он,— если я делаю дурное дело! С нынешнего дня мы соединены навек!

— Я остаюсь? — спросила Елена.

— Нет, моя чистая девушка; нет, мое сокровище. Ты сегодня вернешься домой, но будь готова. Это дело нельзя разом сделать; надо хорошенько всё обдумать. Тут нужны деньги, паспорт...

— Деньги у меня есть,— перебила Елена,— восемьдесят рублей.

— Ну, это не много,— заметил Инсаров,— а всё годится.

— Да я могу достать, я займу, я попрошу у мамаши... Нет, я у ней просить не буду... Да можно часы продать... У меня серьги есть, два браслета... кружево.

— Не в деньгах дело, Елена; паспорт, твой паспорт, как с этим быть?

— Да, как с этим быть? А непременно нужен паспорт?

— Непременно.

Елена усмехнулась.

— Что мне в голову пришло! Помнится, я была еще маленькая... У нас ушла горничная. Ее поймали, простили, и она долго жила у нас... а все-таки все ее вели-

чали: Татьяна беглая. Не думала я тогда, что и я, может быть, буду беглая, как она.

— Елена, как тебе не стыдно!

— А что? Конечно, лучше поехать с паспортом. Но если нельзя...

— Это мы всё уладим после, после, погоди,— промолвил Инсаров.— Дай мне только осмотреться, дай подумать. Мы обо всем переговорим с тобой как следует. А деньги есть и у меня.

Елена отвела рукой волосы, падавшие на его лоб.

— О Дмитрий! как нам весело будет ехать вдвоем!

— Да,— сказал Инсаров,— а там, куда мы приедем...

— Что ж? — перебила Елена,— разве умирать вдвоем тоже не весело? Да нет, зачем умирать? Мы будем жить, мы молоды. Сколько тебе лет? Двадцать шесть?

— Двадцать шесть.

— А мне двадцать. Еще много времени впереди. А! ты хотел убежать от меня? Тебе не нужно было русской любви, болгар! Посмотрим теперь, как ты от меня отделаешься! Но что бы было с нами, если б я тогда не пошла к тебе!

— Елена, ты знаешь, что заставляло меня удаляться.

— Знаю: ты полюбил и испугался. Но неужели ты не подозревал, что и тебя любили?

— Честью клянусь, Елена, нет.

Она быстро и неожиданно его поцеловала.

— Вот за это-то я тебя и люблю. А теперь прощай.

— Ты не можешь больше остаться?— спросил Инсаров.

— Нет, мой милый. Ты думаешь, мне легко было уйти одной? Четверть часа давно минуло.— Она надела мантилью и шляпу.— А ты приходи к нам завтра вечером. Нет, послезавтра. Будет натянуто, скучно, да делать нечего: по крайней мере увидимся. Прощай. Выпусти меня.— Он обнял ее в последний раз.— Ай! смотри, ты мою цепочку сломал. О мой неловкий! Ну, ничего. Тем лучше. Я пойду на Кузнецкий мост, отдам ее в починку. Если меня спросят, я скажу, что была на Кузнецком мосту.— Она взялась за ручку двери.— Кстати, я тебе и забыла сказать: мусье Курнатовский, вероятно, на днях сделает мне предложение. Но я сделаю ему... вот что.— Она приставила большой палец левой руки к кончику носа и поиграла остальными пальцами на воздухе.— Прощай. До свиданья. Теперь я дорогу знаю... А ты не теряй времени...

Елена открыла немножко дверь, прислушалась, обер-

нулась к Инсарову, кивнула головой и выскользнула из комнаты.

С минуту стоял Инсаров перед затворившеюся дверью и тоже прислушивался. Дверь внизу на двор стукнула. Он подошел к дивану, сел и закрыл глаза рукой. С ним еще никогда ничего подобного не случалось. «Чем заслужил я такую любовь? — думал он.— Не сон ли это?»

Но тонкий запах резеды, оставленный Еленой в его бедной, темной комнатке, напоминал ее посещение. Вместе с ним, казалось, еще оставались в воздухе и звуки молодого голоса, и шум легких, молодых шагов, и теплота и свежесть молодого девственного тела.

XXIV

Инсаров решился подождать еще более положительных известий, а сам начал готовиться к отъезду. Дело было очень трудное. Собственно для него не предстояло никаких препятствий: стоило вытребовать паспорт,— но как быть с Еленой? Достать ей паспорт законным путем было невозможно. Обвенчаться с ней тайно, а потом явиться к родителям... «Они тогда отпустят нас,— думал он.— А если нет? Мы все-таки уедем. А если они будут жаловаться... если... Нет, лучше постараться достать как-нибудь паспорт».

Он решился посоветоваться (разумеется, никого не называя) с одним своим знакомым, отставным или отставленным прокурором, опытным и старым докой по части всяких секретных дел. Почтенный этот человек жил не близко: Инсаров тащился к нему целый час на скверном ваньке, да еще вдобавок не застал его дома; а на возвратном пути промок до костей благодаря внезапно набежавшему ливню. На следующее утро Инсаров, несмотря на довольно сильную головную боль, вторично отправился к отставному прокурору. Отставной прокурор выслушал его внимательно, понюхивая табачок из табакерки, украшенной изображением полногрудой нимфы, и искоса посматривая на гостя своими лукавыми, тоже табачного цвету, глазками; выслушал и потребовал «большей определительности в изложении фактических данных»; а заметив, что Инсаров неохотно вдавался в подробности (он и приехал к нему скрепя сердце), ограничился советом вооружиться прежде всего «пенёнзами» и попросил побывать в другой раз, «когда у вас,— прибавил он, нюхая табак над раскрытою табакеркою,— прибудет доверчивости и

убудет недоверчивости (он говорил на б). А паспорт,— продолжал он как бы про себя,— дело рук человеческих; вы, например, едете: кто вас знает, Марья ли вы Бредихина, или же Каролина Фогельмейер?» Чувство гадливости шевельнулось в Инсарове, но он поблагодарил прокурора и обещался завернуть на днях.

В тот же вечер он поехал к Стаховым. Анна Васильевна встретила его ласково, попеняла ему, что он совсем их забыл, и, найдя его бледным, осведомилась о его здоровье; Николай Артемьевич ни слова ему не сказал, только поглядел на него с задумчиво-небрежным любопытством; Шубин обошелся с ним холодно; но Елена удивила его. Она его ждала; она для него надела то самое платье, которое было на ней в день их первого свидания в часовне; но она так спокойно его приветствовала и так была любезна и беспечно весела, что, глядя на нее, никто бы не подумал, что судьба этой девушки уже решена и что одно тайное сознание счастливой любви придавало оживление ее чертам, легкость и прелесть всем ее движениям. Она разливала чай вместо Зои, шутила, болтала; она знала, что за ней будет наблюдать Шубин, что Инсаров не сумеет надеть маску, не сумеет прикинуться равнодушным, и вооружилась заранее. Она не ошиблась: Шубин не спускал с нее глаз, а Инсаров был очень молчалив и пасмурен в течение всего вечера. Елена чувствовала себя до того счастливой, что ей захотелось подразнить его.

— Ну что? — спросила она его вдруг,— план ваш подвигается?

Инсаров смутился.

— Какой план? — проговорил он.

— А вы забыли? — ответила она, смеясь ему в лицо: он один мог понять значение этого счастливого смеха.— Ваша болгарская хрестоматия для русских?

— Quelle bourde! [1] — пробормотал сквозь зубы Николай Артемьевич.

Зоя села за фортепьяно. Елена едва заметно пожала плечом и показала Инсарову глазами на дверь, как бы отпуская его домой. Потом она с расстановкой два раза коснулась пальцем стола и посмотрела на него. Он понял, что она ему назначала свидание через два дня, и она быстро улыбнулась, когда увидела, что он ее понял. Инсаров встал и начал прощаться: он чувствовал себя нездоровым.

---

[1] См. стр. 215.

Явился Курнатовский. Николай Артемьевич вскочил, поднял правую руку выше головы и мягко опустил ее на ладонь обер-секретаря. Инсаров остался еще несколько минут, чтобы посмотреть на своего соперника. Елена украдкой лукаво покачала головой, хозяин не счел нужным их представить друг другу, и Инсаров ушел, в последний раз обменявшись взором с Еленой. Шубин подумал, подумал — и яростно заспорил с Курнатовским о юридическом вопросе, в котором ничего не смыслил.

Инсаров не спал всю ночь и утром чувствовал себя дурно; однако он занялся приведением в порядок своих бумаг и писанием писем, но голова у него была тяжела и как-то запутана. К обеду у него сделался жар: он ничего есть не мог. Жар быстро усилился к вечеру; появилась ломота во всех членах и мучительная головная боль. Инсаров лег на тот самый диванчик, где так недавно сидела Елена; он подумал: «Поделом я наказан, зачем таскался к этому старому плуту»,— и попытался заснуть... Но уже недуг завладел им. С страшною силой забились в нем жилы, знойно вспыхнула кровь, как птицы закружились мысли. Он впал в забытье. Как раздавленный, навзничь лежал он, и вдруг ему почудилось: кто-то над ним тихо хохочет и шепчет; он с усилием раскрыл глаза, свет от нагоревшей свечки дернул по ним, как ножом... Что это? Старый прокурор перед ним, в халате из тармаламы, подпоясанный фуляром, как он видел его накануне... «Каролина Фогельмейер»,— бормочет беззубый рот. Инсаров глядит, а старик ширится, пухнет, растет, уж он не человек — он дерево... Инсарову надо лезть по крутым сучьям. Он цепляется, падает грудью на острый камень, а Каролина Фогельмейер сидит на корточках, в виде торговки, и лепечет: «Пирожки, пирожки, пирожки»,— а там течет кровь, и сабли блестят нестерпимо... Елена!.. И всё исчезло в багровом хаосе.

XXV

— К вам пришел какой-то, кто его знает, слесарь, что ль, какой,— говорил на следующий вечер Берсеневу его слуга, отличавшийся строгим обхождением с барином и скептическим направлением ума,— хочет вас видеть.

— Позови,— промолвил Берсенев.

Вошел «слесарь». Берсенев узнал в нем портного, хозяина квартиры, где жил Инсаров.

— Что ты? — спросил он его.

— Я к вашей милости,— начал портной, медленно переставляя ноги и по временам взмахивая правою рукой с захваченным тремя последними пальцами обшлагом.— Наш жилец, кто его знает, оченно болен.

— Инсаров?

— Точно так, наш жилец. Кто его знает, вчера еще с утра был на ногах, вечером только пить просил, наша хозяйка ему и воду носила, а ночью залопотал, нам-то слышно, потому перегородка; а сегодня утром уж и без языка, лежит, как пласт, а жар от него, боже ты мой! Я подумал, кто его знает, умрет того и гляди; в квартал, думаю, надо дать знать. Потому как он один; да хозяйка мне говорит: «Сходи, мол, ты к тому жильцу, у кого наш-то на даче нанимался: может, он тебе что скажет аль сам придет». Вот я к вашей милости и пришел, потому как нам нельзя, то есть...

Берсенев схватил фуражку, сунул портному в руку целковый и тотчас поскакал с ним на квартиру Инсарова.

Он нашел его лежащего на диване в беспамятстве, не раздетого. Лицо его страшно изменилось. Берсенев тотчас приказал хозяину с хозяйкой раздеть его и перенесть на постель, а сам бросился к доктору и привез его. Доктор прописал разом пиявки, мушки, каломель и велел пустить кровь.

— Он опасен? — спросил Берсенев.

— Да, очень,— отвечал доктор.— Сильнейшее воспаление в легких; перипневмония в полном развитии, может быть, и мозг поражен, а субъект молодой. Его же силы теперь против него направлены. Поздно послали, а впрочем, мы всё сделаем, что требует наука.

Доктор был еще сам молод и верил в науку.

Берсенев остался на ночь. Хозяин и хозяйка оказались добрыми и даже расторопными людьми, как только нашелся человек, который стал им говорить, что́ надо было делать. Явился фельдшер — и начались медицинские истязания.

К утру Инсаров очнулся на несколько минут, узнал Берсенева, спросил: «Я, кажется, нездоров?» — посмотрел вокруг себя с тупым и вялым недоумением трудно больного и опять забылся. Берсенев поехал домой, переоделся, захватил с собой кое-какие книги и вернулся на квартиру Инсарова. Он решился поселиться у него, по крайней мере на первое время. Он огородил его кро-

вать ширмами, а себе устроил местечко около диванчика. Невесело и нескоро прошел день. Берсенев отлучился только для того, чтобы пообедать. Настал вечер. Он зажег свечку с абажуром и принялся за чтение. Всё было тихо кругом. У хозяев за перегородкой слышался то сдержанный шёпот, то зевок, то вздох... Кто-то у них чихнул, и его шёпотом побранили; за ширмами раздавалось тяжелое и неровное дыхание, изредка прерываемое коротким стоном да тоскливым метанием головы по подушке... Странные нашли на Берсенева думы. Он находился в комнате человека, жизнь которого висела на нитке,— человека, которого, он это знал, любила Елена... Вспомнилась ему та ночь, когда Шубин нагнал его и объявил ему, что она его любит, его, Берсенева! А теперь... «Что мне теперь делать? — спрашивал он самого себя.— Известить ли Елену об его болезни? Подождать ли? Это известие печальнее того, которое я же ей сообщил когда-то: странно, как судьба меня всё ставит третьим лицом между ними!» Он решил, что лучше подождать. Взоры его упали на стол, покрытый грудами бумаг... «Исполнит ли он свои замыслы? — подумал Берсенев.— Неужели всё исчезнет?» И жалко ему становилось молодой погибающей жизни, и он давал себе слово ее спасти...

Ночь была нехороша. Больной много бредил. Несколько раз вставал Берсенев с своего диванчика, приближался на цыпочках к постели и печально прислушивался к его несвязному лепетанию. Раз только Инсаров произнес с внезапной ясностью: «Я не хочу, я не хочу, ты не должна...» Берсенев вздрогнул и посмотрел на Инсарова: лицо его, страдальческое и мертвенное в то же время, было неподвижно, и руки лежали бессильно... «Я не хочу»,— повторил он едва слышно.

Доктор приехал поутру, покачал головой и прописал новые лекарства.

— Еще далеко до кризиса,— сказал он, надевая шляпу.

— А после кризиса? — спросил Берсенев.

— После кризиса? Исход бывает двоякий: aut Caesar, aut nihil [1].

Доктор уехал. Берсенев прошелся несколько раз по улице: ему нужен был чистый воздух. Он вернулся и

---

[1] или — Цезарь, или — ничто *(лат.)*.

взялся за книгу. Раумера уж он давно кончил: он теперь изучал Грота.

Вдруг дверь тихо скрипнула, и осторожно вдвинулась в комнату головка хозяйской дочери, покрытая, по обыкновению, тяжелым платком.

— Здесь,— заговорила она вполголоса,— та барышня, что тогда мне гривенничек...

Головка хозяйской дочери внезапно скрылась, и на место ее появилась Елена.

Берсенев вскочил, как ужаленный; но Елена не шевельнулась, не вскрикнула... Казалось, она всё поняла в одно мгновение. Страшная бледность покрыла ее лицо, она подошла к ширмам, заглянула за них, всплеснула руками и окаменела. Еще мгновение, и она бы бросилась к Инсарову, но Берсенев остановил ее:

— Что вы делаете? — проговорил он трепещущим шёпотом.— Вы его погубить можете!

Она зашаталась. Он подвел ее к диванчику и посадил ее.

Она посмотрела ему в лицо, потом окинула его взглядом, потом уставилась на пол.

— Он умирает? — спросила она так холодно и спокойно, что Берсенев испугался.

— Ради бога, Елена Николаевна,— начал он,— что вы это? Он болен, точно,— и довольно опасно... Но мы его спасем; за это я вам ручаюсь.

— Он без памяти? — спросила она так же, как в первый раз.

— Да, он теперь в забытьи... Это всегда бывает в начале этих болезней, но это ничего не значит, ничего, уверяю вас. Выпейте воды.

Она подняла на него глаза, и он понял, что она не слышала его ответов.

— Если он умрет,— проговорила она всё тем же голосом,— и я умру.

Инсаров в это мгновение простонал слегка; она затрепетала, схватила себя за голову, потом стала развязывать ленты шляпы.

— Что это вы делаете? — спросил ее Берсенев.

Она не отвечала.

— Что вы делаете? — повторил он.

— Я остаюсь здесь.

— Как... надолго?

— Не знаю, может быть, на весь день, на ночь, навсегда... не знаю.

— Ради бога, Елена Николаевна, придите в себя. Я, конечно, никак не мог ожидать вас здесь увидеть; но я все-таки... предполагаю, что вы зашли сюда на короткое время. Вспомните, вас могут хватиться дома.

— И что же?

— Вас будут искать... Вас найдут...

— И что же?

— Елена Николаевна! Вы видите... Он вас теперь защитить не может.

Она опустила голову, словно задумалась, поднесла платок к губам, и судорожные рыдания с потрясающею силою внезапно исторглись из ее груди... Она бросилась лицом на диван, старалась заглушить их, но всё ее тело поднималось и билось, как только что пойманная птичка.

— Елена Николаевна... ради бога...— твердил над ней Берсенев.

— А? Что такое? — раздался вдруг голос Инсарова.

Елена выпрямилась, а Берсенев так и замер на месте... Погодя немного он подошел к постели... Голова Инсарова по-прежнему бессильно лежала на подушке; глаза были закрыты.

— Он бредит? — прошептала Елена.

— Кажется,— отвечал Берсенев,— но это ничего; это тоже всегда так бывает, особенно если...

— Когда он занемог? — перебила Елена.

— Третьего дня; со вчерашнего дня я здесь. Положитесь на меня, Елена Николаевна. Я не отойду от него; все средства будут употреблены. Если нужно, мы созовем консилиум.

— Он умрет без меня,— воскликнула она, ломая руки.

— Я вам даю слово извещать вас ежедневно о ходе его болезни, и если бы наступила действительная опасность...

— Клянитесь мне, что вы тотчас пошлете за мною когда бы то ни было, днем, ночью; пишите записку прямо ко мне... Мне всё равно теперь. Слышите ли вы? обещаетесь ли вы это сделать?

— Обещаюсь, перед богом.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Она вдруг схватила его руку и, прежде чем он успел ее отдернуть, припала к ней губами.

— Елена Николаевна... что вы это,— пролепетал он.

— Нет... нет... не надо...— произнес невнятно Инсаров и тяжело вздохнул.

Елена подошла к ширмам, стиснула платок зубами и долго, долго глядела на больного. Безмолвные слезы потекли по ее щекам.

— Елена Николаевна,— сказал ей Берсенев,— он может прийти в себя, узнать вас; бог знает, хорошо ли это будет. Притом же я с часу на час жду доктора...

Елена взяла шляпу с диванчика, надела ее и остановилась. Глаза ее печально блуждали по комнате. Казалось, она вспоминала...

— Я не могу уйти,— прошептала она наконец.

Берсенев пожал ей руку.

— Соберитесь с силами,— промолвил он,— успокойтесь; вы оставляете его на моем попечении. Я сегодня же вечером заеду к вам.

Елена взглянула на него, проговорила: «О, мой добрый друг!» — зарыдала и бросилась вон.

Берсенев прислонился к двери. Чувство горестное и горькое, не лишенное какой-то странной отрады, сдавило ему сердце. «Мой добрый друг!» — подумал он и повел плечом.

— Кто здесь? — послышался голос Инсарова.

Берсенев подошел к нему.

— Я здесь, Дмитрий Никанорович. Что вам? Как вы себя чувствуете?

— Один? — спросил больной.

— Один.

— А она?

— Кто она? — проговорил почти с испугом Берсенев.

Инсаров помолчал.

— Резеда,— шепнул он, и глаза его опять закрылись.

XXVI

Инсаров целых восемь дней находился между жизнию и смертию. Доктор приезжал беспрестанно, интересуясь, опять-таки как молодой человек, трудным больным. Шубин услышал об опасном положении Инсарова и навестил его; явились его соотечественники — болгары; в числе их Берсенев узнал обе странные фигуры, возбудившие его изумление своим нежданным посещением на даче; все изъявляли искреннее участие, некоторые предлагали Берсеневу сменить его у постели больного; но он не соглашался, помня обещание, данное Елене. Он каждый день ее ви-

дел и украдкой передавал ей — иногда на словах, иногда в маленькой записочке — все подробности хода болезни. С каким сердечным замиранием она его ожидала, как она его выслушивала и расспрашивала! Она сама всё порывалась к Инсарову, но Берсенев умолял ее этого не делать: Инсаров редко бывал один. В первый день, когда она узнала об его болезни, она сама чуть не занемогла; она, как только вернулась, заперлась у себя в комнате; но ее позвали к обеду, и она явилась в столовую с таким лицом, что Анна Васильевна испугалась и хотела непременно уложить ее в постель. Елене, однако, удалось переломить себя. «Если он умрет,— твердила она,— и меня не станет». Эта мысль ее успокоила и дала ей силу казаться равнодушною. Впрочем, никто ее слишком не тревожил: Анна Васильевна возилась со своими флюсами; Шубин работал с остервенением; Зоя предавалась меланхолии и собиралась прочесть «Вертера»; Николай Артемьевич очень был недоволен частыми посещениями «школяра», тем более что его «предначертания» насчет Курнатовского подвигались туго: практический обер-секретарь недоумевал и выжидал. Елена даже не благодарила Берсенева: есть услуги, за которые жутко и стыдно благодарить. Только однажды, в четвертое свое свидание с ним (Инсаров очень плохо провел ночь, доктор намекнул на консилиум), только в это свидание она напомнила ему об его клятве. «Ну, в таком случае пойдемте»,— сказал он ей. Она встала и пошла было одеваться. «Нет,— промолвил он,— подождемте еще до завтра». К вечеру Инсарову полегчило.

Восемь дней продолжалась эта пытка. Елена казалась покойной, но ничего не могла есть, не спала по ночам. Тупая боль стояла во всех ее членах; какой-то сухой, горячий дым, казалось, наполнял ее голову. «Наша барышня как свечка тает»,—говорила о ней ее горничная.

Наконец, на девятый день, перелом совершился. Елена сидела в гостиной подле Анны Васильевны и, сама не понимая, что делала, читала ей «Московские ведомости»; Берсенев вошел. Елена взглянула на него (как быстр, и робок, и проницателен, и тревожен был первый взгляд, который она на него всякий раз бросала!) и тотчас же догадалась, что он принес добрую весть. Он улыбался; он слегка кивал ей: она приподнялась ему навстречу.

— Он пришел в себя, он спасен, он через неделю будет совсем здоров,— шепнул он ей.

Елена протянула руки, как будто отклоняя удар, и ни-

чего не сказала, только губы ее задрожали и алая краска разлилась по всему лицу. Берсенев заговорил с Анной Васильевной, а Елена ушла к себе, упала на колени и стала молиться, благодарить бога... Легкие, светлые слезы полились у ней из глаз. Она вдруг почувствовала крайнюю усталость, положила голову на подушку, шепнула: «Бедный Андрей Петрович!» — и тут же заснула, с мокрыми ресницами и щеками. Она давно уже не спала и не плакала.

XXVII

Слова Берсенева сбылись только отчасти: опасность миновалась, но силы Инсарова восстановлялись медленно, и доктор поговаривал о глубоком и общем потрясении всего организма. Со всем тем больной оставил постель и начал ходить по комнате; Берсенев переехал к себе на квартиру; но он каждый день заходил к своему, всё еще слабому, приятелю и каждый день по-прежнему уведомлял Елену о состоянии его здоровья. Инсаров не смел писать к ней и только косвенно, в разговорах с Берсеневым, намекал на нее; а Берсенев, с притворным равнодушием, рассказывал ему о своих посещениях у Стаховых, стараясь, однако, дать ему понять, что Елена была очень огорчена и что теперь она успокоилась. Елена тоже не писала Инсарову; у ней иное было в голове.

Однажды — Берсенев только что сообщил ей с веселым лицом, что доктор уже разрешил Инсарову съесть котлетку и что он, вероятно, скоро выйдет,— она задумалась, потупилась...

— Угадайте, что я хочу сказать вам,— промолвила она.

Берсенев смутился. Он ее понял.

— Вероятно,— ответил он, глянув в сторону,— вы хотите мне сказать, что вы желаете его видеть.

Елена покраснела и едва слышно произнесла:

— Да.

— Так что ж? Это вам, я думаю, очень легко. «Фи! — подумал он,— какое у меня гадкое чувство на сердце!»

— Вы хотите сказать, что я уже прежде...— проговорила Елена.— Но я боюсь... теперь он, вы говорите, редко бывает один.

— Этому нетрудно помочь,— возразил Берсенев, всё не глядя на нее.— Предуведомить я его, разумеется, не могу; но дайте мне записку. Кто вам может запретить написать ему как хорошему знакомому, в котором вы

принимаете участие? Тут ничего нет предосудительного. Назначьте ему... то есть напишите ему, когда вы будете...

— Мне совестно,— шепнула Елена.

— Дайте записку, я отнесу.

— Это не нужно, а я хотела вас попросить... Не сердитесь на меня, Андрей Петрович... не приходите завтра к нему.

Берсенев закусил губу.

— А! да, понимаю, очень хорошо, очень хорошо.— И, прибавив два-три слова, он быстро удалился.

«Тем лучше, тем лучше,— думал он, спеша домой.— Я не узнал ничего нового, но тем лучше. Что за охота лепиться к краешку чужого гнезда? Я ни в чем не раскаиваюсь, я сделал, что мне совесть велела, но теперь полно. Пусть их! Недаром мне говаривал отец: „Мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики,— мы труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастие!“»

На другое утро Инсаров получил по городской почте коротенькую записку. «Жди меня,— писала ему Елена,— и вели всем отказывать. А. П. не придет».

XXVIII

Инсаров прочел записку Елены — и тотчас же стал приводить свою комнатку в порядок, попросил хозяйку унести стклянки с лекарством, снял шлафрок, надел сюртук. От слабости и от радости у него голова кружилась и сердце билось. Ноги у него подкосились: он опустился на диван и стал глядеть на часы. «Теперь три четверти двенадцатого,— сказал он самому себе,— раньше двенадцати она никак прийти не может, буду думать о чем-нибудь другом в течение четверти часа, а то я не вынесу. Раньше двенадцати она никак не может...»

Дверь распахнулась, и в легком шёлковом платье, вся бледная и вся свежая, молодая, счастливая, вошла Елена и с слабым радостным криком упала к нему на грудь.

— Ты жив, ты мой,— твердила она, обнимая и лаская его голову. Он замер весь, он задыхался от этой близости, от этих прикосновений, от этого счастия.

Она села возле него и прижалась к нему и стала глядеть на него тем смеющимся и ласкающим и нежным взгля-

дом, который светится в одних только женских любящих глазах.

Ее лицо внезапно опечалилось.

— Как ты похудел, мой бедный Дмитрий,— сказала она, проводя рукой по его щеке,— какая у тебя борода!

— И ты похудела, моя бедная Елена,— отвечал он, ловя губами ее пальцы.

Она весело встряхнула кудрями.

— Это ничего. Посмотри, как мы поправимся! Гроза налетела, как в тот день, когда мы встретились в часовне, налетела и прошла. Теперь мы будем живы!

Он отвечал ей одною улыбкой.

— Ах, какие дни, Дмитрий, какие жестокие дни! Как это люди переживают тех, кого они любят? Я наперед всякий раз знала, что́ мне Андрей Петрович скажет, право: моя жизнь падала и поднималась вместе с твоей. Здравствуй, мой Дмитрий!

Он не знал, что сказать ей. Ему хотелось броситься к ее ногам.

— Еще что я заметила,— продолжала она, откидывая назад его волосы (я много делала замечаний всё это время, на досуге),— когда человек очень, очень несчастлив,— с каким глупым вниманием он следит за всем, что около него происходит! Я, право, иногда заглядывалась на муху, а у самой на душе такой холод и ужас! Но это всё прошло, прошло, не правда ли? Всё светло впереди, не правда ли?

— Ты для меня впереди,— ответил Инсаров,— для меня светло.

— А для меня-то! А помнишь ли ты, тогда, когда я у тебя была, не в последний раз... нет, не в последний раз,— повторила она с невольным содроганием,— а когда мы говорили с тобой, я, сама не знаю отчего, упомянула о смерти; я и не подозревала тогда, что она нас караулила. Но ведь ты здоров теперь?

— Мне гораздо лучше, я почти здоров.

— Ты здоров, ты не умер. О, как я счастлива!

Настало небольшое молчание.

— Елена? — спросил ее Инсаров.

— Что, мой милый?

— Скажи мне, не приходило ли тебе в голову, что эта болезнь послана нам в наказание?

Елена серьезно взглянула на него.

— Эта мысль мне в голову приходила, Дмитрий. Но

я подумала: за что же я буду наказана? Какой долг я преступила, против чего согрешила я? Может быть, совесть у меня не такая, как у других, но она молчала; или, может быть, я против тебя виновата? Я тебе помешаю, я остановлю тебя...

— Ты меня не остановишь, Елена, мы пойдем вместе.

— Да, Дмитрий, мы пойдем вместе, я пойду за тобой... Это мой долг. Я тебя люблю... другого долга я не знаю.

— О Елена! — промолвил Инсаров, — какие несокрушимые цепи кладет на меня каждое твое слово!

— Зачем говорить о цепях? — подхватила она.— Мы с тобой вольные люди. Да,— продолжала она, задумчиво глядя на пол, а одной рукой по-прежнему разглаживая его волосы,— многое я испытала в последнее время, о чем и понятия не имела никогда! Если бы мне предсказал кто-нибудь, что я, барышня, благовоспитанная, буду уходить одна из дома под разными сочиненными предлогами, и куда же уходить? к молодому человеку на квартиру,— какое я почувствовала бы негодование! И это всё сбылось, и я никакого не чувствую негодования. Ей-богу! — прибавила она и обернулась к Инсарову.

Он глядел на нее с таким выражением обожания, что она тихо опустила руку с его волос на его глаза.

— Дмитрий! — начала она снова,— ведь ты не знаешь, ведь я тебя видела там, на этой страшной постели, я видела тебя в когтях смерти, без памяти...

— Ты меня видела?

— Да.

Он помолчал.

— И Берсенев был здесь?

Она кивнула головой.

Инсаров наклонился к ней.

— О Елена! — прошептал он,— я не смею глядеть на тебя.

— Отчего? Андрей Петрович такой добрый! Я его не стыдилась. И чего мне стыдиться? Я готова сказать всему свету, что я твоя... А Андрею Петровичу я доверяю, как брату.

— Он меня спас! — воскликнул Инсаров.— Он благороднейший, добрейший человек!

— Да... И знаешь ли ты, что я ему всем обязана? Знаешь ли ты, что он мне первый сказал, что ты меня любишь? И если б я могла всё открыть... Да, он благороднейший человек.

Инсаров посмотрел пристально на Елену.

— Он влюблен в тебя, не правда ли?

Елена опустила глаза.

— Он меня любил,— проговорила она вполголоса.

Инсаров крепко стиснул ей руку.

— О вы, русские,— сказал он,— золотые у вас сердца! И он, он ухаживал за мной, он не спал ночи... И ты, ты, мой ангел... Ни упрека, ни колебания... И это всё мне, мне...

— Да, да, всё тебе, потому что тебя любят. Ах, Дмитрий! Как это странно! Я, кажется, тебе уже говорила об этом,— но всё равно, мне приятно это повторить, а тебе будет приятно это слушать,— когда я тебя увидала в первый раз...

— Отчего у тебя на глазах слезы? — перебил ее Инсаров.

— У меня? слезы? — Он утерла глаза платком.— О глупый! Он еще не знает, что и от счастья плачут. Так я хотела сказать: когда я увидала тебя в первый раз, я в тебе ничего особенного не нашла, право. Я помню, сначала Шубин мне гораздо более понравился, хотя я никогда его не любила, а что касается до Андрея Петровича,— о! тут была минута, когда я подумала: уж не он ли? А ты — ничего; зато... потом... потом... так ты у меня сердце обеими руками и взял!

— Пощади меня...— проговорил Инсаров. Он хотел встать и тотчас же опустился на диван.

— Что с тобой? — заботливо спросила Елена.

— Ничего... я еще немного слаб... Мне это счастье еще не по силам.

— Так сиди смирно. Не извольте шевелиться, не волнуйтесь,— прибавила она, грозя ему пальцем.— И зачем вы ваш шлафрок сняли? Рано еще вам щеголять! Сидите, а я вам буду сказки рассказывать. Слушайте и молчите. После вашей болезни вам много разговаривать вредно.

Она начала говорить ему о Шубине, о Курнатовском, о том, что она делала в течение двух последних недель, о том, что, судя по газетам, война неизбежна и что, следовательно, как только он выздоровеет совсем, надо будет, не теряя ни минуты, найти средства к отъезду... Она говорила всё это, сидя с ним рядом, опираясь на его плечо...

Он слушал ее, слушал, то бледнея, то краснея... он несколько раз хотел остановить ее — и вдруг выпрямился.

— Елена,— сказал он ей каким-то странным и резким голосом,— оставь меня, уйди.

— Как? — промолвила она с изумлением.— Ты дурно себя чувствуешь? — прибавила она с живостью.

— Нет... мне хорошо... но, пожалуйста, оставь меня.

— Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь?.. Что это ты делаешь? — проговорила она вдруг: он склонился с дивана почти до полу и приник губами к ее ногам.— Не делай этого, Дмитрий... Дмитрий...

Он приподнялся.

— Так оставь меня! Вот видишь ли, Елена, когда я сделался болен, я не тотчас лишился сознания; я знал, что я на краю гибели; даже в жару, в бреду, я понимал, я смутно чувствовал, что это смерть ко мне идет, я прощался с жизнью, с тобой, со всем, я расставался с надеждой... И вдруг это возрождение, этот свет после тьмы, ты... ты... возле меня, у меня... твой голос, твое дыхание... Это свыше сил моих! Я чувствую, что я люблю тебя страстно, я слышу, что ты сама называешь себя моею, я ни за что не отвечаю... Уйди!

— Дмитрий...— прошептала Елена и спрятала к нему на плечо голову. Она только теперь его поняла.

— Елена,— продолжал он,— я тебя люблю, ты это знаешь, я жизнь свою готов отдать за тебя... Зачем же ты пришла ко мне теперь, когда я слаб, когда я не владею собою, когда вся кровь моя зажжена... Ты моя, говоришь ты... ты меня любишь...

— Дмитрий,— повторила она и вспыхнула вся и еще теснее к нему прижалась.

— Елена, сжалься надо мной — уйди, я чувствую, я могу умереть — я не выдержу этих порывов... вся душа моя стремится к тебе... Подумай, смерть едва не разлучила нас... и теперь ты здесь, ты в моих объятиях... Елена...

Она затрепетала вся.

— Так возьми ж меня,— прошептала она чуть слышно...

XXIX

Николай Артемьевич ходил, нахмурив брови, взад и вперед по своему кабинету Шубин сидел у окна и, положив ногу на ногу, спокойно курил сигару.

— Перестаньте, пожалуйста, шагать из угла в угол,— промолвил он, отряхая пепел с сигары.— Я всё ожидаю, что вы заговорите, слежу за вами — шея у меня заболела.

Притом же в вашей походке есть что-то напряженное, мелодраматическое.

— Вам бы всё только балагурить,— ответил Николай Артемьевич.— Вы не хотите войти в мое положение; вы не хотите понять, что я привык к этой женщине, что я привязан к ней наконец, что отсутствие ее меня должно мучить. Вот уж октябрь на дворе, зима на носу... Что она может делать в Ревеле?

— Должно быть, чулки вяжет... себе; себе — не вам.

— Смейтесь, смейтесь; а я вам скажу, что я подобной женщины не знаю. Эта честность, это бескорыстие...

— Подала она вексель ко взысканию? — спросил Шубин.

— Это бескорыстие,— повторил, возвысив голос, Николай Артемьевич,— это удивительно. Мне говорят, на свете есть миллион других женщин; а я скажу: покажите мне этот миллион; покажите мне этот миллион, говорю я: ces femmes — qu'on me les montre! [1] И не пишет, вот что убийственно!

— Вы красноречивы, как Пифагор,— заметил Шубин,— но знаете ли, что бы я вам присоветовал?

— Что?

— Когда Августина Христиановна возвратится... вы понимаете меня?

— Ну да; что же?

— Когда вы ее увидите... Вы следите за развитием моей мысли?

— Ну да, да.

— Попробуйте ее побить: что из этого выйдет?

Николай Артемьевич отвернулся с негодованием.

— Я думал, он мне в самом деле какой-нибудь путный совет подаст. Да что от него ожидать! Артист, человек без правил...

— Без правил! А вот, говорят, ваш фаворит, господин Курнатовский, человек с правилами, вчера вас на сто рублей серебром обыграл. Это уж не деликатно, согласитесь.

— Что ж? Мы играли в коммерческую. Конечно, я мог бы ожидать... Но его так мало умеют ценить в этом доме...

— Что он подумал: «Куда ни шла! — подхватил Шубин,— тесть ли он мне, или нет — это еще скрыто в урне судьбы, а сто рублей — хорошо человеку, который взяток не берет».

---

[1] эти женщины — пусть их мне покажут! *(франц.)*.

— Тесть!.. Какой я к чёрту тесть? Vous rêvez, mon cher [1]. Конечно, всякая другая девушка обрадовалась бы такому жениху. Посудите сами: человек бойкий, умный, сам собою в люди вышел, в двух губерниях лямку тер...

— В ...ой губернии губернатора за нос водил, — заметил Шубин.

— Очень может быть. Видно, так и следовало. Практик, делец...

— И в карты хорошо играет,— опять заметил Шубин.

— Ну да, и в карты хорошо играет. Но Елена Николаевна... Разве ее возможно понять? Желаю я знать, где тот человек, который бы взялся постигнуть, чего она хочет? То она весела, то скучает; похудеет вдруг так, что не смотрел бы на нее, а там вдруг поправится, и всё это без всякой видимой причины...

Вошел неблаговидный лакей с чашкой кофе, сливочником и сухарями на подносе.

— Отцу нравится жених,— продолжал Николай Артемьевич, размахивая сухарем,— а дочери что до этого за дело! Это было хорошо в прежние, патриархальные времена, а теперь мы всё это переменили. Nous avons changé tout ça. Теперь барышня разговаривает с кем ей угодно, читает что ей угодно; отправляется одна по Москве, без лакея, без служанки, как в Париже; и всё это принято. На днях я спрашиваю: где Елена Николаевна? Говорят, изволила выйти. Куда? Неизвестно. Что это — порядок?

— Возьмите же вашу чашку да отпустите человека,— промолвил Шубин.— Сами же вы говорите, что не надо devant les domestiques [2],— прибавил он вполголоса.

Лакей исподлобья взглянул на Шубина, а Николай Артемьевич взял чашку, налил себе сливок и сгреб штук десять сухарей.

— Я хотел сказать,— начал он, как только лакей вышел,— что я ничего в этом доме не значу.— Вот и всё. Потому, в наше время все судят по наружности: иной человек и пуст и глуп, да важно себя держит,— его уважают; а другой, может быть, обладает талантами, которые могли бы... могли бы принести великую пользу, но по скромности...

— Вы государственный человек, Николенька? — спросил Шубин тоненьким голоском.

---

[1] Вы бредите, мой дорогой *(франц.)*.
[2] См. стр. 191.

— Полноте паясничать! — воскликнул с сердцем Николай Артемьевич.— Вы забываетесь! Вот вам новое доказательство, что я в этом доме ничего не значу, ничего!

— Анна Васильевна вас притесняет... бедненький! — проговорил, потягиваясь, Шубин.— Эх, Николай Артемьевич, грешно нам с вами! Вы бы лучше какой-нибудь подарочек для Анны Васильевны приготовили. На днях ее рождение, а вы знаете, как она дорожит малейшим знаком внимания с вашей стороны.

— Да, да,— торопливо ответил Николай Артемьевич, — очень вам благодарен, что напомнили. Как же, как же; непременно. Да вот есть у меня вещица: фермуарчик, я его на днях купил у Розенштрауха; только не знаю, право, годится ли?

— Ведь вы его для той, для ревельской жительницы купили?

— То есть... я... да... я думал...

— Ну, в таком случае наверное годится.

Шубин поднялся со стула.

— Куда бы нам сегодня вечером, Павел Яковлевич, а? — спросил его Николай Артемьевич, любезно заглядывая ему в глаза.

— Да ведь вы в клуб поедете.

— После клуба... после клуба.

Шубин опять потянулся.

— Нет, Николай Артемьевич, мне нужно завтра работать. До другого раза.— И он вышел.

Николай Артемьевич насупился, прошелся раза два по комнате, достал из бюро бархатный ящичек с «фермуарчиком» и долго его рассматривал и обтирал фуляром. Потом он сел перед зеркалом и принялся старательно расчесывать свои густые черные волосы, с важностию на лице наклоняя голову то направо, то налево, упирая в щеку языком и не спуская глаз с пробора. Кто-то кашлянул за его спиною: он оглянулся и увидал лакея, который приносил ему кофе.

— Ты зачем? — спросил он его.

— Николай Артемьевич! — проговорил не без некоторой торжественности лакей,— вы наш барин!

— Знаю: что же дальше?

— Николай Артемьевич, вы не извольте на меня прогневаться; только я, будучи у вашей милости на службе с малых лет, из рабского, значит, усердия должо́н вашей милости донести...

— Да что такое?

Лакей помялся на месте.

— Вы вот изволите говорить,— начал он,— что не изволите знать, куда Елена Николаевна отлучаться изволят. Я про то известен стал.

— Что ты врешь, дурак?!

— Вся ваша воля, а только я их четвертого дня видел, как они в один дом изволили войти.

— Где? что? какой дом?

— В ...м переулке возле Поварской. Недалече отсюда. Я и у дворника спросил, что, мол, у вас тут, какие жильцы?

Николай Артемьевич затопал ногами.

— Молчать, бездельник! Как ты смеешь?.. Елена Николаевна, по доброте своей, бедных посещает, а ты... Вон, дурак!

Испуганный лакей бросился было к двери.

— Стой! — воскликнул Николай Артемьевич.— Что тебе дворник сказал?

— Да ни... ничего не сказал. Говорит, сту... студент.

— Молчать, бездельник! Слушай, мерзавец, если ты хоть во сне кому-нибудь об этом проговоришься...

— Помилуйте-с...

— Молчать! если ты хоть пикнешь... если кто-нибудь... если я узнаю... Ты у меня и под землей-то места не найдешь! Слышишь? Убирайся!

Лакей исчез.

«Господи, боже мой! Что это значит? — подумал Николай Артемьевич, оставшись один,— что мне сказал этот болван? А? Надо будет, однако, узнать, какой это дом и кто там живет. Самому сходить. Вот до чего дошло наконец!.. Un laquais! Quelle humiliation!» [1]

И, повторив громко: «Un laquais!», Николай Артемьевич запер фермуар в бюро и отправился к Анне Васильевне. Он нашел ее в постели, с повязанною щекой. Но вид ее страданий только раздражил его, и он очень скоро довел ее до слез.

XXX

Между тем гроза, собиравшаяся на Востоке, разразилась. Турция объявила России войну; срок, назначенный для очищения княжеств, уже минул; уже недалек был день

---

[1] Лакей! Какое унижение! *(франц.)*.

Синонского погрома. Последние письма, полученные Инсаровым, неотступно звали его на родину. Здоровье его всё еще не поправилось: он кашлял, чувствовал слабость, легкие приступы лихорадки, но он почти не сидел дома. Душа его загорелась; он уже не думал о болезни. Он беспрестанно разъезжал по Москве, виделся украдкой с разными лицами, писал по целым ночам, пропадал по целым дням; хозяину он объявил, что скоро выезжает, и заранее подарил ему свою незатейливую мебель. С своей стороны, Елена также готовилась к отъезду. В один ненастный вечер она сидела в своей комнате и, обрубая платки, с невольным унынием прислушивалась к завываниям ветра. Ее горничная вошла и сказала ей, что папенька в маменькиной спальне и зовет ее туда... «Маменька плачут,— шепнула она вслед уходившей Елене,— а папенька гневаются...»

Елена слегка пожала плечами и вошла в спальню Анны Васильевны. Добродушная супруга Николая Артемьевича полулежала в откидном кресле и нюхала платок с одеколоном; сам он стоял у камина, застегнутый на все пуговицы, в высоком твердом галстуке и в туго накрахмаленных воротничках, смутно напоминая своей осанкой какого-то парламентского оратора. Ораторским движением руки указал он своей дочери на стул, и когда та, не понявши его движения, вопросительно посмотрела на него, он промолвил с достоинством, но не оборачивая головы: «Прошу вас сесть». (Николай Артемьевич всегда говорил жене *вы*, дочери — в экстраординарных случаях.)

Елена села.

Анна Васильевна слезливо высморкалась. Николай Артемьевич заложил правую руку за борт сюртука.

— Я вас призвал, Елена Николаевна,— начал он после продолжительного молчания,— с тем, чтоб объясниться с вами, или, лучше сказать, с тем, чтобы потребовать от вас объяснений. Я вами недоволен, или нет: это слишком мало сказано; ваше поведение огорчает, оскорбляет меня — меня и вашу мать... вашу мать, которую вы здесь видите.

Николай Артемьевич пускал в ход одни басовые ноты своего голоса. Елена молча посмотрела на него, потом на Анну Васильевну — и побледнела.

— Было время,— начал снова Николай Артемьевич,— когда дочери не позволяли себе глядеть свысока на своих родителей, когда родительская власть заставляла трепетать непокорных. Это время прошло, к сожалению; так

по крайней мере думают многие; но поверьте, еще существуют законы, не позволяющие... не позволяющие... словом, еще существуют законы. Прошу вас обратить на это внимание: законы существуют.

— Но, папенька,— начала было Елена...

— Прошу вас не перебивать меня. Перенесемся мыслию в прошедшее. Мы с Анной Васильевной исполнили свой долг. Мы с Анной Васильевной ничего не жалели для вашего воспитания: ни издержек, ни попечений. Какую вы пользу извлекли изо всех этих попечений, этих издержек — это другой вопрос; но я имел право думать... мы с Анной Васильевной имели право думать, что вы по крайней мере свято сохраните те правила нравственности, которые... которые мы вам, как нашей единственной дочери... que nous vous avons inculqués, которые мы вам внушили. Мы имели право думать, что никакие новые «идеи» не коснутся этой, так сказать, заветной святыни. И что же? Не говорю уже о легкомыслии, свойственном вашему полу, вашему возрасту... но кто мог ожидать, что вы до того забудетесь...

— Папенька,— проговорила Елена,— я знаю, что вы хотите сказать...

— Нет, ты не знаешь, что я хочу сказать! — вскрикнул фальцетом Николай Артемьевич, внезапно изменив и величавости парламентской осанки, и плавной важности речи, и басовым нотам,— ты не знаешь, дерзкая девчонка!

— Ради бога, Nicolas,— пролепетала Анна Васильевна,— vous me faites mourir [1].

— Не говорите мне этого, que je vous fais mourir [2], Анна Васильевна! Вы себе и представить не можете, что́ вы сейчас услышите,— приготовьтесь к худшему, предупреждаю вас!

Анна Васильевна так и обомлела.

— Нет,— продолжал Николай Артемьевич, обратившись к Елене,— ты не знаешь, что я хочу сказать!

— Я виновата перед вами,— начала она...

— А, наконец-то!

— Я виновата перед вами,— продолжала Елена,— в том, что давно не призналась...

— Да ты знаешь ли,— перебил ее Николай Артемьевич,— что я могу уничтожить тебя одним словом?

Елена подняла на него глаза.

---

[1] вы меня убиваете *(франц.)*.
[2] что я вас убиваю *(франц.)*.

— Да, сударыня, одним словом! Нечего глядеть-то! (Он скрестил руки на груди.) Позвольте вас спросить, известен ли вам некоторый дом в ...м переулке, возле Поварской? Вы посещали этот дом? (Он топнул ногой.) Отвечай же, негодная, и не думай хитрить! Люди, люди, лакеи, сударыня, des vils laquais [1] видели вас, как вы входили туда, к вашему...

Елена вся вспыхнула, и глаза ее заблистали.

— Мне незачем хитрить,— промолвила она,— да, я посещала этот дом.

— Прекрасно! Слышите, слышите, Анна Васильевна? И вы, вероятно, знаете, кто в нем живет?

— Да, знаю: мой муж...

Николай Артемьевич вытаращил глаза.

— Твой...

— Мой муж,— повторила Елена.— Я замужем за Дмитрием Никаноровичем Инсаровым.

— Ты?.. замужем?..— едва проговорила Анна Васильевна.

— Да, мамаша... Простите меня... Две недели тому назад мы обвенчались тайно.

Анна Васильевна упала в кресло; Николай Артемьевич отступил на два шага.

— Замужем! За этим оборвышем, черногорцем! Дочь столбового дворянина Николая Стахова вышла за бродягу, за разночинца! Без родительского благословения! И ты думаешь, что я это так оставлю? что я не буду жаловаться? что я позволю тебе... что ты... что... В монастырь тебя, а его в каторгу, в арестантские роты! Анна Васильевна, извольте сейчас сказать ей, что вы лишаете ее наследства.

— Николай Артемьевич, ради бога,— простонала Анна Васильевна.

— И когда, каким образом это сделалось? Кто вас венчал? где? как? боже мой! Что скажут теперь все знакомые, весь свет! И ты, бесстыдная притворщица, могла после эдакого поступка жить под родительской кровлей! Ты не побоялась... грома небесного?

— Папенька,— проговорила Елена (она вся дрожала с ног до головы, но голос ее был тверд),— вы вольны делать со мною всё что угодно, но напрасно вы обвиняете меня в бесстыдстве и в притворстве. Я не хотела... огорчать вас заранее, но я поневоле на днях сама бы всё вам сказала,

[1] презренные лакеи *(франц.)*.

потому что мы на будущей неделе уезжаем отсюда с мужем.

— Уезжаете? Куда это?

— На его родину, в Болгарию.

— К туркам! — воскликнула Анна Васильевна и лишилась чувств.

Елена бросилась к матери.

— Прочь! — возопил Николай Артемьевич и схватил дочь за руку,— прочь, недостойная!

Но в это мгновение дверь спальни отворилась и показалась бледная голова с сверкающими глазами; то была голова Шубина.

— Николай Артемьевич! — крикнул он во весь голос.— Августина Христиановна приехала и зовет вас!

Николай Артемьевич с бешенством обернулся, погрозил Шубину кулаком, остановился на минуту и быстро вышел из комнаты.

Елена упала к ногам матери и обняла ее колени.

Увар Иванович лежал на своей постели. Рубашка без ворота, с крупною запонкой, охватывала его полную шею и расходилась широкими, свободными складками на его почти женской груди, оставляя на виду большой кипарисовый крест и ладанку. Легкое одеяло покрывало его пространные члены. Свечка тускло горела на ночном столике, возле кружки с квасом, а в ногах Увара Ивановича, на постели, сидел, подгорюнившись, Шубин.

— Да,— задумчиво говорил он,— она замужем и собирается уехать. Ваш племянничек шумел и орал на весь дом; заперся, для секрету, в спальню, а не только лакеи и горничные,— кучера всё слышать могли! Он и теперь так и рвет и мечет, со мной чуть не подрался, с отцовским проклятием носится, как медведь с чурбаном; да не в нем сила. Анна Васильевна убита, но ее гораздо больше сокрушает отъезд дочери, чем ее замужество.

Увар Иванович поиграл пальцами.

— Мать,— проговорил он,— ну... и того.

— Племянник ваш,— продолжал Шубин,— грозится и митрополиту, и генерал-губернатору, и министру жалобы подать, а кончится тем, что она уедет. Кому весело свою родную дочь губить! Попетушится и опустит хвост.

— Права... не имеют,— заметил Увар Иванович и отпил из кружки.

— Так, так. А какая поднимется по Москве туча осу-

ждений, пересудов, толков! Она их не испугалась... Впрочем, она выше их. Уезжает она — и куда? даже страшно подумать! В какую даль, в какую глушь! Что ждет ее там? Я гляжу на нее, точно она ночью, в метель, в тридцать градусов мороза, с постоялого двора съезжает. Расстается с родиной, с семьей; а я ее понимаю. Кого она здесь оставляет? Кого видела? Курнатовских, да Берсеневых, да нашего брата; и это еще лучшие. Чего тут жалеть? Одно худо: говорят, ее муж — чёрт знает, язык как-то не поворачивается на это слово,— говорят, Инсаров кровью кашляет; это худо. Я его видел на днях, лицо, хоть сейчас лепи с него Брута... Вы знаете, кто был Брут, Увар Иванович?

— Что знать? человек.

— Именно: «Человек он был». Да, лицо чудесное, а нездоровое, очень нездоровое.

— Сражаться-то... всё равно,— проговорил Увар Иванович.

— Сражаться-то всё равно, точно; вы сегодня совершенно справедливо изволите выражаться, да жить-то не всё равно. А ведь ей с ним пожить захочется.

— Дело молодое,— отозвался Увар Иванович.

— Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина... Хорошо, хорошо. Дай бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе всё равно, когда тебе действительно в сущности всё равно. А там — натянуты струны, звени на весь мир или порвись!

Шубин уронил голову на грудь.

— Да,— продолжал он после долгого молчания,— Инсаров ее стоит. А впрочем, что за вздор! Никто ее не стоит. Инсаров... Инсаров... К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя, хотя до сих пор делал то же, что и мы, грешные, да будто уж мы такая совершенная дрянь? Ну хоть я, разве я дрянь, Увар Иванович? Разве бог меня так-таки всем и обидел? Никаких способностей, никаких талантов мне не дал? Кто знает, может быть, имя Павла Шубина будет со временем славное имя? Вот у вас на столе лежит медный грош. Кто знает, может быть, когда-нибудь, через столетие, эта медь пойдет на статую Павла Шубина, воздвигнутую в честь ему благодарным потомством?

Увар Иванович оперся на локоть и уставился на разгорячившегося художника.

— Далека песня,— проговорил он наконец, с обычной игрой пальцев,— о других речь, а ты... того... о себе.

— О великий философ земли русской! — воскликнул Шубин.— Каждое ваше слово — чистое золото, и не мне — вам следует воздвигнуть статую, и за это берусь я. Вот как вы теперь лежите, в этой позе, про которую не знаешь, что в ней больше — лени или силы? — так я вас и отолью. Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие! Да! да! нечего говорить о себе; нечего хвастаться. Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Всё — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие! Нет, кабы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду! Что ж это, Увар Иванович? Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?

— Дай срок,— ответил Увар Иванович,— будут.

— Будут? Почва! черноземная сила! ты сказала: будут? Смотрите же, я запишу ваше слово. Да зачем же вы гасите свечку?

— Спать хочу, прощай.

XXXI

Шубин сказал правду. Неожиданное известие о свадьбе Елены чуть не убило Анны Васильевны. Она слегла в постель. Николай Артемьевич потребовал от нее, чтоб она не пускала своей дочери к себе на глаза; он как будто обрадовался случаю показать себя в полном значении хозяина дома, во всей силе главы семейства: он беспрерывно шумел и гремел на людей, то и дело приговаривая: «Я вам докажу, кто я таков, я вам дам знать — погодите!» Пока он сидел дома, Анна Васильевна не видела Елены и довольствовалась присутствием Зои, которая очень усердно ей услуживала, а сама думала про себя: «Diesen Insaroff vorziehen — und wem?» [1] Но как только Николай Артемьевич уезжал (а это случалось довольно часто: Августина

[1] «Предпочесть этого Инсарова — и кому?» *(нем.)*.

Христиановна взаправду вернулась), Елена являлась к своей матери — и та долго, молча, со слезами глядела на нее. Этот немой укор глубже всякого другого проникал в сердце Елены; не раскаяние чувствовала она тогда, но глубокую, бесконечную жалость, похожую на раскаяние.

— Мамаша, милая мамаша! — твердила она, целуя ее руки,— что же было делать? Я не виновата, я полюбила его, я не могла поступить иначе. Вините судьбу: она меня свела с человеком, который не нравится папеньке, который увозит меня от вас.

— Ох! — перебивала ее Анна Васильевна,— не напоминай мне об этом. Как я вспомню, куда ты хочешь ехать, сердце у меня так и покатится!

— Милая мамаша,— отвечала Елена,— утешьтесь, хоть тем, что могло быть и хуже: я могла бы умереть.

— Да я и так не надеюсь больше тебя видеть. Либо ты кончишь жизнь там, где-нибудь под шалашом (Анне Васильевне Болгария представлялась чем-то вроде сибирских тундр), либо я не перенесу разлуки...

— Не говорите этого, добрая мамаша, мы еще увидимся, бог даст. А в Болгарии такие же города, как и здесь.

— Какие там города! Там война теперь идет; теперь там, я думаю, куда ни поди, всё из пушек стреляют... Скоро ты ехать собираешься?

— Скоро... если только папенька... Он хочет жаловаться, он грозится развести нас.

Анна Васильевна подняла глаза к небу.

— Нет, Леночка, он не будет жаловаться. Я бы сама ни за что не согласилась на эту свадьбу, скорее умерла бы; да ведь сделанного не воротишь, а я не дам позорить мою дочь.

Так прошло несколько дней. Наконец, Анна Васильевна собралась с духом и в один вечер заперлась с своим мужем наедине в спальне. Всё в доме притихло и приникло. Сперва ничего не было слышно; потом загудел голос Николая Артемьевича, потом завязался спор, поднялись крики, почудились даже стенания... Уже Шубин вместе с горничными и Зоей собирался снова явиться на выручку; но шум в спальне стал понемногу ослабевать, перешел в говор — и умолк. Только изредка раздавались слабые всхлипыванья — и те прекратились. Зазвенели ключи, послышался визг отворяемого бюро... Дверь раскрылась, и появился Николай Артемьевич. Сурово посмотрел он на всех встречных и отправился в клуб; а Анна Васильевна

потребовала к себе Елену, крепко обняла ее и, залившись горькими слезами, промолвила:

— Всё улажено, он не будет поднимать истории, и ничего теперь тебе не мешает уехать... бросить нас.

— Вы позволите Дмитрию прийти благодарить вас? — спросила Елена свою мать, как только та немного успокоилась.

— Подожди, душа моя, не могу я теперь видеть нашего разлучника... Перед отъездом успеем.

— Перед отъездом,— печально повторила Елена.

Николай Артемьевич согласился «не поднимать истории»; но Анна Васильевна не сказала своей дочери, какую цену он положил своему согласию. Она не сказала ей, что обещалась заплатить все его долги да с рук на руки дала ему тысячу рублей серебром. Сверх того, он решительно объявил Анне Васильевне, что не желает встретиться с Инсаровым, которого продолжал величать черногорцем, а приехавши в клуб, безо всякой нужды заговорил о свадьбе Елены с своим партнером, отставным инженерным генералом. «Вы слышали,— промолвил он с притворною небрежностию,— дочь моя, от очень большой учености, вышла замуж за какого-то студента». Генерал посмотрел на него через очки, промычал: «Гм!» — и спросил его, в чем он играет?

XXXII

А день отъезда приближался. Ноябрь уж истекал, проходили последние сроки. Инсаров давно кончил все свои сборы и горел желанием поскорее вырваться из Москвы. И доктор его торопил: «Вам нужен теплый климат,— говорил он ему,— вы здесь не поправитесь». Нетерпение томило и Елену; ее тревожила бледность Инсарова, его худоба. Она часто с невольным испугом глядела на его изменившиеся черты. Положение ее в родительском доме становилось невыносимым. Мать причитала над ней, как над мертвою, а отец обходился с ней презрительно холодно: близость разлуки втайне мучила и его, но он считал своим долгом, долгом оскорбленного отца, скрывать свои чувства, свою слабость. Анна Васильевна пожелала, наконец, увидеться с Инсаровым. Его провели к ней тихонько, через заднее крыльцо. Когда он вошел к ней в комнату, она долго не могла заговорить с ним, не могла даже решиться взглянуть на него: он сел возле ее кресла и с спокойной почтительностию ожидал ее первого слова. Елена сидела тут

же и держала в руке своей руку матери. Анна Васильевна подняла, наконец, глаза, промолвила: «Бог вам судья, Дмитрий Никанорович...» — и остановилась: упреки замерли на ее устах.

— Да вы больны,— воскликнула она.— Елена, он у тебя болен!

— Я был нездоров, Анна Васильевна,— ответил Инсаров,— и теперь еще не совсем поправился; но я надеюсь, родной воздух меня восстановит окончательно.

— Да... Болгария! — пролепетала Анна Васильевна и подумала: «Боже мой, болгар, умирающий, голос как из бочки, глаза как лукошко, скелет скелетом, сюртук на нем с чужого плеча, желт как пупавка — и она его жена, она его любит... да это сон какой-то...» Но она тотчас же спохватилась.— Дмитрий Никанорович,— проговорила она,— вы непременно... непременно должны ехать?

— Непременно, Анна Васильевна.

Анна Васильевна посмотрела на него.

— Ох, Дмитрий Никанорович, не дай вам бог испытать то, что я теперь испытываю... Но вы обещаетесь мне беречь ее, любить ее... Нужды вы терпеть не будете, пока я жива!

Слезы заглушили ее голос. Она раскрыла свои объятия, и Елена и Инсаров припали к ней.

Роковой день наступил наконец. Положено было, чтобы Елена простилась с родителями дома, а пустилась бы в путь с квартиры Инсарова. Отъезд был назначен в двенадцать часов. За четверть часа до срока пришел Берсенев. Он полагал, что застанет у Инсарова его соотечественников, которые захотят его проводить; но они уже все вперед уехали; уехали также и известные читателю две таинственные личности (они служили свидетелями на свадьбе Инсарова). Портной встретил с поклоном «доброго барина»; он, должно быть, с горя, а может, и с радости, что мебель ему доставалась, сильно выпил; жена скоро его увела. В комнате уже всё было прибрано; чемодан, перевязанный веревкой, стоял на полу. Берсенев задумался: много воспоминаний прошло у него по душе.

Двенадцать часов давно пробило, и ямщик уже привел лошадей, а «молодые» всё еще не являлись. Наконец послышались торопливые шаги на лестнице, и Елена вошла в сопровождении Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны: она оставила мать свою лежащую в обморо-

ке; прощание было очень тяжело. Елена уже больше недели не видела Берсенева: в последнее время он редко ходил к Стаховым. Она не ожидала его встретить, вскрикнула: «Вы! благодарствуйте!» — и бросилась ему на шею; Инсаров тоже его обнял. Настало томительное молчание. Что могли сказать эти три человека, что чувствовали эти три сердца? Шубин понял необходимость живым звуком, словом прекратить это томление.

— Собралось опять наше трио,— заговорил он,— в последний раз! Покоримся велениям судьбы, помянем прошлое добром — и с богом на новую жизнь! «С богом, в дальнюю дорогу»,— запел он и остановился. Ему вдруг стало совестно и неловко. Грешно петь там, где лежит покойник; а в это мгновение, в этой комнате, умирало то прошлое, о котором он упомянул, прошлое людей, собравшихся в нее. Оно умирало для возрождения к новой жизни, положим... но все-таки умирало.

— Ну, Елена,— начал Инсаров, обращаясь к жене,— кажется, всё? Всё заплачено, уложено. Остается только этот чемодан стащить. Хозяин!

Хозяин вошел в комнату вместе с женой и дочерью. Он выслушал, слегка качаясь, приказание Инсарова, взвалил чемодан к себе на плечи и быстро побежал вниз по лестнице, стуча сапогами.

— Теперь, по русскому обычаю, сесть надо,— заметил Инсаров.

Все сели: Берсенев поместился на старом диванчике; Елена села возле него; хозяйка с дочкой прикорнули на пороге. Все умолкли; все улыбались напряженно, и никто не знал, зачем он улыбается; каждому хотелось что-то сказать на прощанье, и каждый (за исключением, разумеется, хозяйки и ее дочери: те только глаза таращили), каждый чувствовал, что в подобные мгновенья позволительно сказать одну лишь пошлость, что всякое значительное, или умное, или просто задушевное слово было бы чем-то неуместным, почти ложным. Инсаров поднялся первый и стал креститься... «Прощай, наша комнатка!» — воскликнул он.

Раздались поцелуи, звонкие, но холодные поцелуи разлуки, напутственные недосказанные желания, обещания писать, последние, полусдавленные прощальные слова...

Елена, вся в слезах, уже садилась в повозку; Инсаров заботливо покрывал ее ноги ковром; Шубин, Берсенев, хозяин, его жена, дочка с неизбежным платком на голове,

дворник, посторонний мастеровой в полосатом халате — все стояли у крыльца, как вдруг на двор влетели богатые сани, запряженные лихим рысаком, и из саней, стряхая снег с воротника шинели, выскочил Николай Артемьевич.

— Застал еще, слава богу,— воскликнул он и подбежал к повозке.— Вот тебе, Елена, наше последнее родительское благословение,— сказал он, нагнувшись под балчук, и, достав из кармана сюртука маленький образок, зашитый в бархатную сумочку, надел ей на шею. Она зарыдала и стала целовать его руки, а кучер между тем вынул из передка саней полубутылку шампанского и три бокала.

— Ну! — сказал Николай Артемьевич, а у самого слезы так и капали на бобровый воротник шинели,— надо проводить... и пожелать...— Он стал наливать шампанское; руки его дрожали, пена поднималась через край и падала на снег. Он взял один бокал, а два другие подал Елене и Инсарову, который уже успел поместиться возле нее.— Дай бог вам...— начал Николай Артемьевич, и не мог договорить — и выпил вино; те тоже выпили.— Теперь вам бы следовало, господа,— прибавил он, обращаясь к Шубину и Берсеневу, но в это мгновение ямщик тронул лошадей. Николай Артемьевич побежал рядом с повозкой.— Смотри ж, пиши нам,— говорил он прерывистым голосом. Елена выставила голову, промолвила: «Прощайте, папенька, Андрей Петрович, Павел Яковлевич, прощайте все, прощай, Россия!» — и откинулась назад. Ямщик взмахнул кнутом, засвистал; повозка, заскрипев полозьями, повернула из ворот направо — и исчезла.

XXXIII

Был светлый апрельский день. По широкой лагуне, отделяющей Венецию от узкой полосы наносного морского песку, называемой Лидо, скользила острогрудая гондола, мерно покачиваясь при каждом толчке падавшего на длинное весло гондольера. Под низенькою ее крышей, на мягких кожаных подушках, сидели Елена и Инсаров.

Черты лица Елены не много изменились со дня ее отъезда из Москвы, но выражение их стало другое: оно было обдуманнее и строже, и глаза глядели смелее. Всё ее тело расцвело, и волосы, казалось, пышнее и гуще лежали вдоль белого лба и свежих щек. В одних только губах, когда она не улыбалась, сказывалось едва заметною складкой присутствие тайной, постоян-

ной заботы. У Инсарова, напротив, выражение лица осталось то же, но черты его жестоко изменились. Он похудел, постарел, побледнел, сгорбился; он почти беспрестанно кашлял коротким, сухим кашлем, и впалые глаза его блестели странным блеском. На пути из России Инсаров пролежал почти два месяца больной в Вене и только в конце марта приехал с женой в Венецию: он оттуда надеялся пробраться через Зару в Сербию, в Болгарию; другие пути ему были закрыты. Война уже кипела на Дунае; Англия и Франция объявили России войну, все славянские земли волновались и готовились к восстанию.

Гондола пристала ко внутреннему краю Лидо. Елена и Инсаров отправились по узкой песчаной дорожке, обсаженной чахоточными деревцами (их каждый год сажают, и они умирают каждый год), на внешний край Лидо, к морю.

Они пошли по берегу. Адриатика катила перед ними свои мутно-синие волны; они пенились, шипели, набегали и, скатываясь назад, оставляли на песке мелкие раковины и обрывки морских трав.

— Какое унылое место! — заметила Елена.— Я боюсь, не слишком ли здесь холодно для тебя; но я догадываюсь, зачем ты хотел сюда приехать.

— Холодно! — возразил с быстрою, но горькою усмешкой Инсаров.— Хорош я буду солдат, коли мне холоду бояться. А приехал я сюда... я тебе скажу зачем. Я гляжу на это море, и мне кажется, что отсюда ближе до моей родины. Ведь она там,— прибавил он, протянув руку на восток.— Вот и ветер оттуда тянет.

— Не пригонит ли этот ветер тот корабль, который ты ждешь? — сказала Елена.— Вон белеет парус, уж не он ли это?

Инсаров посмотрел в морскую даль, куда показывала ему Елена.

— Рендич обещался через неделю всё нам устроить,— заметил он.— На него, кажется, положиться можно... Слышала ты, Елена,— прибавил он с внезапным одушевлением,— говорят, бедные далматские рыбаки пожертвовали своими свинчатками,— ты знаешь, этими тяжестями, от которых невода на дно опускаются,— на пули! Денег у них не было, они только и живут что рыбною ловлей; но они с радостию отдали свое последнее достояние и голодают теперь. Что за народ!

— Aufgepasst![1] — крикнул сзади их надменный голос. Раздался глухой топот лошадиных копыт, и австрийский офицер, в короткой серой тюнике и зеленом картузе, проскакал мимо их... Они едва успели посторониться.

Инсаров мрачно посмотрел ему вслед.

— Он не виноват,— промолвила Елена,— ты знаешь, у них здесь нет другого места, чтобы наезжать лошадей.

— Он не виноват,— возразил Инсаров,— да кровь он мне расшевелил своим криком, своими усами, своим картузом, всей своей наружностью. Вернемся.

— Вернемся, Дмитрий. Притом здесь в самом деле дует. Ты не поберегся после твоей московской болезни и поплатился за это в Вене. Надо теперь быть осторожнее.

Инсаров промолчал, только прежняя горькая усмешка скользнула по его губам.

— Хочешь? — продолжала Елена,— покатаемся по Canal Grande [2]. Ведь мы с тех пор, как здесь, хорошенько не видели Венеции. А вечером поедем в театр: у меня есть два билета на ложу. Говорят, новую оперу дают. Хочешь, мы нынешний день отдадим друг другу, позабудем о политике, о войне, обо всем, будем знать только одно: что мы живем, дышим, думаем вместе, что мы соединены навсегда... Хочешь?

— Ты этого хочешь, Елена,— отвечал Инсаров,— стало быть, и я этого хочу.

— Я это знала,— заметила с улыбкой Елена.— Пойдем, пойдем.

Они вернулись к гондоле, сели и велели везти себя, не спеша, по Canal Grande.

Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Кротость и мягкость весны идут к Венеции, как яркое солнце лета к великолепной Генуе, как золото и пурпур осени к великому старцу — Риму. Подобно весне, красота Венеции и трогает и возбуждает желания; она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастия. Всё в ней светло, понятно, и всё обвеяно дремотною дымкой какой-то влюбленной тишины: всё в ней молчит, и всё приветно; всё в ней женственно, начиная с самого имени:

---

[1] Берегись! *(нем.)*.
[2] Большому каналу *(итал.)*.

недаром ей одной дано название *Прекрасной*. Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога; есть что-то сказочное, что-то пленительно странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама. «Венеция умирает, Венеция опустела»,— говорят вам ее жители; но, быть может, этой-то последней прелести, прелести увядания в самом расцвете и торжестве красоты, недоставало ей. Кто ее не видел, тот ее не знает: ни Каналетти, ни Гварди (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок. Отжившему, разбитому жизнию не для чего посещать Венецию: она будет ему горька, как память о несбывшихся мечтах первоначальных дней; но сладка будет она тому, в ком кипят еще силы, кто чувствует себя благополучным; пусть он принесет свое счастие под ее очарованные небеса, и как бы оно ни было лучезарно, она еще озолотит его неувядаемым сиянием.

Гондола, в которой сидели Инсаров и Елена, тихонько минула Riva dei Schiavoni[1], Дворец дожей, Пиаццетту и вошла в Большой канал. С обеих сторон потянулись мраморные дворцы; они, казалось, тихо плыли мимо, едва давая взору обнять и понять все свои красоты. Елена чувствовала себя глубоко счастливою; в лазури ее неба стояло одно темное облачко — и оно удалялось: Инсарову было гораздо лучше в тот день. Они доплыли до крутой арки Риальто и вернулись назад. Елена боялась холода церквей для Инсарова; но она вспомнила об академии delle Belle arti [2] и велела гондольеру ехать туда. Они скоро обошли все залы этого небольшого музея. Не будучи ни знатоками, ни дилетантами, они не останавливались перед каждой картиной, не насиловали себя: какая-то светлая веселость неожиданно нашла на них. Им вдруг всё показалось очень забавно. (Детям хорошо известно это чувство.) К великому скандалу трех посетителей англичан, Елена хохотала до слез над святым Марком Тинторета, прыгающим с неба, как лягушка в воду, для спасения истя-

[1] Набережную Скьявони *(итал.)*.
[2] изящных искусств *(итал.)*.

заемого раба; с своей стороны, Инсаров пришел в восторг от спины и икр того энергического мужа в зеленой хламиде, который стоит на первом плане тициановского «Вознесения» и воздымает руки вослед Мадонны; зато сама Мадонна — прекрасная, сильная женщина, спокойно и величественно стремящаяся в лоно бога-отца,— поразила и Инсарова и Елену; понравилась им также строгая и святая картина старика Чима да Конельяно. Выходя из академии, они еще раз оглянулись на шедших за ними англичан с длинными, заячьими зубами и висячими бакенбардами — и засмеялись; увидали своего гондольера с куцою курткой и короткими панталонами — и засмеялись; увидали торговку с узелком седых волос на самой вершине головы — и засмеялись пуще прежнего; посмотрели, наконец, друг другу в лицо — и залились смехом, а как только сели в гондолу — крепко, крепко пожали друг другу руку. Они приехали в гостиницу, побежали в свою комнату и велели подать себе обедать. Веселость не покидала их и за столом. Они потчевали друг друга, пили за здоровье московских приятелей, рукоплескали камериеру за вкусное блюдо рыбы и всё требовали от него живых frutti di mare[1]; камериере пожимался и шаркал ногами, а выходя от них, покачивал головой и раз даже со вздохом шепнул: poveretti! (бедняжки!). После обеда они отправились в театр.

В театре давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены, оперу, хорошо известную нам, русским,— «Травиату». Сезон в Венеции минул, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности; каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая репутации и, судя по холодности к ней публики, мало любимая, но не лишенная дарования. Это была молодая, не очень красивая, черноглазая девушка с не совсем ровным и уже разбитым голосом. Одета она была до наивности пестро и плохо: красная сетка покрывала ее волосы, платье из полинялого голубого атласа давило ей грудь, толстые шведские перчатки восходили до острых локтей; да и где ж было ей, дочери какого-нибудь бергамского пастуха, знать, как одеваются парижские камелии! И держаться на сцене она не умела; но в ее игре было много

[1] морских плодов (съедобных ракушек) *(итал.)*.

правды и бесхитростной простоты, и пела она с той особенной страстностью выражения и ритма, которая дается одним италиянцам. Елена и Инсаров сидели вдвоем в темной ложе, возле самой сцены; игривое расположение духа, которое нашло на них в академии delle Belle arti, всё еще не проходило. Когда отец несчастного юноши, попавшего в сети соблазнительницы, появился на сцене в гороховом фраке и взъерошенном белом парике, раскрыл криво рот и, сам заранее смущаясь, выпустил унылое басовое *тремоло*, они чуть оба не прыснули... Но игра Виолетты подействовала на них.

— Этой бедной девушке почти не хлопают,— сказала Елена,— а я в тысячу раз предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая бы ломалась и кривлялась и всё била бы на эффект. Этой как будто самой не до шутки; посмотри, она не замечает публики.

Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту.

— Да,— промолвил он,— она не шутит: смертью пахнет.

Елена умолкла.

Начался третий акт. Занавес поднялся... Елена дрогнула при виде этой постели, этих завешенных гардин, стклянок с лекарством, заслоненной лампы... Вспомнилось ей близкое прошедшее... «А будущее? а настоящее?» — мелькнуло у ней в голове. Как нарочно, в ответ на притворный кашель актрисы раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова... Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выражение безмятежное и спокойное; Инсаров ее понял и сам начал улыбаться и чуть-чуть подтягивать пению.

Но он скоро притих. Игра Виолетты становилась всё лучше, всё свободнее. Она отбросила всё постороннее, всё ненужное и *нашла себя*: редкое, высочайшее счастие для художника! Она вдруг переступила ту черту, которую определить невозможно, но за которой живет красота. Публика встрепенулась, удивилась. Некрасивая девушка с разбитым голосом начинала забирать ее в руки, овладевать ею. Но уже и голос певицы не звучал, как разбитый: он согрелся и окреп. Явился «Альфредо»; радостный крик Виолетты чуть не поднял той бури, имя которой fanatismo и перед которой ничто

все наши северные завывания... Мгновение — и публика опять замерла. Начался дуэт, лучший нумер оперы, в котором удалось композитору выразить все сожаления безумно растраченной молодости, последнюю борьбу отчаянной и бессильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновением общего сочувствия, с слезами художнической радости и действительного страдания на глазах, певица отдалась поднимавшей ее волне, лицо ее преобразилось, и перед грозным призраком внезапно приблизившейся смерти с таким, до неба достигающим, порывом моленья исторглись у ней слова: «Lascia mi vivere... morir si giovane!» (Дай мне жить... умереть такой молодой!), что весь театр затрещал от бешеных рукоплесканий и восторженных кликов.

Елена вся похолодела. Она начала тихо искать своей рукою руку Инсарова, нашла ее и стиснула ее крепко. Он ответил на ее пожатие; но ни она не посмотрела на него, ни он на нее. Это пожатие не походило на то, которым они, несколько часов тому назад, приветствовали друг друга в гондоле.

Они поплыли в свою гостиницу опять по Canal Grande. Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглою ровной тени. Гондолы с своими маленькими красными огоньками, казалось, еще неслышнее и быстрее бежали; таинственно блистали их стальные гребни, таинственно вздымались и опускались весла над серебряными рыбками возмущенной струи; там, сям коротко и негромко восклицали гондольеры (они теперь никогда не поют); других звуков почти не было слышно. Гостиница, где жили Инсаров и Елена, находилась на Riva dei Schiavoni; не доезжая до нее, они вышли из гондолы и прошлись несколько раз вокруг площади святого Марка, под арками, где перед крошечными кофейными толпилось множество праздного народа. Ходить вдвоем с любимым существом в чужом городе, среди чужих, как-то особенно приятно: всё кажется прекрасным и значительным, всем желаешь добра, мира и того же счастия, которым исполнен сам. Но Елена уже не могла беспечно предаваться чувству своего счастия: сердце ее, потрясенное недавними

впечатлениями, не могло успокоиться; а Инсаров, проходя мимо Дворца дожей, указал молча на жерла австрийских пушек, выглядывавших из-под нижних сводов, и надвинул шляпу на брови. Притом он чувствовал себя усталым — и, взглянув в последний раз на церковь св. Марка, на ее куполы, где под лучами луны на голубоватом свинце зажигались пятна фосфорического света, они медленно вернулись домой.

Комнатка их выходила окнами на широкую лагуну, расстилающуюся от Riva dei Schiavoni до Джиудекки. Почти напротив их гостиницы возвышалась остроконечная башня св. Георгия; направо, высоко в воздухе, сверкал золотой шар Доганы — и, разубранная как невеста, стояла красивейшая из церквей, Redentore Палладия; налево чернели мачты и реи кораблей, трубы пароходов; кое-где висел, как больное крыло, наполовину подобранный парус, и вымпела едва шевелились. Инсаров присел перед окном, но Елена не дала ему долго любоваться видом; у него вдруг показался жар, его охватила какая-то пожирающая слабость. Она уложила его в постель и, дождавшись пока он заснул, тихонько вернулась к окну. О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами! «О боже! — думала Елена,— зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это всё только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие? Ужели мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах,— всё, всё нам чуждо? К чему же тогда эта жажда и радость молитвы? („Morir si giovane",— завучало у нее в душе...) Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти... О боже! неужели нельзя верить чуду? — Она положила голову на сжатые руки.— Довольно? — шепнула она.— Неужели уже довольно! Я была счастлива не одни только минуты, не часы, не целые дни — нет, целые недели сряду. А с какого права?» Ей стало страшно своего счастия. «А если этого нельзя? — подумала она.— Если это не дается даром? Ведь это было

небо... а мы люди, бедные, грешные люди... Morir si giovane... О темный призрак, удались! Не для меня одной нужна его жизнь!»

«Но если это — наказание,— подумала она опять,— если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину? Моя совесть молчала, она теперь молчит, но разве это доказательство невинности? О боже, неужели мы так преступны! Неужели ты, создавший эту ночь, это небо, захочешь наказать нас за то, что мы любили? А если так, если он виноват, если я виновата,— прибавила она с невольным порывом,— так дай ему, о боже, дай нам обоим умереть по крайней мере честной, славной смертью — там, на родных его полях, а не здесь, не в этой глухой комнате».

«А горе бедной, одинокой матери?» — спросила она себя и сама смутилась и не нашла возражений на свой вопрос. Елена не знала, что счастие каждого человека основано на несчастии другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя — пьедестала, невыгоды и неудобства других.

«Рендич!» — пролепетал сквозь сон Инсаров.

Елена подошла к нему на цыпочках, нагнулась над ним и отерла пот с его лица. Он пометался немного на подушке и затих.

Она опять подошла к окну, и опять взяли ее думы. Она начала самое себя уговаривать и уверять себя, что нет причин бояться. Она даже устыдилась своей слабости. «Разве есть опасность? разве ему не лучше? — шепнула она.— Ведь если бы мы не были сегодня в театре, мне бы всё это в голову не пришло». В это мгновение она увидела высоко над водой белую чайку; ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы высматривая место, где бы опуститься. «Вот если она полетит сюда,— подумала Елена,— это будет хороший знак...» Чайка закружилась на месте, сложила крылья — и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль. Елена вздрогнула, а потом ей стало совестно, что она вздрогнула, и она, не раздеваясь, прилегла на постель возле Инсарова, который дышал тяжело и часто.

XXXIV

Инсаров проснулся поздно, с глухою болью в голове, с чувством, как он выразился, безобразной слабости во всем теле. Однако он встал.

— Рендич не приходил? — было его первым вопросом.

— Нет еще,— отвечала Елена и подала ему последний нумер «Osservatore Triestino» [1], в котором много говорилось о войне, о славянских землях, о княжествах. Инсаров начал читать; она занялась приготовлением для него кофе... Кто-то постучался в дверь.

«Рендич»,— подумали оба, но стучавший проговорил по-русски: «Можно войти?» Елена и Инсаров переглянулись с изумлением, и, не дождавшись их ответа, вошел в комнату щегольски одетый человек, с маленьким, остреньким лицом и бойкими глазками. Он весь сиял, как будто только что выиграл огромные деньги или услышал приятнейшую новость.

Инсаров приподнялся со стула.

— Вы не узнаёте меня,— заговорил незнакомец, развязно подходя к нему и любезно кланяясь Елене.— Лупояров, помните, мы в Москве встретились у Е....х?

— Да, у Е....х,— произнес Инсаров.

— Как же, как же! Прошу вас представить меня вашей супруге. Сударыня, я всегда глубоко уважал Дмитрия Васильевича... (он поправился): Никанора Васильевича и очень счастлив, что имею, наконец, честь с вами познакомиться. Вообразите,— продолжал он, обратившись к Инсарову,— я только вчера вечером узнал, что вы здесь. Я тоже стою в этой гостинице. Что это за город, эта Венеция — поэзия, да и только! Одно ужасно: проклятые австрияки на каждом шагу! Уж эти мне австрияки! Кстати, слышали вы, на Дунае произошло решительное сражение: 300 турецких офицеров убито, Силистрия взята, Сербия уже объявила себя независимою. Не правда ли, вы, как патриот, должны быть в восторге? Во мне самом славянская кровь так и кипит! Однако я советую вам быть осторожнее; я уверен, что за вами наблюдают. Шпионство здесь ужасное! Вчера подходит ко мне какой-то подозрительный человек и спрашивает: русский ли я? Я ему сказал, что я датча-

---

[1] «Триестинского наблюдателя» *(итал.)*.

нин... А только вы, должно быть, нездоровы, любезнейший Никанор Васильевич. Вам надобно полечиться; сударыня, вы должны полечить вашего мужа. Я вчера, как сумасшедший, бегал по дворцам и по церквам — ведь вы были во Дворце дожей? Что за богатство везде! Особенно эта большая зала и место Марино Фалиеро; так и стоит: «Decapitati pro criminibus» [1]. Я был и в знаменитых тюрьмах: вот где душа моя возмутилась — я, вы, может быть, помните, всегда любил заниматься социальными вопросами и восставал против аристократии — вот бы я куда привел защитников аристократии: в эти тюрьмы; справедливо сказал Байрон: «I stood in Venice on the bridge of sighs» [2]; впрочем, и он был аристократ. Я всегда был за прогресс. Молодое поколение всё за прогресс. А каковы англо-французы? Посмотрим, много ли они сделают: Бустрапа́ и Пальмерстон. Вы знаете, Пальмерстон сделался первым министром. Нет, что ни говорите, русский кулак не шутка. Ужасный плут этот Бустрапа́! Хотите, я вам дам «Les Châtiments» de Victor Hugo [3] — удивительно! «L'avenir — le gendarme de Dieu» [4] — смело немножко сказано, но сила, сила. Хорошо также сказал князь Вяземский: «Европа твердит: Баш-Кадык-Лар, глаз не сводя с Синопа». Я люблю поэзию. У меня также есть последняя книжка Прудона, у меня всё есть. Не знаю, как вы, а я рад войне; только как бы домой не потребовали, а я собираюсь отсюда во Флоренцию, в Рим: во Францию нельзя, так я думаю в Испанию — женщины там, говорят, удивительные, только бедность и насекомых много. Махнул бы в Калифорнию, нам, русским, всё нипочем, да я одному редактору дал слово изучить в подробности вопрос о торговле в Средиземном море. Вы скажете, предмет неинтересный, специальный, но нам нужны, нужны специалисты, довольно мы философствовали, теперь нужна практика, практика... А вы очень нездоровы, Никанор Васильевич, я вас, может быть, утомляю, но всё равно, я еще посижу немножко...

И долго еще трещал таким образом Лупояров и, уходя, обещался побывать.

---

[1] «Обезглавлен за преступления» *(лат.)*.
[2] «Я стоял в Венеции на Мосту вздохов» *(англ.)*.
[3] «Кары» В. Гюго *(франц.)*.
[4] «Будущее — исполнитель провидения» *(франц.)*.

Измученный нежданным посещением, Инсаров лег на диван.

— Вот,— с горечью промолвил он, взглянув на Елену,— вот ваше молодое поколение! Иной и важничает и рисуется, а в душе такой же свистун, как этот господин.

Елена не возражала своему мужу: в это мгновение ее гораздо больше беспокоила слабость Инсарова, чем состояние всего молодого поколения России... Она села возле него, взяла работу. Он закрыл глаза и лежал неподвижно, весь бледный и худой. Елена взглянула на его резко обрисовавшийся профиль, на его вытянутые руки, и внезапный страх защемил ей сердце.

— Дмитрий...— начала она.

Он встрепенулся.

— Что? Рендич приехал?

— Нет еще... но как ты думаешь — у тебя жар, ты, право, не совсем здоров, не послать ли за доктором?

— Тебя этот болтун напугал. Не нужно. Я отдохну немного, и всё пройдет. Мы после обеда опять поедем... куда-нибудь.

Прошло два часа... Инсаров всё лежал на диване, но заснуть не мог, хотя не открывал глаз. Елена не отходила от него; она уронила работу на колени и не шевелилась.

— Отчего ты не спишь? — спросила она его наконец.

— А вот погоди.— Он взял ее руку и положил ее себе под голову.— Вот так... хорошо. Разбуди меня сейчас, как только Рендич приедет. Если он скажет, что корабль готов, мы тотчас отправимся.... Надобно всё уложить.

— Уложить недолго,— отвечала Елена.

— Что этот человек болтал о сражении, о Сербии,— проговорил, спустя немного, Инсаров.— Должно быть, всё выдумал. Но надо, надо ехать. Терять времени нельзя... Будь готова.

Он заснул, и всё затихло в комнате.

Елена прислонилась головою к спинке кресла и долго глядела в окно. Погода испортилась; ветер поднялся. Большие белые тучи быстро неслись по небу, тонкая мачта качалась в отдалении, длинный вымпел с красным крестом беспрестанно взвивался, падал и взвивался снова. Маятник старинных часов стучал тяжко, с каким-то печальным шипением. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь; понемногу и она заснула.

Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что́ это за люди и зачем она с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают — уж это не пруд, а беспокойное море: огромные, лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное поднимается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками... Елена узнаёт их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны... всё закружилось, смешалось...

Елена осматривается: по-прежнему всё бело вокруг; но это снег, снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. «Разве она не умерла?» — думает она.

— Катя, куда это мы с тобой едем?

Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами... Катя, Катя, это Москва? Нет, думает Елена, это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий, как в улье; там душно, тесно,— там Дмитрий заперт. Я должна его освободить... Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает. Катя смеется. Елена, Елена! — слышится голос из бездны.

«Елена»! — раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый, как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, смешанный с каким-то тоскливым умилением, выражался на его внезапно изменившемся лице.

— Елена! — произнес он,— я умираю.

Она с криком упала на колени и прижалась к его груди.

— Всё кончено,— повторил Инсаров,— я умираю... Прощай, моя бедная! Прощай, моя родина!...

И он навзничь опрокинулся на диван.

Елена выбежала из комнаты, стала звать на помощь, камериере бросился за доктором. Елена припала к Инсарову.

В это мгновенье на пороге двери показался человек, широкоплечий, загорелый, в толстом байковом пальто и клеенчатой низкой шляпе. Он остановился в недоумении.

— Рендич! — воскликнула Елена,— это вы! Посмотрите, ради бога, с ним дурно! Что с ним? Боже, боже! Он вчера выезжал, он сейчас говорил со мною...

Рендич ничего не сказал и только посторонился. Мимо него проворно прошмыгнула маленькая фигурка в парике и в очках: это был доктор, живший в той же гостинице. Он приблизился к Инсарову.

— Синьора,— сказал он спустя несколько мгновений,— господин иностранец скончался — il signore forestiere e morto — от аневризма, соединенного с расстройством легких.

XXXV

На другой день, в той же комнате, у окна стоял Рендич; перед ним, закутавшись в шаль, сидела Елена. В соседней комнате в гробу лежал Инсаров. Лицо Елены было и испуганно и безжизненно; на лбу, между бровями, появились две морщинки: они придавали напряженное выражение ее неподвижным глазам. На окне лежало раскрытое письмо Анны Васильевны. Она звала свою дочь в Москву, хоть на месяц, жаловалась на свое одиночество, на Николая Артемьевича, кланялась Инсарову, осведомлялась об его здоровье и просила его отпустить жену.

Рендич был далмат, моряк, с которым Инсаров познакомился во время своего путешествия на родину и которого он отыскал в Венеции. Это был человек суровый, грубый, смелый и преданный славянскому делу. Он презирал турок и ненавидел австрийцев.

— Сколько времени вы должны остаться в Венеции? — спросила его по-итальянски Елена. И голос ее был без жизни, как и лицо.

— День, чтобы нагрузиться и не возбудить подозрения, а там прямо в Зару. Не обрадую я наших земляков. Его уже давно ждали; на него надеялись.

— На него надеялись,— повторила машинально Елена.

— Когда вы его хороните? — спросил Рендич.

Елена не тотчас отвечала:

— Завтра.

— Завтра? я останусь: я хочу бросить горсть земли в его могилу. Надо ж и вам помочь. А лучше было бы ему лежать в славянской земле.

Елена поглядела на Рендича.

— Капитан,— сказала она,— возьмите меня с ним и перевезите нас по ту сторону моря, прочь отсюда. Возможно это?

Рендич задумался.

— Возможно, только хлопотно. Надобно будет возиться с здешним проклятым начальством. Но положим, мы это всё уладим, похороним его там; как же я вас назад доставлю?

— Вам не нужно будет доставлять меня назад.

— Как? Где же вы останетесь?

— Я уже найду себе место; только возьмите нас, возьмите меня.

Рендич почесал у себя в затылке.

— Как знаете, но всё это очень хлопотно. Пойду попытаюсь; а вы ждите меня здесь часа через два.

Он ушел. Елена перешла в соседнюю комнату, прислонилась к стене и долго стояла как окаменелая. Потом она опустилась на колени, но молиться не могла. В ее душе не было упреков; она не дерзала вопрошать бога, зачем не пощадил, не пожалел, не сберег, зачем наказал свыше вины, если и была вина? Каждый из нас виноват уже тем, что живет, и нет такого великого мыслителя, нет такого благодетеля человечества, который в силу пользы, им приносимой, мог бы надеяться на то, что имеет право жить... Но Елена молиться не могла: она окаменела.

В ту же ночь широкая лодка отчалила от гостиницы, где жили Инсаровы. В лодке сидела Елена с Рендичем и стоял длинный ящик, покрытый черным сукном. Они плыли около часа и приплыли, наконец, к небольшому двухмачтовому кораблику, который стоял на якоре у самого выхода гавани. Елена и Рендич взошли на корабль; матросы внесли ящик. С полуночи поднялась буря, но поутру рано корабль уже миновал Лидо. В течение дня буря разыгралась с страшною силой, и опытные моряки в конторах «Ллойда» качали головами и не ждали ничего доброго. Адриатическое море между

Венецией, Триестом и далматским берегом чрезвычайно опасно.

Недели три после отъезда Елены из Венеции Анна Васильевна получила в Москве следующее письмо:

«Милые мои родные, я навсегда прощаюсь с вами. Вы меня больше не увидите. Вчера скончался Дмитрий. Всё кончено для меня. Сегодня я уезжаю с его телом в Зару. Я его схороню, и что со мной будет, не знаю! Но уже мне нет другой родины, кроме родины Д. Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду ходить за больными, ранеными. Я не знаю, что со мною будет, но я и после смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жизни. Я выучилась по-болгарски и по-сербски. Вероятно, я всего этого не перенесу — тем лучше. Я приведена на край бездны и должна упасть. Нас судьба соединила недаром: кто знает, может быть, я его убила; теперь его очередь увлечь меня за собою. Я искала счастья — и найду, быть может, смерть. Видно, так следовало; видно, была вина... Но смерть всё прикрывает и примиряет,— не правда ли? Простите мне все огорчения, которые я вам причинила; это было не в моей воле. А вернуться в Россию — зачем? Что делать в России?

Примите мои последние лобзания и благословения и не осуждайте меня.

Е.»

С тех пор минуло уже около пяти лет, и никакой вести не приходило больше об Елене. Бесплодны остались все письма, запросы; напрасно сам Николай Артемьевич, после заключения мира, ездил в Венецию, в Зару; в Венеции он узнал то, что уже известно читателю, а в Заре никто не мог дать ему положительных сведений о Рендиче и корабле, который он нанял. Ходили темные слухи, будто бы несколько лет тому назад море, после сильной бури, выкинуло на берег гроб, в котором нашли труп мужчины... По другим, более достоверным сведениям, гроб этот вовсе не был выкинут морем, но привезен и похоронен возле берега иностранной дамой, приехавшею из Венеции; некоторые прибавляли, что даму эту видели потом в Герцеговине при войске, которое тогда собиралось; описывали даже ее наряд, черный с головы до ног. Как бы то ни было, след Елены исчез навсегда и безвозвратно, и никто не знает,

жива ли она еще, скрывается ли где, или уже кончилась маленькая игра жизни, кончилось ее легкое броженье, и настала очередь смерти. Случается, что человек, просыпаясь, с невольным испугом спрашивает себя: неужели мне уже тридцать... сорок... пятьдесят лет? Как это жизнь так скоро прошла? Как это смерть так близко надвинулась? Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее — когда захочет.

Что сталось с остальными лицами нашего рассказа?

Анна Васильевна еще жива; она очень постарела после поразившего ее удара, жалуется меньше, но гораздо больше грустит. Николай Артемьевич тоже постарел и поседел и расстался с Августиной Христиановной... Он теперь бранит всё иностранное. Ключница его, красивая женщина лет тридцати, из русских, ходит в шёлковых платьях и носит золотые кольца и сережки. Курнатовский, как человек с темпераментом и, в качестве энергического брюнета, охотник до миловидных блондинок, женился на Зое; она у него в большом повиновении и даже перестала думать по-немецки. Берсенев находится в Гейдельберге; его на казенный счет отправили за границу; он посетил Берлин, Париж и не теряет даром времени; из него выйдет дельный профессор. Ученая публика обратила внимание на его две статьи: «О некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний» и «О значении городского начала в вопросе цивилизации», жаль только, что обе статьи написаны языком несколько тяжелым и испещрены иностранными словами. Шубин в Риме; он весь предался своему искусству и считается одним из самых замечательных и многообещающих молодых ваятелей. Строгие пуристы находят, что он не довольно изучил древних, что у него нет «стиля», и причисляют его к французской школе; от англичан и американцев у него пропасть заказов. В последнее время много шуму наделала одна его Вакханка; русский граф Бобошкин, известный богач, собирался было купить ее за 1000 скуди, но предпочел дать 3000 другому ваятелю, французу pur sang [1],

[1] чистокровному *(франц.)*.

за группу, изображающую «Молодую поселянку, умирающую от любви на груди Гения Весны». Шубин изредка переписывается с Уваром Ивановичем, который один нисколько и ни в чем не изменился. «Помните,— писал он ему недавно,— что вы мне сказали в ту ночь, когда стал известен брак бедной Елены, когда я сидел на вашей кровати и разговаривал с вами? Помните, я спрашивал у вас тогда, будут ли у нас люди? и вы мне отвечали: «Будут». О черноземная сила! И вот теперь я отсюда, из моего «прекрасного далека», снова вас спрашиваю: «Ну, что же, Увар Иванович, будут?»

Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

1860

Посвящено П. В. Анненкову

Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович.

Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина.

— Итак, это дело решенное,— промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закурив сигару,— каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич, кругленький человек с пухленьким белокурым лицом, посмотрел сперва на хозяина, потом поднял глаза к потолку.

— У меня не было первой любви,— сказал он наконец,— я прямо начал со второй.

— Это каким образом?

— Очень просто. Мне было восемнадцать лет, когда я в первый раз приволокнулся за одной весьма миленькой барышней; но я ухаживал за ней так, как будто дело это было мне не внове: точно так, как я ухаживал потом за другими. Собственно говоря, в первый и последний раз я влюбился лет шести в свою няню; но этому очень давно. Подробности наших отношений изгладились из моей памяти, да если б я их и помнил, кого это может интересовать?

— Так как же быть? — начал хозяин.— В моей первой любви тоже не много занимательного; я ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой,— и всё у нас шло как по маслу: отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак не мешкая. Моя сказка двумя словами сказывается. Я, господа, признаюсь, поднимая вопрос о первой любви, надеялся на вас, не скажу старых, но и не молодых холостяков. Разве вы нас чем-нибудь потешите, Владимир Петрович?

— Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем обыкновенных,— ответил с неболь-

шой запинкой Владимир Петрович, человек лет сорока, черноволосый, с проседью.

— А! — промолвили хозяин и Сергей Николаевич в один голос.— Тем лучше... Рассказывайте.

— Извольте... или нет: рассказывать я не стану; я не мастер рассказывать: выходит сухо и коротко или пространно и фальшиво; а если позволите, я запишу всё, что вспомню, в тетрадку — и прочту вам.

Приятели сперва не согласились, но Владимир Петрович настоял на своем. Через две недели они опять сошлись, и Владимир Петрович сдержал свое обещание.

Вот что стояло в его тетрадке:

I

Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года.

Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь.

Никто не стеснял моей свободы. Я делал что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернером-французом, который никак не мог привыкнуть к мысли, что он упал «как бомба» (comme une bombe) в Россию, и с ожесточенным выражением на лице по целым дням валялся на постели. Отец обходился со мной равнодушно-ласково; матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей: другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету; она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась — но не в присутствии отца; она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно... Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного.

Я никогда не забуду первых недель, проведенных мною на даче. Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого мая, в самый Николин день. Я гулял — то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой; брал с собою какую-нибудь книгу — курс Кайданова, например,— но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память; кровь

1.) Дѣйствующія лица повѣсти: Первая любовь.

Я, мальчикъ 16 лѣтъ.
Мой отецъ — 38 л.
Моя мать — 40 л.
Зинаида Засѣкина — 20 лѣтъ.
Ея мать кн. Засѣкина 45 л.
Гусаръ Бѣловзоровъ 26 л.
Майдановъ, поэтъ [illegible] 22 года.
Лушинъ, докторъ [illegible], 34 года.
Графъ Малевскій, 32 л.
Нирмацкій, 50 л.

Н. Нирмацкій / Nirmatzki

2) Дѣйствующія лица повѣсти: Инсаровъ
1853-4.

Отецъ Николай Артемьевичъ Стаховъ р. 1800 (44) } жен. 1831
Мать Анна Васильевна р. 1813 (40)
1 дочь Елена Н. р. 1832 (21 г.)
2 дочь [illegible]
Андрей Петровичъ Кондуровъ Берсеневъ р. 1830 (23)
Дмитрій Никаноровичъ Инсаровъ р. 1828 (25)
Павелъ Яковлевичъ Шубинъ р. 1827 (26)
Егоръ Андреевичъ Курнатовскій р. 1820 (33)
Уваръ Иванычъ Стаховъ Н. А. — р. 1798 (55)
[illegible] — 1812 — (41)
Кандуровъ, [illegible] — р. 1805 — 48 л.
Зоя Никитишна [illegible] р.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ ПОВЕСТИ «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» И РОМАНА «НАКАНУНЕ». АВТОГРАФ.

Национальная библиотека, Париж.

бродила во мне, и сердце ныло — так сладко и смешно: я всё ждал, робел чего-то и всему дивился и весь был наготове; фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни; я задумывался, грустил и даже плакал; но и сквозь слезы и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотою вечера, проступало, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни.

У меня была верховая лошадка, я сам ее седлал и уезжал один куда-нибудь подальше, пускался вскачь и воображал себя рыцарем на турнире — как весело дул мне в уши ветер! — или, обратив лицо к небу, принимал его сияющий свет и лазурь в разверстую душу.

Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме; но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского...

Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав: я дышал им, оно катилось по моим жилам в каждой капле крови... ему было суждено скоро сбыться.

Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков; во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев... Я не раз хаживал туда смотреть, как десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах и с испитыми лицами то и дело вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшие четырехугольные обрубки пресса, и таким образом тяжестью своих тщедушных тел вытискивали пестрые узоры обоев. Флигелек направо стоял пустой и отдавался внаймы. В один день — недели три спустя после девятого мая — ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица — какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения: «А! княгиня...— а потом прибавила: — Должно быть, бедная какая-нибудь».

— На трех извозчиках приехали-с,— заметил, почтительно подавая блюдо, дворецкий,— своего экипажа не имеют-с, и мебель самая пустая.

— Да,— возразила матушка,— а все-таки лучше.

Отец холодно взглянул на нее: она умолкла.

Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной: нанятый ею флигелек был так ветх, и мал, и низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это всё мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал: я недавно прочел «Разбойников» Шиллера.

II

У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад — и, напрасно исходив все аллеи (вороны меня признали и только издали отрывисто каркали), случайно приблизился к низкому забору, отделявшему собственно *наши* владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком направо и принадлежавшей к нему. Я шел потупя голову. Вдруг мне послышались голоса; я взглянул через забор — и окаменел... Мне представилось странное зрелище.

В нескольких шагах от меня — на поляне, между кустами зеленой малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове; вокруг нее теснились четыре молодые человека, и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям: эти цветки образуют небольшие мешечки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы — а в движениях девушки (я ее видел сбоку) было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия и, кажется, тут же бы отдал всё на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву, я всё забыл, я пожирал взором этот стройный стан, и шейку, и красивые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними...

— Молодой человек, а молодой человек,— проговорил вдруг подле меня чей-то голос,— разве позволительно глядеть так на чужих барышень?

Я вздрогнул весь, я обомлел... Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне... Я увидал огромные серые глаза на подвижном, оживленном лице — и всё это лицо вдруг задрожало, засмеялось, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись... Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотаньем, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало; мне было очень стыдно и весело: я чувствовал небывалое волнение.

Отдохнув, я причесался, почистился и сошел вниз к чаю. Образ молодой девушки носился передо мною, сердце перестало прыгать, но как-то приятно сжималось.

— Что с тобой? — внезапно спросил меня отец,— убил ворону?

Я хотел было всё рассказать ему, но удержался и только улыбнулся про себя. Ложась спать, я, сам не знаю зачем, раза три повернулся на одной ноге, напомадился, лег и всю ночь спал как убитый. Перед утром я проснулся на мгновенье, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом — и опять заснул.

III

«Как бы с ними познакомиться?» — было первою моею мыслью, как только я проснулся поутру. Я перед чаем отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не видел. После чаю я прошелся несколько раз по улице перед дачей — и издали заглядывал в окна... Мне почудилось за занавеской *ее* лицо, и я с испугом поскорее удалился. «Однако надо же познакомиться,— думал я, беспорядочно расхаживая по песчаной равнине, расстилавшейся перед Нескучным,— но как? Вот в чем вопрос». Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи: мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною... Но, пока я волновался и строил различные планы, судьба уже порадела обо мне.

В мое отсутствие матушка получила от новой своей соседки письмо на серой бумаге, запечатанной бурым сургучом, какой употребляется только на почтовых повестках да на пробках дешевого вина. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня

просила матушку оказать ей покровительство: матушка моя, по словам княгини, была хорошо знакома с значительными людьми, от которых зависела ее участь и участь ее детей, так как у ней были очень важные процессы. «Я квам обращаюсь,— писала она,— как благородная дама хблагородной даме, и при том мне преятно воспользоватца сим случаем». Кончая, она просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном расположении духа: отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Не отвечать «благородной даме», да еще княгине, было невозможно, а как отвечать — матушка недоумевала. Написать записку по-французски казалось ей неуместным, а в русской орфографии сама матушка не была сильна — и знала это и не хотела компрометироваться. Она обрадовалась моему приходу и тотчас приказала мне сходить к княгипе и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя всегда готова оказать ее сиятельству, по мере сил, услугу и просит ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало и испугало; однако я не выказал овладевшего мною смущения — и предварительно отправился к себе в комнату, чтобы надеть новенький галстух и сюртучок: дома я еще ходил в куртке и в отложных воротничках, хотя очень ими тяготился.

IV

В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый и седой слуга с темным, медного цвета, лицом, свиными угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил:

— Чего вам?

— Княгиня Засекина дома? — спросил я.

— Вонифатий! — закричал из-за двери дребезжащий женский голос.

Слуга молча повернулся ко мне спиною, причем обнаружилась сильно истертая спинка его ливреи, с одинокой порыжелой гербовой пуговицей, и ушел, поставив тарелку на пол.

— В квартал ходил? — повторил тот же женский го-

лос. Слуга пробормотал что-то.— А?.. Пришел кто-то?..— послышалось опять.— Барчук соседний? Ну, просп.

— Пожалуйте-с в гостиную,— проговорил слуга, появившись снова передо мною и поднимая тарелку с полу.

Я оправился и вошел в «гостиную».

Я очутился в небольшой и не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна, на кресле с отломанной ручкой, сидела женщина лет пятидесяти, простоволосая и некрасивая, в зеленом старом платье и с пестрой гарусной косынкой вокруг шеи. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня.

Я подошел к ней и раскланялся.

— Я имею честь говорить с княгиней Засекиной?

— Я княгиня Засекина; а вы сын господина В.?

— Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки.

— Садитесь, пожалуйста. Вонифатий! где мои ключи, не видал?

Я сообщил г-же Засекиной ответ моей матушки на ее записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице, а когда я кончил, еще раз уставилась на меня.

— Очень хорошо; непременно буду,— промолвила она наконец.— А как вы еще молоды! Сколько вам лет, позвольте спросить?

— Шестнадцать лет,— отвечал я с невольной запинкой.

Княгиня достала из кармана какие-то исписанные, засаленные бумаги, поднесла их к самому носу и принялась перебирать их.

— Годы хорошие,— произнесла она внезапно, поворачиваясь и ерзая на стуле.— А вы, пожалуйста, будьте без церемонии. У меня просто.

«Слишком просто»,— подумал я, с невольной гадливостью окидывая взором всю ее неблагообразную фигуру.

В это мгновенье другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка.

— А вот и дочь моя,— промолвила княгиня, указав на нее локтем.— Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?

— Владимиром,— отвечал я, вставая и пришепетывая от волнения.

— А по батюшке?

— Петровичем.

— Да! У меня был полицеймейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий! не ищи ключей, ключи у меня в кармане.

Молодая девушка продолжала глядеть па меня с прежней усмешкой, слегка щурясь и склонив голову немного набок.

— Я уже видела мсьё Вольдемара,— начала она. (Серебристый звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким холодком.) — Вы мне позволите так называть вас?

— Помилуйте-с,— пролепетал я.

— Где это? — спросила княгиня.

Княжна не отвечала своей матери.

— Вы теперь заняты? — промолвила она, не спуская с меня глаз.

— Никак нет-с.

— Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Подите сюда, ко мне.

Она кивнула мне головой и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней.

В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с бóльшим вкусом. Впрочем, в это мгновенье я почти ничего заметить не мог: я двигался как во сне и ощущал во всем составе своем какое-то до глупости напряженное благополучие.

Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Всё это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть на перегнутую карту и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я невольно потупился. Когда ее глаза, большею частию полуприщуренные, открывались во всю величину свою,— ее лицо изменялось совершенно: точно свет проливался по нем.

— Что вы подумали обо мне вчера, мсьё Вольдемар? — спросила она погодя немного.— Вы, наверное, осудили меня?

— Я... княжна... я ничего не думал... как я могу...— отвечал я с смущением.

— Послушайте,— возразила она.— Вы меня еще не знаете: я престранная; я хочу, чтоб мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, шестнадцать лет, а мне двадцать

один: вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду... и слушаться меня,— прибавила она.— Глядите на меня — отчего вы на меня не глядите?

Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой.

— Глядите на меня,— промолвила она, ласково понижая голос,— мне это не неприятно... Мне ваше лицо нравится; я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь? — прибавила она лукаво.

— Княжна...— начал было я.

— Во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у детей (она поправилась) — у молодых людей — не говорить прямо то, что они чувствуют? Это хорошо для взрослых. Ведь я вам нравлюсь?

Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил:

— Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна; я не хочу это скрывать.

Она с расстановкой покачала головой.

— У вас есть гувернер? — спросила она вдруг.

— Нет, у меня уже давно нет гувернера.

Я лгал; еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом.

— О! да я вижу — вы совсем большой.

Она легонько ударила меня по пальцам.

— Держите прямо руки! — И она прилежно занялась наматыванием клубка.

Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать, сперва украдкой, потом всё смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне: так всё в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой сторой; солнечный луч, пробиваясь сквозь эту стору, обливал мягким светом ее пушистые золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную, спокойную грудь. Я глядел на нее — и как дорогá и близка становилась она мне! Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю и ничего не знал и не жил до нее... На ней было темненькое, уже поношенное, платье с передником; я, кажется, охотно поласкал бы каж-

дую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья: я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам... «И вот я сижу перед ней,— подумал я,— я с ней познакомился... какое счастие, боже мой!» Я чуть не соскочил со стула от восторга, но только ногами немного поболтал, как ребенок, который лакомится.

Мне было хорошо, как рыбе в воде, и я бы век не ушел из этой комнаты, не покинул бы этого места.

Ее веки тихо поднялись, и опять ласково засияли передо мною ее светлые глаза — и опять она усмехнулась.

— Как вы на меня смотрите,— медленно проговорила она и погрозила мне пальцем.

Я покраснел... «Она всё понимает, она всё видит,— мелькнуло у меня в голове.— И как ей всего не понимать и не видеть!»

Вдруг что-то застучало в соседней комнате — зазвенела сабля.

— Зина! — закричала в гостиной княгиня,— Беловзоров принес тебе котенка.

— Котенка! — воскликнула Зинаида и, стремительно поднявшись со стула, бросила клубок мне на колени и выбежала вон.

Я тоже встал и, положив связку шерсти и клубок на оконницу, вышел в гостиную и остановился в недоумении. Посредине комнаты лежал, растопыря лапки, полосатый котенок; Зинаида стояла перед ним на коленях и осторожно поднимала ему мордочку. Возле княгини, заслонив почти весь простенок между окнами, виднелся белокурый и курчавый молодец, гусар с румяным лицом и глазами навыкате.

— Какой смешной! — твердила Зинаида,— и глаза у него не серые, а зеленые, и уши какие большие. Спасибо вам, Виктор Егорыч! Вы очень милы.

Гусар, в котором я узнал одного из виденных мною накануне молодых людей, улыбнулся и поклонился, причем щелкнул шпорами и брякнул колечками сабли.

— Вам угодно было вчера сказать, что вы желаете иметь полосатого котенка с большими ушами... вот, я и достал-с. Слово — закон.— И он опять поклонился.

Котенок слабо пискнул и начал нюхать пол.

— Он голоден! — воскликнула Зинаида.— Вонифатий! Соня! принесите молока.

Горничная, в старом желтом платье с полинялым пла-

точком на шее, вошла с блюдечком молока в руке и поставила его перед котенком. Котенок дрогнул, зажмурился и принялся лакать.

— Какой у него розовый язычок,— заметила Зинаида, пригнув голову почти к полу и заглядывая ему сбоку под самый нос.

Котенок насытился и замурлыкал, жеманно перебирая лапками. Зинаида встала и, обернувшись к горничной, равнодушно промолвила:

— Унеси его.

— За котенка — ручку,— проговорил гусар, осклабясь и передернув всем своим могучим телом, туго затянутым в новый мундир.

— Обе,— возразила Зинаида и протянула к нему руки. Пока он целовал их, она смотрела на меня через плечо.

Я стоял неподвижно на одном месте и не знал — засмеяться ли мне, сказать ли что-нибудь, или так промолчать. Вдруг, сквозь раскрытую дверь передней, мне бросилась в глаза фигура нашего лакея Федора. Он делал мне знаки. Я машинально вышел к нему.

— Что ты? — спросил я.

— Маменька прислали за вами,— проговорил он шёпотом.— Оне гневаются, что вы с ответом не ворочаетесь.

— Да разве я давно здесь?

— Час с лишком.

— Час с лишком! — повторил я невольно и, вернувшись в гостиную, начал раскланиваться и шаркать ногами.

— Куда вы? — спросила меня княжна, взглянув из-за гусара.

— Мне нужно домой-с. Так я скажу,— прибавил я, обращаясь к старухе,— что вы пожалуете к нам во втором часу.

— Так и скажите, батюшка.

Княгиня торопливо достала табакерку и так шумно понюхала, что я даже вздрогнул.

— Так и скажите,— повторила она, слезливо моргая и кряхтя.

Я еще раз поклонился, повернулся и вышел из комнаты с тем чувством неловкости в спине, которое ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему глядят вслед.

— Смотрите же, мсьё Вольдемар, заходите к нам,— крикнула Зинаида и опять рассмеялась.

«Что это она всё смеется?» — думал я, возвращаясь

домой в сопровождении Федора, который ничего мне не говорил, но двигался за мной неодобрительно. Матушка меня побранила и удивилась: что я мог так долго делать у этой княгини? Я ничего не отвечал ей и отправился к себе в комнату. Мне вдруг стало очень грустно... Я силился не плакать... Я ревновал к гусару.

V

Княгиня, по обещанию, навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня Засекина ей кажется une femme très vulgaire [1], что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у ней всё какие-то тяжбы и дела — des vilaines affaires d'argent [2] — и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать (услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку), потому что она все-таки соседка, и с именем. На это отец объявил матушке, что он теперь припоминает, какая это госпожа; что он в молодости знал покойного князя Засекина, отлично воспитанного, но пустого и вздорного человека; что его в обществе звали «le Parisien» [3], по причине его долгого житья в Париже; что он был очень богат, но проиграл всё свое состояние — и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег,— впрочем, он бы мог лучше выбрать,— прибавил отец и холодно улыбнулся,— женился на дочери какого-то приказного, а женившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно.

— Как бы она денег взаймы не попросила,— заметила матушка.

— Это весьма возможно,— спокойно промолвил отец.— Говорит она по-французски?

— Очень плохо.

— Гм. Впрочем, это всё равно. Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала; меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка.

— А! Стало быть, она не в мать.

---

[1] женщиной весьма вульгарной *(франц.)*.
[2] гадкие денежные дела *(франц.)*.
[3] «Парижанин» *(франц.)*.

— И не в отца,— возразил отец.— Тот был тоже образован, да глуп.

Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора.

После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к «засекинскому саду», но неотразимая сила влекла меня туда — и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала.

Я чуть-чуть не пропустил ее; но вдруг спохватился и кашлянул.

Она обернулась, но не остановилась, отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку.

Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis-je pour elle?» [1]— подумал я (бог знает почему) по-французски.

Знакомые шаги раздались за мною: я оглянулся — ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец.

— Это княжна? — спросил он меня.

— Княжна.

— Разве ты ее знаешь?

— Я ее видел сегодня утром у княгини.

Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто; но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях.

Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась.

VI

Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова — но напрасно мелькали передо

---

[1] «Что я для нее?» *(франц.)*.

мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. Десять раз сряду прочел я слова: «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой» — не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстух.

— Это зачем? — спросила матушка.— Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее!

— Гости будут,— прошептал я почти с отчаянием.

— Вот вздор! какие это гости!

Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстуха не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда; старуха сверх зеленого, уже знакомого мне платья накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, «канючила», но нисколько не чинилась: так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность — и я не узнавал ее, не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами; волосы ее падали длинными локонами вдоль щек — на английский манер; эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее — и она изредка на него взглядывала, да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски; меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня, во время стола, по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанья. Матушка видимо ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением; отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке.

— Это какая-то гордячка,— говорила она на следующий день.— И подумаешь — чего гордиться — avec sa mine de grisette! [1]

— Ты, видно, не видала гризеток,— заметил ей отец.

---

[1] с ее внешностью гризетки *(франц.)*.

— И слава богу!

— Разумеется, слава богу... только как же ты можешь судить о них?

На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться.

— Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильич,— сказала она нараспев матушке и отцу.— Что делать! Были времена, да прошли. Вот и я — сиятельная,— прибавила она с неприятным смехом,— да что за честь, коли нечего есть.

Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:

— Приходите к нам в восемь часов, слышите, непременно...

Я только развел руками — но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.

VII

Ровно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. Старик-слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпилось пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула:

— Постойте, постойте! новый гость, надо и ему дать билет,— и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука.— Пойдемте же,— сказала она,— что вы стоите? Messieurs [1], позвольте вас познакомить: это мсьё Вольдемар, сын нашего соседа. А это,— прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей,— граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капи-

---

[1] Господа *(франц.)*.

тан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.

Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; в докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду; остальные были мне незнакомы.

— Граф!— продолжала Зинаида,— напишите мсьё Вольдемару билет.

— Это несправедливо,— возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом.— Они не играли с нами в фанты.

— Несправедливо,— повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном, человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый как арап, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без эполет, нараспашку.

— Пишите билет, говорят вам,— повторила княжна.— Это что за бунт? Мсьё Вольдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу.

Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем.

— По крайней мере позвольте объяснить господину Вольдемару, в чем дело,— начал насмешливым голосом Лушин,— а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты; княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?

Я только взглянул на него и продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись — и я за другими.

— Майданов,— сказала княжна высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами,— вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсьё Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.

Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял

и развернул билет... Господи! что сталось со мною, когда я увидал на нем слово: поцелуй!

— Поцелуй! — вскрикнул я невольно.

— Браво! он выиграл,— подхватила княжна.— Как я рада! — Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось.— А вы рады? — спросила она меня.

— Я?..— пролепетал я.

— Продайте мне свой билет,— брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров.— Я вам сто рублей дам.

Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец!

— Но,— продолжал он,— я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсьё Вольдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.

Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба — и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем.

— Добре! — закричал Лушин и помог мне встать.

Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких ни придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять «статую» — и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком: я должен был сказать ей *свой*

секрет. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились ее глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и наконец шепнула мне: «Ну, что же?», а я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам,— мы стали играть в веревочку. Боже мой! какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам, и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазевываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук!

Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин «имел честь его поздравить». Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца» (дело происходило в самом разгаре романтизма), которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета; у приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его, в виде выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу... Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый... Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол.

Мы, наконец, выбились из сил. Княгиня уж на что была, как сама выражалась, ходка — никакие крики ее не смущали,— однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого, сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленой ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: темная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской: впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля; на прощанье

Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.

Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо; казалось, готовилась гроза; черные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.

Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него; он проснулся, увидал меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. (Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не испросивши ее благословения.) Нечего было делать!

Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам,— и погасил свечку. Но я не разделся и не лег.

Я присел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко... Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренно холодел при мысли, что я влюблен, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке — плыло и не проплывало; губы ее всё так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно... как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец я встал, на цыпочках подошел к своей постели и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен...

Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза»,— подумал я,— и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра... Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, *воробьиная* ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу Нескучного сада,

на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке... Я глядел — и не мог оторваться; эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца всё бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали всё реже и реже и исчезли наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня...

И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину... но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моею душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как полетевший лебедь — от болотных трав, отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием...

О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви,— где вы, где вы?

VIII

На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побранила меня — меньше, однако, чем я ожидал — и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.

— Все-таки они люди не comme il faut,— заметила матушка,— и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтоб готовиться к экзамену да заниматься.

Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать всё, что я видел у Засекиных.

Странное влияние имел на меня отец — и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу — он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною... Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины — и, боже мой, как бы я страстно к нему привя-

зался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась — я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником... Потом он так же внезапно покидал меня — и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз — всего только раз! — он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал... Но и веселость его и нежность исчезали без следа — и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее, точно я всё это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо... сердце мое задрожит, всё существо мое устремится к нему... он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке — и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к тому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни»,— сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно).

— Свобода,— повторил он,— а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?

— Что?

— Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть — и будешь свободным, и командовать будешь.

Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить — и жил... Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.

Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.

Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок — и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.

— Я с тобой поеду, папаша? — спросил я его.

— Нет,— ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение.— Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.

Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами — он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным.

Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру

После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.

— С удовольствием,— отвечал я и присел на кончик стула.

— Только смотрите покрупнее буквы ставьте,— промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист,— да нельзя ли сегодня, батюшка?

— Сегодня же перепишу-с.

Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась, и в отверстии показалось лицо Зинаиды — бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.

— Зина, а Зина! — проговорила старуха.

Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.

IX

Моя «страсть» началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу: я уже перестал быть просто молодым мальчиком; я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть; я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствие Зинаиды: ничего мне на ум не шло, всё из рук валилось, я по целым дням напряженно думал о ней... Я изнывал... но в ее присутствии мне не становилось легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал — и все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней, и я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился, да я и не думал скрываться; она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого — а я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в нее: все мужчины, посещавшие ее дом, были от ней без ума — и она их всех держала на привязи, у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти (это она называла: стукать людей друг о друга) — а они и не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучем и красивом, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости; над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая, легкая прелесть, во всем сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже: оно выражало, почти в одно и то же время,— насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков в солнечный ветреный день, перебегали то и дело по ее глазам и губам.

Каждый из ее поклонников был ей нужен. Беловзоров, которого она иногда называла «мой зверь», а иногда просто «мой»,— охотно кинулся бы за нее в огонь; не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства, он всё предлагал ей жениться на ней, намекая на то, что другие только болтают. Майданов отвечал поэтиче-

ским струнам ее души: человек довольно холодный, как почти все сочинители, он напряженно уверял ее, а может быть, и себя, что он ее обожает, воспевал ее в нескончаемых стихах и читал их ей с каким-то и неестественным и искренним восторгом. Она и сочувствовала ему и чуть-чуть трунила над ним; она плохо ему верила и, наслушавшись его излияний, заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух. Лушин, насмешливый, цинический на словах доктор, знал ее лучше всех — и любил ее больше всех, хотя бранил ее за глаза и в глаза. Она его уважала, но не спускала ему — и подчас с особенным, злорадным удовольствием давала ему чувствовать, что и он у ней в руках. «Я кокетка, я без сердца, я актерская натура,— сказала она ему однажды в моем присутствии,— а, хорошо! Так подайте ж вашу руку, я воткну в нее булавку, вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а все-таки вы, господин правдивый человек, извольте смеяться». Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола, и он точно начал смеяться... и она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам...

Хуже всего я понимал отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собою, ловок и умен, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, шестнадцатилетнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого не замечает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме, всё, начиная с самой свободы, которою пользовалась молодая девушка, с сознания ее превосходства над окружавшими ее людьми, развило в ней какую-то полупрезрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что ни случится — придет ли Вонифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости,— она только кудрями встряхнет, скажет: пустяки! — и горя ей мало.

Зато у меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевский подойдет к ней, хитро покачиваясь, как лиса, изящно обопрется на спинку ее стула и начнет шептать ей на ухо с самодовольной и заискивающей улыбочкой,—

а она скрестит руки на груди, внимательно глядит на него, и сама улыбается и качает головой.

— Что вам за охота принимать господина Малевского? — спросил я ее однажды.

— А у него такие прекрасные усики,— отвечала она.— Да это не по вашей части.

— Вы не думаете ли, что я его люблю,— сказала она мне в другой раз.— Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил... Да я на такого не наткнусь, бог милостив! Не попадусь никому в лапы, ни-ни!

— Стало быть, вы никогда не полюбите?

— А вас-то? Разве я вас не люблю? — сказала она и ударила меня по носу концом перчатки.

Да, Зинаида очень потешалась надо мною. В течение трех недель я ее видел каждый день — и чего, чего она со мной не выделывала! К нам она ходила редко, и я об этом не сожалел: в нашем доме она превращалась в барышню, в княжну,— и я ее дичился. Я боялся выдать себя перед матушкой; она очень не благоволила к Зинаиде и неприязненно наблюдала за нами. Отца я не так боялся: он словно не замечал меня, а с ней говорил мало, но както особенно умно и значительно. Я перестал работать, читать — я даже перестал гулять по окрестностям, ездить верхом. Как привязанный за ножку жук, я кружился постоянно вокруг любимого флигелька: казалось, остался бы там навсегда... но это было невозможно; матушка ворчала на меня, иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я запирался у себя в комнате или уходил на самый конец сада, взбирался на уцелевшую развалину высокой каменной оранжерей и, свесив ноги со стены, выходившей на дорогу, сидел по часам и глядел, глядел, ничего не видя. Возле меня, по запыленной крапиве, лениво перепархивали белые бабочки; бойкий воробей садился недалеко на полусломанном красном кирпиче и раздражительно чирикал, беспрестанно поворачиваясь всем телом и распустив хвостик; всё еще недоверчивые вороны изредка каркали, сидя высоко, высоко на обнаженной макушке березы; солнце и ветер тихо играли в ее жидких ветках; звон колоколов Донского монастыря прилетал по временам, спокойный и унылый — а я сидел, глядел, слушал и наполнялся весь каким-то безыменным ощущением, в котором было всё: и грусть, и радость, и предчув-

ствие будущего, и желание, и страх жизни. Но я тогда ничего этого не понимал и ничего бы не сумел назвать изо всего того, что во мне бродило, или бы назвал это всё одним именем — именем Зинаиды.

А Зинаида всё играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной — и я волновался и таял, то она вдруг меня отталкивала — и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на нее.

Помнится, она несколько дней сряду была очень холодна со мною, я совсем заробел и, трусливо забегая к ним во флигель, старался держаться около старухи княгини, несмотря на то что она очень бранилась и кричала именно в это время: ее вексельные дела шли плохо, и она уже имела два объяснения с квартальным.

Однажды я проходил в саду мимо известного забора — и увидел Зинаиду: подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я замер на месте: я не понял ее с первого раза. Она повторила свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней; но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал:

— Что с вами?

Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее и бросила ее прочь, подальше.

— Вы меня очень любите?— спросила она наконец.— Да?

Я ничего не отвечал — да и зачем мне было отвечать?

— Да, — повторила она, по-прежнему глядя на меня.— Это так. Такие же глаза,— прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками.— Всё мне опротивело,— прошептала она,— ушла бы я на край света, не могу я это вынести, не могу сладить... И что ждет меня впереди!.. Ах, мне тяжело... боже мой, как тяжело!

— Отчего? — спросил я робко.

Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на нее. Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновенье я, кажется, охотно бы отдал жизнь

свою, лишь бы она не горевала. Я глядел на нее — и, все-таки не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображал себе, как она вдруг, в припадке неудержимой печали, ушла в сад и упала на землю, как подкошенная. Кругом было и светло и зелено; ветер шелестил в листьях деревьев, изредка качая длинную ветку малины над головой Зинаиды. Где-то ворковали голуби — и пчелы жужжали, низко перелетывая по редкой траве. Сверху ласково синело небо — а мне было так грустно...

— Прочтите мне какие-нибудь стихи,— промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть.— Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Только сядьте сперва.

Я сел и прочел «На холмах Грузии».

— «Что не любить оно не может»,— повторила Зинаида.— Вот чем поэзия хороша: она говорит нам то, чего нет и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду... Что не любить оно не может — и хотело бы, да не может!— Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала.— Пойдемте. У мамаши сидит Майданов; он мне принес свою поэму, а я его оставила. Он также огорчен теперь... что делать! Вы когда-нибудь узнаете... только не сердитесь на меня!

Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного «Убийцу», но я не слушал его. Он выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко, а я всё глядел на Зинаиду и всё старался понять значение ее последних слов.

Иль, может быть, соперник тайный
Тебя нежданно покорил? —

воскликнул вдруг в нос Майданов — и мои глаза и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я увидал, что она покраснела, и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней, но только в это мгновение мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове: «Боже мой! она полюбила!»

X

Настоящие мои терзания начались с того мгновения. Я ломал себе голову, раздумывал, передумывал — и неотступно, хотя по мере возможности скрытно, наблюдал

за Зинаидой. В ней произошла перемена — это было очевидно. Она уходила гулять одна и гуляла долго. Иногда она гостям не показывалась; по целым часам сидела у себя в комнате. Прежде этого за ней не водилось. Я вдруг сделался — или мне показалось, что я сделался — чрезвычайно проницателен. «Не он ли? или уж не он ли?» — спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому. Граф Малевский (хоть я и стыдился за Зинаиду в этом сознаться) втайне казался мне опаснее других.

Моя наблюдательность не видала дальше своего носа, и моя скрытность, вероятно, никого не обманула; по крайней мере доктор Лушин скоро меня раскусил. Впрочем, и он изменился в последнее время: он похудел, смеялся так же часто, но как-то глуше, злее и короче — невольная, нервическая раздражительность сменила в нем прежнюю легкую иронию и напущенный цинизм.

— Что вы это беспрестанно таскаетесь сюда, молодой человек,— сказал он мне однажды, оставшись со мною в гостиной Засекиных. (Княжна еще не возвращалась с прогулки, а крикливый голос княгини раздавался в мезонине: она бранилась со своей горничной.) — Вам бы надобно учиться, работать, — пока вы молоды,— а вы что делаете?

— Вы не можете знать, работаю ли я дома,— возразил я ему не без надменности, но и не без замешательства.

— Какая уж тут работа! у вас не то на уме. Ну, я не спорю... в ваши годы это в порядке вещей. Да выбор-то ваш больно неудачен. Разве вы не видите, что это за дом?

— Я вас не понимаю,— заметил я.

— Не понимаете? Тем хуже для вас. Я считаю долгом предостеречь вас. Нашему брату, старому холостяку, можно сюда ходить: что нам делается? мы народ прокаленный, нас ничем не проберешь; а у вас кожица еще нежная; здесь для вас воздух вредный — поверьте мне, заразиться можете.

— Как так?

— Да так же. Разве вы здоровы теперь? Разве вы в нормальном положении? Разве то, что вы чувствуете, полезно вам, хорошо?

— Да что же я чувствую? — сказал я, а сам в душе сознавал, что доктор прав.

— Эх, молодой человек, молодой человек,— продол-

жал доктор с таким выражением, как будто в этих двух словах заключалось что-то для меня весьма обидное,— где вам хитрить, ведь у вас еще, слава богу, что на душе, то и на лице. А впрочем, что толковать? Я бы и сам сюда не ходил, если б (доктор стиснул зубы)... если б я не был такой же чудак. Только вот чему я удивляюсь: как вы, с вашим умом, не видите, что делается вокруг вас?

— А что же такое делается? — подхватил я и весь насторожился.

Доктор посмотрел на меня с каким-то насмешливым сожалением.

— Хорош же и я,— промолвил он, словно про себя,— очень нужно это ему говорить. Одним словом,— прибавил он, возвысив голос,— повторяю вам: здешняя атмосфера вам не годится. Вам здесь приятно, да мало чего нет? И в оранжерее тоже приятно пахнет — да жить в ней нельзя. Эй! послушайтесь, возьмитесь опять за Кайданова!

Княгиня вошла и начала жаловаться доктору на зубную боль. Потом явилась Зинаида.

— Вот,— прибавила княгиня,— господин доктор, побраните-ка ее. Целый день пьет воду со льдом; разве ей это здорово, при ее слабой груди?

— Зачем вы это делаете? — спросил Лушин.

— А что из этого может выйти?

— Что? вы можете простудиться и умереть.

— В самом деле? Неужели? Ну что ж — туда и дорога!

— Вот как!— проворчал доктор.

Княгиня ушла.

— Вот как,— повторила Зинаида.— Разве жить так весело? Оглянитесь-ка кругом... Что — хорошо? Или вы думаете, что я этого не понимаю, не чувствую? Мне доставляет удовольствие — пить воду со льдом, и вы серьезно можете уверять меня, что такая жизнь стоит того, чтоб не рискнуть ею за миг удовольствия,— я уже о счастии не говорю.

— Ну да,— заметил Лушин,— каприз и независимость... Эти два слова вас исчерпывают: вся ваша натура в этих двух словах.

Зинаида нервически засмеялась.

— Опоздали почтой, любезный доктор. Наблюдаете плохо; отстаете. Наденьте очки. Не до капризов мне теперь; вас дурачить, себя дурачить... куда как весело! — А что до независимости... Мсьё Вольдемар,— прибавила

вдруг Зинаида и топнула ножкой,— не делайте меланхолической физиономии. Я терпеть не могу, когда обо мне сожалеют.— Она быстро удалилась.

— Вредна, вредна вам здешняя атмосфера, молодой человек,— еще раз сказал мне Лушин.

XI

Вечером того же дня собрались у Засекиных обычные гости; я был в их числе.

Разговор зашел о поэме Майданова; Зинаида чистосердечно ее хвалила.

— Но знаете ли что? — сказала она ему,— если б я была поэтом, я бы другие брала сюжеты. Может быть, всё это вздор, но мне иногда приходят в голову странные мысли, особенно когда я не сплю, перед утром, когда небо начинает становиться и розовым и серым. Я бы, например... Вы не будете надо мной смеяться?

— Нет! нет! — воскликнули мы все в один голос.

— Я бы представила,— продолжала она, скрестив руки на груди и устремив глаза в сторону,— целое общество молодых девушек, ночью, в большой лодке — на тихой реке. Луна светит, а они все в белом и в венках из белых цветов, и поют, знаете, что-нибудь вроде гимна.

— Понимаю, понимаю, продолжайте,— значительно и мечтательно промолвил Майданов.

— Вдруг — шум, хохот, факелы, бубны на берегу... Это толпа вакханок бежит с песнями, с криком. Уж тут ваше дело нарисовать картину, господин поэт... только я бы хотела, чтобы факелы были красны и очень бы дымились и чтобы глаза у вакханок блестели под венками, а венки должны быть темные. Не забудьте также тигровых кож и чаш — и золота, много золота.

— Где же должно быть золото? — спросил Майданов, откидывая назад свои плоские волосы и расширяя ноздри.

— Где? На плечах, на руках, на ногах, везде. Говорят, в древности женщины золотые кольца носили на щиколотках. Вакханки зовут к себе девушек в лодке. Девушки перестали петь свой гимн — они не могут его продолжать,— но они не шевелятся: река подносит их к берегу. И вот вдруг одна из них тихо поднимается... Это надо хорошо описать: как она тихо встает при лунном свете и как ее подруги пугаются... Она перешагнула край лодки, вакханки ее окружили, умчали в ночь, в темноту...

Представьте тут дым клубами, и всё смешалось. Только слышится их визг, да венок ее остался на берегу.

Зинаида умолкла. («О! она полюбила!» — подумал я опять.)

— И только? — спросил Майданов.

— Только,— отвечала она.

— Это не может быть сюжетом для целой поэмы,— важно заметил он,— но для лирического стихотворения я вашей мыслию воспользуюсь.

— В романтическом роде? — спросил Малевский.

— Конечно, в романтическом роде, байроновском.

— А по-моему, Гюго лучше Байрона,— небрежно промолвил молодой граф,— интереснее.

— Гюго — писатель первоклассный,— возразил Майданов,— и мой приятель Тонкошеев, в своем испанском романе «Эль-Тровадор»...

— Ах, это та книга с опрокинутыми вопросительными знаками? — перебила Зинаида.

— Да. Это так принято у испанцев. Я хотел сказать, что Тонкошеев...

— Ну, вы опять заспорите о классицизме и романтизме,— вторично перебила его Зинаида.— Давайте лучше играть...

— В фанты? — подхватил Лушин.

— Нет, в фанты скучно; а в сравненья. (Эту игру придумала сама Зинаида: назывался какой-нибудь предмет, всякий старался сравнить его с чем-нибудь, и тот, кто подбирал лучшее сравнение, получал приз.)

Она подошла к окну. Солнце только что село: на небе высоко стояли длинные красные облака.

— На что похожи эти облака? — спросила Зинаида и, не дожидаясь нашего ответа, сказала: — Я нахожу, что они похожи на те пурпуровые паруса, которые были на золотом корабле у Клеопатры, когда она ехала навстречу Антонию. Помните, Майданов, вы недавно мне об этом рассказывали?

Все мы, как Полоний в «Гамлете», решили, что облака напоминали именно эти паруса и что лучшего сравнения никто из нас не приищет.

— А сколько лет было тогда Антонию? — спросила Зинаида.

— Уж, наверное, был молодой человек,— заметил Малевский.

— Да, молодой,— уверительно подтвердил Майданов.

— Извините,— воскликнул Лушин,— ему было за сорок лет.

— За сорок лет,— повторила Зинаида, взглянув на него быстрым взглядом.

Я скоро ушел домой. «Она полюбила,— невольно шептали мои губы.— Но кого?»

XII

Дни проходили. Зинаида становилась всё странней, всё непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее сидящей на соломенном стуле, с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась... всё лицо ее было облито слезами.

— А! вы! — сказала она с жестокой усмешкой.— Подите-ка сюда.

Я подошел к ней: она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их.

— Больно...— проговорил я наконец.

— А! больно! а мне не больно? не больно? — повторила она.

— Ай! — вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос.— Что это я сделала? Бедный мсьё Вольдемар!

Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко.

— Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду,— сказала она, а у самой на глазах всё блестели слезы.— Это вас, быть может, утешит немного... а теперь прощайте.

Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки происходило объяснение с отцом: она в чем-то упрекала его, а он, по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался — и скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка, да и мне было не до того; помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по ее словам, была une femme capable de tout [1]. Я подошел к ней к ручке (это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор) и ушел к себе. Слезы Зинаиды меня совершенно сбили с толку; я решительно

---

[1] женщиной, способной на что угодно *(франц.)*.

не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать: я все-таки был ребенком, несмотря на мои шестнадцать лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Беловзоров с каждым днем становился всё грознее и грознее и глядел на увертливого графа, как волк на барана; да я ни о чем и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и всё искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и сижу там таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко,— и так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими!..

Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон... Вдруг что-то пробежало по мне — ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости... Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза.

— Что это вы делаете там, на такой вышине? — спросила она меня с какой-то странной улыбкой.— Вот,— продолжала она,— вы всё уверяете, что вы меня любите,— спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня.

Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около двух сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться: я упал и на мгновенье лишился сознанья. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду.

— Милый мой мальчик,— говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность,— как мог ты это сделать, как мог ты послушаться... Ведь я люблю тебя... встань.

Ее грудь дышала возле моей, ее руки прикасались моей головы, и вдруг — что сталось со мной тогда! — ее мягкие, свежие губы начали покрывать всё мое лицо поцелуями... они коснулись моих губ... Но тут Зинаида, вероятно, догадалась, по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я всё глаз не раскрывал,— и, быстро приподнявшись, промолвила:

— Ну вставайте, шалун, безумный; что это вы лежите в пыли?

Я поднялся.

— Подайте мне мой зонтик,— сказала Зинаида,— вишь, я его куда бросила; да не смотрите не меня так... что за глупости? Вы не ушиблись? чай, обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня... Да он ничего не понимает, не отвечает,— прибавила она, словно про себя.— Ступайте домой, мсьё Вольдемар, почиститесь, да не смейте идти за мной — а то я рассержусь, и уже больше никогда...

Она не договорила своей речи и проворно удалилась, а я присел на дорогу... ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла, и голова кружилась; но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось наконец восторженными прыжками и восклицаниями. Точно: я был еще ребенок.

XIII

Я так был весел и горд весь этот день, я так живо сохранял на моем лице ощущение Зинаидиных поцелуев, я с таким содроганием восторга вспоминал каждое ее слово, я так лелеял свое неожиданное счастие, что мне становилось даже страшно, не хотелось даже увидеть ее, виновницу этих новых ощущений. Мне казалось, что уже больше ничего нельзя требовать от судьбы, что теперь бы следовало «взять, вздохнуть хорошенько в последний раз, да и умереть». Зато на следующий день, отправляясь во флигель, я чувствовал большое смущение, которое напрасно старался скрыть под личиною скромной развязности, приличной человеку, желающему дать знать, что он умеет сохранить тайну. Зинаида приняла меня очень просто, без всякого волнения, только погрозила мне пальцем и спросила: нет ли у меня синих пятен? Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно, а вместе с ними и смущение мое. Конечно, я ничего не ожидал особенного, но спокойствие Зинаиды меня точно холодной водой окатило. Я понял, что я дитя в ее глазах,— и мне стало очень тяжело! Зинаида ходила взад и вперед по комнате, всякий раз быстро улыбалась, как только взглядывала на меня; но мысли

ее были далеко, я это ясно видел... «Заговорить самому о вчерашнем деле,— подумал я,— спросить ее, куда она так спешила, чтобы узнать окончательно...», но я только махнул рукой и присел в уголок.

Беловзоров вошел; я ему обрадовался.

— Не нашел я вам верховой лошади, смирной,— заговорил он суровым голосом,— Фрейтаг мне ручается за одну — да я не уверен. Боюсь.

— Чего же вы боитесь,— спросила Зинаида,— позвольте спросить?

— Чего? Ведь вы не умеете ездить. Сохрани бог, что случится! И что за фантазия пришла вам вдруг в голову?

— Ну, это мое дело, мсьё мой зверь. В таком случае я попрошу Петра Васильевича... (Моего отца звали Петром Васильевичем. Я удивился тому, что она так легко и свободно упомянула его имя, точно она была уверена в его готовности услужить ей).

— Вот как,— возразил Беловзоров.— Вы это с ним хотите ездить?

— С ним или с другим — это для вас всё равно. Только не с вами.

— Не со мной,— повторил Беловзоров.— Как хотите. Что ж? Я вам лошадь доставлю.

— Да только смотрите, не корову какую-нибудь. Я вас предуведомляю, что я хочу скакать.

— Скачите, пожалуй... С кем же это, с Малевским, что ли, вы поедете?

— А почему бы и не с ним, воин? Ну, успокойтесь,— прибавила она,— и не сверкайте глазами. Я и вас возьму. Вы знаете, что для меня теперь Малевский — фи! — Она тряхнула головой.

— Вы это говорите, чтобы меня утешить,— проворчал Беловзоров.

Зинаида прищурилась.

— Это вас утешает?.. О... о... о... воин! — сказала она наконец, как бы не найдя другого слова.— А вы, мсьё Вольдемар, поехали ли бы вы с нами?

— Я не люблю... в большом обществе...— пробормотал я, не поднимая глаз.

— Вы предпочитаете tête-à-tête?..[1] Ну, вольному воля, спасенному... рай,—промолвила она вздохнув-

---

[1] с глазу на глаз? *(франц.)*.

ши.— Ступайте же, Беловзоров, хлопочите. Мне лошадь нужна к завтрашнему дню.

— Да; а деньги откуда взять? — вмешалась княгиня.

Зинаида наморщила брови.

— Я у вас их не прошу; Беловзоров мне поверит.

— Поверит, поверит...— проворчала княгиня — и вдруг во всё горло закричала: — Дуняшка!

— Maman, я вам подарила колокольчик,— заметила княжна.

— Дуняшка! — повторила старуха.

Беловзоров откланялся; я ушел вместе с ним. Зинаида меня не удерживала.

XIV

На следующее утро я встал рано, вырезал себе палку и отправился за заставу. Пойду, мол, размыкаю свое горе. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий; веселый, свежий ветер гулял над землею и в меру шумел и играл, всё шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам; я не чувствовал себя счастливым, я вышел из дому с намерением предаться унынию, но молодость, прекрасная погода, свежий воздух, потеха быстрой ходьбы, нега уединенного лежания на густой траве — взяли свое: воспоминание о тех незабвенных словах, о тех поцелуях опять втеснилось мне в душу. Мне приятно было думать, что Зинаида не может, однако, не отдать справедливости моей решимости, моему героизму... «Другие для нее лучше меня,— думал я,— пускай! Зато другие только скажут, что сделают, а я сделал! И то ли я в состоянии еще сделать для нее!..» Воображение мое заиграло. Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь облитый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног. Я вспомнил картину, висевшую у нас в гостиной: Малек-Аделя, уносящего Матильду,— и тут же занялся появлением большого пестрого дятла, который хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и с беспокойством выглядывал из-за нее, то направо, то налево, точно музыкант из-за шейки контрабаса.

Потом я запел: «Не белы снеги» и свел на известный в то время романс; «Я жду тебя, когда зефир игривый»; потом я начал громко читать обращение Ермака к звездам

из трагедии Хомякова; попытался было сочинить что-нибудь в чувствительном роде, придумал даже строчку, которой должно было заканчиваться всё стихотворение: «О, Зинаида! Зинаида!», но ничего не вышло. Между тем наступало время обеда. Я спустился в долину; узкая песчаная дорожка вилась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке... Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку: я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади; он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних; только через несколько мгновений, из-за поворота долины, показался Беловзоров в гусарском мундире с ментиком, на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал: всадник и сдерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды, она медленно подняла на него глаза — и оба поскакали... Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак,— подумал я,— а она... Отчего она такая бледная? ездила верхом целое утро — и бледная?»

Я удвоил шаги и поспел домой перед самым обедом. Отец уже сидел переодетый, вымытый и свежий, возле матушкиного кресла и читал ей своим ровным и звучным голосом фельетон «Journal des Débats», но матушка слушала его без внимания и, увидавши меня, спросила, где я пропадал целый день, и прибавила, что не любит, когда таскаются бог знает где и бог знает с кем. «Да я гулял один»,— хотел было я ответить, но посмотрел на отца и почему-то промолчал.

XV

В течение следующих пяти, шести дней я почти не видел Зинаиды: она сказывалась больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться, как они выражались, на свое дежурство — всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застегнутый и красный; на тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка; он действительно впал в немилость у Зи-

наиды и с особенным стараньем подслуживался старой княгине, ездил с ней в ямской карете к генерал-губернатору. Впрочем, это поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность: ему напомнили какую-то историю с какими-то путейскими офицерами — и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго; я немножко боялся его после нашего последнего объяснения и в то же время чувствовал к нему искреннее влечение. Он однажды пошел гулять со мною по Нескучному саду, был очень добродушен и любезен, сообщал мне названия и свойства разных трав и цветов и вдруг, как говорится, ни к селу ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу: «А я, дурак, думал, что она кокетка! Видно, жертвовать собою сладко — для иных».

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— Вам я ничего не хочу сказать,— отрывисто возразил Лушин.

Меня Зинаида избегала: мое появление — я не мог этого не заметить — производило на нее впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась от меня... невольно; вот что было горько, вот что меня сокрушало! Но делать было нечего — и я старался не попадаться ей на глаза и лишь издали ее подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то непонятное; ее лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена в один теплый, тихий вечер. Я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины; я любил это местечко: оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел; над моей головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка; серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад, и первые жуки тяжело гудели в воздухе, еще прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно — и ждал, не отворится ли оно: точно — оно отворилось, и в нем появилась Зинаида. На ней было белое платье — и сама она, ее лицо, плечи, руки были бледны до белизны. Она долго осталась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки, крепко-крепко, поднесла их к губам, ко лбу — и вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы от ушей, встряхнула ими и, с какой-то решительностью кивнув сверху вниз головою, захлопнула окно.

Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила.

— Дайте мне руку,— сказала она мне с прежней лаской,— мы давно с вами не болтали.

Я взглянул на нее: глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось, точно сквозь дымку.

— Вы всё еще нездоровы? — спросил я ее.

— Нет, теперь всё прошло,— отвечала она и сорвала небольшую красную розу.— Я немножко устала, но и это пройдет.

— И вы опять будете такая же, как прежде? — спросил я.

Зинаида поднесла розу к лицу — и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки.

— Разве я изменилась? — спросила она меня.

— Да, изменились,— ответил я вполголоса.

— Я с вами была холодна — я знаю,— начала Зинаида,— но вы не должны были обращать на это внимания... Я не могла иначе... Ну, да что об этом говорить!

— Вы не хотите, чтоб я любил вас, вот что! — воскликнул я мрачно, с невольным порывом.

— Нет, любите меня — но не так, как прежде.

— Как же?

— Будемте друзьями — вот как! — Зинаида дала мне понюхать розу.— Послушайте, ведь я гораздо старше вас — я могла бы быть вашей тетушкой, право; ну, не тетушкой, старшей сестрой. А вы...

— Я для вас ребенок,— перебил я ее.

— Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалую к себе в пажи; а вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего нового достоинства,— прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки,— знак нашей к вам милости.

— Я от вас прежде получал другие милости,— пробормотал я.

— А! — промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня.— Какая у него память! Что ж? я и теперь готова...

И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй.

Я только посмотрел на нее, а она отвернулась и, сказавши: «Ступайте за мной, мой паж»,— пошла к флигелю.

Я отправился вслед за нею — и всё недоумевал. «Неужели,— думал я,— эта кроткая, рассудительная девушка — та самая Зинаида, которую я знал?» И походка ее мне казалась тише — вся ее фигура величественнее и стройней...

И боже мой! с какой новой силой разгоралась во мне любовь!

XVI

После обеда опять собрались во флигеле гости — и княжна вышла к ним. Всё общество была налицо, в полном составе, как в тот первый, незабвенный для меня вечер: даже Нирмацкий притащился; Майданов пришел в этот раз раньше всех — он принес новые стихи. Начались опять игры в фанты, но уже без прежних странных выходок, без дурачества и шума — цыганский элемент исчез. Зинаида дала новое настроение нашей сходке. Я сидел подле нее по праву пажа. Между прочим, она предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон; но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные (Беловзоров видел во сне, что накормил свою лошадь карасями и что у ней была деревянная голова), либо неестественные, сочиненные. Майданов угостил нас целою повестью: тут были и могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки. Зинаида не дала ему докончить.

— Коли уж дело пошло на сочинения,— сказала она,— так пускай каждый расскажет что-нибудь непременно выдуманное.

Первому досталось говорить тому же Беловзорову. Молодой гусар смутился.

— Я ничего выдумать не могу! — воскликнул он.

— Какие пустяки! — подхватила Зинаида.— Ну, вообразите себе, например, что вы женаты, и расскажите нам, как бы вы проводили время с вашей женой. Вы бы ее заперли?

— Я бы ее запер.

— И сами бы сидели с ней?

— И сам непременно сидел бы с ней.

— Прекрасно. Ну, а если бы ей это надоело, и она бы изменила вам?

— Я бы ее убил.

— А если б она убежала?

— Я бы догнал ее и все-таки бы убил.

— Так. Ну, а положим, я была бы вашей женой, что бы вы тогда сделали?

Беловзоров помолчал.

— Я бы себя убил...

Зинаида засмеялась.

— Я вижу, у вас недолга песня.

Второй фант вышел Зинаидин. Она подняла глаза к потолку и задумалась.

— Вот, послушайте,— начала она наконец,— что я выдумала... Представьте себе великолепный чертог, летнюю ночь и удивительный бал. Бал этот дает молодая королева. Везде золото, мрамор, хрусталь, шелк, огни, алмазы, цветы, куренья, все прихоти роскоши.

— Вы любите роскошь? — перебил ее Лушин.

— Роскошь красива,— возразила она,— я люблю всё красивое.

— Больше прекрасного? — спросил он.

— Это что-то хитро, не понимаю. Не мешайте мне. Итак, бал великолепный. Гостей множество, все они молоды, прекрасны, храбры, все без памяти влюблены в королеву.

— Женщин нет в числе гостей? — спросил Малевский.

— Нет — или погодите — есть.

— Всё некрасивые?

— Прелестные. Но мужчины все влюблены в королеву. Она высока и стройна; у ней маленькая золотая диадема на черных волосах.

Я посмотрел на Зинаиду — и в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас, от ее белого лба, от ее недвижных бровей веяло таким светлым умом и такою властию, что я подумал: «Ты сама эта королева!»

— Все толпятся вокруг нее,— продолжала Зинаида,— все расточают перед ней самые льстивые речи.

— А она любит лесть? — спросил Лушин.

— Какой несносный! всё перебивает... Кто ж не любит лести?

— Еще один, последний вопрос,— заметил Малевский.— У королевы есть муж?

— Я об этом и не подумала. Нет, зачем муж?

— Конечно,— подхватил Малевский,— зачем муж?

— Silence! [1] — воскликнул Майданов, который по-французски говорил плохо.

— Merci,— сказала ему Зинаида.— Итак, королева слушает эти речи, слушает музыку, но не глядит ни на кого из гостей. Шесть окон раскрыты сверху донизу, от потолка до полу; а за ними темное небо с большими звездами да темный сад с большими деревьями. Королева глядит в сад. Там, около деревьев, фонтан; он белеет во мраке — длинный, длинный, как привидение. Королева слышит сквозь говор и музыку тихий плеск воды. Она смотрит и думает: вы все, господа, благородны, умны, богаты, вы окружили меня, вы дорожите каждым моим словом, вы все готовы умереть у моих ног, я владею вами.... А там, возле фонтана, возле этой плещущей воды, стоит и ждет меня тот, кого я люблю, кто мною владеет. На нем нет ни богатого платья, ни драгоценных камней, никто его не знает, но он ждет меня и уверен, что я приду,— и я приду, и нет такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти к нему, и остаться с ним, и потеряться с ним там, в темноте сада, под шорох деревьев, под плеск фонтана...

Зинаида умолкла.

— Это выдумка? — хитро спросил Малевский.

Зинаида даже не посмотрела на него.

— А что бы мы сделали, господа,— вдруг заговорил Лушин,— если бы мы были в числе гостей и знали про этого счастливца у фонтана?

— Постойте, постойте,— перебила Зинаида,— я сама скажу вам, что бы каждый из вас сделал. Вы, Беловзоров, вызвали бы его на дуэль; вы, Майданов, написали бы на него эпиграмму... Впрочем, нет — вы не умеете писать эпиграмм; вы сочинили бы на него длинный ямб, вроде Барбье, и поместили бы ваше произведение в «Телеграфе». Вы, Нирмацкий, заняли бы у него... нет, вы бы дали ему взаймы денег за проценты; вы, доктор...— Она остановилась.— Вот я про вас не знаю, что бы вы сделали.

— По званию лейб-медика,— отвечал Лушин,— я бы присоветовал королеве не давать балов, когда ей не до гостей...

— Может быть, вы были бы правы. А вы, граф...

— А я? — повторил со своей недоброй улыбкой Малевский...

---

[1] Тише! *(франц.)*.

— А вы бы поднесли ему отравленную конфетку.

Лицо Малевского слегка перекосилось и приняло на миг жидовское выражение, но он тотчас же захохотал.

— Что же касается до вас, Вольдемар...— продолжала Зинаида,— впрочем, довольно; давайте играть в другую игру.

— Мсьё Вольдемар, в качестве пажа королевы, держал бы ей шлейф, когда бы она побежала в сад, —ядовито заметил Малевский.

Я вспыхнул, но Зинаида проворно положила мне на плечо руку и, приподнявшись, промолвила слегка дрожащим голосом:

— Я никогда не давала вашему сиятельству права быть дерзким и потому прошу вас удалиться.— Она указала ему на дверь.

— Помилуйте, княжна,— пробормотал Малевский и весь побледнел.

— Княжна права,— воскликнул Беловзоров и тоже поднялся.

— Я, ей-богу, никак не ожидал,— продолжал Малевский,— в моих словах, кажется, ничего не было такого... у меня и в мыслях не было оскорбить вас... Простите меня.

Зинаида окинула его холодным взглядом и холодно усмехнулась.

— Пожалуй, останьтесь,— промолвила она с небрежным движением руки.— Мы с мсьё Вольдемаром напрасно рассердились. Вам весело жалиться.... на здоровье.

— Простите меня,— еще раз повторил Малевский, а я, вспоминая движение Зинаиды, подумал опять, что настоящая королева не могла бы с бóльшим достоинством указать дерзновенному на дверь.

Игра в фанты продолжалась недолго после этой небольшой сцены; всем немного стало неловко, не столько от самой этой сцены, сколько от другого, не совсем определенного, но тяжелого чувства. Никто о нем не говорил, но всякий сознавал его и в себе и в своем соседе. Майданов прочел нам свои стихи — и Малевский с преувеличенным жаром расхвалил их. «Как ему теперь хочется показаться добрым»,— шепнул мне Лушин. Мы скоро разошлись. На Зинаиду внезапно напало раздумье;

княгиня выслала сказать, что у ней голова болит; Нирмацкий стал жаловаться на свои ревматизмы...

Я долго не мог заснуть, меня поразил рассказ Зинаиды.

— Неужели в нем заключался намек? — спрашивал я самого себя,— и на кого, на что она намекала? И если точно есть на что намекнуть... как же решиться? Нет, нет, не может быть,— шептал я, переворачиваясь с одной горячей щеки на другую... Но я вспоминал выражение лица Зинаиды во время ее рассказа... я вспоминал восклицание, вырвавшееся у Лушина в Нескучном, внезапные перемены в ее обращении со мною — и терялся в догадках. «Кто он?» Эти два слова точно стояли перед моими глазами, начертанные во мраке; точно низкое зловещее облако повисло надо мною — и я чувствовал его давление и ждал, что вот-вот оно разразится. Ко многому я привык в последнее время, на многое насмотрелся у Засекиных; их беспорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачный Вонифатий, обтёрханные горничные, манеры самой княгини — вся эта странная жизнь уже не поражала меня более... Но к тому, что мне смутно чудилось теперь в Зинаиде,— я привыкнуть не мог... «Авантюрьерка»,— сказала про нее однажды моя мать. Авантюрьерка — она, мой идол, мое божество! Это название жгло меня, я старался уйти от него в подушку, я негодовал — и в то же время, на что бы я не согласился, чего бы я не дал, чтобы только быть тем счастливцем у фонтана!..

Кровь во мне загорелась и расходилась. «Сад... фонтан...— подумал я.— Пойду-ка я в сад». Я проворно оделся и выскользнул из дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали; с неба падал тихий холодок, от огорода тянуло запахом укропа. Я обошел все аллеи; легкий звук моих шагов меня и смущал и бодрил; я останавливался, ждал и слушал, как стукало мое сердце — крупно и скоро. Наконец, я приблизился к забору и оперся на тонкую жердь. Вдруг — или это мне почудилось? — в нескольких шагах от меня промелькнула женская фигура... Я усиленно устремил взор в темноту — я притаил дыхание. Что это? Шаги ли мне слышатся — или это опять стучит мое сердце? «Кто здесь?» — пролепетал я едва внятно. Что это опять? подавленный ли смех?.. или шорох в листьях... или вздох над самым ухом? Мне стало страшно... «Кто здесь?» — повторил я еще тише.

Воздух заструился на мгновение; по небу сверкнула огненная полоска: звезда покатилась. «Зинаида?» — хотел спросить я, но звук замер у меня на губах. И вдруг всё стало глубоко безмолвно кругом, как это часто бывает в середине ночи... Даже кузнечики перестали трещать в деревьях — только окошко где-то звякнуло. Я постоял, постоял и вернулся в свою комнату, к своей простывшей постели. Я чувствовал странное волнение: точно я ходил на свидание — и остался одиноким и прошел мимо чужого счастия.

XVII

На следующий день я видел Зинаиду только мельком: она ездила куда-то с княгинею на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф осклабился и дружелюбно заговорил со мною. Из всех посетителей флигелька он один умел втереться к нам в дом и полюбился матушке. Отец его не жаловал и обращался с ним до оскорбительности вежливо.

— Ah, monsieur le page! [1]— начал Малевский,— очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева?

Его свежее, красивое лицо так мне было противно в эту минуту — и он глядел на меня так презрительно-игриво, что я не отвечал ему вовсе.

— Вы всё сердитесь? — продолжал он.— Напрасно. Ведь не я вас назвал пажем, а пажи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность.

— Как так?

— Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах; пажи должны всё знать, что они делают, они должны даже наблюдать за ними,— прибавил он, понизив голос,— днем и ночью.

— Что вы хотите сказать?

— Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем — и ночью. Днем еще так и сяк; днем светло и людно; но ночью — тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать, наблюдать из всех сил. Помните — в саду, ночью, у фонтана — вот где надо караулить. Вы мне спасибо скажете.

---

[1] А, господин паж! *(франц.)*.

Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значенья тому, что сказал мне; он имел репутацию отличного мистификатора и славился своим умением дурачить людей на маскарадах, чему весьма способствовала та почти бессознательная лживость, которою было проникнуто всё его существо... Он хотел только подразнить меня; но каждое его слово протекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. «А! вот что! — сказал я самому себе,— добро! Стало быть, мои вчерашние предчувствия были справедливы! Стало быть, меня недаром тянуло в сад! Так не бывать же этому!»— воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь, хотя я собственно и не знал — чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад,— думал я (он, может быть, проболтался: на это дерзости у него станет),— другой ли кто (ограда нашего сада была очень низка, и никакого труда не стоило перелезть через нее),— но только несдобровать тому, кто мне попадется! Никому не советую встречаться со мною! Я докажу всему свету и ей, изменнице (я так-таки и назвал ее изменницей), что я умею мстить!»

Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмурив брови, с холодной и сосредоточенной решительностью сунул его себе в карман, точно мне такие дела делать было не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело; я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ, и то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукою в кармане разогревшийся нож и заранее приготовляясь к чему-то страшному. Эти новые, небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что собственно о Зинаиде я мало думал. Мне всё мерещились: Алеко, молодой цыган — «Куда, красавец молодой? — Лежи...», а потом: «Ты весь обрызган кровью!.. О, что ты сделал?..» — «Ничего!» С какой жестокой улыбкой я повторил это: ничего! Отца не было дома; но матушка, которая с некоторого времени находилась в состоянии почти постоянного глухого раздражения, обратила внимание на мой фатальный вид и сказала мне за ужином: «Чего ты дуешься, как мышь на крупу?» Я только снисходительно усмехнулся ей в ответ и подумал: «Если б они знали!» Пробило одиннадцать часов; я ушел к себе, но не раздевался, я

выжидал полночи; наконец пробила и она. «Пора!» — шепнул я сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад.

Я уже заранее выбрал себе место, где караулить. На конце сада, там, где забор, разделявший наши и засекинские владения, упирался в общую стену, росла одинокая ель. Стоя под ее низкими, густыми ветвями, я мог хорошо видеть, насколько позволяла ночная темнота, что происходило вокруг; тут же вилась дорожка, которая мне всегда казалась таинственной: она змеей проползала под забором, носившим в этом месте следы перелезавших ног, и вела к круглой беседке из сплошных акаций. Я добрался до ели, прислонился к ее стволу и начал караулить.

Ночь стояла такая же тихая, как и накануне; но на небе было меньше туч — и очертанья кустов, даже высоких цветов, яснее виднелись. Первые мгновенья ожидания были томительны, почти страшны. Я на всё решился, я только соображал: как мне поступить? Загреметь ли: «Куда идешь? Стой! сознайся — или смерть!» — или просто поразить... Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычайным... Я готовился... Я наклонился вперед... Но прошло полчаса, прошел час; кровь моя утихала, холодела; сознание, что я напрасно всё это делаю, что я даже несколько смешон, что Малевский подшутил надо мною,— начало прокрадываться мне в душу. Я покинул мою засаду и обошел весь сад. Как нарочно, нигде не было слышно малейшего шума; всё покоилось; даже собака наша спала, свернувшись в клубочек у калитки. Я взобрался на развалину оранжереи, увидел пред собою далекое поле, вспомнил встречу с Зинаидой и задумался...

Я вздрогнул... Мне почудился скрип отворявшейся двери, потом легкий треск переломанного сучка. Я в два прыжка спустился с развалины — и замер на месте. Быстрые, легкие, но осторожные шаги явственно раздавались в саду. Они приближались ко мне. «Вот он... Вот он, наконец!» — промчалось у меня по сердцу. Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его — какие-то красные искры закрутились у меня в глазах, от страха и злости на голове зашевелились волосы... Шаги направлялись прямо на меня — я сгибался, я тянулся им навстречу... Показался человек... боже мой! это был мой отец!

Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало, но я так скорчился и съежился, что, кажется, сравнялся с самою землею. Ревнивый, готовый на убийство Отелло внезапно превратился в школьника... Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал: «Зачем это отец ходит ночью по саду»,— когда опять всё утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал: мне было очень стыдно. Я разом отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг — цвет их стал изменяться... За ними — я это видел, видел явственно — осторожно и тихо спускалась беловатая штора, спустилась до оконницы — и так и осталась неподвижной.

— Что ж это такое? — проговорил я вслух, почти невольно, когда снова очутился в своей комнате.— Сон, случайность или...— Предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новы и странны, что я не смел даже предаться им.

XVIII

Я встал поутру с головною болью. Вчерашнее волнение исчезло. Оно заменилось тяжелым недоумением и какою-то еще небывалою грустью — точно во мне что-то умирало.

— Что это вы смотрите кроликом, у которого вынули половину мозга? — сказал мне, встретившись со мною, Лушин.

За завтраком я украдкой взглядывал то на отца, то на мать: он был спокоен, по обыкновению; она, по обыкновению, тайно раздражалась. Я ждал, не заговорит ли отец со мною дружелюбно, как это иногда с ним случалось... Но он даже не поласкал меня своей вседневною, холодною лаской. «Рассказать всё Зинаиде?..— подумал я.— Ведь уж всё равно — всё кончено между нами». Я отправился к ней, но не только ничего не рассказал ей — даже побеседовать с ней мне не удалось,

как бы хотелось. К княгине на вакансию приехал из Петербурга родной ее сын, кадет, лет двенадцати; Зинаида тотчас поручила мне своего брата.

— Вот вам,— сказала она,— мой милый Володя (она в первый раз так меня называла), товарищ. Его тоже зовут Володей. Пожалуйста, полюбите его; он еще дичок, но у него сердце доброе. Покажите ему Нескучное, гуляйте с ним, возьмите его под свое покровительство. Не правда ли, вы это сделаете? вы тоже такой добрый!

Она ласково положила мне обе руки на плечи — а я совсем потерялся. Прибытие этого мальчика превращало меня самого в мальчика. Я глядел молча на кадета, который так же безмолвно уставился на меня. Зинаида расхохоталась и толкнула нас друг на друга.

— Да обнимитесь же, дети!

Мы обнялись.

— Хотите, я вас поведу в сад? — спросил я кадета.

— Извольте-с,— отвечал он сиплым, прямо кадетским голосом.

Зинаида опять рассмеялась... Я успел заметить, что никогда еще не было у ней на лице таких прелестных красок. Мы с кадетом отправились. У нас в саду стояли старенькие качели. Я его посадил на тоненькую дощечку и начал его качать. Он сидел неподвижно, в новом своем мундирчике из толстого сукна, с широкими золотыми позументами, и крепко держался за веревки.

— Да вы расстегните свой воротник,— сказал я ему.

— Ничего-с, мы привыкли-с,— проговорил он и откашлялся.

Он походил на свою сестру; особенно глаза ее напоминали. Мне было и приятно ему услуживать, и в то же время та же ноющая грусть тихо грызла мне сердце. «Теперь уж я точно ребенок,— думал я,— а вчера...» Я вспомнил, где я накануне уронил ножик, и отыскал его. Кадет выпросил его у меня, сорвал толстый стебель зори, вырезал из него дудку и принялся свистать. Отелло посвистал тоже.

Но зато вечером, как он плакал, этот самый Отелло, на руках Зинаиды, когда, отыскав его в уголку сада, она спросила его, отчего он так печален? Слезы мои хлынули с такой силой, что она испугалась.

— Что с вами? что с вами, Володя? — твердила она и, видя, что я не отвечаю ей и не перестаю плакать, вздумала было поцеловать мою мокрую щеку.

Но я отвернулся от нее и прошептал сквозь рыдания:

— Я всё знаю; зачем же вы играли мною?.. На что вам нужна была моя любовь?

— Я виновата перед вами, Володя...— промолвила Зинаида.— Ах, я очень виновата...— прибавила она и стиснула руки.— Сколько во мне дурного, темного, грешного... Но я теперь не играю вами, я вас люблю — вы и не подозреваете, почему и как... Однако что же вы знаете?

Что мог я сказать ей? Она стояла передо мною и глядела на меня — а я принадлежал ей весь, с головы до ног, как только она на меня глядела... Четверть часа спустя я уже бегал с кадетом и с Зинаидой взапуски; я не плакал, я смеялся, хотя напухшие веки от смеха роняли слезы; у меня на шее, вместо галстучка, была повязана лента Зинаиды, и я закричал от радости, когда мне удалось поймать ее за талию. Она делала со мной всё что хотела.

XIX

Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Это было странное, лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозренья, надежды, радости и страданья кружились вихрем; я страшился заглянуть в себя, если только шестнадцатилетний мальчик может в себя заглянуть, страшился отдать себе отчет в чем бы то ни было; я просто спешил прожить день до вечера; зато ночью я спал... детское легкомыслие мне помогало. Я не хотел знать, любят ли меня, и не хотел сознаться самому себе, что меня не любят; отца я избегал — но Зинаиды избегать я не мог... Меня жгло как огнем в ее присутствии... но к чему мне было знать, что это был за огонь, на котором я горел и таял,— благо мне было сладко таять и гореть. Я отдавался всем своим впечатлениям и сам с собой лукавил, отворачивался от воспоминаний и закрывал глаза перед тем, что предчувствовал впереди... Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось... громовой удар разом всё прекратил и перебросил меня в новую колею.

Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду

обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное... Расспрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре — я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена (а в девичьей всё было слышно до единого слова; многое было сказано по-французски — да горничная Маша пять лет жила у швеи из Парижа и всё понимала); что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и в свою очередь сказал какое-то жестокое слово, «якобы об ихних летах», отчего матушка заплакала; что матушка также упомянула о векселе, будто бы данном старой княгине, и очень о ней дурно отзывалась и о барышне также, и что тут отец ей пригрозил.

— А произошла вся беда,— продолжал Филипп,— от безымянного письма; а кто его написал — неизвестно; а то бы как этим делам наружу выйти, причины никакой нет.

— Да разве что-нибудь было? — с трудом проговорил я, между тем как руки и ноги у меня холодели и что-то задрожало в самой глубине груди.

Филипп знаменательно мигнул.

— Было. Этих делов не скроешь; уж на что батюшка ваш в этом разе осторожен — да ведь надобно ж, примерно, карету нанять или там что... без людей не обойдешься тоже.

Я услал Филиппа — и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию; я не спрашивал себя, когда и как всё это случилось; не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался,— я даже не роптал на отца... То, что я узнал, было мне не под силу: это внезапное откровение раздавило меня... Всё было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные.

XX

Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Утром отец вошел к ней в спальню и долго сидел с нею наедине. Никто не слышал, что он сказал

ей, но матушка уж не плакала больше; она успокоилась и кушать потребовала — однако не показалась и решения своего не переменила. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель, а вечером я был свидетелем удивительного происшествия: отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и, в присутствии лакея, холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь; а теперь я не буду входить с вами в объяснения, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съежился и исчез.

Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче; но, видно, он успел упросить матушку не затевать истории. Всё делалось тихо, не спеша, матушка велела даже поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной,— и одного только желал, как бы поскорее всё это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы: как могла она, молодая девушка — ну, и все-таки княжна,— решиться на такой поступок, зная, что мой отец человек несвободный, и имея возможность выйти замуж хоть, например, за Беловзорова? На что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот это — любовь, это — страсть, это — преданность... и вспоминались мне слова Лушина: жертвовать собою сладко для иных. Как-то пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно... «Неужели это лицо Зинаиды?» — подумал я... Точно, это было ее лицо. Я не вытерпел. Я не мог расстаться с нею, не сказав ей последнего прости. Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель.

В гостиной княгиня встретила меня своим обычным, неопрятно-небрежным приветом.

— Что это, батюшка, ваши так рано всполошились? — промолвила она, забивая табак в обе ноздри.

Я посмотрел на нее, и у меня отлегло от сердца. Слово: вексель, сказанное Филиппом, мучило меня. Она ничего не подозревала... по крайней мере мне тогда так показалось. Зинаида появилась из соседней комнаты,

в черном платье, бледная, с развитыми волосами; она молча взяла меня за руку и увела с собой.

— Я услышала ваш голос,— начала она,— и тотчас вышла. И вам так легко было нас покинуть, злой мальчик?

— Я пришел с вами проститься, княжна,— отвечал я, —вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали — мы уезжаем.

Зинаида пристально посмотрела на меня.

— Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас; но все-таки я не такая, какою вы меня воображаете.

Она отвернулась и прислонилась к окну.

— Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения.

— Я?

— Да, вы... вы.

— Я? — повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния.— Я? Поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих.

Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий, прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится.

— Прощайте, прощайте,— твердил я...

Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось; но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал.

Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала; но собственно против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив: он как будто еще вырос в моих глазах... Пускай психологи объяснят это противоречие как знают. Однажды я шел по бульвару и, к неописанной моей радости, столкнулся с Лушиным. Я его любил за его прямой и нелицемерный нрав, да притом он был мне дорог по воспоминаниям, которые он во мне возбуждал. Я бросился к нему.

— Ага! — промолвил он и нахмурил брови.— Это

вы, молодой человек! Покажите-ка себя. Вы всё еще желты, а все-таки в глазах нет прежней дряни. Человеком смотрите, не комнатной собачкой. Это хорошо. Ну, что же вы? работаете?

Я вздохнул. Лгать мне не хотелось, а правду сказать я стыдился.

— Ну, ничего,— продолжал Лушин,— не робейте. Главное дело: жить нормально и не поддаваться увлечениям. А то что пользы? Куда бы волна ни понесла — всё худо; человек хоть на камне стой, да на своих ногах. Я вот кашляю... а Беловзоров — слыхали вы?

— Что такое? нет.

— Без вести пропал; говорят, на Кавказ уехал. Урок вам, молодой человек. А вся штука оттого, что не умеют вовремя расстаться, разорвать сети. Вот вы, кажется, выскочили благополучно. Смотрите же, не попадитесь опять. Прощайте.

«Не попадусь...— думал я,— не увижу ее больше»; но мне было суждено еще раз увидеть Зинаиду.

XXI

Отец мой каждый день выезжал верхом; у него была славная рыже-чалая английская лошадь, с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме отца, на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало; он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою.

— Давай лучше играть в чехарду,— отвечал мне отец,— а то ты на своем клепере за мной не поспеешь.

— Поспею; я тоже шпоры надену.

— Ну, пожалуй.

Мы отправились. У меня был вороненький, косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый; правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда Электрик шел полной рысью, но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника, подобного отцу; он сидел так красиво и небрежно-ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на Девичьем поле, перепрыгнули через несколько заборов (сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей,— и я перестал бояться),

переехали дважды чрез Москву-реку — и я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более что сам отец заметил, что лошадь моя устала, как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского броду и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним. Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с Электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же, у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и бранясь с Электриком, который на ходу то и дело дергал головой, встряхивался, фыркал, ржал; а когда я останавливался, попеременно рыл копытом землю, с визгом кусал моего клепера в шею, словом, вел себя как избалованный pur sang[1]. Отец не возвращался. От реки несло неприятной сыростью; мелкий дождик тихонько набежал и испестрил крошечными темными пятнами сильно надоевшие мне глупые серые бревна, около которых я скитался. Тоска меня брала, а отца всё не было. Какой-то будочник из чухонцев, тоже весь серый, с огромным старым кивером в виде горшка на голове и с алебардой (зачем, кажется, было будочнику находиться на берегу Москвы-реки!), приблизился ко мне и, обратив ко мне свое старушечье, сморщенное лицо, промолвил:

— Что вы здесь делаете с лошадьми, барчук? Дайте-ка я подержу.

Я не отвечал ему; он попросил у меня табаку. Чтобы отвязаться от него (к тому же нетерпение меня мучило), я сделал несколько шагов по тому направлению, куда удалился отец; потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в сорока шагах от меня, пред раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец; он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом; эта женщина была Зинаида.

Я остолбенел. Этого я, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. «Отец оглянется,— подумал я,— и я пропал...». Но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха — остановило меня. Я стал гля-

---

[1] конь чистокровной породы *(франц.)*.

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». СТРАНИЦА ЧЕРНОВОГО АВТОГРАФА.

Национальная библиотека, Париж.

деть, я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Я как теперь вижу ее лицо — печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния — я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась — покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения... Потом послышались слова: «Vous devez vous séparer de cette...»[1] Зинаида выпрямилась и протянула руку... Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело: отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука,— и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заалевшийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом... Зинаида обернулась — и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна.

С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив Электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства, и все-таки я никак не мог понять, что я такое видел... Но я тут же почувствовал, что, сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. «Ее бьют,— думал я,— бьют... бьют...».

— Ну, что же ты — давай мне лошадь! — раздался за мной голос отца.

Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на Электрика... Прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени... но скоро отец укротил его; он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее... «Эх, хлыста нету»,— пробормотал он.

[1] «Вы должны расстаться с этой...» *(франц.)*.

Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся.

— Куда ж ты дел его? — спросил я отца погодя немного.

Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо.

— Ты соскучился без меня? — проговорил он сквозь зубы.

— Немножко. Где же ты уронил свой хлыст? — спросил я его опять.

Отец быстро глянул на меня.

— Я его не уронил,— промолвил он,— я его бросил.

Он задумался и опустил голову... И тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты.

Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать; я приехал домой четверть часа после него.

«Вот это любовь,— говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги,— это страсть!.. Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было!.. от самой милой руки! А, видно, можно, если любишь... А я-то... я-то воображал...»

Последний месяц меня очень состарил — и моя любовь, со всеми своими волнениями и страданиями, показалась мне самому чем-то таким маленьким, и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке...

Странный и страшный сон мне приснился в эту самую ночь. Мне чудилось, что я вхожу в низкую темную комнату... Отец стоит с хлыстом в руке и топает ногами; в углу прижалась Зинаида, и не на руке, а на лбу у ней красная черта... А сзади их обоих поднимается весь окровавленный Беловзоров, раскрывает бледные губы и гневно грозит отцу.

Два месяца спустя я поступил в университет, а через полгода отец мой скончался (от удара) в Петербурге, куда только что переселился с моей матерью и со мною. За несколько дней до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало... Он ходил просить о чем-то матушку и, говорят, даже заплакал, он, мой отец! В самое утро того дня, когда с ним

сделался удар, он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой,— писал он мне,— бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы...» Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву.

XXII

Прошло года четыре. Я только что вышел из университета и не знал еще хорошенько, что мне начать с собою, в какую дверь стучаться: шлялся пока без дела. В один прекрасный вечер я в театре встретил Майданова. Он успел жениться и поступить на службу; но я не нашел в нем перемены. Он так же ненужно восторгался и так же внезапно падал духом.

— Вы знаете,— сказал он мне,— между прочим, госпожа Дольская здесь.

— Какая госпожа Дольская?

— Вы разве забыли? бывшая княжна Засекина, в которую мы все были влюблены, да и вы тоже. Помните, на даче, возле Нескучного.

— Она замужем за Дольским?

— Да.

— И она здесь, в театре?

— Нет, в Петербурге, она на днях сюда приехала; собирается за границу.

— Что за человек ее муж? — спросил я.

— Прекрасный малый, с состоянием. Сослуживец мой московский. Вы понимаете — после той истории... вам это всё должно быть хорошо известно (Майданов значительно улыбнулся)... ей не легко было составить себе партию; были последствия... но с ее умом всё возможно. Ступайте к ней: она вам будет очень рада. Она еще похорошела.

Майданов дал мне адрес Зинаиды. Она остановилась в гостинице Демут. Старые воспоминания во мне расшевелились... я дал себе слово на другой же день посетить бывшую мою «пассию». Но встретились какие-то дела; прошла неделя, другая, и когда я, наконец, отправился в гостиницу Демут и спросил госпожу Дольскую — я узнал, что она четыре дня тому назад умерла почти внезапно от родов.

Меня как будто что-то в сердце толкнуло. Мысль, что я мог ее увидеть и не увидел и не увижу ее никогда,—

эта горькая мысль впилась в меня со всею силою неотразимого упрека. «Умерла!» — повторил я, тупо глядя на швейцара, тихо выбрался на улицу и пошел не зная сам куда. Всё прошедшее разом всплыло и встало передо мною. И вот чем разрешилась, вот к чему, спеша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь! Я это думал, я воображал себе эти дорогие черты, эти глаза, эти кудри — в тесном ящике, в сырой подземной тьме — тут же, недалеко от меня, пока еще живого, и, может быть, в нескольких шагах от моего отца... Я всё это думал, я напрягал свое воображение, а между тем:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я,—

звучало у меня в душе. О молодость! молодость! тебе нет ни до чего дела, ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу, ты самоуверенна и дерзка, ты говоришь: я одна живу — смотрите! а у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета, и всё в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег... И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности всё сделать, а в возможности думать, что ты всё сделаешь,— состоит именно в том, что ты пускаешь по ветру силы, которые ни на что другое употребить бы не умела,— в том, что каждый из нас не шутя считает себя расточителем, не шутя полагает, что он вправе сказать: «О, что бы я сделал, если б я не потерял времени даром!»

Вот и я... на что я надеялся, чего я ожидал, какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением на миг возникший призрак моей первой любви?

А что сбылось из всего того, на что я надеялся? И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей, утренней, весенней грозе?

Но я напрасно клевещу на себя. И тогда, в то легкомысленное молодое время, я не остался глух на печальный голос, воззвавший ко мне, на торжественный звук, долетевший до меня из-за могилы. Помнится, несколько дней спустя после того дня, когда я узнал о смерти Зинаиды, я сам, по собственному неотразимому влечению, присутствовал при смерти одной бедной старушки, жив-

шей в одном с нами доме. Покрытая лохмотьями, на жестких досках, с мешком под головою, она трудно и тяжело кончалась. Вся жизнь ее прошла в горькой борьбе с ежедневной нуждою; не видела она радости, не вкушала от меду счастия — казалось, как бы ей не обрадоваться смерти, ее свободе, ее покою? А между тем пока ее ветхое тело еще упорствовало, пока грудь еще мучительно вздымалась под налегшей на нее леденящей рукою, пока ее не покинули последние силы,— старушка всё крестилась и всё шептала: «Господи, отпусти мне грехи мои»,— и только с последней искрой сознания исчезло в ее глазах выражение страха и ужаса кончины. И помню я, что тут, у одра этой бедной старушки, мне стало страшно за Зинаиду, и захотелось мне помолиться за нее, за отца — и за себя.



ПРИМЕЧАНИЯ

Шестой том Сочинений настоящего издания Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева содержит произведения, появившиеся в печати в 1859—1860 годах: романы «Дворянское гнездо» и «Накануне» и повесть «Первая любовь». Теснейшим образом связанные с предшествующим творчеством Тургенева, эти произведения вместе с тем знаменовали собой новый этап в его идейно-художественной эволюции,— этап, обусловленный прежде всего тем новым состоянием, в которое вступило русское общество после окончания Крымской войны, а также событиями личной биографии писателя.

Произведения, вошедшие в настоящий том, создавались в атмосфере ожидания бурно назревающих перемен, широкого пробуждения общественного сознания, необратимого нарастания революционно-демократического подъема в стране. Правительство Александра II, убедившееся в невозможности сохранения старого николаевского порядка, встало перед необходимостью проведения реформ, и в первую очередь — перед необходимостью отмены крепостного права.

В условиях подготовки крестьянской реформы на повестку дня русской общественной жизни был остро выдвинут вопрос о роли передовой дворянской интеллигенции. Для Тургенева, длительно и многосторонне работавшего в годы николаевской реакции над художественным воплощением социально-психологического типа «лишних людей», что нашло свое наиболее полное выражение и завершение в «Рудине», этот вопрос был вопросом первостепенной важности. По мнению писателя, в предстоящих реформах роль передовой дворянской интеллигенции должна была быть очень велика и так называемые «лишние люди» должны были найти себе достойное применение в реальной общественной деятельности.

Наряду с этой социально-общественной проблематикой и в тесной связи с ней Тургенева, как и прежде, продолжали занимать вопросы индивидуально-этического порядка, и в первую очередь вопрос о возможности достижения человеком личного счастья, когда эта возможность вступает в столкновение с моральным долгом. Тема эта, не однажды уже разрабатывавшаяся в предшествующем творчестве Тургенева («Рудин», «Фауст», «Ася»), в «Дворянском гнез-

де» усложняется и углубляется тем, что в отличие от предшествующих произведений, оба центральных персонажа романа, каждый по-своему, являются морально сильными и своеобразными людьми. Поэтому и тема невозможности «личного счастья» развита в «Дворянском гнезде» с наибольшей глубиной и наибольшим трагизмом. При этом, однако, в самой сюжетной ситуации, изображенной в романе, содержится новый для творчества писателя элемент,— его суд над прежними своими идеалами самопожертвования. В отказе новых героев Тургенева от личного счастья нашла проявление та душевная ущербность, которая не дает им возможности стать новыми историческими деятелями. Но крушение надежд на личное счастье приводит Лаврецкого к новой проблеме — к мыслям о нравственном долге перед народом и о необходимости действенно помогать ему. В эти переживания Лаврецкого, в разрешение моральных проблем, поставленных в романе, Тургенев вложил много личного, отражающего испытанный им зимой 1856/57 года глубокий творческий и психологический кризис.

Несмотря на то, что действие «Дворянского гнезда» отодвинуто назад, и даже на довольно значительное расстояние (хронология событий, изображенных в нем, точно определена как весна и лето 1842 года; предыстория — женитьба Лаврецкого — относится к началу 30-х годов, а эпилог отнесен ко времени через восемь лет после основного действия, т. е. к 1850 году, и все это вполне соответствует реалиям романа),— несмотря на это, проблематика его вполне современна годам, в которые он был написан. Такой герой, как Лаврецкий, мог явиться только *после* Рудина, и некоторые его демократические, «мужицкие» черты открывают путь к героям нового типа — Инсарову и, в дальнейшем, Базарову.

В написанном вслед за «Дворянским гнездом» романе «Накануне» Тургенев обращается к теме болгарского национально-освободительного движения. Однако и здесь главный вопрос, который волнует писателя,— это вопрос о судьбе России, о ее историческом пути. Выступая убежденным сторонником либеральных реформ, Тургенев считает необходимым условием для их проведения объединение всех передовых сил русского образованного общества, за которым должны идти народные массы. Носителем идеи единения интеллигенции с народом и явился в его романе болгарин Инсаров. Однако его позиция, рожденная интересами и условиями национально-освободительной борьбы, была, с революционно-демократической точки зрения, неприемлема для русской действительности. Самый образ Инсарова не удовлетворил разночинную критику, которая устами Добролюбова провозгласила, что России нужен «русский Инсаров», борец против «врагов внутренних». И не Инсарова, а Елену Стахову, как воплощение лучших черт и устремлений своих совре-

менников, Добролюбов считал главным лицом романа. Статья Добролюбова о «Накануне» с резко обозначенной в ней революционно-демократической позицией в отношении дворянского либерализма ускорила разрыв Тургенева с лагерем «Современника»,— событие, принципиально и сложно повлиявшее на его последующее творчество.

Завершив работу над «Накануне», еще до появления этого романа в печати, Тургенев пишет лирическую повесть на автобиографический сюжет — «Первая любовь». Он сосредоточивается здесь на психологии зарождения и развития чувства любви в молодом существе. Повесть эта — своеобразный художественный отчет писателя о своей собственной первой любви, она покоряет искренностью эмоционального тона, задушевностью, лирикой сердца. В коллизии «Первой любви» звучит мотив некоей роковой загадки любви, страсти переменчивой, капризной, властно влекущей и вместе с тем разрушающей,— мотив, кровно роднящий эту повесть как с предшествующим, так и с последующим творчеством Тургенева.

Тексты произведений, входящих в настоящий том, печатаются по последним прижизненным авторизованным изданиям: «Дворянское гнездо» — по изданию наследников братьев Салаевых (СПб., 1880, том 3). Для последнего прижизненного издания (СПб., 1883, том 3) Тургенев заново просмотрел текст романа, но при пересылке из Парижа в Россию просмотренный писателем том затерялся и, не имея возможности из-за болезни проделать ту же работу вторично, Тургенев поручил ее своему парижскому знакомому А. Ф. Онегину (см. наст. изд., Сочинения, т. 5, с. 384); «Накануне» — по изданию Глазунова (СПб., 1883, том 4); «Первая любовь» — по изданию Глазунова (СПб., 1883, том 7).

Тексты подготовили: *Т. П. Голованова* («Дворянское гнездо»), *А. П. Могилянский* («Накануне»), *Е. И. Кийко* («Первая любовь»). Комментарии написали: к «Дворянскому гнезду» — *М. П. Алексеев* (раздел „Дворянское гнездо“ в иностранных переводах» и реальный комментарий к роману) и *Т. П. Голованова*; к роману «Накануне» — *А. И. Батюто* (разделы I и IV), *И. А. Битюгова* (раздел III), *А. П. Могилянский* (реальный комментарий к роману), *Л. И. Ровнякова* (раздел II); к повести «Первая любовь» — *Е. И. Кийко*. В подготовке тома к печати принимала участие *Е. М. Лобковская*.

Редакторы шестого тома — *М. П. Алексеев* и *Н. В. Измайлов*.

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

(с. 5)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

«Дворянское гнездо. Повесть Ивана Тургенева». Черновой автограф в 2-х тетрадях. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 92, 94, 981; описание см.: *Mazon*, р. 63; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. 1, оп. 29, № 191.

Совр, 1859, № 1, отд. 1, с. 5—160.

Вырезка из Совр (полный текст, с. 5—160), подаренная Тургеневым П. В. Анненкову, с поправками автора на с. 31, 40, 51. См.: *ПД*, *Описание*, с. 45, № 410.

Т, *Двор гнездо*, *1859* — Дворянское гнездо. Роман И. С. Тургенева. Москва, 1859.

Т, *Соч*, *1860—1861*, т. IV, с. 135—300.

Т, *Соч*, *1865*, ч. IV, с. 57—239.

Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 4, с. 57—235.

Т, *Соч*, *1874*, ч. *4*, с. 55—233.

Т, *Соч*, *1880*, т. 3, с. 145—326.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1859, № 1, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 1 января 1859 г., первое объявление о выходе в «Прибавлениях к Московским ведомостям» (1859, 25 янв., № 22).

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списков опечаток, приложенных к *Т*, *Соч*, *1874*, ч. 7 и *Т*, *Соч*, *1880*, т. 1, и устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. *14*, *строка 33*: «позаботился» вместо «заботился» (по всем другим источникам).

Стр. *24*, *строка 33*: «ребенком» вместо «ребенок» (по всем другим источникам).

Стр. *30*, *строка 23*: «показалось ему» вместо «показалось» (по всем другим источникам).

Стр. *31*, *строка 41*: «умеют привязываться» вместо «умеют привязаться» (по всем другим печатным источникам).

Стр. *40*, *строка 24*: «часы торопливо чикают на стене» вместо «стенные часы торопливо чикают на стене» (по черновому автографу).

Стр. *50*, *строка 8*: «очарованный» вместо «очаровательный» (по всем другим источникам).

Стр. *64*, *строка 29*: «скрыпят» вместо «скрипят» (по всем другим источникам).

Стр. *64*, *строка 31*: «нянчит» вместо «нянчил» (по всем другим источникам).

Стр. *73*, *строка 4*: «наперед ни за что» вместо «ни за что» (по всем другим источникам).

Стр. *73*, *строка 7*: «начинал» вместо «начал» (по всем другим источникам).

Стр. 78, строки 20—21: «разве и это не всё равно» вместо «разве это не всё равно» (по всем другим источникам).

Стр. 82, строка 18: «Я? — Не думаю» вместо «Я не думаю» (по черновому автографу).

Стр. 84, строки 30—31: «перепелов» вместо «перепелок» (по всем другим источникам).

Стр. 87, строка 32: «невыказавшийся» вместо «невысказавшийся» (по черновому автографу).

Стр. 95, строка 3: «пришла ей на помощь» вместо «пришла на помощь» (по всем другим источникам).

Стр. 101, строка 39: «спокойно» вместо «покойно» (по всем другим источникам).

Стр. 101, строки 40—41: «переделок с высоты чиновничьего самосознания — переделок, не оправданных» вместо «переделок, не оправданных» (по всем другим источникам).

Стр. 114, строка 7: «почивали» вместо «почивала» (по черновому автографу, *Совр*, *Т*, *Двор гнездо*, *1859*, *Т*, *Соч*, *1860—1861*).

Стр. 130, строки 9—10: «как бы от сдержанного смеха» вместо «как от сдержанного смеха» (по черновому автографу, *Совр*, *Т*, *Двор гнездо*, *1859*).

Стр. 132, строка 8: «полухудожнической» вместо «полухудожественной» (по черновому автографу).

Стр. 132, строка 9: «показала» вместо «показывала» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 138, строка 1: «что это ты» вместо «что это» (по черновому автографу, *Совр*, *Т. Двор гнездо*, *1859*, *Т*, *Соч*, *1860—1861*, *1865*, *1868—1871*).

Стр. 146, строки 20—21: «обвила» вместо «обняла» (по черновому автографу).

ПАРИЖСКИЙ АВТОГРАФ «ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА»

Автограф «Дворянского гнезда», хранящийся в *Bibl Nat*[1], представляет собой единственный дошедший до нас рукописный источник текста романа. Это черновая рукопись, запечатлевшая различные стадии работы автора над произведением — от первоначальной записи текста, рабочих помет и программ до последующих редакций, создававшихся в соответствии с изменениями исходного замысла. Автограф состоит из двух тетрадей; в первой из них на 200 страницах содержится большая часть романа, во второй, на 40 страницах — 4 последние главы и эпилог.

Текст, представленный черновым автографом, не окончательный: последний слой авторской правки не всегда совпадает с известным нам печатным текстом. Очевидно, существовала еще одна, не дошедшая до нас наборная рукопись, в которой были произведены писателем последние исправления и дополнения[2].

---

[1] Краткое описание его см.: *Mazon*, p. 63. Автограф впервые изучен и в отрывках опубликован: *Granjard, Ivan Tourguénev*, p. 208—233, а также в статье того же автора «L'élaboration artistique de „Nid de seigneurs"».— Revue des études slaves, 1961. T. 38, p. 89—98.

[2] Есть основания предполагать, что эта последняя рукопись представляла собой авторизованную писарскую копию с парижского автографа. Об этом можно судить по искажениям текста, возникшим в тех местах, где в черновом автографе особенно грязно или неразбор-

В черновом автографе отсутствуют около 350 строк, имеющихся в окончательном тексте. Чаще всего это уточнения ранее сделанных характеристик — отдельные фразы и слова, иногда — эпизоды (сцена всенощной в доме Калитиных) и глава, посвященная детству Лизы (XXXV). С другой стороны, некоторые развернутые в автографе описания и характеристики (Гедеоновского, Настасьи Карповны, Коробьина, Варвары Павловны, ее матери) позднее писателем сокращены и в печатный текст не попали. Примерно пятая часть текста романа представляет собой позднейшее включение в автограф в виде отдельных вставок и записей на полях, в ряде случаев повлекших за собой перестановки. Наряду с отдельными словами и фразами, не поместившимися между строками над зачеркнутым текстом, на поля вынесены большие текстовые куски — сцены, характеристики, диалоги. Вставки эти в большинстве случаев отличаются единством содержания и позволяют судить о направлении мысли писателя в процессе совершенствования романа. Так, много дополнений сделал Тургенев, описывая быт Васильевского. На небольшую главу (XIX), состоящую из 120 строк, приходится 66 строк, вписанных Тургеневым на полях. Позднее введена в текст и глава XX, также посвященная жизни в Васильевском. Подавляющее большинство вставок касается религиозных вопросов — идей христианской морали, понятий смирения и долга, церковной обрядности. Все эти дополнения так или иначе связаны с образом Лизы, значительно изменившимся после переработки.

Обилие правки (полный свод черновых вариантов составляет 10 печатных листов при общем объеме романа 8 печ. л.) свидетельствует о том, что основная работа писателя над «Дворянским гнездом» проходила в рукописи. Последующие исправления, сделанные автором уже в печатном тексте прижизненных изданий, не столь значительны как по объему (0,5 печ. л.), так и по содержанию. Это в основном стилистическая правка, часто — устранение уменьшительных форм имен существительных, освобождение от лишних местоимений, уточнение некоторых мыслей, упорядочение синтаксических конструкций.

К наиболее существенным смысловым исправлениям в прижизненных изданиях относятся следующие:

В *Т, Двор гнездо, 1859* устранен эпиграф, имевшийся в автографе и в журнальном первопечатном тексте; там же восстановлена по автографу фраза, исключенная в журнальном тексте по цензурным соображениям: «Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям» (речь идет о репрессиях после поражения восстания декабристов), а фраза: «прадед мой круто рас-

---

чиво записаны отдельные слова или фразы. Видимо, неправильно разобранные переписчиком, они попали из копии в печатный текст, не будучи выправленными автором в тех случаях, когда не представляли собой бессмыслицы. Например, в черновом автографе слово «выспросил» написано с переносом «вы-спросил», во время переписки первый слог в конце строки не был замечен и в печатный текст (во всех изданиях) попала только вторая часть слова: «спросил»; в черновом автографе читаем: «почернела и скривилась» (соединительный союз стоит близко ко второму глаголу) — в печатном тексте воспроизведено: «почернела, искривилась»; в черновом автографе — «вдаль по дороге», в печатном тексте — «вдоль по дороге» и т. п.

правлялся с мужиками» заменена фразой: «прадед мой мужиков за ребра вешал» (как в автографе). Последние два исправления внесены рукой Тургенева в оттиск из журнальной публикации, подаренный автором П. В. Анненкову. Там же сделано еще одно исправление: восстановлены по автографу слова «перепорол всю деревню» (см. варианты чернового автографа: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. VII, с. 320). В отличие от предыдущих поправок, последняя не перенесена автором в текст позднейших печатных изданий (см. об этом: Петров С. М. И. С. Тургенев. Творческий путь. М., 1961, с. 255).

В *Т*, *Соч*, *1874* в сцене прощания Лизы с Лаврецким, когда он просит у нее на память платок, выпущена реплика: «Возьмите,— поспешно проговорила Лиза» (в окончательном тексте платок падает из рук Лизы непроизвольно). На этой поправке Тургенев особенно настаивал в письме от 1-го декабря 1868 г. к переводчику «Дворянского гнезда» на английский язык Рольстону.

Процесс работы писателя нашел отражение и в пометах, сделанных им на полях рукописи. Иногда это записи, намечающие дальнейший ход повествования. Таковы, например, пометы: «*NB*. О том, как ведут себя матери» — перед рассказом о разлуке Маланьи с сыном. «*NB*. Глафира будет скитаться» (этот план не осуществлен). В других случаях это следы повторного чтения рукописи — пометы о необходимости переделок. Так, на л. 18 автографа против перечеркнутого рассказа о дилетантизме Паншина стоит на полях помета: «Не после ли?» В других местах Тургенев делает на полях против не удовлетворившего его места пометы: «Проще!» (в сцене ночного свидания Лизы и Лаврецкого), «Злее!» (в разговоре Лизы и Лаврецкого о долге и смирении) — и в соответствии с этими пометами переделывает текст.

Встречаются на полях автографа и характерные для Тургенева записи важных для него мыслей, отдельных фраз, целых эпизодов, которые сначала просто фиксируются автором для памяти, а затем по ходу повествования органически вводятся в текст. Например, в начале главы XI, где рассказывается о первых шагах Лаврецкого после смерти отца, на полях автографа имеется помета: «*NB*. *Главное*: он чувствовал себя нравственно вывихнутым». Эти слова зачеркнуты и ниже добавлено: «Потом». Наиболее подходящее место для этих слов писатель нашел в главе XXV, в сцене встречи Лаврецкого с Михалевичем. Опередила повествование и записанная на полях автографа фраза: «Плотина прорвалась» (тоже о Лаврецком). Она введена автором в текст через страницу. Характерная памятная запись сделана на одной из страниц главы XV: «*NB*. Сударик! (Дядя, лаская Катю)»[3]. И ниже: «Каждый человек самому себе на съедение предан»[4]. Никакого отношения к смежному тексту эта запись на полях не имеет. Очевидно, автор записал на рукописи про запас только что услышанные и понравившиеся ему выражения. Первое из них введено в текст в главе XX (слова крепостного старика Антона), второе — в главе XXXVI (тоже слова Антона).

[3] В Спасском, когда Тургенев работал над романом, жил дядя писателя Н. Н. Тургенев с семьей.

[4] Источник афоризма указан Тургеневым в письме к Я. П. Полонскому от 9 (21) ноября 1869 г.: «Сколько раз в жизни мне случается припоминать слова, сказанные мне одним старым мужиком: „Коли человек сам бы себя не истреблял — кто его истребить может?“».

Ряд помет на полях и в тексте позволяет судить о работе писателя над композицией романа. Тексту в автографе предшествует подробное оглавление (по рукописи) той части романа, которая находится в первой тетради (кончая главой XII второй части) [5]. По этому оглавлению и правке, в нем произведенной, а также по пометам в самом тексте автографа видно, как менялась композиция романа в процессе работы.

Первоначально текст романа разделялся на две части (не по расположению в тетрадях, а по содержанию). В окончательной редакции, как известно, роман состоит из 45 глав без всякого деления на части. На начальной стадии работы, отразившейся в черновом автографе, первая часть состояла из 18 глав, вторая — из 16 глав и эпилога. Первая часть кончалась главой XXVII окончательной редакции (вестью о смерти Варвары Павловны). Затем Тургенев разбивает одну из глав первой части (одиннадцатую по первоначальной нумерации) на две (XII и XIII в окончательной редакции) и вводит в первую часть еще одну дополнительную главу (по первоначальной нумерации пятнадцатую, соответствующую нынешней главе XX) [6]. После этих изменений первая часть романа в автографе содержит 20 глав, вторая — 16 глав и эпилог. Таков первый этап работы, отраженный и в оглавлении.

В первопечатном тексте романа (журнальная редакция 1859 г.) уже нет деления на части и общее количество глав увеличилось с 36 (сумма обеих частей без эпилога) до 45 (тоже без эпилога). В автографе сохранились следы и этой перестройки композиции. Увеличение количества глав произошло за счет дробления некоторых больших глав первоначального текста и за счет введения в текст второй части дополнительной главы (глава XXXV по новой нумерации, описание детства Лизы), отсутствующей в автографе [7]. Главы X и XI, XII и XIII, XV и XVI, XVII и XVIII, XXII и XXIII (по новой нумерации) образовались путем разделения глав, в автографе представленных еще в слитном тексте, но с пометами на полях рукописи против тех мест, где в новой редакции проходит граница раздела: «Глава», «Гл.» (в одном случае поставлена короткая черта). Эти пометы, поскольку новое деление не отражено в оглавлении, появились, по-видимому, перед изготовлением наборной копии. Между главами XXVI и XXVII, XXXII и XXXIII (по новой нумерации), которые тоже возникли в результате деления больших глав первой редакции, в соответствующих местах автографа никаких помет нет. Надо полагать, что решение разделить эти главы явилось у Тургенева еще позднее, когда производилась и другая правка в тексте романа, не отраженная в автографе.

---

[5] На листе с оглавлением Тургенев сделал помету: «Продолжение в другой книжке», но во второй тетради его нет.

[6] Пятнадцатая глава первой части записана Тургеневым без всякой связи с предыдущим текстом (в качестве вставки с отсылкой к предшествующим страницам) после текста главы III второй части окончательной редакции (главы XXX). Эта вставка, содержащая описание тихой, естественной жизни в Васильевском, имеет существенное значение для концепции романа.

[7] О роли этой главы в композиционной системе романа см.: Виноградов И. И. Проблемы содержания и формы литературного произведения. Изд. Московского гос. ун-та, 1958, с. 202.

Еще одно композиционное изменение касается главы XLIV (по новой нумерации), по рукописи главы XVI второй части. Границы этой последней в романе главы были Тургеневым передвинуты еще в автографе. Первоначально глава XVI начиналась после слов Лизы: «Прощайте, прощайте! — повторила она, еще ниже спустила вуаль и почти бегом пустилась вперед» (см. с. 148). Затем Тургенев дописал эпизод встречи Лаврецкого с Леммом; отделив предшествующий текст линейкой, добавил эпизод отъезда Лаврецкого с женой в Лаврики и только тогда начал главу XVI.

Изменена в окончательном тексте и композиция эпилога. Эпизод последнего приезда Лаврецкого в дом Калитиных предшествует в автографе сведениям о других персонажах романа. Произведение кончается в рукописи характеристикой жалкой и опустившейся фигуры генерала Коробьина и словами: «Видно, так уж на свете устроено, что каждому человеку чего-нибудь да недостает» (см. варианты чернового автографа: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. VII, с. 378).

Черновой автограф представляет ценнейший материал для установления творческой истории «Дворянского гнезда». Прежде всего, он дает возможность с большой точностью определить время работы писателя над этим произведением. Кроме хронологических помет, сделанных самим автором на рукописи [8], имеются косвенные данные о том или ином этапе работы писателя над романом. Как свидетельствует характер правки, произведенной в рукописи, Тургенев неоднократно обращался к тексту, исправляя, дополняя и совершенствуя его. Чернила, почерк и расположение поправок позволяют выделить первичный этап работы, когда писатель, находясь в Спасском, создавал первый вариант текста, еще достаточно тесно связанный с замыслом 1856 г. (насколько можно судить по сходству с другими произведениями этого периода) и значительно более краткий по объему, чем окончательная редакция. На этом этапе автор, уже довольно четко представлявший себе основные черты действующих лиц и общий план произведения (обычный для Тургенева «формулярный список» персонажей «Дворянского гнезда» и план романа до нас не дошли), стремился лучшим образом «разместить» задуманное, иногда меняя по ходу работы детали отдельных сюжетных ситуаций или подробности характеристик. Например, вначале слепой отец Лаврецкого метался в поисках исцеления не по городам России, а за границей; слух о смерти Варвары Павловны Лаврецкой в первом варианте распространяла она сама и т. п. На первом же этапе, как всегда у Тургенева, тщательно отрабатывалась и стилистическая ткань произведения.

Автограф содержит интересный материал для суждений о художественном мастерстве Тургенева-романиста. Правка текста, си-

---

[8] На обложке первой тетради, содержащей автограф произведения, написано: «„Дворянское гнездо“, повесть Ивана Тургенева. Задумана в начале 1856-го года; долго очень не принимался за нее, всё вертел ее в голове; начал вырабатывать ее летом 1858-го года в Спасском. Кончена в понедельник, 27-го октября 1858-го года в Спасском». В конце рукописи эти сведения повторяются с некоторым уточнением: «[Кон.]. С. Спасское, 27-го октября 1858, в 1 час пополудни, накануне того дня, когда мне стукнет 40 лет». Впервые воспроизведено: *Mazon*, p. 15. См. также наст. том, с. 9.

стема этой правки делают очевидным процесс поисков наиболее выразительных средств повествования, позволяют судить о художественной требовательности писателя, о его необыкновенной чуткости к слову.

Сравнительное сопоставление интенсивности правки в различных частях автографа приводит к заключению, что с наибольшей затратой труда на первом этапе создания романа писатель вырабатывал текст в тех местах, где говорится о Лемме, о Паншине, о Варваре Павловне [9]. Результатом длительных поисков явились и известные нам по окончательному тексту описания душевного состояния Лаврецкого в момент зарождения его первой любви и в пору горестного известия об измене жены. Почти каждая строка в этих эпизодах имеет по нескольку вариантов, иногда до 8.

С такой же взыскательностью относится Тургенев к своим пейзажным зарисовкам. Упорная правка обращает на себя внимание в частности в тех местах, где описывается путь Лаврецкого в Васильевское, старый сад родового имения, весеннее пробуждение природы в день смерти старика Лаврецкого.

Второй этап работы Тургенева определяется по содержанию некоторых дополнений, а также по расположению этих дополнений на полях рукописи. По воспоминаниям П. В. Анненкова, И. А. Гончарова и другим свидетельствам, известно, когда и какие замечания были сделаны Тургеневу после чтения рукописи в узком кругу литераторов в Петербурге (см. об этом ниже). Многие вставки представляют собой прямые отклики на эти замечания.

О третьем этапе сигнализируют те места текста, которые отсутствуют в автографе, но появились в окончательной редакции. Последние доделки Тургенев произвел уже в наборной рукописи романа перед отправкой ее в редакцию журнала или в корректуре.

Кроме хронологических уточнений, черновой автограф «Дворянского гнезда» дополняет наше представление о творческой истории этого произведения с точки зрения эволюции его замысла, дает возможность проследить за тем, как, видоизменяясь и созревая по ходу работы, воплощалась мысль писателя в художественных образах, как преломлялись в творческом процессе современная автору идеологическая и политическая жизнь, журнальная полемика, отдельные биографические моменты.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА»

Известный нам текст романа создавался на протяжении нескольких месяцев, начиная с середины июня 1858 г., когда писатель приехал в Спасское, до середины декабря того же года, когда в Петербурге были им закончены последние исправления. Но замысел произведения, по собственному признанию Тургенева, относится к 1856 г.

---

[9] П. В. Анненков, хорошо знавший, как шла работа Тургенева над романом, отмечает: «Паншин этот, по выделке, по обилию и роскоши второстепенных подробностей, может быть, уступает в романе только изображению „львицы“ Варвары Павловны, обработанному автором с изумительной тщательностью» (Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки, отд. II. СПб., 1879, с. 202).

Первое упоминание о «Дворянском гнезде» как о повести, предназначавшейся для «Современника», содержится в письме Тургенева к И. И. Панаеву от 3 (15) октября 1856 г.: «Моя новая большая повесть поспеет, если я буду жив и здоров, к Новому году»,— сообщает автор. Через три недели, 25 октября (6 ноября) он о том же пишет из Парижа В. П. Боткину: «. ..у меня уже совсем сложен в голове план романа, и я набросал первые сцены...». Сообщение о задуманной им «очень большой повести» повторяется и в письме к М. Н. Лонгинову от 7 (19) ноября 1856 г. Но в середине декабря творческий подъем писателя заметно падает: постоянные недомогания мешают ему работать — и 16 (28) декабря 1856 г. он сообщает И. И. Панаеву о том, что не закончит свою большую повесть к февральскому номеру «Современника» и что повесть эта отложена в сторону.

Всю зиму 1856/57 г. Тургенев болел и жаловался на падение работоспособности. Единственное его произведение этой поры — «Поездка в Полесье». Тяжелое настроение, владевшее писателем в это время, привело к решительному отказу от прежних творческих замыслов. Так, 17 февраля (1 марта) 1857 г. Тургенев сообщает В. П. Боткину, что он уничтожил все свои начинания, планы и т. д.

Возможно, что вместе с другими материалами были уничтожены и первые наброски будущего «Дворянского гнезда». Каковы были эти первые наброски и планы — сказать трудно, данных об этом не сохранилось. Можно только предположить, что в этой первой редакции произведение имело другое название.

В письме к английскому переводчику «Дворянского гнезда» В. Рольстону от 8 декабря н. ст. 1868 г. Тургенев сообщает: «Я нахожу, что заглавие „Лиза“ очень удачное, тем более, что название „Дворянское гнездо“ — не совсем точное и было выбрано не мной, а моим издателем». В черновом автографе романа заглавие «Дворянское гнездо» написано рукой Тургенева. По всей вероятности, говоря о другом заглавии, писатель имел в виду первоначальный замысел 1856 г. Но и в 1856 году самое понятие «дворянского гнезда» как синонима дворянской усадьбы [10] было только повторением устойчивой у Тургенева формулы. В рассказе «Мой сосед Радилов» (1847) Тургенев сам дает толкование этого понятия: «Прадеды наши, при выборе места для жительства, непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через пятьдесят, много семьдесят, эти усадьбы, „дворянские гнезда“, понемногу исчезали с лица земли...» (см. наст. изд., т. 3, с. 50). Образ «гнезда» в применении к собственной судьбе Тургенева неоднократно встречается в письмах его к разным адресатам (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 41).

Расширительное значение названия «Дворянское гнездо», оттенявшее социальную принадлежность действующих лиц романа, было замечено в критике П. В. Анненковым, который усмотрел в этом названии оттенок горькой иронии писателя по отношению к кругу поместного дворянства [11]. Социальный аспект, характерный для «Дворянского гнезда», очевидно, существовал уже и в замысле

---

[10] О родовых гнездах в том же значении говорится в самом тексте романа (слова Глафиры Петровны, гл. XV).

[11] Анненков П. В. «Дворянское гнездо». Роман И. С. Тургенева.— *Рус Вестн*, 1859, т. XXII, № 8, с. 532.

1856 года. Сообщая в письме к В. П. Боткину об отказе от прежних замыслов, Тургенев не случайно сопоставляет двух «писателей с тенденциями»: одного, якобы уходящего со сцены, т. е. самого себя; и второго, пришедшего ему на смену,— М. Е. Салтыкова-Щедрина, автора «Губернских очерков».

Новые упоминания о «Дворянском гнезде» в переписке Тургенева появляются только в конце 1857 г. 22 декабря ст. ст. 1857 г. Тургенев, незадолго до того окончивший «Асю», в письме к Е. Е. Ламберт рассказывает о своих новых литературных замыслах: «Я теперь занят другою, большою повестью, главное лицо которой — девушка, существо религиозное...» 1 (13) января 1858 г. в письме к Панаеву Тургенев обещает привезти повесть к маю; 18 (30) января сообщает о том, что он занят большой повестью, Некрасову («план ее известен Боткину и весьма им одобрен...») и в письме к нему же от 27 марта (8 апреля) обещает привезти свою «штуку» весной.

Всё это время Тургенев жил в Риме, где, по словам писателя, застали его первые вести о намерении правительства освободить крестьян. Вести эти горячо были встречены соотечественниками, находившимися тогда в Риме вместе с Тургеневым (В. А. Черкасский, Н. Я. Ростовцев, В. П. Боткин и другие),— устраивались сходки, произносились речи, обсуждалась идея создания специального журнала для освещения важнейших сторон «жизненного вопроса» (*Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. III, с. 544, 546). Тургенев и сам пишет в это время «Записку об издании журнала „Хозяйственный указатель“». Весной 1857 г. писатель отправляется в путешествие по Италии, посещает Германию и Францию; в начале мая он едет в Лондон к Герцену и только 27 мая (8 июня) 1858 г. возвращается в Россию.

Напряженная работа над «Дворянским гнездом», самый процесс написания романа начались после возвращения писателя на родину, в спокойной обстановке жизни в Спасском. Но и предшествующий период, насыщенный разнообразными впечатлениями,— частые переезды в новые места, встречи с многими людьми, беседы с Черкасским, Боткиным, Анненковым, Герценом, с другими современниками, олицетворявшими мысль и дух века; размышления о событиях, происходивших в русской общественной жизни, о развертывавшейся подготовке к освобождению крестьян, о роли дворянства в этом процессе,— был периодом интенсивного накопления материала и вынашивания основных образов и идей романа.

П. В. Анненков, встречавшийся с Тургеневым весной 1858 г. в Дрездене, так характеризует в своих воспоминаниях этот этап, весьма знаменательный в истории создания романа: «„Дворянское гнездо“ зрело в уме Тургенева 〈. . .〉 Тургенев обладал способностью в частых и продолжительных своих переездах обдумывать нити будущих рассказов, так же точно, как создавать сцены и намечать подробности описаний, не прерывая горячих бесед кругом себя и часто участвуя в них весьма деятельно» (*Анненков*, с. 424). Первое сообщение из Спасского о «Дворянском гнезде» мы находим в письме Тургенева к Н. Х. Кетчеру от 30 июня (12 июля): «...я охочусь (не совсем удачно) и работаю много — тоже не знаю — удачно ли?» Более подробно рассказывается о том же в письме к П. Виардо от 30 июля (11 августа) 1858 г.: «Вот что я делал в течение прошедших девяти дней: я много трудился над романом, который начал и надеюсь окончить к наступлению зимы». И далее: «Я упомянул Вам о ро-

мане, который начал писать. Как бы я был счастлив, если бы мог изложить Вам его план, представить характеры, поставленную мною перед собой цель и проч.⟨. . .⟩ Я чувствую себя в настроении для работы, а между тем жар молодости уже покинул меня; я пишу с каким-то удивительным для себя спокойствием: лишь бы оно не отразилось на самом произведении!»

Затем сообщения о романе, как и вообще деятельная переписка, прерываются почти на месяц,— очевидно, в это время и шла самая горячая и безотрывная работа писателя. 25 августа (6 сентября) Тургенев пишет А. В. Дружинину: «Я прибуду в Петербург — если буду жив и здоров — к 20-му октября. Надеюсь окончить к тому времени довольно большую вещь, над которой сижу теперь,— и подвергну ее на суд ареопага, который будет состоять из Вас, Боткина (он тоже хочет вернуться), великого Анненкова и Писемского». А 17(29) сентября в письме к Н. А. Некрасову Тургенев отодвигает возможный срок свидания в Петербурге до последних чисел октября. «Я оттого так долго намерен здесь пробыть, что мне не хочется выехать, не кончивши большой повести (вдвое больше „Рудина“),— которую я писал в теченье лета»,— добавляет он.

11(23) октября этот срок — конец октября — снова отодвигается писателем. «Я буду в Петербурге — если бог даст — к 8 ноября и привезу повесть»,— сообщает он Некрасову, с которым ведет переговоры о согласии напечатать «Дворянское гнездо» в «Современнике» при условии, если Некрасов вернет Тургеневу «позволение печатать 2-ое издание „Записок охотника“».

Точных сведений о дате приезда Тургенева в Петербург в 1858 г. нет, но, судя по его переписке, это произошло около 10 ноября ст. ст. (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. III, с. 249—252). О том, как складывалась дальше работа над романом, можно судить по отрывочным сведениям, содержащимся в письмах, в воспоминаниях литературных друзей Тургенева и по состоянию черновой рукописи. В один из декабрьских предновогодних понедельников 1858 г. (вернее всего, это было 8 декабря ст. ст.— ср. *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. III, с. 253 и 581) Тургенев сообщил Е. Е. Ламберт о том, что его новая повесть, как он чаще всего называет «Дворянское гнездо», уже читалась и обсуждалась друзьями. «Анненков за меня (так как у меня нет голоса) прочел мою повесть моим литературным собратьям; они остались вообще довольны — но я хотел бы услышать суд не литератора, именно Ваш суд». Из той же записки мы узнаем, что рукопись романа еще не была отправлена в журнал, но автор явно спешил это сделать («теперь придется ее отдать в печать, не подвергнув ее Вашему суду; по крайней мере я надеюсь быть в состоянии привезти Вам корректурные листы ⟨. . .⟩, и, в случае надобности, сделаю перемены»).

Следовательно, основные доделки и «перемены» были уже к этому времени осуществлены и прежде всего — правка, которую повлекло за собой дружеское обсуждение романа в литературном «ареопаге». Во всяком случае 10 (22) декабря 1858 г. Тургенев уже сообщал Каткову, что он принялся за другую вещь — за статью «Гамлет и Дон-Кихот», которая с 1856 г. писалась параллельно с «Дворянским гнездом» (точнее — Тургенев постоянно обращался то к ней, то к «Дворянскому гнезду» после окончания работы над «Фаустом», «Поездкой в Полесье», «Асей»). По-видимому, и на этот раз писатель обратился снова к статье после завершения работы над «Дворянским гнездом». Зная, когда состоялось чтение, и памя-

туя, что 1 января 1859 г. было получено уже цензурное разрешение на тот номер журнала, где печатался роман (это значит, что произведение должно было поступить в редакцию около середины декабря[12]), мы можем установить время работы Тургенева над основным текстом романа на ее втором, наиболее значительном этапе.

Точных сведений о дате этого чтения не сохранилось, но по совокупности довольно расплывчатых хронологических свидетельств И. А. Гончарова («однажды осенью», после возвращения Тургенева в Петербург, но не сразу, как все ожидали, а некоторое время спустя — из-за болезни писателя)[13], П. В. Анненкова («В один зимний вечер» 1858 г.)[14], а также по названному выше письму Тургенева к Е. Е. Ламберт можно заключить, что коллективное чтение и обсуждение литераторами «Дворянского гнезда» состоялись в конце ноября — начале декабря 1858 г.

В литературу, посвященную «Дворянскому гнезду», вкрались и долгое время служили источником для различных умозаключений ошибочные сведения о дате чтения, состоявшегося якобы 28 и 29 декабря ст. ст. 1858 г.[15] Ошибка эта произошла из-за неправильно понятой записи в «Дневнике» Никитенко, где под датой 28 декабря (суббота) сообщается: «Был у И. С. Тургенева. Он написал новый роман совершенно в художественном направлении. Вот это хорошо! Пора перестать делать из литературы только деловые записки о казусных происшествиях и считать ее исключительно исправительным бичом». Никаких указаний на то, что Никитенко был у Тургенева во время коллективного чтения и обсуждения «Дворянского гнезда», здесь нет, как нет и вообще в мемуарной литературе указаний на то, что Никитенко находился среди присутствовавших на чтении.

Если судить по словам самого Тургенева[16], а также по воспоминаниям П. В. Анненкова и И. А. Гончарова, на коллективном чтении, кроме этих трех лиц, присутствовали Н. А. Некрасов, В. П.

---

[12] В письме Н. А. Добролюбова к С. Т. Славутинскому от 14 (26) декабря 1858 г. сообщается о том, что роман Тургенева получил одобрение «всех читавших» и что сам Добролюбов «читал пока лишь несколько глав, которые действительно производят сильное впечатление» (Добролюбов Н. А. Собрание сочинений. М.; Л., 1964. Т. 9, с. 338). Из этого сообщения видно, что к 14 (26) декабря рукопись романа была уже перебелена, читалась и, по всей вероятности, была уже сдана в редакцию «Современника», где Добролюбов и начал с ней знакомиться.

[13] *Гончаров, Необыкновенная история*, с. 19.

[14] *Анненков*, с. 425.

[15] Гутьяр Н. М. Хронологическая канва для биографии Тургенева.— *Сб. Отд. рус. яз. и слов-сти ИАН*, 1910, т. XXXVII, № 2, с. 37; *Клеман, Летопись*, с. 102; *Т, СС*, т. 2, с. 321; Никитенко А. В. Дневник. М.: Гослитиздат, 1955, т. 2, с. 570; *Анненков*, с. 629.

[16] В письме к А. В. Дружинину от 25 августа (6 сентября) 1858 г. Тургенев называет желательных участников обсуждения нового романа, а в письме к П. В. Анненкову от 19 февраля (3 марта) 1878 г. вспоминает о тех, кто действительно присутствовал на чтении.

Боткин, И. И. Панаев, С. С. Дудышкин, Н. Н. Тютчев, И. И. Маслов, М. А. Языков, А. Ф. Писемский и А. В. Дружинин [17].

Литературный «ареопаг», как его называл Тургенев, отнесся к новому роману писателя чрезвычайно благосклонно. П. В. Анненков в «Литературных воспоминаниях» так рассказывает об этом знаменательном для автора событии:

«В один зимний вечер 1858 года Тургенев пригласил Некрасова, Дружинина и нескольких литераторов в свою квартиру с намерением познакомить их с новым своим произведением. Сам он читать не мог, нажив себе сильнейший бронхит и получив предписание от врача своего, доктора Шипулинского, не только не читать ничего для публики, но даже и не разговаривать с приятелями. Присужденный к безусловному молчанию, Тургенев завел аспидную доску и вступал посредством нее в беседу с нами, иногда даже очень продолжительную, что с некоторым навыком происходило довольно ловко и быстро. Чтение романа поручено было мне; оно заняло два вечера» [18].

По воспоминаниям того же Анненкова, мнением которого Тургенев особенно дорожил [19], автор был удовлетворен во время обсуждения «всеми отзывами о произведении и еще более кой-какими критическими замечаниями, которые тоже все носили сочувственный и хвалебный оттенок» [20]. Анненков не приводит самих отзывов — ни своего, ни других лиц, но из писем и воспоминаний И. А. Гончарова видно, что ряд критических замечаний относился к образу Лизы Калитиной. Он сам называет его «недосказанным, недопетым» в письме к Тургеневу от 28 марта ст. ст. 1859 г. (*Рус Ст*, 1900, № 1, с. 13), а позднее передает слова Анненкова, сказанные Тургеневу после чтения: «Анненков ему сказал, что не видно источника ее ⟨Лизы⟩ религиозности — и тогда Тургенев приделал какую-то набожную

---

[17] Из сохранившихся свидетельств участников чтения обычно не учитывается письмо А. Ф. Писемского к А. Н. Майкову от 24 ноября ст. ст. 1858 г., где автор, сообщая о многих литературных новостях Петербурга, говорит только о приезде и серьезной болезни Тургенева, ни словом не упоминая о его романе (Писемский А. Ф. Письма. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936, с. 127). Из этого следует, что чтение состоялось не ранее 24 ноября. Близкой датой (26 ноября) кончается последняя запись 1858 г. в неопубликованном «Дневнике» А. В. Дружинина. Здесь тоже упоминаются многие литературные события, встречи и обеды, но ничего не говорится о «Дворянском гнезде» (*ЦГАЛИ*, ф. 167, оп. 3, № 108).

[18] *Анненков*, с. 425. Последнее утверждение поддерживается надписью Тургенева на оттиске из журнальной публикации «Дворянского гнезда», подаренном П. В. Анненкову: «Павлу Васильевичу Анненкову на память двукратного чтения в очках во время моей безголосицы. От любящего его автора» (Библиотека *ИРЛИ*).

[19] Боясь, что Анненков уедет из Петербурга и не будет участвовать в обсуждении «Дворянского гнезда», Тургенев писал А. В. Дружинину из Спасского 10 (22) октября 1858 г.: «Объясните ему, как это будет для меня и неприятно и дорого: употребите Ваше красноречие, пустите в ход лафит, дружбу, ростбиф, литературу, шампанское и обязанность перед отечеством: удержите его в Петербурге,— и благодарность пламенного сердца да будет Вашей наградой!»

[20] *Анненков*, с. 425.

няню»[21]. Верность этого свидетельства подтверждается тем, что Тургенев действительно после обсуждения написал новую главу для романа о детстве и воспитании Лизы Калитиной (глава XXXV, в автографе она отсутствует).

О роли Анненкова в создании названной главы рассказывается и в воспоминаниях М. М. Ковалевского. По словам мемуариста, на одном из вечеров, устроенных им для встречи с Тургеневым деятелей литературы и искусства, Тургенев пообещал в следующий раз «прочесть вновь написанный им рассказ: „Я сделаю это, как только рассказ вернется от Анненкова, мнения которого я всегда спрашиваю, прежде чем напечатать что-либо“. Послышался окрик: „Ну, какая польза вам в том! Не такой уж Анненков стилист!“ Тургенев ответил опять-таки серьезно: „Анненкову я обязан тем, что вставил в „Дворянское гнездо“ целую главу, выясняющую, как сложился характер Лизы. Анненков убедил меня, что без этого исход моего романа остается непонятным“» [22].

Анненков увидел в «самоотречении» Лизы проявление ущербности ее натуры. Тургенев при литературной правке романа уделил большое внимание прояснению своей позиции в этом вопросе, но критик был не вполне удовлетворен результатами.

На том же собрании литераторов разыгрался известный эпизод объяснения между Тургеневым и Гончаровым, заподозрившим автора «Дворянского гнезда» в плагиате [23].

Болезненно мнительный Гончаров увидел в романе Тургенева «сжатый, но довольно полный очерк „Обрыва“», программу которого он читал Тургеневу в 1855 г. По утверждению писателя, «основанием» романа Тургенева взята была развернутая в плане «Обрыва» глава о предках Райского, «сколком» с Райского явились якобы образы Лаврецкого и Паншина, заимствованными считал Гончаров также образы Лемма, Михалевича и Марфы Тимофеевны. Особенное раздражение Гончарова вызвало сходство некоторых черт Лизы и Веры (религиозность, отношения Лизы с Марфой Тимофеевной и Веры с бабушкой). Тургенев отвел обвинения Гончарова, но по его просьбе изменил в рукописи некоторые детали повествования. Так, первоначально в сцене объяснения Лизы и Марфы Тимофеевны, когда старушка упрекает Лизу за ночное свидание с Лаврецким в саду (конец главы XXXVIII), проскальзывал намек на «падение» девушки. В черновой редакции рассказывалось подробнее о страданиях Лизы, нравственное чувство которой подверглось суровому испытанию. После слов: «...как грубо коснулись чужие руки ее заветной тайны!»

---

[21] *Гончаров, Необыкновенная история*, с. 21.

[22] К о в а л е в с к и й М. За рубежом. (Из переписки русских деятелей за границей: Герцена, Лаврова и Тургенева).— *ВЕ*, 1914, № 3, с. 229; сходные сведения содержатся в воспоминаниях И. Павловского (P a v l o v s k y Isaac. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 171—172).

[23] О конфликте между Тургеневым и Гончаровым, обострившемся в период создания романа «Накануне» и приведшем к третейскому суду писателей, см.: *Гончаров, Необыкновенная история*; *Гончаров и Тургенев*; *Анненков*, с. 441; М а й к о в Л. Н. Ссора между И. А. Гончаровым и И. С. Тургеневым в 1859 и 60 годах.— *Рус Ст*, 1900, № 1, с. 5—23; М и н а е в Д. Д. Стихотворение «Парнасский приговор».— Искра, 1860, № 19.

(с. 123, строка 2) следовал текст: «Но она ни в чем себя винить не могла, и Лаврецкий стал ей еще дороже. Ее любовь к нему не боялась ничего, ни даже и укоров. Она сильно и крепко привязалась к нему». Эти строки густо зачеркнуты чернильными петлями и вместо них под соответствующим значком на полях записан новый вариант, также затем зачеркнутый: «Вдруг всё раскрыто, всё вырвано наружу, о чем она сама еще так недавно ничего не ведала». На том же листе автографа зачеркнуто: «она отдалась ему» (первый вариант строк: «она уже колебаться не могла; она знала, что любит, и полюбила честно, не шутя» — с. 123, строки 5—7). Все зачеркнутые строки сами по себе не имеют прямой аналогии в романе Гончарова, но если допустить, что они связаны с первоначальным замыслом Тургенева усугубить нравственную трагедию Лизы противоречием между ее строгими нравственными принципами и ее беззащитностью перед натиском подлинной страсти, то можно найти сходство в любовных ситуациях, послуживших предметом объяснений между Лизой и Марфой Тимофеевной в «Дворянском гнезде» и между Верой и бабушкой в «Обрыве» [24].

Об этом сходстве и говорит Гончаров в своих воспоминаниях: «Когда я заметил ему ⟨Тургеневу⟩, отчего ж он не приводит в письме [25] о падении Веры (в плане она называлась у меня Еленой), о сценах между ею и Бабушкой, он замялся: ему, очевидно, не хотелось упоминать об этом — по будущим своим соображениям. Но нечего делать — упомянул» [26].

В письмах Гончарова к Тургеневу от 28 марта (9 апреля) 1859 г. и от 27 марта (8 апреля) 1860 г. прямо названа исключенная Тургеневым сцена. В первом из них говорится: «Разбор и переписку моих ветхих лоскутков взяла на себя милая больная ⟨С. А. Никитенко⟩. „Это займет меня“,— говорит она. Она до слез была тронута тою сценой бабушки с внучкой, сценой, в пользу которой вы так дружески и великодушно пожертвовали похожим на эту сцену, но довольно слабым местом Вашей повести, чтобы избежать сходства»[27].

Во втором письме — снова о той же сцене: «...я, при появлении „Дворянского гнезда“, опираясь на наши старые приятельские отношения, откровенно выразил Вам мысль мою о сходстве этой повести с сюжетом моего романа, как он был Вам рассказан по про-

---

[24] В тексте «Дворянского гнезда» Лиза дважды объясняется с Марфой Тимофеевной. О первом объяснении говорилось выше; во втором случае Марфа Тимофеевна просит у племянницы прощения за свои несправедливые упреки (конец главы XXXIX). М. К. Клеман, не видевший автографа, выразил предположение, что Тургенев произвел правку по просьбе Гончарова во втором из названных эпизодов (*Тургенев, Рудин*, 1933, с. 493; эта гипотеза в виде утверждения повторена в комментариях к «Дворянскому гнезду» — *Т, СС*, т. 2, с. 321). Однако автограф не подтверждает этого предположения. На л. 192 в соответствующем месте текста нет никаких сокращений и вычерков.

[25] За объяснением после чтения «Дворянского гнезда» последовал обмен письмами между Гончаровым и Тургеневым. Упоминаемое Гончаровым письмо Тургенева не сохранилось.

[26] *Гончаров, Необыкновенная история*, с. 23, а также *Гончаров и Тургенев*, с. 37—38.

[27] *Гончаров и Тургенев*, с. 34.

грамме. Вы тогда отчасти согласились в сходстве общего плана и отношений некоторых лиц между собой, даже исключили одно место, слишком живо напоминавшее одну сцену, и я удовольствовался»[28].

Следы устранения из текста другой детали, раздражившей Гончарова, сохранились в том месте автографа, где рассказывается о старинном доме Лаврецких в Васильевском и, в частности, о семейных портретах. В окончательной редакции дано описание одного портрета — прадеда Лаврецкого Андрея (глава XIX). А в автографе вначале упоминались три портрета (прадеда Андрея, деда Петра и его жены Анны Павловны), затем четыре портрета (без указания имен), и, наконец, автор остановился на одном портрете. Судя по дальнейшей переписке, Гончарову были известны варианты, предшествующие окончательному. Они и вызвали его подозрительность. Отвечая на объяснения Тургенева, пытавшегося, вероятно, доказать, что родословная Лаврецких, сходная во многих деталях с историей рода Лутовиновых (см. об этом ниже), была осуществлением давно намеченного замысла, Гончаров писал: «Вы могли говорить об этом очень давно, и всё это ничего не значит. У меня и в бумагах есть коротенькая отметка о деде, отце и матери героя. Но говорить о четырех портретах предков (из письма) вы не могли...» [29]

Правка Тургенева в автографе, внесенная им при переработке романа, не ограничивалась отдельными исправлениями, сделанными в связи с тем или иным критическим замечанием. Она представляет собой систему дополнений и изменений, углублявших основные идеи романа и оттенявших то новое, что появилось в отношении автора к издавна волновавшим его проблемам счастья, любви, долга, самопожертвования в конкретных исторических условиях конца 50-х годов. Изменения эти заключаются в следующем.

На полях в виде вставки записана наиболее значительная часть спора Михалевича с Лаврецким — 24 строки, содержащие упреки в адрес Лаврецкого за эгоизм, цинизм, безверие и «постыдное», сознательное бездействие. Здесь же формулируется понятие «дела», которым «необходимо заниматься на земле» (основная идеологическая проблема эпохи). Автором вписана фраза: «умолял его [смело] серьезно заняться [своими крестьянами] бытом своих крестьян» — совет Михалевича, осуществленный затем в деятельности Лаврецкого.

В разговоре тех же лиц о нравственных качествах деятеля добавлена фраза о «нравственном вывихе» Лаврецкого, записанная ранее на полях в виде программы с пометами «NB» и «Главное». Тургенев вписывает также строки, вложенные в уста Михалевича, о происхождении Лаврецкого от матери-крестьянки («благодари бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь»). Писатель упорно оттеняет вставками важное для него обстоятельство — мужицкие черты в характере Лаврецкого. Говоря о сходстве Лаврецкого с матерью (глава VII), Марфа Тимофеевна произносит: «Ну, а молодец ты, молодец; чай, по-прежнему десять пудов одной рукой

---

[28] Там же, с. 31. В «Литературных воспоминаниях» П. В. Анненкова также есть рассказ о том, что Тургенев, «согласно с указанием И. А. Гончарова, выключил из своего романа одно место, напоминавшее какую-то подробность» (*Анненков*, с. 441).

[29] Письмо Гончарова к Тургеневу от 28 марта (9 апреля) 1859 г. (*Гончаров и Тургенев*, с. 29).

поднимаешь?» (с. 27). Фраза: «а ты, Федюшка, дай мне руку» также вставлена. В дальнейшем Тургенев еще усиливает это место «богатырскими» ассоциациями. Он добавляет после слова «руку»: «О! да какая же она у тебя толстая! Небось с тобой не упадешь». (В автографе это дополнение отсутствует, оно сделано, очевидно, в наборной рукописи или в корректуре.) В главе XVI к фразе «избить ее до полусмерти» (реакция Лаврецкого на измену жены) автор добавляет вставкой: «по-мужицки» (с. 52). Через страницу — аналогичное дополнение: «Вы со мной напрасно пошутили; прадед мой мужиков за ребра вешал, а дед мой сам был мужик» (с. 53). В главе XVII — снова вставка на ту же тему. Во фразе: «Марья Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала: „Экой тюлень, мужик!..“» слово «мужик» добавлено позднее.

Дополняя характеристику Лаврецкого сопоставлением с Михалевичем, Тургенев в то же время вносит дополнительные штрихи и в его портрет. В тексте появляются 9 дополнительных строк, характеризующих бедность Михалевича, его дурные привычки, вызванные полуголодным существованием, его пренебрежение к одежде и по контрасту — его преданность идеалу, во имя которого он готов подвергаться всем возможным лишениям. В этих дополнениях обнаруживается текстуальное сходство с характеристикой Дон-Кихота в статье Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот».

Михалевич относится к эпизодическим персонажам, посвященные ему страницы занимают скромное место в романе, но вокруг этого образа сконцентрированы основные проблемы произведения— самая волнующая проблема конца 50-х годов: «Что делать?», крестьянский вопрос и социально-этическая проблематика. Тот же круг вопросов разрешался и в статье «Гамлет и Дон-Кихот». Впервые на сходство Михалевича с тургеневским Дон-Кихотом обратили внимание А. И. Незеленов (Тургенев в его произведениях. СПб., 1885, с. 138) и А. Д. Галахов в статье «Сороковые годы» (*ИВ*, 1892, № 1, с. 143). Кроме замеченных идейных параллелей между этими двумя образами, может быть, следовало бы еще отметить такие черты внешнего «дон-кихотства» в Михалевиче, как его облик («человек высокого роста и худой», «окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек»), как его беззаветная влюбленность в «таинственную и чернокудрую» красавицу, сомнительная репутация которой не мешала ей быть воспетой стихами, достойными прекрасной Дульцинеи. Автограф свидетельствует о том, что Тургенев сознательно вводил и подчеркивал черты сходства между Михалевичем и Дон-Кихотом. Основную самохарактеристику Михалевича: «...я по-прежнему верю в добро, в истину; но я не только верю,— я верую теперь, да — я верую, верую» — Тургенев усиливает двукратным повторением: он вставляет слова «нет в тебе веры, нет теплоты сердечной» в реплику Михалевича, упрекающего Лаврецкого в вольтерьянстве (с. 76), и фразы: «Помещик, дворянин — и не знает, что делать! Веры нет, а то бы знал; веры нет — и нет откровения» в разговор о предстоящей деятельности Лаврецкого (с. 77).

Лучшим авторским комментарием к этим высказываниям Михалевича является следующее место статьи «Гамлет и Дон-Кихот»: «Что выражает собою Дон-Кихот? Веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое ⟨. . .⟩ в истину, находящуюся *вне* отдельного человека, не легко ему дающуюся, требующую служения и жертвы». И в другом месте: «. . . он верит, верит крепко и без оглядки. От-

того он бесстрашен, терпелив, довольствуется самой скудной пищей, самой бедной одеждой...».

Трудно не заметить сходства этих слов с характеристикой Михалевича в романе, с описанием признаков и привычек его застарелой бедности: изношенной одежды, неопрятности, жадности к еде. И все это — в сопоставлении с его несокрушимым идеализмом и искренними заботами о судьбах человечества, о собственном призвании (с. 78). Важно отметить, что эти детали характеристики Михалевича вписаны Тургеневым на полях рукописи.

Несомненна симпатия, с которой писатель относится к Михалевичу, несмотря на смешные его черты. В статье мы находим объяснение и этой особенности авторского отношения: «...в донкихотстве нам следовало бы признать высокое начало самопожертвования, только схваченное с комической стороны» («чтобы гусей не дразнить»,— добавляет автор в другом месте). По мысли Тургенева, «крепость нравственного состава» Дон-Кихота придаст «особенную силу и величавость всем его суждениям и речам, всей его фигуре, несмотря на комические и унизительные положения, в которые он беспрестанно впадает». «Он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это — главное знание». На стороне Михалевича, энтузиаста и мечтателя,— силы прогресса, «без них бы не развивалась история». И наконец еще одна деталь, свидетельствующая о намеренном сопоставлении писателем Михалевича с Дон-Кихотом. Глава о Михалевиче кончается, как известно, сентенцией о доброте как важном элементе нравственного облика человека: «Будь только человек добр — его никто отразить не может» (в рукописи первоначально было: «Михалевич был добряк»). Статья «Гамлет и Дон-Кихот» также завершается этой мыслью применительно к Дон-Кихоту. Автор приводит в этой связи подлинное имя своего героя — Alonso el Bueno, что и переводится как Алонзо добрый.

Другая значительная категория авторских вставок в текст романа объединяется темой религии. Писатель делает множество вставок на полях автографа и на отдельных страницах, касающихся идей христианской морали, понятий смирения и долга, философских и культовых основ религии. Вставки эти по содержанию распадаются на две разные части. Одна из них, теснее всего связанная с образом Лизы Калитиной, оттеняет этическую сторону религиозности, способствующей воспитанию нравственной цельности, твердости убеждений, готовности к самопожертвованию во имя блага ближних,— воспитывающей в конечном счете чувство родины. Характерны испещренные вставками страницы, где описывается молитва обездоленных людей, ищущих в церкви утешения (с. 99—100, 147). Писатель дополнительно вводит в текст диалог между Лаврецким и Лизой о значении религии в истории человечества, о смысле христианства (с. 82); делает большую вставку о патриотизме и народолюбии Лизы (с. 103), заключающую сцену спора Лаврецкого и Паншина (весь монолог Паншина, обнаруживающий его презрение к России и поверхностное западничество, также вписан на полях автографа); вставлена мотивировка решения Лизы уйти в монастырь («Я всё знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю всё. *Всё это отмолить, отмолить надо*»[30], с. 151). Неоднократно уточняются в тексте те места, где говорится о религиозных расхождениях Лаврецкого и Лизы. В этом смысле обраща-

[30] Вставлено подчеркнутое курсивом.

ет на себя внимание последовательность правки в описании «молитвы» Лаврецкого во время обедни, на которую он пришел по просьбе Лизы после известия о смерти Варвары Павловны (конец главы XXXI). Уже в первоначальном варианте текста говорилось, что Лаврецкий, давно не посещавший церкви и не обращавшийся к богу, не произносил и теперь никаких молитвенных слов, а только проникся чувством смирения и умиления при воспоминании о детской своей вере в ангела-хранителя. Далее в автографе следовал текст: «Много лет прошло с тех пор, снова его души коснулся ангел, и он знал, он чувствовал его увлекающую и недремлющую руку». Затем Тургенев решительно зачеркивает этот текст и добавляет детали, как бы оправдывающие умиление Лаврецкого и объясняющие его состояние внешними впечатлениями. Автор вписывает: «Ему было и хорошо и немного совестно. Чинно стоявший народ, родные лица, согласное пение, запах ладану, длинные косые лучи от окон, самая темнота стен и сводов — всё говорило его сердцу» (с. 97). При дальнейшей отделке этого места, уже не в автографе, он еще раз добавляет: «он без слов даже не молился». А в главе XXXIV вписывает не вызывающую сомнений фразу: «В одном только они расходились; но Лиза втайне надеялась привести его к богу» (с. 103).

Тургенев подчеркнул стихийно возникшее стремление Лаврецкого вырваться из круга христианских представлений о долге смирения, отрицавших право человека на счастье. Особенно характерна правка в сцене объяснения Лизы и Лаврецкого перед приглашением Калитиных в Васильевское (глава XXIV, с. 72—73). Первоначально в автографе разговор о женитьбе Лаврецкого занимал всего три строки:

«Зачем же вы женились на ней? — прошептала Лиза и потупила глаза.

Лаврецкий быстро встал со стула.

— Не сердитесь, простите меня,— торопливо произнесла Лиза».

Затем автор дополняет ответ Лаврецкого рассказом о своей неопытности и вводит реплику Лизы о необходимости «исполнять наш долг», которую снова заключает словами: «Лаврецкий быстро поднялся со стула» (см. варианты чернового автографа: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. VII, с. 345).

Возвратившись к этому месту при доработке, Тургенев сделал на полях против последней фразы помету с восклицательным знаком: «Злее!». В соответствии с этой пометой рассуждение Лизы о долге он заменяет известными нам по окончательному тексту словами: «но тогда надо будет покориться; я не умею говорить, но если мы не будем покоряться...», а фразу: «Лаврецкий поднялся со стула» — заменяет более резкой: «Лаврецкий топнул ногой». В дальнейшем Тургенев еще усиливает реакцию Лаврецкого на слова Лизы, вставив слова «стиснул руки» (в автографе этих слов нет). В этом же смысле характерно дополнение в главе XXIX (разговор Лаврецкого с Лизой о Паншине), где Тургенев вписывает в реплику Лаврецкого: «Умоляю вас, не выходите замуж без любви» — слова: «по чувству долга, отречения что ли... Это то же безверие».

Имеются в автографе и другие вставки, относящиеся также к религиозной проблематике, но отличающиеся совсем другой, сатирической тональностью. К таким вставкам, появившимся в тексте романа на последней стадии работы писателя, относится, в частности, описание суетной набожности барства в сцене всенощной в доме Калитиных (глава XXXII).

Изменения, вносившиеся Тургеневым в текст романа во второй половине декабря и уже не попавшие в черновой автограф, продолжали намеченную писателем ранее перестройку основных образов романа. Так, в текст романа введены отсутствующие в автографе разговор Лаврецкого и Лизы о христианстве (с. 82—83, строки 26—4), второй разговор тех же лиц о боге (с. 90, строки 8—10) и упоминавшаяся уже выше глава о народных источниках религиозности героини (с. 108—113); соответственно вставлена фраза об «Агашиных следах в Лизе» (с. 151, строка 42).

Из приведенных примеров видно, что самым значительным изменениям в процессе создания «Дворянского гнезда» подвергся образ Лизы Калитиной. Иными стали не только отдельные черты ее облика, видоизменился самый замысел этого персонажа. В первоначальном слое черновой рукописи почти отсутствовала интеллектуальная характеристика героини, зато значительно рельефнее выделялись черты, оттенявшие ее милую женственность: «чистая женская душа», кротость смирения, мягкая набожность, взгляд «честный и невинный», «доброе молодое лицо», «чистый, несколько строгий профиль», голос «тихий», «говоривший простые, добрые вещи», движения исполнены «ласковой важности», «и так легко ходит». Эта «ангелоподобность» облика Лизы подчеркивалась в тексте словами Лаврецкого: «Вы добры, как ангел» (гл. XXVI), «Вы, ангел по-прежнему» (гл. XXIX). Автохарактеристика Лизы («у меня своих слов нету», гл. XXVI) подтверждалась авторским текстом. В окончательной редакции текста сохранилась фраза о «редких замечаниях и возражениях» Лизы в разговорах с Лаврецким и о том, что она «так мило, так внимательно» умела его слушать. Это — следы первоначального намерения автора показать Лизу в основном через ее поступки, а не через ее слова. Рассуждения Лаврецкого о боге, о любви, о долге, адресованные Лизе, в первом слое черновой рукописи завершались лишь краткими авторскими ремарками: «Лиза вздохнула», «Лиза побледнела», «Лиза взглянула» и т. п. Но постепенно Тургенев насыщает текст деталями, свидетельствующими о силе ее характера, об уме и о самостоятельности ее взглядов. Лиза начинает возражать Лаврецкому. Вписываются фразы: «всё тело ее слегка затрепетало, но она не замолчала», «продолжала Лиза, как будто не расслышав его» (гл. XXIV, с. 72). Вписываются, как уже говорилось, и сцены споров Лаврецкого с Лизой, в которых она порицает слабости Лаврецкого, требует от него объяснения его поступков, вступает с ним в разговор о христианстве, утверждает свое понятие долга.

Обещание Лизы помолиться за Лаврецкого первоначально вызвало у него лишь реакцию «умиления» ее добротой. Затем Тургенев вставляет в текст рассуждение Лизы о смерти в ее христианском осмыслении и слова об «умилении» заменяет словами о «невольном удивлении» (с. 82).

С каждой вставкой образ Лизы всё усложняется и всё полнее выражает отношение Тургенева к ее нравственным исканиям.

Еще в 1857 году, в цитировавшемся выше письме к Е. Е. Ламберт, Тургенев, говоря, что к героине новой его повести он был приведен «наблюдениями над русской жизнью», добавлял: «...не скрываю от себя трудности моей задачи, но не могу отклонить ее от себя» (*Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. III, с. 179).

Трудность заключалась в том, что мотивы, настойчиво звучавшие у Тургенева в произведениях середины 50-х годов (смирение

перед «неодолимыми» стихиями природы и общественной жизни, культ самопожертвования в борьбе между естественными стремлениями человека и веригами долга), вступили в сложное противоречие с историческими условиями конца 50-х годов. В поисках тех нравственных начал, которые способствовали, по его мнению, формированию сильной и цельной, стойкой и самоотверженной натуры, Тургенев и в «Дворянском гнезде» обращается к религии как к источнику национальных и народных по своему характеру этических традиций, но как писатель-реалист он не мог не видеть тех антиобщественных, реакционных тенденций, которые были заложены в догмах христианской морали. Отсюда в романе столь контрастное изображение народной и барской религиозности. Отсюда же те колебания в авторском отношении к образу героини, которые так очевидны при сопоставлении этических убеждений Лизы и Лаврецкого.

Называя «безверием» Лизино отречение от счастья, Лаврецкий всем своим опытом убеждает Лизу исключить из понятия долга самопожертвование в любви. «Поверьте мне — я имею право это говорить: я дорого заплатил за это право» (с. 92 — вписано). Так рассуждает человек, для которого проблема долга является основной проблемой, а чувство веры — веры в истину, в высокий идеал — основной потребностью. Только из этого примера видно, какой сдвиг произошел в отношении Тургенева к тем вопросам, которые ставились и по-иному разрешались в «Фаусте» и «Асе» [31].

Лаврецкий не отказывается от счастья, он видит его в гармоническом сочетании естественных влечений и общественно-полезной деятельности: «...Лиза не чета *той*: она бы не потребовала от меня постыдных жертв; она не отвлекла бы меня от моих занятий; она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд, и мы пошли бы оба вперед к прекрасной цели» (с. 96). В этих мечтах нет философии отречения, нет противопоставления понятий счастья и долга, любви и «дела». Только вмешательство враждебных обстоятельств, косной среды, антигуманных нравственных законов, категорий не вечных и подлежащих изменению, заставляет Лаврецкого смириться. Но когда совершился, наконец, перелом в его жизни, когда «он действительно перестал думать о собственном счастье, своекорыстных целях», когда стал хорошим хозяином, он, почувствовав себя конченым человеком, уже ушел с исторической сцены. В самой сюжетной ситуации не утверждение, а критика аскетического самоотречения, и первым доказательством этого служит написанный Тургеневым позднее роман «Накануне», доказывающий возможность гармоничного сочетания чувства свободной любви и гражданского долга.

Во многом предвосхитила образ Лизы Калитиной героиня повести Тургенева «Ася»: она напоминает Лизу и своей нравственной чистотой, и правдолюбием, и способностью к сильным всепоглощающим страстям. И она, как Лиза Калитина, воспитана в духе народных национальных традиций, и она мечтает «пойти куда-нибудь

---

[31] Ср. в «Фаусте» (наст. изд., т. 5, с. 129): «...жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение... жизнь — тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное — вот ее тайный смысл, ее разгадка; не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были,— исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща».

далеко, на молитву, на трудный подвиг». Но, напоминая Асю, Лиза Калитина не повторяет ее. Образ любимой героини Тургенева является развитием заветных мыслей писателя, возникших еще в 1856 г., но значительно усложнившихся в период создания «Дворянского гнезда». Тургенев не только восхищается Лизой, но и судит ее. Он видит не только сильные стороны ее нравственных убеждений, но и губительную силу воспитавших ее религиозных устоев. Не только женственная, но и сильная, не только чувствующая, но и размышляющая, Лиза уходит в монастырь, никому не принеся счастья своим поступком. Более того, жестокая непреклонность ее религиозных убеждений нравственно обезоруживает Лаврецкого. А между тем в характере Лизы заложены силы, которые могли бы найти лучшее применение. Ее твердость духа и высокое представление о долге граничат с непримиримостью и подвижничеством. Чуждая эгоизма, она уходит в монастырь не только в порыве отчаяния за свою судьбу, но и в надежде исправить зло на земле. Гражданские эти черты тесно связаны с патриотизмом и демократизмом Лизы, с ее близостью к народной русской жизни[32]. Не случайно Тургенев так подробно рассказывает о детстве Лизы, о духовном влиянии на нее крестьянской женщины Агафьи, которая воспитывала подрастающую душу не сказками, а рассказами о житии «святых мучеников», которые «даже царей не боялись».

От решительного разрыва Лизы со средой, от независимости ее чувств и поступков — один шаг до судьбы Елены Стаховой[33].

Именно так понял Лизу и Гончаров, обеспокоенный ее сходством с образом Веры, которая в одном из первых вариантов «Обрыва» уходила за Марком Волоховым. Он писал по этому поводу Тургеневу: «...я было обрадовался, когда вы сказали, что предметом задумываемого вами произведения („Накануне“) избираете восторженную девушку, но вспомнил, что вы ведь дипломат: не хотите ли обойти или прикрыть этим эпитетом другой (нет ли тут еще *гнезда*, продолжения его, т. е. одного сюжета, разложенного на две повести и приправленного болгаром)»[34].

Изменения, внесенные Тургеневым в освещение центральных персонажей романа, свидетельствуют о том, что многие коренные вопросы, определявшие первоначальный замысел произведения,

---

[32] С. М. Степняк-Кравчинский в предисловии к английскому переводу «Дворянского гнезда» писал о Лизе, как о натуре не выдающейся, но русской и милой сердцу своей нравственной силой и красотой. Критик отмечал, что «в этой серьезной девственной душе скрыты великие задатки будущего» и что «страна, в которой мужчины могут рассчитывать на поддержку таких женщин, имеет право надеяться на лучшую долю» (Собр. соч., СПб., 1908. Ч. VI, с. 229).

[33] В статье А. И. Белецкого «Тургенев и русские писательницы 30—60-х гг.», посвященной выяснению реальных источников литературных образов Тургенева, говорится: «Судьба охотно сводила Тургенева с самыми яркими и противоположными друг другу женскими личностями его эпохи: в 1848 г. она познакомила его с Н. А. Герцен, у которой так много общего — насколько мы можем судить теперь — и с Лизой Калитиной, и с Еленой Стаховой...» (*Творч путь Т*, с. 139).

[34] Из письма к Тургеневу от 28 марта (9 апреля) 1859 г. (*Гончаров и Тургенев*, с. 32).

были додуманы и пересмотрены писателем в ходе работы. И это понятно: произведение, задуманное автором в 1856 году и осуществленное в конце 1858 года, не могло не отразить существенных перемен во взглядах и настроениях писателя. Идеологически между 1856 и 1859 годами у Тургенева пролегает грань, измеряемая не тремя годами, а целым десятилетием: от круга идей, связанных с последствиями реакции после разгрома революции 1848 года — философского и исторического пессимизма, совершен переход к идеологии конца 50-х — начала 60-х годов с характерным для нее подъемом политической активности, возрождением надежд на лучшее будущее, новым интересом к этической проблематике эпохи[35].

Перелом в настроениях и взглядах писателя между 1856 и 1859 годами отразился и в переписке его за эти годы, в частности в письмах к Е. Е. Ламберт — лицу, весьма близкому писателю на протяжении ряда лет и особенно в период создания «Дворянского гнезда».

В 1856 году письма Тургенева к этой корреспондентке пронизаны настроениями опустошенности, мыслями о суетности человеческих исканий перед лицом смерти, о бессмысленности всякого протеста против зла, об «удовольствии смирения». «Должно учиться у природы ее правильному и спокойному ходу, ее смирению»,— писал Тургенев 10 (22) июня 1856 г. И дальше: «У нас нет идеала ⟨. . .⟩ а идеал дается только сильным гражданским бытом, искусством (или наукой) и религией».

В следующие годы, когда политическая обстановка в России резко изменилась в связи с подготовкой к крестьянской реформе, меняется и характер писем Тургенева к Е. Е. Ламберт. В них нет уже прежнего пессимизма, абстрактно-философских рассуждений. Все помыслы писателя устремлены к родине, к нему возвращается прежняя жажда деятельности — литературной и общественной.

3 (15) ноября 1857 г. он пишет из Рима: «А что делается у нас в России? Здесь ходят разные противоречащие слухи. Если б не литература, я бы давно вернулся в Россию; теперь каждому надобно быть на своем гнезде. В мае месяце я надеюсь прибыть в деревню — и не выеду оттуда, пока не устрою моих отношений к крестьянам. Будущей зимой, если бог даст, я буду землевладельцем, но уже не помещиком и не барином». И в том же письме он добавляет: «...я почувствовал желание приняться за работу».

И в следующем письме к Ламберт, от 22 декабря ст. ст. 1857 г.— снова о России и снова о деле: «Я здесь в Риме всё это время много и часто думаю о России. Что в ней делается теперь? ⟨. . .⟩ До сих пор слухи приходят всё довольно благоприятные; но затруднений бездна, а охоты, в сущности, мало. Ленив и неповоротлив русский человек, и не привык ни самостоятельно мыслить, ни

---

[35] Связь проблематики «Дворянского гнезда» с эпохой конца 50-х годов замаскирована у Тургенева отсылкой к 1842 году — времени действия романа. Трудно сказать, чем была вызвана эта маскировка, но важно отметить, что в рукописи указание времени действия появилось на полях в виде вставки в текст, не содержавший вначале хронологических определений, и что 1842 год возник в этой вставке после длительных колебаний автора. Вначале был указан 1850 год, затем последовательно: 1849, 1850, 1845, 1849 гг., и только после этого писатель остановился на 1842 годе.

последовательно действовать. Но нужда — великое слово! — подымет и этого медведя из берлоги». Здесь же писатель сообщает о том, что наблюдения над русской жизнью привели его снова к «Дворянскому гнезду». Как видим, вместе с вопросом «Что делать?», волновавшим всю передовую русскую общественную мысль, перед Тургеневым как писателем со всей силой встал и другой, связанный с первым вопрос: «Кто будет делать?».

Отчасти эта тема была поставлена Тургеневым уже в «Асе» — в той мере, в какой вопрос о деятельных силах общества был связан с проблемой «лишнего человека» в новых условиях. Но писатель хорошо понимал, что эту широкую проблему нельзя ограничивать критикой «возящегося с собою лица», а кругозор литератора — «одним лирическим щебетанием» (из письма к Л. Н. Толстому от 17(29) января 1858 г.). «Я очень рад, что „Ася" тебе понравилась; желаю, чтобы и публике она пришлась по вкусу, хотя время теперь, кажется, вовсе не туда глядит»,— пишет он Некрасову 18(30) января 1858 г., извещая его о ходе работы над новым своим произведением — «Дворянским гнездом», которым писатель и надеялся ответить на запросы времени.

Время требовало новой оценки движущих сил истории. Нужно было решить, каким должен и может быть истинный деятель в эпоху назревавшего социально-экономического переворота, причем ответа на этот вопрос писатель искал и в собственных наблюдениях над окружающими его людьми, и в уроках недавнего прошлого, и в современных социальных теориях. В «Дворянском гнезде» нашли отражение различные стороны этой проблемы, но больше всего писателя занимал аспект нравственно-психологический [36].

В период, когда писалось «Дворянское гнездо», революционно-демократическая критика выступила с рядом статей, по-новому, с социальных позиций освещавших трагедию «лишнего человека», недавнего положительного героя русской жизни.

Еще в конце 1857 г. Н. А. Добролюбов в рецензии на «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина (*Совр*, 1857, № 12) писал об «ответственности окружающей среды» за нравственную гибель образованных и одаренных натур, выродившихся в «апатические безличности», спасавшихся в «мефистофельстве», спившихся с кругу или пустившихся в мошенничество. Рецензент писал: «Читатели, конечно, прочли уже «Губернские очерки» и потому, верно, знакомы с некоторыми из талантливых натур, очерченными г. Щедриным. Но не все, может быть, размышляли о сущности этого типа и о значении его в нашем обществе» [37]. Всем ходом дальнейших рассуждений критик подводит к мысли, что лень, бездеятельность, тунеядство и другие пороки обещавших многое личностей чаще всего обусловлены не природными задатками, а «бессилием противиться внешним условиям», т. е. причинами социальными.

Более подробно и в применении к творчеству самого Тургенева сущность типа «лишнего человека» и значение его в современном об-

---

[36] О сложном соотношении этических представлений Тургенева и социальной проблематики эпохи см. в работах: Б я л ы й Г. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, гл. V; К у р л я н д с к а я Г. Б. Этическая тема в творчестве Тургенева.— Уч. зап. Орловского гос. пед. ин-та, т. 17, Орел, 1963, с. 83—129.

[37] *Добролюбов*, т. 1, с. 185.

ществе раскрывались в статье Чернышевского «Русский человек на rendez-vous», появившейся в апрельском номере «Атенея» за 1858 г. Статья была посвящена разбору повести Тургенева «Ася», напечатанной в январе того же года в «Современнике», и отвечала на вопрос, могут ли люди, подобные герою этой повести, быть деятелями нового исторического периода.

Основная беда героя повести «Ася», по мысли Чернышевского, в его прирожденной «неспособности понимать вещи»: он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были «все отношения и дела, к которым он привык».

Сословная биография героя «и его собратьев», определившая их неспособность к решительным действиям в настоящем, заставляла задуматься и о будущем: «...только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях и привычках, будут уметь действовать как честные и благоразумные граждане, а сами они теперь не пригодны к роли, которая дается им»[38]. Таков был приговор революционно-демократической критики дворянскому герою как действующему лицу новой исторической формации.

Тот же вопрос рассматривался и Тургеневым в его романе «Дворянское гнездо», самое название которого подчеркивало направленность мысли автора. Как и Чернышевский, Тургенев основывал свое суждение об одном из лучших представителей дворянских гнезд в России не только на его субъективных качествах, но и на тех объективных условиях, которые влияли на формирование личности в типичных для крепостного уклада обстоятельствах. История рода Лаврецких объясняет многое в поведении и духовной ущербности героя, искалеченного воспитанием, растратившего природную энергию на борьбу с самим собой и с враждебной мелочной стихией быта, не нашедшего счастья для себя и не принесшего его никому на земле.

Как и Чернышевский, Тургенев связывает вопрос «о счастье или несчастье навеки» с понятием гражданской пользы. Не находящие исхода стремления Лаврецкого к гармонической любви в такой же мере значимы для определения его духовной сущности, как и его общественная трагедия: поиски полезного дела и ранний уход с исторической сцены. Тургенев, как и Чернышевский, пришел в своем романе к мысли, что современное поколение дворянской интеллигенции, даже в лице ее лучших представителей, осознавших задачи времени, ближе всего стоящих к народу, наиболее честных и самоотверженных, не способно возглавить силы прогресса — оно неизбежно должно уступить место «детям и внукам, воспитанным в других условиях и привычках». Таков несомненный смысл заключительных страниц «Дворянского гнезда».

В черновом автографе романа имеются строки, не вошедшие в окончательный текст эпилога; в них с особенной ясностью проступала мысль автора о зависимости жизнедеятельных сил общества от среды, от исторических обстоятельств. Вместо известных слов Лаврецкого, обращенных к молодому поколению: «...вам не придется ∽ будет с вами» (с. 158) — в рукописи сохранился следующий текст: «Вы не заражены своим прошедшим, вас не вывихнули с молодости, вы не узнаете невозвратимых утрат борьбы с самим собою — вы

[38] *Чернышевский*, т. 5, с. 172.

прямо возьметесь за дело!» И далее: «Примите тайное, безвестное для вас благословение человека, который уже перестал идти, но не перестал глядеть вперед и следить за жизнью».

Более подробно, чем в окончательном тексте, в автографе раскрыто и содержание самого «дела» Лаврецкого, которому он посвятил себя, отказавшись от «собственного счастья, от своекорыстных целей». Лаконичная фраза: «Он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян» — в рукописи является частью обширного периода: «...он обеспечил и упрочил быт своих крестьян, поднял их нравственно, вселил в них, вместе с сознанием упроченной собственности, чувство обязанности и чувство права — те чувства, которыми до сих пор так еще бедна богатая русская душа»[39].

В литературе, посвященной «Дворянскому гнезду», высказаны разные точки зрения на то, как реагировал Тургенев на статью Чернышевского «Русский человек на rendez-vous». Прямых высказываний Тургенева по этому поводу не сохранилось. А очевидная общность целого ряда проблем, поставленных в статье Чернышевского и в романе Тургенева, трактуется в одних работах как результат идейного влияния революционно-демократической критики на писателя[40], в других — как полемический отклик Тургенева на чуждые ему взгляды[41].

Высказанные точки зрения не исключают друг друга. Тургенев не мог принять и не отразил в «Дворянском гнезде» революционную программу демократов, предусматривавшую полную смену руководящих классов; оставаясь на позициях либерала-постепеновца, писатель возлагал большие надежды на нравственное обновление дворянства как путь к сохранению его руководящей исторической роли. Именно потому в романе так много внимания уделяется нравственной характеристике основных героев. Писатель тщательно отбирал и выделял черты, определяющие, по его выражению, «крепость нравственного состава» личности — и прежде всего такие, как вера в идеал, деятельная энергия, сознание гражданского долга, близость к народу, чувство родины, способность к подвигу, самоотверженность, доброта. Всё это и составляет обязательный этический комплекс, без которого писатель не мыслил себе положительного героя, борца за прогресс.

Можно ли приобрести нравственные качества, которыми человек не обладает с рождения? Тургенев отвечает на этот вопрос многими страницами в «Дворянском гнезде», посвященными проблеме становления личности в зависимости от среды, системы воспитания, идейных влияний, субъективного стремления к самоусовершенствованию. В этом смысле особенно значимы биографии Лаврецкого, Лизы, Паншина. Тургенев в лице Михалевича заново присматривается и к облику политических мечтателей 30-х годов, цельные нату-

---

[39] Это место прочтено в исследовании А. Гранжара неточно, что и привело автора к ошибочному толкованию текста (*Granjard*, *Ivan Tourguénev*, p. 221).

[40] Габель М. О. Роман Тургенева «Дворянское гнездо» в общественно-политической и литературной борьбе конца 50-х годов.— Уч. зап. Харьков. гос. библ. ин-та, 1956, вып. II, с. 219.

[41] Антонова Г. Н. Чернышевский и Тургенев о «лишних людях».— В кн.: Н. Г. Чернышевский Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1962. Т. 3, с. 92—106.

ры которых не потеряли для писателя своего обаяния и своего воспитательного значения в годы, когда писался роман. В плане формирующих сознание народных традиций рассматривает Тургенев и религиозно-нравственную стихию, в лучших своих проявлениях способствующую, по его мнению, воспитанию стоицизма, подвижничества, чувства долга. Утверждение мысли о возможности нравственного обновления общественных сил писатель считал важной практической задачей[42]. По всей вероятности, этим и объясняется устранение из первого отдельного издания «Дворянского гнезда» (1859) эпиграфа, имевшегося в черновой рукописи романа и в тексте, опубликованном в «Современнике». Смысл эпиграфа («На что душа рождена, того бог и дал») противоречил этической устремленности замысла романа в его последней редакции.

Вот этот нравственно-психологический аспект темы передового современника, рекомендующий автора сторонником эволюционного накопления сил, а не революционной их перестановки по социальному признаку, и можно рассматривать как полемику с позицией демократов. Однако ряд признаков в автографе «Дворянского гнезда» свидетельствует о том, что писатель вносил некоторые поправки в свою позицию, очевидно, под воздействием мысли Добролюбова и Чернышевского. Как уже говорилось, история рода Лаврецких и, в частности, факт происхождения Федора Лаврецкого от матери-крестьянки появились в тексте уже на первой стадии его создания. Но при дальнейшей работе автор настойчиво подчеркивает вставками естественный демократизм этого персонажа, его физическое здоровье, мужицкий облик, богатырскую силу, природную энергию, не свойственную вырождающимся потомкам аристократических родов. Все эти черты нужны были писателю для того, чтобы представить на суд современников наименее уязвимого представителя своего класса, наиболее жизнеспособного, наиболее близко стоящего к народу. Позднее, по поводу «Отцов и детей», Тургенев в письме к К. К. Случевскому, объясняя избранную им позицию, говорит: «...эстетическое чувство заставило меня взять именно хорошего представителя дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко?» В том же письме он обобщает: «Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса» (*Т, ПСС и П*, *Письма*, т. IV, с. 384). Осуждение Лаврецкого как деятеля, «переставшего идти вперед», освобождало путь для нового тургеневского героя — разночинца.

---

[42] В письмах Тургенева, написанных в тот же период и обращенных к молодежи, четко формулируется задача нравственного самоусовершенствования. Так, в письме к А. Н. Апухтину от 29 сентября (11 октября) 1858 г. говорится: «...если Вы теперь, в 1858-м году, отчаиваетесь и грустите, что же бы Вы сделали, если б Вам было 18 лет в 1838-м году, когда впереди всё было так темно — и так и осталось темно? Вам теперь некогда и не для чего горевать; Вам предстоит большая обязанность перед самим собою: Вы должны себя делать, человека из себя делать ⟨...⟩ Помните, что много молодых людей, подобных Вам, трудятся и бьются по всему лицу России; Вы не один — чего же Вам больше? Зачем отчаиваться и складывать руки? Ну если другие то же сделают, что же выйдет из этого? Вы перед Вашими (часто Вам не известными) товарищами нравственно обязаны не складывать руки»;

РЕАЛЬНЫЕ И БЫТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ «ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА»

Рассказывая о том, как создавались основные художественные типы его произведений, Тургенев неоднократно указывал (применительно к образам Рудина, Кирсановых, Базарова, Потугина), что в основе этих образов почти всегда находятся какие-либо реально существовавшие лица или отдельные черты их характеров [43]. Подтверждением этих слов писателя служат дошедшие до нас списки персонажей некоторых произведений с авторскими пометами об их прототипах.

Свидетельств самого Тургенева о прототипах «Дворянского гнезда» не сохранилось, как не сохранилось точных указаний об этих лицах и в мемуарной литературе, но различные соображения по этому вопросу были высказаны в ряде работ о Тургеневе — большей частью в связи с образом Лизы Калитиной. Одним из признаков, по которым велись поиски прототипа, были обстоятельства биографические: не часто случавшийся уход молодой девушки из благополучной дворянской семьи в монастырь. В «Вестнике знания» в 1909 г. была опубликована статья Елены Штольдер «Схимница Макария (Лиза из романа Тургенева „Дворянское гнездо“)», в которой автор рассказывает о том, как она «узнала из разговоров», что «все лица романа „Дворянское гнездо“ не вымышлены, а на самом деле жили», и посетила в Орле «дом и сад Калитиных, на самом же деле Кологривовых». Далее автор сообщает одну из легендарных версий о прототипе Лизы: «Немного спустя мне удалось напасть на след Лизы. Постриглась она в Тульском монастыре, а через 15 лет переехала в Орловский». Е. Штольдер посетила этот монастырь, но в то время схимница Макария (она же Елизавета Кологривова) уже умерла — и автор статьи подробно описывает келью умершей, приводя рассказы монахинь о подвижнической жизни отшельницы [44]. Другая аналогия между жизненной судьбой Лизы Калитиной и дальней родственницы Тургенева Елизаветы Шаховой, одаренной поэтессы, которая, пережив несчастное любовное увлечение, в ранней молодости ушла в монастырь, проводится в статье А. И. Белецкого «Тургенев и русские писательницы 30—60-х гг.» [45]. Но автор далек от того, чтобы считать Елизавету Шахову или других лиц со сходной биографией конкретным прототипом Лизы Калитиной, образ которой, по мнению исследователя, «явился итогом целого ряда этюдов женской души». В той же работе указывается на общность некоторых черт Лизы и Н. А. Герцен, которую хорошо знал Тургенев. Подобные сопоставления, так же как и установленное исследователями сходство Лизы Калитиной с петербургской знакомой писателя, графиней Елизаветой Егоровной Ламберт, служат источником для суждений о том, как отбирал и творчески перерабатывал Тургенев подсказанный ему живой действительностью материал.

---

[43] Цейтлин А. Г. Мастерство Тургенева-романиста. М.: Советский писатель, 1958, с. 92—98, 143—160.

[44] Вестник знания, 1909, № 4, с. 597—600.

[45] *Творч путь Т*, с. 139, 142—147. Ряд дополнительных сведений о личности и судьбе Лизы Шаховой, заинтересовавшей молодого Тургенева, содержится в статье М. П. Алексеева «Е. Шахова — переводчица Мицкевича» в кн.: Адам Мицкевич в русской печати 1825—1855, М.; Л.: АН СССР, 1957, с. 498.

Сходство Лизы с Е. Е. Ламберт, известной в великосветских кругах своей религиозностью, строгостью нравственных принципов, интересом к философским основам христианства, устанавливается по признаку интеллектуального и духовного родства. В специальном исследовании на эту тему проф. А. Гранжар [46] прослеживает историю отношений и переписки Тургенева с Е. Е. Ламберт и приходит к справедливому выводу, что эта женщина, связанная с писателем «симпатией чувств», по собственному его выражению, и импонировавшая настроениям Тургенева в 1856—1857 гг., сыграла некоторую роль в истории замысла «Дворянского гнезда». Письма самого Тургенева к этой корреспондентке, исполненные элегической настроенности, сожалений об уходящей молодости, размышлений о счастье, о любви, о долге, напоминают внутренний мир Лаврецкого, а нравственные искания самой Е. Е. Ламберт, известные нам по ее письмам, частично отразились в образе Лизы Калитиной. Но исследователь преувеличил общее влияние Е. Е. Ламберт на Тургенева, якобы стихийно стремившегося к христианству. Известная прямолинейность выводов сказалась и в параллели между Лизой и гр. Ламберт как ее прототипом [47]. Принадлежавшая к высшей придворной аристократии, по самому образу жизни чуждая русской простонародной стихии, гр. Ламберт весьма далека от поэтической сущности образа Лизы Калитиной, от его национальных и гражданских основ. Можно говорить лишь о каких-то отдельных штрихах, увиденных Тургеневым в облике этой своей приятельницы, как и других окружавших его женщин, и воплощенных писателем в цельном, едином, собирательном образе его любимой героини.

Собирательным по существу является также образ Лаврецкого. Указывалось на его сходство в отдельных биографических моментах с реально существовавшими лицами, например, с Н. П. Огаревым [48]. Но во всех исследованиях в то же время отмечается, что образ Лаврецкого вобрал в себя многие личные настроения самого Тургенева и что повествование о нем изобилует автобиографическими деталями.

Рукопись романа расширяет наше представление об автобиографическом характере некоторых подробностей повествования. Особенно показательны в этом отношении страницы, посвященные истории рода Лаврецких и описанию жизни героя до начала действия романа (главы VIII—XII). Глава о предках Лаврецкого состоит из 26 страниц чернового, обильно правленного текста. Кроме стилистических исправлений, обращают на себя внимание такие замены текста: прадед Федора Ивановича Лаврецкого Андрей первоначаль-

---

[46] *Granjard, Ivan Tourguénev*, с. 14 и след.

[47] Этот вопрос обсуждался на расширенном заседании сектора русской литературы Института мировой литературы АН СССР, где проф. А. Гранжар выступил с докладом об основных положениях названной выше книги. Отчет см.: *Вопросы литературы*, 1960, № 12, с. 242—243.

[48] См.: Д о к с Г. Огарев и Тургенев— Slavia, 1939, R. XVI, S. 1, с. 79—94; здесь же приводятся факты, указывающие на то, что прототипом жены Лаврецкого Варвары Павловны является первая жена Н. П. Огарева — М. Л. Рославлева. М. Л. Рославлева и А. Я. Панаева в качестве прототипов Варвары Павловны упоминались и ранее в статье А. И. Белецкого «Тургенев и русские писательницы 30—60-х гг.» (*Творч путь Т*, с. 136).

но в рукописи всюду назван Тимофеем (иногда Иваном, л. 46) и соответственно сын его — Петром Тимофеевичем. Характерно, что эти имена встречаются и в родословной самого Тургенева [49]. В окончательном тексте говорится, что родоначальник Лаврецкий выехал из Пруссии в княжение Василия Темного и «был пожалован двумя стами четвертями земли». В автографе первоначально была названа не Пруссия, а Венгерская земля [50], а в том месте, где должен был быть указан размер земельного надела, в рукописи оставлено пустое место с многоточием — очевидно, Тургенев где-то собирался уточнить цифру и сделал это позже, уже не в черновой рукописи.

В первоначальной редакции приводилось значительно больше подробностей из семейной хроники Лаврецких, чем вошло в окончательный текст. В частности, подробнее описывались «страшные дела» Тимофея Лаврецкого и его сына Петра, прадеда и деда героя — жестокие методы обучения дворовых мальчиков ремеслу, картина оскудения некогда богатых хозяйств, произвол и беспутство поместных прожигателей жизни (см. *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. VII, с. 316 и след.).

Многие детали этих описаний имеют автобиографический характер. В литературе указывалось на черты сходства между образом деспота Андрея Лаврецкого и братом деда Тургенева по материнской линии Алексея Ивановича Лутовинова, между жизненной судьбой отца Лаврецкого Ивана Петровича и деградировавшего вольтерьянца Ивана Ивановича Лутовинова [51]. Отзвуки семейных преданий о роде Лутовиновых встречаются и в других произведениях Тургенева, например в рассказах «Три портрета» (1846), «Три встречи» (1852), причем некоторые детали из жизни «людей екатерининского времени» в этих рассказах сходны с описанием того же времени в «Дворянском гнезде» (характеристика старого дома в Васильевском и фамильных портретов, появившаяся в автографе романа в виде позднейшей вставки).

За счет автобиографического материала значительно расширен в автографе текст в главе о воспитании молодого Лаврецкого. Так, вначале было сказано, что единственными игрушками Феди в детстве были три картонные фигурки, которые по воскресеньям разрешалось ему перекладывать с места на место. Во втором варианте единственным развлечением маленького Феди было воскресное посещение обедни (см. варианты чернового автографа — *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. VII, с. 325). Затем на полях появляется большая вставка о любимой книге Феди Лаврецкого — «Эмблемы и символы» Максимовича-Амбодика,— книге, которую читал и маленький Тургенев (см. ниже, с.420). Добавлена также на полях сатирическая характеристика «системы» Ивана Петровича, при помощи которой он хотел воспитать из сына спартанца (в автографе: «гражданина, спар-

---

[49] Гутьяр Н. М. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907, с. 4—8. В поколенной росписи рода Лутовиновых встречается и самая фамилия Лаврецких, в частности Мавра Ивановна Лаврецкая, ставшая женой Ивана Андреевича Лутовинова (*ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 87, л. 92).

[50] Родоначальник Тургеневых выехал из Золотой орды также при Василии Темном (*ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 87, л. 92).

[51] Гутьяр Н. М. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907, с. 13—15; ср. *Т*, *СС*, т. 5, с. 439.

танца» — этот вариант не зачеркнут), и обобщение: «„Система" сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее» (с. 40—41, строки 38—19)[52].

Реальные жизненные впечатления, пережитые самим автором, преломились и в описании местности, где происходит действие романа. «Дворянским гнездом» называлось в Орле место расположения лучших барских усадеб, прилегавших к обрывистому берегу реки Орлик[53]. В этой местности, над рекой, в конце Октябрьской улицы (б. Дворянской), находится старинный дом, который известен среди орловчан как «дом Калитиных». По свидетельству старожилов, Тургенев с большой точностью описал в романе действительно существовавший в названной местности дом и окружавший его большой сад[54].

Хорошо знакомые ему края описал Тургенев и в тех главах романа, где рассказывается о родовом имении Лаврецких — Васильевском. В своих воспоминаниях о совместных охотах с Тургеневым летом 1858 г. А. А. Фет указывает, что, как он достоверно знает, действие романа «Дворянское гнездо» в той части, где говорится о Васильевском, «перенесено Тургеневым в Топки», имение писателя в Малоархангельском уезде Орловской губернии. В романе отразились реальные впечатления писателя от одной из таких поездок в Топки вместе с Фетом: окрестный пейзаж, картина запустения старого дома, встреча с крепостным слугой Антоном, церемония обеда и т. п. При этом автор воспоминаний уточняет некоторые детали: «Описание старого флигеля, в котором мы остановились, верное в тоне, весьма преувеличено пером романиста. По раскрытии ставней, мухи действительно оказались напудренными мелом, но никаких штофных диванов, высоких кресел и портретов я не видал»[55].

Если учесть, что упоминаемое Фетом описание старинного барского быта — мебель екатерининских времен, портреты предков и

---

[52] В воспоминаниях о Тургеневе Н. А. Островской говорится, что, по признанию самого писателя, изображая «спартанское» воспитание Лаврецкого, он изобразил себя и своего отца (*Т сб (Пиксанов)*, с. 122). В письме Тургенева к П. Виардо от 25 июня (7 июля) 1858 г. сообщаются сведения о воспитании детей М. Н. Толстой, сходные с тем, о чем рассказано в «Дворянском гнезде». Тургенев пишет: «Он⟨В. П. Толстой⟩ проводил по отношению к ним систему сурового обращения; он доставлял себе удовольствие воспитывать их на спартанский лад, сам ведя образ жизни совершенно противоположный. Подобные вещи случаются часто: люди таким образом доставляют себе удовольствие быть и порочными и добродетельными — добродетельными за чужой счет».

[53] Чернов Николай. Орловские литературные места. Изд. 3-е, доп. Тула, 1970. с. 26—27; автор ссылается на рассказ «Несмертельный Голован» Н. С. Лескова, описавшего те же, что и Тургенев, места над обрывом Орлика.

[54] Чернов Николай. Орловские литературные места. С. 26—27; ср.: Орел. Материалы для описания Орловской губернии. Рига, Изд. П. Александрова, 1903, с. 34; Орловский вестник, 1913, 22 августа, № 198: Бунин И. А. Повести. Рассказы. Воспоминания. М.: Московский рабочий, 1961, с. 347—348.

[55] *Фет*, с. 277—278.

т. д.— представляет в автографе позднейшую вставку в текст, как и описание одичавшего сада, старинных лип, небольшого пруда, о чем нет никаких упоминаний в рассказе Фета о Топках, то можно предположить, что Тургенев при последней отделке романа в описании объединил Топки и свое любимое Спасское, с его поэтическим садом, светлым прудом, липовой аллеей и домом, где висели родовые портреты и сохранялась старинная фамильная мебель.

Не только Лаврецкого, но и других персонажей романа Тургенев наделил чертами, которые представляли для него лично особый интерес. О личности Михалевича с кругом его идеальных исканий уже говорилось выше. Особое место занимает в романе фигура Лемма. Человек чистой души, он один из тех, кому автор предоставил право обнажать нравственную сущность героев, судить их судом совести. Значительна для Тургенева и собственная судьба Лемма. Оторванный от родной почвы, немец-музыкант, который по своей одаренности мог бы стать в ряду великих композиторов своей родины, становится жертвой губительных для таланта обстоятельств. Страницы биографии Лемма (глава V) вырабатывались в автографе с особой тщательностью: многие строки, фразы, слова имеют по нескольку вариантов. Варьируется возраст немца (год рождения 1796, затем 1798, затем 1790, в окончательном тексте — 1786), отыскиваются наиболее выразительные портретные штрихи, в рассказе о бродячей жизни музыканта отбираются наиболее характерные и вместе с тем трагические подробности.

Отношение автора к Лемму отмечено высоким лиризмом. Лемм олицетворяет для Тургенева любимейший вид искусства — музыку [56]. Образ Лемма занимает особое место в эстетической системе писателя, поставившего перед собой задачу сделать самую музыку объектом художественного изображения, передать литературными средствами силу ее эмоционального воздействия. Тургенев говорит об этом в письме к Л. Н. Толстому от 17 (29) января 1858 г., отзываясь о его рассказе «Альберт» («Музыкант»): «Мне странно, однако, почему Некрасов забраковал „Музыканта“; что́ в нем ему не понравилось, сам ли музыкант, возящееся ли с собою лицо? Боткин заметил, что в лице самого музыканта недостает той привлекательной прелести, которая неразлучна с художественной силой в человеке; может быть, он прав; и для того, чтобы читатель почувствовал часть очарованья, производимого музыкантом своими звуками, нужно было автору не ограничиться одним высказыванием этого очарования».

Тургеневу хорошо был известен тип немца, учителя музыки — и по собственным наблюдениям [57] и по предшествующей русской литературе [58], но в самой тональности повествования о Лемме силь-

---

[56] См.: Алексеев М. П. Тургенев и музыка. Киев, 1918, с. 10—13.

[57] А. Д. Галахов в своих воспоминаниях «Сороковые годы», рассказывая о московских встречах Тургенева со Щепкиным, Садовским и Шумским, добавляет, что на эти встречи являлся «какой-то немец, может быть, подлинник Лемма (в „Дворянском гнезде“), мастерски игравший на фортепьяно» (*ИВ*, 1892, № 1, с. 140).

[58] Степанов А. П. Постоялый двор. СПб., 1835; Жукова М. С. Дача на Петергофской дороге.— *Отеч Зап*, 1845, № 4, отд. 1, с. 255—326.

нее всего сказались традиции немецкой романтической литературы 20—30-х годов XIX века, широко привлекавшей образную музыкальную стихию для психологической характеристики героев [59]. Усвоению этих традиций способствовало личное пребывание писателя в 30-е годы в Германии, а также общение с русскими шеллингианцами, пропагандировавшими в России немецкую романтическую литературу — и прежде всего с известным меломаном и философом В. Ф. Одоевским.

Неоднократно отмечалось, что «Дворянское гнездо» музыкально, как ни одно из произведений Тургенева [60]. В нем много говорится о музыке, и действующие лица часто предстают перед читателем в момент музицирования — игры на фортепьяно, пения. Отношением к музыке характеризуются многие персонажи — Лиза, Варвара Павловна, Паншин и другие. Высокой музыкальностью отличается самый язык романа, звукопись — важнейший элемент пейзажной лирики в «Дворянском гнезде». Во всей этой многообразной музыкальной стихии композиционно выделяется лирическая мелодия Лемма. Музыкальные композиции Лемма оттеняют моменты высокого душевного напряжения героев, языком музыки Лемма рассказывает Тургенев о любви Лаврецкого к Лизе. Эпизод вдохновенного творческого взлета Лемма является кульминацией темы счастья в романе — темы, вокруг которой организована вся идейная проблематика произведения.

Антиподом истинного артиста-неудачника является дилетант Паншин. Основная функция этого персонажа в романе — типизация тех кругов чиновного дворянства, которые наиболее далеки от народной жизни. Сущность Паншина — его суетность, карьеризм, бездушие, эгоизм, его поверхностное западничество и неверие в русский народ — раскрывается в рассказе о его воспитании, в его отношениях с Лизой, с Варварой Павловной, с Леммом, с Лаврецким, с людьми из народа (кучер). Эти страницы были созданы Тургеневым уже на первом этапе работы над романом и не подверглись в дальнейшем серьезной переработке. И только одна черта Паншина — его не получившая развития одаренность, его дилетантизм — привлекла особое внимание автора. Тургенев неоднократно переделывал текст в тех местах, где говорилось об этой особенности Паншина. После слов: «Всё ему далось: он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене» (в одном из вариантов было еще «лепил статуэтки» — см. варианты чернового автографа — *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. VII, с. 308—309) — автор делает вставку на полях: «Правда, всё это выходило у него второстепенного достоинства, à la dilettante... но от этого именно оно и имело успех». Этот текст автором зачеркнут и против него сделана помета: «NB.

---

[59] В этом смысле характерна «Музыкальная жизнь Иосифа Берглингера» Ваккенродера в его книге «Об искусстве и художниках. Размышле́ния отшельника, любителя изящного» (М., изд. Л. Тика, 1826 (в русском переводе С. П. Шевырева, Н. А. Мельгунова, В. П. Титова). Вариации той же биографической схемы имеются у Гофмана. См. примечания М. П. Алексеева к «Моцарту и Сальери» в изд.: *Пушкин*, т. 7, с. 539 и следующие.

[60] Белецкий А. И. В мастерской художника слова.— В кн.: Вопросы психологии и теории творчества. Харьков, 1923. Вып. 8, с. 245—246.

Не после ли?». В окончательном тексте вещи своими именами называет не автор, а Лемм (с. 24, строка 7). Еще одна деталь, сатирически оттеняющая духовное ничтожество Паншина-художника,— рассказ о том, как он постоянно рисовал один и тот же пейзаж,— добавлена писателем еще позднее, уже не в автографе. Отношение самого Тургенева к дилетантизму высказано в упоминавшемся выше письме к Толстому от 17(29) января 1858 г.: «...всякому человеку следует, не переставая быть человеком, быть специалистом; специализм исключает дилетантизм 〈. . .〉 а дилетантом быть — значит быть бессильным».

Упорно искал «свою специальность», свое дело на земле (см. варианты чернового автографа — *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. VII, с. 333) и Лаврецкий, нашедший его, как и Тургенев в конце 50-х годов, в заботах об устройстве крестьянского быта.

Несомненное воздействие на образную систему «Дворянского гнезда» оказало творчество Пушкина, благоговение перед которым, по собственному признанию Тургенева, наложило отпечаток на всю его деятельность [61]. Вынашивая образ любимой своей героини Лизы Калитиной, наделяя его прекрасными чертами русского национального характера,— правдолюбием, близостью к народной жизни, особым обаянием безыскусственной женственности, нравственной чистоты и силы, Тургенев был близок к пушкинскому идеалу русской женщины, нашедшему воплощение в образе Татьяны Лариной. Элементами пушкинской поэзии пронизана тема любви в романе, самая ткань повествования, отдельные сюжетные ситуации [62].

Социальная проблематика «Дворянского гнезда» в соотношении с этическими исканиями действующих лиц романа (размышления их о долге и счастье) преемственно связана с теми же проблемами в повести Герцена «Долг прежде всего» (1854). Эта повесть вышла вторым и дополненным изданием в 1857 году — незадолго до того, как Тургенев, перед началом работы над «Дворянским гнездом», посетил Герцена в Лондоне [63].

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» В ОТЗЫВАХ СОВРЕМЕННОЙ ПИСАТЕЛЮ КРИТИКИ

Роман Тургенева при появлении в печати вызвал восторженные отклики читателей. «„Дворянское гнездо“ имело самый большой успех, который когда-либо выпал мне на долю. Со времени появления этого романа я стал считаться в числе писателей, заслуживаю-

---

[61] Об этом говорится в письме Тургенева к А. И. Незеленову от 5 (17) декабря 1882 г.

[62] См.: Эйгес И. Значение Пушкина для творчества Тургенева.— *Лит учеба*, 1940, № 12, с. 75; Lednicki W. The Nest of Gentlfolk and the «Poetry of Marriage and the heart». In: Lednicki W. Bits of Table Talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkiewicz. The Hague. 1956, p. 60—86.

[63] По мнению А. С. Долинина, предки Лаврецкого введены в роман «по образу и подобию» рода Столыгиных у Герцена, в той же последовательности смен различных поколений и с той же целью — вступления к рассказу о центральном герое. При этом указывается на совпадение обстоятельств смерти Ивана Петровича Лаврецкого в «Дворянском гнезде» и Льва Степановича Столыгина в повести

щих внимание публики»,— писал сам Тургенев в предисловии к собранию своих романов *(Т, Соч, 1880)*[64]. Большое количество статей и рецензий, которыми откликнулась пресса на появление «Дворянского гнезда», свидетельствовало о выдающемся литературно-общественном значении этого события. Роман был замечен и высоко оценен современниками, принадлежавшими к самым различным общественным кругам. О высоких художественных достоинствах «Дворянского гнезда», о впечатляющей силе его образов писали и представители эстетической критики Н. Ахшарумов[65], А. Пятковский[66], М. Де-Пуле[67], и «почвенник» Ап. Григорьев[68], и публицист либерального направления П. В. Анненков[69]. В течение года четыре раза высказывал свое мнение о «Дворянском гнезде» на страницах «Современника» Н. А. Добролюбов[70]. Горячо отзывался о новом произведении Тургенева М. Е. Салтыков-Щедрин[71], несколько статей посвятил этому произведению в разное время Д. И. Писарев[72].

С более или менее развернутыми отзывами о романе выступили газеты «С.-Петербургские ведомости» (1859, 31 декабря № 284, в анонимном обзоре петербургских журналов), «Русский мир» (1859, № 11, статья А. С. Гиероглифова), «Русский инвалид» (1859, № 217, статья Л. Л-о), «Le Nord» (1859, № 84), а также журналы (кроме названных выше) «Сын отечества» (1860, № 6), «Северный цветок» (1859, № 10) и «Искра» (1860, № 1), где был помещен критический отклик па статью М. Де-Пуле в «Русском слове».

Герцена (Долинин А. С. О книге В. А. Путинцева «Герцен — писатель».— Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та, 1954, т. IX, вып. 3, с. 306).

[64] Любопытный рассказ о том, как расхватывались и перепродавались по спекулятивным ценам экземпляры журнала, где был опубликован роман, приводится в воспоминаниях книгопродавца Н. И. Свешникова.— Свешников Н. И. Воспоминания пропащего человека. М.; Л.: Academia, 1930, с. 361.

[65] Ахшарумов Н. «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева (Современник, январь, 1859).— В кн.: Весна, Литературный сборник на 1859 г. СПб., 1859, с. 358—374.

[66] Пятковский А. «Дворянское гнездо». Повесть И. С. Тургенева («Современник», 1859, № 1).— *ЖМНП*, 1859, № 5, отд. VI, с. 95—111.

[67] Де-Пуле М. «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева.— *Рус Сл*, 1859, № 11, отд. II, с. 1—22; Нечто о литературных мошках и букашках.— Время, 1861, № 2, отд. III, с. 115—131.

[68] Григорьев Ап. И. С. Тургенев и его деятельность. (По поводу романа «Дворянское гнездо»).— *Рус Сл*, 1859, № 4, 5, 6, 8.

[69] Анненков П. В. «Дворянское гнездо». Роман И. С. Тургенева. *Рус Вестн*, 1859, т. XXII, № 8, с. 508—538.

[70] *Совр*, 1859, № 2, 5, 6; 1860, № 3 — в рецензиях на комедию Островского «Воспитанница». на сборник «Весна» и в статьях «Что такое обломовщина?», «Когда же придет настоящий день?».

[71] *Салтыков-Щедрин*, т. 18, кн. I, с. 212—213.

[72] Писарев Д. И. «Дворянское гнездо». Роман И. С. Тургенева.— Рассвет, 1859, № 11, отд. II, с. 23—40; Писемский, Тургенев и Гончаров.— *Рус Сл*, 1861, № 11, с. 1—47; Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова.— *Рус Сл*, 1861, № 12, отд. II, с. 1—52.

При видимом единодушии хвалебных оценок в критике, посвященной «Дворянскому гнезду», отразились разные точки зрения на роман Тургенева и развернулась иногда скрытая, иногда явная полемика между авторами противоположных идеологических ориентаций. В самом подходе к рецензируемому произведению и в особом внимании к той или иной стороне романа сказывалась иногда весьма определенная позиция критика. Так, в ряде рецензий общественное звучание романа Тургенева либо не замечалось вовсе, либо намеренно отрицалось, что особенно явственно проявилось в позиции критика «С.-Петербургских ведомостей». «В „Дворянском гнезде“,— писал этот критик,— при всей наклонности нашего времени во всем видеть поучение или обличение, чрезвычайно трудно отыскать хотя бы малейший намек на тенденцию. Иные хотели видеть в романе г. Тургенева изображение трех поколений — екатерининского, александровского и николаевского — с целью указать, что все эти поколения оказались несостоятельными в жизни, и что настоящая жизнь принадлежит четвертому, будущему поколению, которое на минуту является в конце рассказа ⟨. . .⟩ Эти социальные и практические вопросы, которые на каждом шагу останавливают читателя „Обломова“ — им нет места в „Дворянском гнезде“ ⟨. . .⟩ роман г. Тургенева — высокая, чистая поэзия» (*СПб Вед*, 1859, № 284).

Критики той же ориентации видели в «Дворянском гнезде» гимн жизни со всеми ее светлыми и трагическими сторонами, восхищались Тургеневым как живописателем дворянского усадебного быта, как поэтом, который противостоит писателям критического направления [73].

С развернутым возражением против такой оценки романа выступил в журнале «Русский вестник» П. В. Анненков [74]. Задавшись целью «серьезно подумать о причинах того единогласного сочувствия и одобрения, того восторга и увлечения, которые вызваны были появлением „Дворянского гнезда“», автор приходит к выводу, что единодушие это вызвано не столько «торжеством поэзии и художнического таланта, самовластно подчиняющих себе разнороднейшие оттенки общественной мысли», сколько непониманием внутреннего значения произведения со стороны ряда критиков и недоразумени-

---

[73] Обстоятельный разбор реакционной критики «Дворянского гнезда» в ее столкновении с революционно-демократической критикой дан в статье М. О. Габель «Роман Тургенева „Дворянское гнездо“ в общественно-политической и литературной борьбе конца 50-х годов».— Уч. зап. Харьков. гос. библ. ин-та, вып. II. Харьков, 1956, с. 199—210; ср.: Мензорова А. Н. Роман И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». (Идеи и образы). Новосибирск, 1959, с. 3—4.

[74] Поскольку идейная позиция П. В. Анненкова была во многих отношениях близка Тургеневу в конце 50-х годов, когда создавался роман «Дворянское гнездо», и автор более, чем с другими, считался с мнениями Анненкова о своем произведении, целесообразно обратиться к ряду забытых ныне суждений Анненкова — особенно в той части, которая характеризует реакцию автора статьи на произведенные Тургеневым изменения в тексте романа при его доработке.

ем, которое нуждается в раскрытии (Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки, отд. II. СПб., 1879, с. 194—195). Свое «раскрытие» идейного содержания «Дворянского гнезда» как произведения, связанного тончайшими нитями с современностью, Анненков полемически направляет против тех «искателей идеалов», которые стремятся прикрыть «щегольскими ширмами умиления» неприятные житейские истины, «требующие скорой и деятельной помощи», отвернуться от явлений и событий, «волнующих общественную совесть и нарушающих безмятежное состояние души».

«Сквозь запутанные определения идеал их,— пишет Анненков,— часто выглядывает не в образе эстетического понятия, а в форме полезной меры благочиния» (там же, с. 200).

Далее автор анализирует образ Лизаветы Михайловны, который привлек «искателей идеалов» своей видимой покорностью судьбе и благочинной нравственностью. «Но так ли всё это? — спрашивает автор.— Кто из поклонников Лизаветы Михайловны заметил, что в нежную, грациозную и обаятельную форму ее облеклась такая строгая идея, какая часто бывает не под силу и более развитым и более крепким мышцам?» (с. 199). Рассматривая драму Лизы как драму несоответствия ее внутреннего мира интересам того круга, к которому она принадлежит и который описан Тургеневым без какого-либо «потворства быту», Анненков видит действительное содержание нравственного чувства Лизы в той внутренней энергии, которая противопоставляет ее «условиям, притязаниям и понятиям» окружающей среды. Критик подчеркивает, что уход Лизы в монастырь, которому особенно рукоплещут новейшие искатели идеалов, желавшие сделать покорное отречение от радостей жизни законом для всех людей, является убежищем от требований проснувшейся мысли. Это протест, который приводит к поражению; чистая поэзия самоотречения, по мысли автора романа, лишает человека воли, простора и движения. «Иногда кажется даже,— пишет Анненков,— будто роман написан с целию подтвердить старое замечание, что великие жертвы, приносимые отдельными лицами ежедневно и по своему произволу, точно так же свидетельствуют о болезни общества, как и великие преступления» (с. 215).

Очевидно, Анненков сыграл какую-то роль в обнажении этой мысли в романе в процессе его совершенствования, так как, характеризуя критические интонации Тургенева по отношению к Лизе, он отмечает их относительную недостаточность: «От превосходного образа Лизы, даже и теперь, после тщательной его обработки, все-таки отделяется мысль, что зародыш настоящей поэзии, питающей сердце, заключается в свободном обмене чувств, подобно тому, как условия общественного просвещения заключаются в обмене мыслей» (с. 215).

Если в этой своей мысли критик солидаризировался с принципами демократической этики оказавшей несомненное воздействие и на Тургенева, то в другом вопросе, касавшемся социальных теорий современности, Анненков занимает позицию критическую — и по отношению к революционному содержанию этих теорий, и по отношению к роману Тургенева, где нашла место мысль о неизбежности демократизации деятельных сил общества.

Признавая необходимость «изменения порядка вещей», разрушающего устои государства, т. е. признавая необходимость экономической рефомы, Анненков считает, что этому радикальному изменению порядка должно предшествовать изменение в образе жизни

самих людей и, прежде всего, обновление того круга, которому Тургенев дал название «Дворянское гнездо». Более того, Анненков признает очевидной необходимость «освежения» и даже «упрощения» этого круга (с. 219). Но как только речь заходит о конкретном, классовом раскрытии понятия «упрощения» и, в частности, когда в «Дворянском гнезде» Тургенев привлекает внимание читателя к демократическому происхождению Лаврецкого, объясняя этим врожденное гуманное чувство героя, Анненков реагирует на это весьма превратически: «Плебейская кровь, которая отчасти течет в его жилах, помогает его усилиям, но не создала их, как намекает автор, не вполне основательно, по нашему мнению: плебейская кровь также нуждается в обуздании ее духовным началом, может быть даже более, чем какая-либо другая. Энергическое управление своим внутренним миром — вот где единственная доблесть Лаврецкого, не имеющего других доблестей» (с. 210).

Либерально-славянофильские тенденции проявились в той оценке «Дворянского гнезда», которую дал Ап. Григорьев в статье «И. С. Тургенев и его деятельность (по поводу романа „Дворянское гнездо“)». Анализируя роман с точки зрения его близости к русской национальной стихии, критик видит в образах Лизы и Лаврецкого идеальное выражение вечной и неизменной сущности русского народа, он подчеркивает их органичную связь с родной почвой — со всем укладом русской жизни, с ее бытом и поэзией. К числу исконных национальных особенностей Ап. Григорьев относит и обломовские черты Лаврецкого, которые, по мнению критика, представляют собой явление вневременное и не подлежащее изменениям. Раскрытие этих черт в их поэтическом проявлении делает Тургенева певцом народной правды, перед которой смиряется не только Лаврецкий, но и сам писатель [75]. Такое осмысление романа заключало в себе полемику против революционных демократов, видевших в обломовщине явление социально обусловленное и тормозящее ход истории.

По воспоминаниям современников, особую позицию в оценке романа Тургенева занял А. Н. Островский, которому оказался чужд замысел Тургенева показать героиню в момент острого конфликта между ее нравственными убеждениями и естественным влечением сердца. Сохранился следующий отзыв А. Н. Островского: «„Дворянское гнездо“, напр., очень хорошая вещь, но Лиза для меня невыносима: эта девушка точно страдает вогнанной внутрь золотухой» [76].

Вопросы нравственно-философские заняли в полемике значительное место. Именно в этом русле чаще всего рассматривалась проблема смирения и долга, столь явственно выделяющаяся не только в «Дворянском гнезде», но и в ряде других произведений Тургенева.

Часть критики истолковала основную этическую коллизию романа в духе христианской морали. «„Дворянское гнездо“ — это

---

[75] В первой статье молодого Писарева о «Дворянском гнезде» также подчеркивается национальная самобытность писателя, выразившаяся в создании истинно русских типов и в том числе Лаврецкого, отличительной чертой которого является мужественное смирение перед жизнью (Рассвет, 1859, № 11).

[76] Новский Л. ⟨Луженовский Н. Н.⟩ Воспоминания об А. Н. Островском.— *Рус Вед*, 1887, 18 мая, № 134.

произведение, выражающее идеал язычника, который еще не отказался от поклонения Венере, но уже познал прелесть более сурового культа, к которому его влекут, порой против собственной воли, стремления его больной и растроганной души»,— так отозвалась о романе в письме к Тургеневу Е. Е. Ламберт, увидевшая в этом произведении отражение своих собственных нравственно-философских воззрений [77].

Сходные мысли были высказаны в статье Евгении Тур, написанной по поводу выхода в свет романа «Отцы и дети». По словам этой писательницы, «сокрушение Лаврецкого, его смирение перед судьбою, выражение, что он *стих* и *покорился*, было очень знакомо многим и многим» (*Сев Пчела*, 1862, № 91, 4 апр.).

Как уже говорилось, полное развитие эта мысль применительно к «Дворянскому гнезду» получила в статьях Ап. Григорьева и встретила решительный отпор со стороны демократической критики, в частности Писарева. В статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» Писарев отвечает «нестройным критикам», пришедшим «в неописуемый восторг оттого, что наши повествователи преклоняются будто бы перед народною правдою и святынею». Поставив перед собой задачу «оправдать Тургенева и Писемского от упрека в славянофильстве», Писарев напоминает о том, что Лаврецкий, мягкий и терпимый к глупостям и подлостям других людей, не заслуживает порицания как личность гуманная, но должен быть признан несостоятельным на поприще широкой деятельности («Как деятель, он — нуль»), по приговору самого Тургенева.

Тургенев далек, по мнению критика, от славянофильской точки зрения и там, где он противополагает самородные полудикие натуры натурам, обесцвеченным цивилизацией, не думая выхвалять один народ за счет другого и лишь обнимая своим могучим синтезом всё разнообразие явлений жизни. При этом Писарев подчеркивает, что отношение Тургенева к явлениям современной жизни носит преимущественно отрицательный характер (*Рус Сл*, 1861, № 11, отд. II, с. 1—17).

В другой своей статье: «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» — Писарев развивает мысли предыдущей статьи на примере женских судеб, выведенных Тургеневым в «Рудине», «Асе», «Фаусте», «Дворянском гнезде» и «Накануне». Критик намеренно избирает аспект, противоположный славянофильскому. Он предупреждает: «Я буду выбирать только те личности, которые еще борются с жизнью и чего-нибудь от нее требуют. Женщины, уже помирившиеся с известною долею, не войдут в мой обзор потому, что они, собственно говоря, уже перестали жить» (*Рус Сл*, 1861, № 12, отд. II, с. 9). Говоря об огромной нравственной силе тургеневских героинь, поставленных в трагические отношения к действительности, к жестокому миру господствующей морали, Писарев отмечает движение, которое совершает Тургенев от умозрительной и мало связанной с задачами времени постановки этических проблем к жизненно-конкретной и гражданственно значимой. Намекая на «невозможность договориться до последнего слова» по цензурным соображениям, Писарев пишет: «Лиза ближе Веры стоит к условиям нашей жизни; она вполне правдоподобна: размеры ее личности совершенно обыкновенные; идеи и формы, сдавливаю-

---

[77] *Granjard*, *Ivan Tourguénev*, p. 60—61.

щие ее жизнь, знакомы как нельзя лучше каждому из наших читателей по собственному горькому опыту. Словом, задача, решенная Тургеневым в абстракте в повести „Фауст“, решается им в „Дворянском гнезде“ в приложении к нашей жизни» (*Рус Сл*, 1861, № 12, отд. II, с. 44).

Характерно, что новый общественный смысл, который приобрели в «Дворянском гнезде» издавна волновавшие Тургенева проблемы счастья, долга, смирения, был замечен не только в демократическом лагере. В статье «Нечто о литературных мошках и букашках (по поводу героев г. Тургенева)» представитель идеалистической критики М. Де-Пуле писал: «При внимательном чтении „Дворянского гнезда“ это произведение представляет весьма заметный перелом в авторской деятельности г. Тургенева. Лаврецкий *смиряется* перед народностью, т. е. *простонародностью*, следовательно, низводится с литературной высоты, на которой стоял и (что делать, сознаемся в своей слабости!) должен стоять тот тип, которого он является представителем» (Время, 1861, № 2, с. 126).

Заметной идейной перестройкой Тургенева после появления в свет повести «Ася» и критических статей, направленных в его адрес, и объясняется та поощрительная позиция, с которой было встречено «Дворянское гнездо» революционно-демократической критикой, не нашедшей в новом произведении автора полного единомыслия, но горячо приветствовавшей критический пафос и демократические тенденции романа.

Неоднократные отклики Добролюбова на появление «Дворянского гнезда» содержат признание его высоких художественных достоинств. Наиболее подробно критик анализирует роман в статье «Когда же придет настоящий день?», написанной в связи с появлением романа «Накануне», но в большой мере относящейся и к «Дворянскому гнезду» (*Совр*, 1860, т. LXXX, № III, отд. 3, с. 31—72).

Добролюбов подчеркивает, что главной задачей литературной критики он считает разъяснение тех явлений действительности, которые вызвали к жизни известное художественное произведение. По отношению к творчеству Тургенева эта задача имеет особенный смысл, так как Тургенева «по справедливости можно назвать живописателем и певцом той морали и философии, которая господствовала в нашем образованном обществе в последнее двадцатилетие. Он быстро угадывал новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях обыкновенно обращал (сколько позволяли обстоятельства) внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество» (*Добролюбов*, т. 2, с. 208).

Далее Добролюбов определяет просветительское значение произведений Тургенева, предшествовавших «Дворянскому гнезду». Героями Тургенева были «вносители новых идей в известный круг, просветители, пропагандисты, хоть для одной женской души, да пропагандисты» — и дело их, по мнению критика, в свое время было очень полезно и благотворно. Но после осознания известных идей и стремлений в истории общества наступил период их осуществления, когда «за размышлениями и разговорами должно следовать дело». По заключению Добролюбова, сознание этой перемены и выразилось в «Дворянском гнезде». Тургенев «умел поставить Лаврецкого так, что над ним неловко иронизировать, хотя он и принадлежит к тому же роду бездельных типов, на которые мы смотрим с усмешкой. Драматизм его положения заключается уже не в борьбе с соб-

стеепным бессилием, а в столкновении с такими понятиями и нравами, с которыми борьба действительно должна устрашить даже энергического и смелого человека ⟨. . .⟩ самое положение Лаврецкого, самая коллизия, избранная г. Тургеневым и столь знакомая русской жизни, должны [служить сильною пропагандою и] наводить каждого читателя на ряд мыслей о значении целого огромного отдела понятий, заправляющих нашей жизнью» (там же, с. 211—212).

Раскрывая свою мысль, Добролюбов пересказывает последний разговор Лаврецкого с Лизой о счастье,— разговор, в котором последнее слово остается за Лизой: «...счастье зависит не от нас, а от бога». В пассивности, с которой Лаврецкий принимает эту чуждую всему его существу философию, и в самом трагическом завершении темы счастья в романе Добролюбов и видит силу критической позиции писателя.

О нравственной силе воздействия романа Тургенева высказал свои впечатления «в том виде, как они сложились тотчас по прочтении „Двор⟨янского⟩ гнезда“», М. Е. Салтыков-Щедрин в своем письме к П. В. Анненкову от 3 февраля 1859 г. «Я давно не был так потрясен»,— признается автор письма, глубоко взволнованный «светлой поэзией, разлитой в каждом звуке этого романа». Обобщая свою мысль, критик пишет: «Да и что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора? Но ведь это будут только общие места, а это, именно это впечатление оставляют после себя эти прозрачные, будто сотканные из воздуха образы, это начало любви и света, во всякой строке бьющее живым ключом....» (*Салтыков-Щедрин*, т. 18, кн. I, с. 212, 213).

Идеи и образы «Дворянского гнезда» нашли отклик в ряде позднейших произведений русской литературы.

Уже в 1859 г. в романе Л. Н. Толстого «Семейное счастье» запечатлелись некоторые следы влияния Тургенева — и в тональности лирических описаний природы, и в образах действующих лиц (Сергей Михайлович), и в отдельных мотивах, сходных с «Дворянским гнездом» (сожаление об уходящей молодости, надежды на счастье молодого поколения). Особенно заметны тургеневские настроения в последней главе романа Толстого, где рассказывается о возвращении героини в старый покровский дом, наполненный «девичьими мечтами»[78]. В 1861 г. появилась повесть Помяловского «Молотов», продолжавшая многие темы и мотивы «Дворянского гнезда», самое содержание которой — рассказ о «мещанском счастье», бескрылом стяжательском существовании, обусловленном нормами буржуазной морали,— было преемственно связано с этической концепцией «Дворянского гнезда». В «Молотове», как и в «Дворянском гнезде», повествованию предшествует предыстория героев — родословная Дороговых. Героиня повести Надя Дорогова зачитывается романами Тургенева, ее любви сопутствуют тургеневский «Фауст», размышле-

---

[78] См. об этом: Э й х е н б а у м Б. Лев Толстой. Л.: Прибой, 1928. Кн. 1, с. 361—362.

ния о счастье и долге, и самое крушение надежд на полное, истинное счастье объясняется, как и в «Дворянском гнезде», несовершенством общественного устройства — уже в иной, не дворянской, а чиновничьей среде.

Популярности «Дворянского гнезда» в значительной мере способствовало то, что в 1866 г. А. Д. Галахов включил отрывки из романа в «Полную русскую хрестоматию» (Образцы красноречия и поэзии, заимствованные из лучших отечественных писателей, ч. II, раздел VI). В конце 70-х годов Н. С. Лесков, описывая Орел, дважды обращался мыслями к героям «Дворянского гнезда» («Несмертельный Голован», «Мелочи архиерейской жизни»)[79].

Своеобразное развитие проблематика тургеневского «Дворянского гнезда» получила в «Пошехонской старине» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1887—1889). «...Герои Тургенева не кончают своего дела»,— писал о «Дворянском гнезде» Салтыков-Щедрин в уже цитированном письме к Анненкову. По-своему довел до конца рассказ об обитателях «дворянских гнезд» сам Щедрин, показав на примере пошехонских дворян из рода Затрапезных, до какой степени умственного оскудения, нравственного уродства и бесчеловечности доходило поместное дворянство в своих массовых, а не лучших, как у Тургенева, образцах. Преемственность от романа Тургенева подчеркивается у Щедрина и названием отдельных глав (произведение открывается главой «Гнездо»), и избранными аспектами повествования (происхождение героя, система его воспитания, нравственное воздействие природы и общения с народом, религии, эмоциональная сфера — любовь и брак). При этом автор постоянно избирает полемическое по отношению к Тургеневу освещение темы, отрицательное ее толкование: в воспитании детей Затрапезных подчеркивается отсутствие всяческой системы, в пейзаже родовых гнезд — отсутствие какой-либо поэтической прелести, как и в самом образе жизни их обитателей — отсутствие общения с природой. Параллельный эпизод рыбной ловли описывается как чисто коммерческое предприятие. Бесконечно менявшиеся няньки, забитые и озлобленные, не рассказывали детям сказок. Любовь и брак, лишенные даже намека на поэзию, приобретали чудовищно уродливые формы. Наследие крепостнических времен, «поросших быльем» в период, когда создавалась «Пошехонская старина», определило многие привычки и «складки» в характерах и судьбах современников Щедрина,— это и вызвало к жизни произведение, отправным пунктом для которого послужило «Дворянское гнездо» Тургенева. «В современной русской беллетристической литературе,— писал Салтыков-Щедрин в некрологе, посвященном Тургеневу,— нет ни одного писателя 〈. . .〉, который не имел в Тургеневе учителя и для которого произведения этого писателя не послужили отправною точкою». (*Салтыков-Щедрин*, т. 9, с. 457).

Подтверждением этой мысли служат и отзывы о «Дворянском гнезде» Ф. М. Достоевского, испытавшего, как и Салтыков-Щедрин, сильное и длительное художественное воздействие романа Тургенева. В «Дневнике писателя» за февраль 1876 г. автор, вспоминая «Обломова» и «Дворянское гнездо», отмечает как главную черту героев этих произведений — «соприкосновение с народом»: «Они

---

[79] Лесков Н. С. Собр. соч. М., 1957. Т. 6, с. 355—356, 486.

заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному» (Достоевский Ф. М. Полное собрание художественных произведений. М.; Л.: Госиздат, 1929. Т. 11, с. 185).

В первоначальной редакции этого текста говорится еще определеннее: «...„Дворянское гнездо" Тургенева есть произведение вечное [и принадлежит всемирной литературе. Почему?] Потому что тут сбылся впервые, с необыкновенным постижением и законченностью, пророческий сон всех поэтов наших и всех страдающих мыслию русских людей, гадающих о будущем. сон — слияние оторвавшегося общества русского с душою и силой народной. Хоть в литературе да сбылся... Вся поэтическая мысль этого произведения заключена в образе простодушного, сильного духом и телом, кроткого и тихого человека, честного и целомудренного, в ближайшем кровном столкновении со всем нравственно грязным, изломанным, фальшивым, наносным, заимствованным, и оторвавшимся от правды народной. От того безмерное страдание, но и не мщение. Кроткий человек не мстит, проходит мимо, но примириться со злом и сделать хоть малейшую нравственную уступку ему в душе своей он не может...» (*Лит Насл*, т. 86, с. 82—83).

Под воздействием «Дворянского гнезда», как указывают исследователи, частично складывалась концепция «Братьев Карамазовых» Достоевского, где образ Алеши в какой-то мере зависим от образа Федора Лаврецкого, а Федор Карамазов — от Ивана Петровича Лаврецкого [80].

В том же преемственном русле устанавливается влияние, которое имело творчество Тургенева, и в частности роман «Дворянское гнездо», на Чехова. В литературе отмечалось, что Чехов, во многом воспринявший и лиризм Тургенева, и чуткость его к вопросам «нравственного состава» личности, и гражданскую требовательность, поразному относился в различные периоды к «Дворянскому гнезду», но всегда его ценил как глубокое и поэтическое произведение. В рассказах «Безнадежный», «Контрабас и флейта» (1885) он высмеивает обывателей, поверхностно и понаслышке судивших о красотах «Дворянского гнезда» или засыпавших над его страницами.

Обитатели «дворянских гнезд», поэтичные, «полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургенева» вызывали сочувствие молодого Чехова («Чужая беда»), но в 90-е годы он относится уже иронически к отжившей поэзии прошлого. В образах «Вишневого сада» много сходного с «Дворянским гнездом», как сходна и сама ведущая тема (судьбы дворянства на поворотном пункте истории), но симпатия автора к милым и беспомощным обитателям «вишневых садов», исчезающих с лица земли, не содержит надежд на какое бы то ни было обновление класса, историческая роль которого была до конца исчерпана [81].

«Дворянское гнездо» продолжало вдохновлять писателей и в дальнейшем. В. Вересаев в своих воспоминаниях рассказывает,

---

[80] См. об этом подробнее: *Т, СС, 1975...*, т. 2, с. 322—325. (Примеч. А. И. Батюто).

[81] Князев Г. О Чехове. СПб., 1911, с. 18; Семанова М. Л. Тургенев и Чехов.— Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1957. Т. 134, с. 180 и следующие.

что именно «Дворянское гнездо» пробудило в нем самом поэтическое вдохновение. Разговор Лаврецкого и Лемма о музыке вызвал к жизни его первое стихотворение «Звезды» [82].

«Дворянское гнездо» неоднократно инсценировалось для русского театра. Наиболее известна инсценировка П. И. Вейнберга («Дворянское гнездо». Драма в 4-х действиях. Из романа Тургенева. М.: б-ка Рассохина, 1894) [83]. В этой инсценировке «Дворянское гнездо» долгое время ставилось на сцене московских и петербургских театров в исполнении лучших русских артистов. Существовала также инсценировка И. С. Напойкина («Дворянское гнездо». Драма в 5 действиях, переделанная из романа И. С. Тургенева. Театральная б-ка И. С. Напойкина, 1886). Еще одна инсценировка принадлежит Н. И. Собольщикову-Самарину («Дворянское гнездо». Повесть в 5 действиях, 13 сценах. Изд. Собольщикова-Самарина, Кисловодск, 1912).

После революции «Дворянское гнездо» в различных инсценировках (А. Успенского, И. Штока) неоднократно обновлялось на сценах как ведущих — например, Московского драматического театра им. Моссовета (1940); Московского Художественного академического театра им. М. Горького (1957), так и периферийных — Орловского драматического театра им. И. С. Тургенева (1965) и др. В самый канун войны, в июне 1941 г., «Дворянское гнездо» было поставлено А. А. Музилем на сцене Ленинградского драматического театра им. А. С. Пушкина с участием Н. К. Симонова (Лаврецкий), Рашевской (Лиза), Корчагиной-Александровской (Марфа Тимофеевна). В 1958 г. спектакль был возобновлен. К 150-летнему юбилею Тургенева (1968) была осуществлена экранизация «Дворянского гнезда» (авторы сценария В. Ежов и А. Михалков-Кончаловский, постановщик А. Михалков-Кончаловский), с большими отступлениями от текста романа и авторского понимания образов.

По мотивам романа Тургенева композитором В. И. Ребиковым в 1916 г. была создана опера «Дворянское гнездо». Музыкально-психологическая драма в 4-х действиях, 5 картинах, оп. 55. Либретто написано самим композитором.

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» В ИНОСТРАННЫХ ПЕРЕВОДАХ

В переводах на иностранные языки «Дворянское гнездо» стало появляться с начала 60-х годов прошлого века. Одним из первых был французский перевод, выполненный В. А. Соллогубом и А. Калонном и авторизованный Тургеневым; он вышел в свет в Париже в

---

[82] Вересаев В. Мои литературные дебюты. (Из воспоминаний).— Журнал «30 дней», 1926, № 1 (10), с. 29. См. раздел: «Тема „дворянских гнезд“ в историко-литературном аспекте и тургеневская традиция».— В кн.: Назарова Л. Н. Тургенев и русская литература конца XIX — начала XX в. Л.: Наука, 1979, с. 91—129.

[83] Тиандер К. Ф. П. И. Вейнберг.— Изв. отд. рус. яз. и лит-ры, 1909, т. XIV, кн. 4, с. 146.

1861 г.[84] В 1866 г. отрывки из этого перевода вместе с пересказом всего произведения поместил А. Ламартин в XXII томе своих «Семейных чтений о литературе» (Cours familier de littérature).

Отзывы французской критики о «Дворянском гнезде» были в общем благоприятными. Маленькая заметка в хронике «Русского архива» свидетельствовала: «В последнее время появилось в иностранной литературе довольно много переводов повестей И. С. Тургенева, и критика отзывается о них с особенною похвалою. „Дворянское гнездо" (во франц. переводе „Une Nichée de gentilshommes") после „Записок охотника" всего более понравилось читателям» (*Рус Арх*, 1868, столб. 324—325). В последующие десятилетия «Дворянское гнездо» также пользовалось известностью во Франции; однако его ценили здесь менее, чем «Рудина» и, в особенности, чем более поздние романы Тургенева («Накануне», «Отцы и дети»), с их более яркой, наглядной и понятной для зарубежных читателей общественной проблематикой. Этическая направленность «Дворянского гнезда», изображенные в романе картины из быта русских провинциальных помещиков, своеобразие его женских образов — всё это до конца века оставалось довольно чуждым французской критике и читателям. Даже Э. М. де Вогюэ, один из наиболее преданных Тургеневу истолкователей его творчества, посвятивший «Дворянскому гнезду» несколько страниц в своей широко известной во всей Европе книге «Русский роман», сопровождал свои похвалы повествованию о любви Лаврецкого и Лизы Калитиной некоторыми очень типичными оговорками. Считая, что «Дворянское гнездо» и впредь будет составлять «одно из лучших оснований литературной славы Тургенева», Вогюэ всё же находил, что роман имеет и недостатки: экспозиция его не столь удачна, как в «Рудине», родословные действующих лиц образуют длинноты, ослабляющие интерес к его основному действию; только несравненное искусство писателя спасает избранный им и обновленный им сюжет от близости к схемам сентиментальных повестей начала века (к «добродетельным историям для девиц во вкусе г-жи Коттень»). Впрочем, эпилог «Дворянского гнезда», по мнению Вогюэ, «является и навсегда останется одним из образцов русской литературы»[85]. В те же годы Н. С. Лескову казалось, что «добрая половина» типов русских людей, изображенных русскими писателями, остается «непонятной и неинтересной» зарубежным читателям. «Характеры тургеневских героев — и те даже непонятны для французов»,— утверждал Лесков и пояснял свою мысль ссылкой именно на «Дворянское гнездо»: «Французский критик, рассуждая о последней сцене „Дворянского гнезда", понять не мог, как Лиза встречается с Лаврецким, разбившим ее жизнь, и

---

[84] Une Nichée de gentilshommes, moeurs de la vie de province en Russie. Traduction française par le comte Sollohoub et A. de Calonne autorisée par l'auteur. Paris. Dentu, 1861. В этом переводе, довольно близком к оригиналу, с ведома Тургенева пропущена вся XXIV глава. Текст этого издания, выпущенный издательством Дантю, в том же 1861 г. перепечатан в Париже у Этцеля. В том же году «Дворянское гнездо» напечатано в Праге в чешском переводе A. Strauch в журнале «Pražske Noviny» («Šlechticke hnizdo»).

[85] Vogüé v-te E. M. de. Le roman russe. Paris, 1886, p. 169, 172.

проходит, опустив глаза в землю, проходит pas un mot... Да тут надо бы... тут можно бы... И действительно, будь подобная сцена у французов, они придали бы ей настоящего жару» [86].

В Германии «Дворянское гнездо» первоначально прошло мало замеченным. Отдельное издание романа появилось в 1862 г. в Лейпциге, в переводе Пауля Фукса [87] и вызвало только одну рецензию в журнале «Magazin für die Literatur des Auslandes», автор которой, Мюберг, сетовал на то, что немецкая печать никак не откликнулась на это произведение Тургенева. Пытаясь возбудить к нему интерес немецких читателей, Мюберг дал в своей рецензии подробный пересказ «Дворянского гнезда»; однако он не достиг особого успеха. Лишь в 1866 г. в том же журнале Л. Пич, в большой статье о Тургеневе, остановился вскользь на значении «Дворянского гнезда» для понимания мировоззрения писателя — мировоззрения, в котором, по мнению критика, «едва ли в достаточном равновесии находятся понятия вины и наказания» [88]. Тем не менее восторженные ценители «Дворянского гнезда» находились и среди немецких писателей. Так например, сильное впечатление произвел роман на Т. Шторма, о чем он писал тому же Л. Пичу; в особенности Т. Шторм потрясен был образом Лемма, сценой импровизации его в XXXIV главе, гордыми словами, обращенными к Лаврецкому: «Это я сделал, ибо я великий музыкант» [89].

Более полное и отчетливое понимание исторического и художественного значения этого произведения Тургенева открылось немецким критикам и читателям значительно позднее, лишь к концу века, особенно после того, как роман получил многократную и очень сочувственную оценку в Англии, в Америке, в скандинавских странах. В XIX—XX веках «Дворянское гнездо» неоднократно переиздавалось в различных немецких переводах, обсуждалось в посвященных Тургеневу монографиях и критических статьях и даже оказало воздействие на некоторых немецких писателей [90].

Широкое распространение «Дворянское гнездо» получило в Англии и в США. Уже в 1861 и 1862 годах в английских журналах появились рецензии на французский перевод романа [91]; в конце того же десятилетия предпринято было несколько попыток сделать его английский перевод. Первым и наиболее удавшимся следует признать тот из них, который принадлежит перу В. Рольстона и

---

[86] Фаресов А. И. Против течений. Н. С. Лесков. СПб., 1904, с. 243.

[87] Das adelige Nest. Aus dem russischen übersetzt von Paul Fuchs, 2 Bd. Leipzig, 1862.

[88] Eichholz J. Turgenev in der deutschen Kritik bis zum Jahre 1883.— Germanoslavica, Bd. 1 (1931—1932), S. 47, 51.

[89] Blätter der Freundschaft, mitgeteilt von V. Pauls. Heide in Holst. 1943, 2 Aufl., S. 143. (Письмо Т. Шторма к Л. Пичу, посланное из Хузума между 14 сентября и 22 ноября н. ст. 1864 г.)

[90] Под явным влиянием «Дворянского гнезда» написан, например, роман Э. Кейзерлинга (1855—1918) «Вечерние дома» (Abendliche Häuser, 1913).

[91] Athenaeum, 1861, vol. XXXVIII, № 1781, p. 803; A Russian Romance.— Saturday Review, 1862, vol. XIII, № 334, p. 334—336.

издан в Лондоне в 1869 г. под заглавием «Лиза»[92]. Этот перевод сделан был с разрешения Тургенева, утвердившего и новое заглавие этого романа для английских читателей. Тургенев просмотрел весь английский текст и еще до его набора сообщил переводчику ряд замечаний и пояснений к отдельным, затруднявшим его местам русского оригинала (см. с. 425). В период совместной работы Рольстона и Тургенева над этим изданием окончательно установились их близкие дружеские отношения, стала более постоянной и частой их переписка; поэтому Рольстон имел возможность предпослать своему изданию следующие слова: «Посвящено автору его другом-переводчиком» и высказать в предисловии несколько суждений о романе, ставшем одним из любимых его произведений. Перевод стоил Рольстону огромного труда и во многих отношениях может считаться образцовым: он переиздавался много раз в Англии и Америке и был сочувственно отмечен критикой[93].

Свидетельством широкой популярности «Дворянского гнезда» в Англии и Америке может служить большое количество изданий романа, многократно выпускавшегося в новых переводах и под самыми разнообразными заголовками: буквальный перевод русского заглавия представлял явные стилистические трудности. В английских переводах заглавие варьировалось на разные лады (A Nest of Gentlefolk, A Nest of the Gentry, A Nest of Nobles, A Noble Nest, A Nobleman's Nest и в 1914 г. даже почти юмористически звучащее — A Nest of Hereditary Legislators). В самом конце века в соперничество со старым переводом Рольстона вступил новый английский перевод «Дворянского гнезда», выполненный Констанцией Гарнетт под заглавием «A House of Gentlefolk» (напечатан в 1894 г., во втором томе ее известного «Собрания сочинений» Тургенева); этот перевод также издавался очень часто (1900, 1911, 1914, 1915, 1917, 1920, 1921, 1922, 1930 и т. д.)[94]. На рубеже двух столетий, в период нового увлечения творчеством Тургенева, именно этот перевод закрепил в сознании английских читателей представление о «Дворянском гнезде» как об одном из шедевров русской и мировой литературы.

Английские и американские исследователи усматривают многочисленные и весьма заметные следы тщательного и любовного изучения «Дворянского гнезда» в произведениях, принадлежащих писателям стран английского языка. Это воздействие чувствуется, например, в ранних романах Генри Джеймса (1843—1916), лично знавшего Тургенева и считавшего себя его верным учеником, например в «Дейзи Миллер» (1878), героиня которого не раз сопоставлялась с Лизой Калитиной, особенно в романе «Американец» (The

---

[92] Liza. By Ivan Turgenief. Translated from the Russian by W. R. S. Ralston. London, Chapman and Hall, 1869, 2 vols. (переиздания 1869, 1873, 1884, 1914, 1923, 1938, 1945).

[93] M. Turgenief's Liza.— Every Saturday. 1869, № 203, p. 656; Saturday Review, 1869, vol. XXXVIII, № 718, p. 163—164: американское переиздание романа приветствовал в своей статье будущий видный писатель У. Д. Хоуэллс (W. D. Howells) — Atlantic Bonthly, 1873, № XXXI, p. 239—241. См.: Fryckstedt Olov W. In Quest of America. A Study of Howells'. Early Development as a Novelist. Upsala, 1958, p. 167—172, 176, 178.

[94] Turgenev in English. A Checklist of Works by and about him. Compiled by R. Yachnin and D. H. Stam. N. Y., 1962.

American, 1877), затрагивающем проблемы долга и больной совести в их тургеневском понимании; сюжетное построение этого романа Джеймса, повествующего о трагической любви Ньюмена и Клэр, и самые образы действующих лиц близко соответствуют рассказу о Лаврецком и Лизе Калитиной [95].

Отмечено влияние «Дворянского гнезда» и на произведения англо-ирландского писателя Джорджа Мура (1852—1933), который также был знаком с Тургеневым и высоко ценил его творчество. Героиня повести Мура «Ивелин Иннс» (Evelyn Innes, 1898) имеет черты сходства с Лизой Калитиной, но основа ее религиозности католическая и с мистическим уклоном; любовь уводит ее от жизни в монастырь, как и Клэр в «Американце» Джеймса. О том, что, создавая свое произведение, Дж. Мур имел перед глазами «Дворянское гнездо» в качестве образца, свидетельствует такой персонаж «Ивелин Иннс», как сэр Оуэн — сколок с тургеневского Паншина. В более позднем романе Мура «Озеро» (The lake, 1905) мы находим новую вариацию истории Лаврецкого и Лизы в повествовании об Оливере и Норе [96].

Сильное влияние Тургенева испытал на себе также Джон Голсуорси (Galsworthy, 1867—1933). В своих критических статьях Голсуорси неоднократно возвращался к истолкованию творчества Тургенева, а в художественной прозе давал чувствовать тесные связи, роднящие ее с многими произведениями (прежде всего с романами) русского писателя. В небольшой повести Голсуорси, составляющей «интерлюдию» между первым и вторым томами «Саги о Форсайтах» — «Indian summer of a Forsyte» (1917) [97], заключительные ее страницы, описывающие последний сон и смерть старого Джолиона в саду перед террасой его дома в Робин Хилле,— как предполагают английские критики,— созданы под непосредственным воздействием эпилога «Дворянского гнезда» [98].

Разнообразны и многочисленны влияния романа Тургенева в скандинавских литературах, в частности в датской, где в последней четверти XIX века среди молодых прозаиков создалась целая «школа Тургенева». «Дворянское гнездо» было издано впервые в датском переводе В. Мёллера в Копенгагене в 1875 г. (переиздано в 1890 и 1910 годах), но читалось в Скандинавии и во французских и в немецких переводах. В небольшом творческом наследии рано умершего норвежского писателя Кристиона Эльстера (1841—1881), всецело проникнутом воздействиями Тургенева, и переводчика (с немецкого) «Рудина» и «Накануне», есть роман «Опасные люди» («Farlige Folk», 1881), в котором еще Георг Брандес усмотрел своеобразный вариант

---

[95] L e r n e r D. The influence of Turgenev on Henry James. The Slavonic Year book, 1924, vol. XX, p. 44; P h e l p s G. The Russian Novel in English Fiction. London, 1956, p. 79—80.

[96] G e t t m a n n R. A. Turgenev in England and America. Urbana, 1941, p. 151; P h e l p s G. Указ. соч., с. 102.

[97] В русских переводах эта повесть Голсуорси известна под заглавиями: «Последнее лето Форсайта» или «Последний луч старого Форсайта».

[98] P h e l p s G. Указ. соч., с. 123. Здесь говорится также о воздействиях «Дворянского гнезда» на творчество Дж. Конрада (р. 127—130).

«Дворянского гнезда». В образах Кнута Хольста и Корнелии К. Эльстер еще раз воспроизвел здесь душевную драму Лаврецкого и Лизы, истолковав ее на норвежском бытовом фоне и в соответствии с датско-норвежскими литературными традициями, но в явно тургеневской художественной манере [99]. Среди ранних произведений датского писателя Германа Банга (1858—1912), в свою очередь, есть роман «У дороги» («Ved vejen», 1886), который принято считать своего рода подражанием «Дворянскому гнезду». Действие этого романа развертывается в датской провинции, в узком, замкнутом мещанском мирке местной интеллигенции. Роль Лизы играет здесь Катинка, жена начальника маленькой железнодорожной станции, Бая, обывателя и пошляка, роль Лаврецкого — молодой агроном Хус (функции В. П. Лаврецкой в датском романе выполняет Бай). История их сильной безнадежной любви, искусственно пресеченной в самом своем расцвете, рассказана Бангом с нежным лиризмом, но в очень пессимистических тонах, усиленных ироническими и сатирическими тенденциями в описании той провинциальной бытовой среды, жертвами которой являются Хус и Катинка [100].

«Дворянское гнездо» переведено было также на многие другие иностранные языки и давно уже сделалось одним из классических произведений мировой литературы.

С т р. 12. *...по-ихнему, со львами да со зверями знакомство вела.*— В Англии и во Франции в конце 30-х — начале 40-х годов XIX века слова «лев» и «львица» обозначали светских модников и модниц. В этом смысле ими широко пользовались очеркисты этих лет (Я к и м о в и ч Т. Французский реалистический очерк 1830—1848 годов. М., 1963, с. 88, 283—285). Тогда же эти слова получили широкое распространение и в русской печати и в быту (см.: *Дружинин*, т. V, с. 311—312, и наст. изд., т. 1, с. 481—482). В применении к облику В. П. Лаврецкой термин «львица» получал определяющий смысл; поэтому Тургенев вкладывает его поочередно в уста тех, с кем она знакомится у Калитиных по возвращении из Парижа. «Скромна, скромна, а уж точно львица»,— отзывается о ней сама Марья Дмитриевна; настоящей заграничной львицей представляется она Паншину и Гедеоновскому (см. гл. XL).

С т р. 13. *...у ремонтера* — (от франц. remonter) — офицера военного ведомства, ответственного за приобретение лошадей для армейских частей.

...Орландом...— Конь назван по имени главного героя поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд» («Orlando furioso»).

...взял коня в шенкеля.— Шенкель (нем. Schenkel — ляжка). Здесь: спортивный или военный термин, обозначающий управление лошадью с помощью обращенных к ней частей обеих ног седока от колена до щиколотки.

С т р. 15. *...тасуя карты между двумя робберами или после удачного большого шлема...*— Роббер — в висте, винте, бридже и

---

[99] B r a n d e s G. Samlede Skrifter. Kjøbenhavn, 1900, III, S. 422; Т и а н д е р К. Датско-русские исследования. СПб, 1913. Вып. II, с. 231—246; N i l s s o n J. Kristian Elster. Lund, 1942, S. 223—224.

[100] J e n s e n Johan Fjord. Turgenjev i dansk åndsliv. Kjøbenhavn, 1961, p. 224—225.

других карточных играх — круг игры, состоящий из трех отдельных партий. Большой шлем — термин, относящийся к тем же карточным играм и обозначающий выигрыш всех тринадцати взяток. Об этом термине см. заметку И. А. Битюговой: *Т сб*, вып. 3, с. 183.

Он вышел с чином действительного студента.— В первую половину XIX в. лицам, окончившим университетский курс, присваивался чин в зависимости от полученных экзаменационных отметок. Первый чин — «действительный студент», второй — «кандидат». Напомним, что И. С. Тургенев окончил С.-Петербургский университет в 1836 г. с чином действительного студента. В следующем, 1837 году, прослушав лекции последнего курса и вторично сдав экзамены, Тургенев получил чин кандидата.

С т р. 16. *Я не мог найти здесь увертюру «Оберона»...*— «Оберон» (1826) — последняя опера немецкого композитора Карла Мария Вебера (1786—1826) на волшебно-рыцарский сюжет по поэме Виланда. В Петербурге «Оберон» Вебера был дан немецкими артистами в концертном исполнении 12 декабря 1837 г. и 22 февраля 1838 г. (Тургенев жил в то время в Петербурге) и вызвал к себе интерес меломанов (Художественная газета, 1837, № 24; *Сев Пчела*, 1838, № 13; автором статьи во второй из названных газет был скрывшийся под псевдонимом В. Ф. Одоевский.— См. О д о е в с к и й В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956, с. 150—153), но широкой популярностью пользовалась только увертюра в переложении для рояля, ставшая излюбленной репертуарной пьесой. Введенная в моду «Société des concerts» Парижской консерватории, эта увертюра, отличавшаяся увлекательной силой и огнем, превосходящая предшествующие увертюры Вебера драматическим единством композиции, в конце 30—40-х годах нередко исполнялась и в Петербурге иностранными и русскими пианистами (там же, с. 175—176). В Париже «Оберон» полностью был поставлен лишь в 1852 г.

С т р. 17. *Луна плывет высоко над землею...*— Для романса Паншина Тургенев воспользовался собственным стихотворением, посвященным А. Н. Ховриной (1840), оставшимся в то время не напечатанным (см. наст. изд., т. 1, с. 314, 536). Стихотворение это навеяно чтением Гейне («Der Mond ist aufgegangen» из цикла «Die Heimkehr», 1823—1824); оно начинается свободным переложением первых четырех строк немецкого подлинника (Тургенев сам указывает на это в черновом автографе «Дворянского гнезда»). Впоследствии это стихотворение стало хрестоматийным (см. его, например, в «Русской музе» П. Ф. Якубовича-Мельшина под № LVII) и действительно было положено на музыку И. Калашниковым в 1881 г.

С т р. 20. *...Шекспира в шлегелевском переводе.*— Речь идет о ставшем в Германии классическим стихотворном переводе драматических произведений Шекспира, выполненном Августом Вильгельмом Шлегелем (Shakespeares Dramatische Werke, übersetzt von A. W. Schlegel. Berlin, 1797—1810). Указание Тургенева, что Лемм читал Шекспира именно в этом переводе, следует рассматривать не только как хронологическое; на всем этом переводе лежит колорит романтического восприятия Шекспира.

С т р. 22. *Anch'io sono pittore* (Я тоже художник).— По итальянской легенде, эти слова произнес художник Антонио Корреджо (1494—1534) перед одной из картин Рафаэля.

С т р. 30. *...раздушечная амброй à la Richelieu...*— Тургенев имеет в виду Луи Франсуа Армана Ришелье (1696—1788), маршала Франции, который был более известен своими скандальными похождениями и интригами как светский повеса, щеголь и законодатель мод времен регентства и Людовика XV. Апокрифические «мемуары» маршала Ришелье (1790) дают типические картины разложения французской аристократии перед революцией. А. Брийа-Саварен в своей «Физиологии вкуса» (1825) упоминал, что если смолистый и резкий «запах амбры, употреблявшейся вместо духов, мог казаться вредным некоторым имеющим изысканные восприимчивые нервы, то принятая внутрь амбра считалась тонизирующим и веселящим средством», и что «маршал Ришелье имел обыкновение жевать ароматические таблетки из амбры» (B r i l l a t - S a v a r i n A. Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante. Paris, 1838, p. 418).

...эмалевой табакеркой работы Петито́...— Эмалевые табакерки, расписанные знаменитым живописцем по эмали Петито́ (Jean Petito, 1607—1691), были в моде во Франции при дворах королей Людовика XV и Людовика XVI. После революции 1789 года многие из этих табакерок, вывезенные эмигрантами, попали в Россию. В первые годы XIX века в Петербурге пользовалась известностью и вызывала разнообразные толки обширная коллекция табакерок Петито, принадлежавшая польскому графу Валицкому (Б у л г а р и н Ф. Воспоминания. СПб., 1846, Ч. 2, с. 118).

...Во́лтер в голове сидит.— Провинциальных русских вольтерьянцев Тургенев описывал неоднократно, в частности — в рассказе «Мой сосед Радилов», где имя французского просветителя герой упоминает с той же акцентовкой, типичной для человека, не знающего французского языка (см. наст. изд., т. 3, с. 56), и в повести «Три портрета», основанной на семейных преданиях о роде Лутовиновых (см. статью М. В. Португалова «Тургенев и его предки в качестве читателей» в его книге «По тургеневским местам». М., 1924, с. 22—23).

С т р. 32. *...причесался à la Titus...*—Эта прическа вошла в моду во Франции после того, как она была изобретена парикмахером Дюпланом для артиста Тальма́, игравшего роль сына Брута в трагедии «Брут». Поводом для этой прически явился декрет французского правительства от 1-го фримера первого года Республики (1790), запрещавший парики с длинными волосами без пудры, которые носили якобинцы; Дюплан придумал тогда парик с коротко стрижеными волосами для роли Тита. Вскоре после этого во Франции вошла в моду напоминавшая этот театральный парик прическа. «Сначала ее носили поклонники древнего мира, художники и писатели, а затем молодые люди всех партий» (A r n a u l t A. V. Souvenirs d'un sexagénaire. Paris, 1833. T. II, p. 210).

С т р. 34. *...оправдал на деле Руссо, Дидерота и la Déclaration des droits de l'homme.*— Имеются в виду французские просветители XVIII века Ж. Ж. Руссо и Дени Дидро, осуществлявшие идейную подготовку Французской революции 1789 года, в конституцию которой вошла «Декларация прав человека и гражданина», получившая широкую известность во всей Европе. Все 17 параграфов «Декларации» были напечатаны в «С.-Петербургских ведомостях» (1789 г., № 74), а затем распространялись в рукописных списках (см. Ш т р а н г е М. М. Русское общество и Французская революция 1789—1794 гг. М., 1956, с. 49—50). Женитьбу Ивана Петровича

Лаврецкого на простой крестьянской девушке Тургенев иронически объясняет знакомством своего героя с основной мыслью «Декларации»: «Все люди рождаются вольными и в совершенном в рассуждении прав равенстве; различия же долженствуют быть основаны на единой токмо общей пользе».

...одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис ∽ Тильзитский мир был только что заключен...— Фрина (Phryné) — одна из знаменитых греческих куртизанок, известная из биографии скульптора Праксителя и художника Апеллеса. Лаиса (Laïs) — имя нескольких прославленных древнегреческих куртизанок, популяризованное во французской поэзии XVII и XVIII веков — от Мольера (см. мадригал Триссотена в «Ученых женщинах») и до Вольтера (в его подражании «Греческой антологии»). На вопрос английского переводчика «Дворянского гнезда» В. Рольстона Тургенев в письме к нему от 19 ноября (1 декабря) 1868 г. так истолковал ему это место: «Красавиц — немного легкомысленных — времен империи (в 1807 г.) охотно сравнивали с Фринами и Лаисами. Тогда это было модно, и Иван Петрович мог волочиться за ними, как в Париже, так и в Лондоне. После Тильзита — по моему замыслу — он немедленно отправился в Париж». За трактатом между Россией, Францией и Пруссией, заключенным в г. Тильзите 8 июля 1807 г., последовала декларация русского правительства о разрыве мира с Англией (7 ноября 1807 г.), вследствие чего Иван Петрович и должен был отправиться из Лондона в Париж.

С т р. 39. *«Символы и эмблемы»* (см. также с. 66: *много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые «Символы и эмблемы»*).— «Толстая» и «таинственная» книга, которую Тургенев имеет в виду и подробно описывает, рассказывая о детских чтениях Лаврецкого, имела первоначально название «Символы и эмблемата»; вышедшая в Амстердаме по повелению Петра I в 1705 г. и переизданная в Петербурге гражданской печатью в 1719 г., она заключала в себе 840 гравированных на меди рисунков мифологического и аллегорического содержания с объяснительным текстом на нескольких языках. Книга восходит к сборникам XVI—XVII веков, которые были широко распространены во всех литературах Западной Европы. «Главная задача подобных сборников, в XVII—XVIII веках имевших сильное и продолжительное влияние на эстетическую мысль, искусство и поэзию,— разъяснял Ф. И. Буслаев,— состояла в том, чтобы приурочить аллегорический рисунок к выражению нравственных сентенций или вообще остроумных и замысловатых изречений». «Казалось недостаточным выразить мысль в ее голой простоте; надобно было облечь ее в фигуру, придать ей фигуральный оборот, изворотить ее на новый манер, сделать ее манерною, превратить ее в замысловатую фразу, в загадку, облеченную в эти символы и эмблемы 〈. . .〉 Все первоначальные идеи, из которых когда-то, по внутренней потребности, органически возникали художественные формы и греческой мифологии, и христианской символики, и средневекового мистицизма,— измельчали и обессмыслились в этих сборниках символов и эмблем, будучи приняты в их внешних выражениях только как знаки разных отвлеченных мыслей» («Иллюстрация стихотворений Державина».— В кн.: Б у с л а е в Ф. И. Мои досуги. М., 1886. Ч. 2, с. 80—105). «Символы и эмблемата» в переработке Н. М. Максимовича-Амбодика были изданы в 1788, 1809 и 1811 годах (Описание изданий гражданской печати 1708 — январь 1725 гг. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич.

М.; Л., 1955, с. 20 и 530, со ссылками на «Дворянское гнездо»).

Книга эта в издании Н. Максимовича-Амбодика (1809 или 1811 годов) под заглавием «Емблемы и символы...» находилась в библиотеке с. Спасского-Лутовинова. Описывая чтения Лаврецкого, Тургенев воспользовался собственными детскими впечатлениями об этой книге, о которых он рассказал в 1840 г. в письме к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову (*Т*, *ПСС и П*, *Письма*, *т. I*, с. 201—202, 536); Тургенев свидетельствует здесь, в частности, что «Емблемы и символы» были у него в руках в 1839 г. Сохранилась эта книга и доныне в Государственном музее И. С. Тургенева в Орле, но без титульного листа(его не было, вероятно, уже в детские годы Тургенева); в ней недостает также многих страниц с текстом и рисунками, в том числе и тех, на которые ссылается Тургенев, но на с. 381 находится та подпись под рисунком, которая была приведена им в черновиках «Дворянского гнезда» («Хищная птица, хотящая нечто похитить из кипящего котла»), и переводы ее на пяти, а не на шести языках, как у Тургенева. Возможно поэтому, что Тургенев знал «Емблемы и символы» не только по тому экземпляру книги, который хранился в его деревенском доме, но и по другим изданиям. Описание первоисточника переизданий Максимовича-Амбодика — амстердамского издания книги «Символы и эмблемата» дано было П. И. Мельниковым в заметке «Библиографическая редкость» (*Отеч зап*, 1840, т. 12, отд. VII, с. 9—12).

С т р. 41. ...*столярное ремесло, по совету Жан-Жака Руссо*...— Имеется в виду книга Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762), имевшая сильное и продолжительное влияние на европейскую и русскую педагогическую мысль. «... из всех упражнений, могущих человеку доставить пропитание,— писал здесь Руссо,— ручные работы приближают его более всех к естественному состоянию; состояние, всех менее зависящее от счастия и от людей, есть состояние ремесленника. <...> я желал бы, чтоб из всех ремесл столярное ремесло более всех прочих нравилось моему воспитаннику. Оно чисто, полезно, в нем можно упражняться дома; оно довольно содержит тело в движении и требует от работника ловкости и искусства, и в работах, которые делаются для пользы, не исключаются вкус и хороший вид» (Р у с с о Жан-Жак. Эмиль, или О воспитании. М., 1807. Ч. 2, с. 122, 144—145).

С т р. 44. *Мочалов находился тогда на высоте своей славы*...— Одной из известнейших ролей выдающегося русского трагического актера П. С. Мочалова (1800—1848) была роль Гамлета в трагедии Шекспира, переведенной Н. А. Полевым (1837). Об исполнении Мочаловым роли Гамлета, прославленном в статьях Белинского, Тургенев вспоминает в рассказе «Петр Петрович Каратаев» (см. наст. изд., т. 3, с. 238).

...*в черном токе*...— «Ток — франц.— род шапочки, иногда с лентами и перьями» (У г л о в В. Н. Объяснительный словарь иностранных слов, употребляемых в русском языке. СПб., 1859, с. 182).

С т р. 47. ...*шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду*.— Мазурки Шопена стали известны в России с конца 1830-х годов. В. Стасов вспоминает, что весной 1842 г. мазурки Шопена произвели на него сильное впечатление в мастерском исполнении Листа (С т а с о в В. В. Избранные сочинения в трех томах. М., 1952. Т. 2, с. 375—376, 380); см. также: Б е р н а н д т Г. Шопен

в России. (Страницы из истории русской музыкальной культуры 1830—1850 гг.)— Советская музыка, 1960, № 2, с. 29—38; Русско-польские музыкальные связи. Статьи и материалы. Под ред. И. Бэлзы. М., 1963, с. 124—125).

Стр. 48. ...*этот юный Алкид*.— Алкид — одно из имен Геракла; употреблялось фигурально для обозначения сильного человека мощного телосложения.

Стр. 50. ...*стала известна от Chaussée d'Antin до Rue de Lille*.— Обширный парижский район, в котором были сосредоточены нарядные особняки аристократов и кафе, модные казино и маленькие театры (см. анонимную «Физиологию парижских кварталов» — «Physiologie des Quartiers de Paris», Paris, 1841, автором которой был А. Гийемен).

Стр. 51. *Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рашель еще не появлялась*...— Марс (Mars Anna Françoise Hippolyte Boutet, 1779—1847) — знаменитая французская актриса, дебютировавшая в 14-летнем возрасте и в течение четверти века остававшаяся «королевой сцены» в театре Comédie Française. Рашель (Rachel Elisa Félix, 1821—1858) — французская трагическая актриса, дебютировавшая с шумным успехом в 1838 г. Тургенев, по-видимому, не однажды видел Рашель на сцене. О ее игре в трагедии Д. де Жирарден «Клеопатра»,— пьесе, по его оценке, невыносимой, претенциозной, утомительной и лживой,— Тургенев писал 1(13) декабря 1847 г. П. Виардо: «Костюмы у Рашель великолепные, она находит восхитительные позы, но она определенно сдает» (подлинник по-французски).

...*смеялась над развалинами Одри*...—Одри (Jacques Charles Odry, 1781—1853) — знаменитый французский фарсовый актер театра Варьете; выступивший впервые на сцене в 1803 году, он еще в 30-х—40-х годах вызывал восторги таких критиков, как Теофиль Готье. Тургенев несомненно видел его игру; в одном из писем 1857 года к П. В. Анненкову из Парижа он вспоминает «вздернутый нос» Одри (*Т, ПСС и П, Письма*, т. III, с. 74, 486).

...*плакала от игры г-жи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме*...— Речь идет о Marie Amélie Delaunay (1798—1849), известной под именем Dorval,— прославленной французской актрисе, игравшей в знаменитых драмах французских романтиков — В. Гюго, А. де Виньи, К. Делавиня. Биография ее принадлежит перу А. Дюма.

Стр. 52. ...*ту песенку вашего поэта Пускина*...— Имеется в виду знаменитая цыганская песня А. Верстовского, написанная для пьесы В. А. Каратыгина «Цыгане» — драматического представления, взятого из поэмы Пушкина (1832). Это «представление» с большим успехом давалось в Петербурге, в конце 30-х — начале 40-х годов. Особенным успехом пользовалась песня Земфиры (Столпянский П. Произведения Пушкина и их переделки на Петербургской сцене в Николаевскую эпоху.— Русский библиофил, 1911, № 5, с. 75—77; Дурылин С. Н. Пушкин на сцене. М., 1951, с. 29—31).

Стр. 60. ...*стал думать о Роберте Пиле*...— Роберт Пиль (1788—1850) — английский политический деятель, премьер-министр Англии с 1841 по 1848 год (ср. «Новь», гл. VIII — наст. изд., т. 9).

Стр. 66. ...*чепца с лентами цвету массака́*...— Цвет массака — «темно-красный, иссиня-малиновый», по объяснению В. И. Даля.

Это ныне неупотребительное слово было в широком обиходе в XIX веке. Им пользовались Достоевский («Вечный муж»), Толстой («Война и мир»), Лесков («Соборяне»). У Тургенева оно встречается также в рассказе «Два приятеля».

...платья из трю-трю-левантина.— Это место затруднило первого английского переводчика «Дворянского гнезда» В. Рольстона, и он обратился к автору за разъяснением. Тургенев ответил ему в письме от 19 ноября (1 декабря) 1868 г.: «Во времена наших бабушек была такая ткань, которая называлась по-французски trou-trou — по всей вероятности, это было нечто очень легкое с большими глазка́ми (à larges mailles) — и простодушный старичок спутал эту ткань с левантином. Слово осталось у него в памяти». Левантин — род легкой шелковой ткани.

С т р. 67. *...всё у них пошло х и н е ю...*— Хинею, чаще хиньлю — «прахом пошло», «без пользы», от слова «хинь» по диалектному употреблению Тульской, Орловской, Ярославской и Курской губерний (см.: Д а л ь Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. 4, с. 548; В и н о г р а д о в В. В. О слове «ахинея» в русском литературном языке.— Русская речь/ Под ред. Л. В. Щербы, новая серия, № 3. Л., 1928, с. 34).

С т р. 68. *...балладу Шиллера «Фридолин».*— В оригинальном немецком тексте заглавие баллады Шиллера иное: «Der Gang nach dem Eisenhammer» («Путь в плавильню»), 1797. В вольном переводе В. Жуковского баллада получила название «Божий суд» (1834), а в последующих русских переводах, до конца 50-х годов (1850, 1853, 1859), озаглавлена по имени ее главного героя. Принимая это название, Тургенев самим именем героя как бы напоминал читателю о сюжете и основной идее баллады, что казалось ему существенным для характеристики вкусов и мировоззрения Лемма. В конце главы XXII Тургенев вкладывает в уста Лаврецкого скептическое и горькое замечание о концовке баллады.

С т р. 69. *Прекрасную вы написали музыку на «Фридолина» ∽ сделался ее любовником, а?* — В балладе Шиллера стремянный графа Савернского, Роберт, оклеветавший юного пажа графини, Фридолина, случайно погибает в плавильной печи вместо Фридолина, осужденного ревнивым графом на гибель; в чудесном спасении юноши граф видит руку провидения, убеждается в его невиновности и сам приводит его к ничего не подозревающей графине.

С т р. 74. *...какие твои мнения, убеждения...*— Говоря, что Михалевич «придерживался еще фразеологии 30-х годов», Тургенев имел в виду время выработки «отвлеченного публицистического языка», когда создавался своеобразный «интеллигентский» общественно-политический словарь (см.: В и н о г р а д о в В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1934, с. 231—232). «...обсуждению подвергаются уже вопросы не только бытия, но и вопросы действительности, философские догматы уступают место убеждениям. Это слово с конца 40-х годов (Белинский) становится термином, характерным для интеллигентского словаря» (Э й х е н б а у м Б. М. Лев Толстой. Л., 1928. Кн. 1, с. 186). О широком распространении слова «убеждения» (в форме множественного числа) для определения совокупности мыслей, воззрений в русской публицистике 40-х годов см.: С о р о к и н Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка 30—90-х годов XIX в. М.; Л., 1965, с. 512.

С т р. 75. *И я сжег всё, чему поклонялся...*— В основу заключительного четверостишия из «довольно длинного стихотворения» Михалевича Тургенев положил предание об основателе государства франков Хлодвиге I (по французскому произношению Clovis, ок. 466—511), объединившем под своей властью все франкские племена и завоевавшем большую часть Галлии. Историк VI века Григорий Турский в своей «Истории франков» (кн. II, гл. 31) рассказывает, что после крупной победы Хлодвиг принял христианство и что крестивший его архиепископ Ремигий сказал ему: «Поклонись тому, что сжигал, и сожги то, чему поклонялся» (adora, quod incendisti, incende, quod adorasti). Эта фраза стала знаменитой и цитируется у многих историков Франции; Тургенев мог ее знать из классического труда Сисмонди (Histoire des Français, 1821, t. 1, p. 188), а также из сочинений Ф. Гизо и Ж. Мишле.

С оника, после многолетней разлуки...— «Сразу же, с первого шага». В XVIII веке и начале XIX в русском языке употреблялся термин некоторых азартных карточных игр, заимствованный из французского языка («sonica» в качестве наречия в значении «сразу», «с первой же ставки»; такое употребление встречается в новиковском «Трутне», 1769, и в «Пиковой даме» Пушкина). В дворянской среде пушкинского времени это слово употреблялось и в переносном значении. В этом значении оно появилось у Тургенева в «Дворянском гнезде» (в рукописи— в слитном написании), и в дальнейшем приняло типичную для русского языка форму наречия, образовавшегося из сочетания предлога «с» с непонятным существительным — оник. Отсюда и раздельное написание, которое, возможно, опирается на то, что в литературной речи XIX века еще было известно слово «оник», уменьшительное от «он» — старинного названия буквы «о». См. историю этого слова и примеры его употребления в русском литературном языке — в заметках С. О⟨жегова⟩ в сборнике «Вопросы культуры речи», М., 1955. Вып. 1, с. 238—239.

С т р. 77. *...не бранись, Демосфен полтавский!* — Рольстон в своем переводе романа сделал к этому месту пояснительное примечание: «Полтава — университетский город» (vol. I, p. 225). Тургенев разъяснил ему в письме от 24 июня (6 июля) 1869 г.: «Полтава — не университетский город, это — Харьков; но Полтава, так сказать, центр Малороссии,— вот почему Лаврецкий называет своего друга полтавским Демосфеном». Давая Михалевичу это шутливое прозвище устами Лаврецкого после длинного, но содержательного спора друзей, Тургенев хотел подчеркнуть истинное красноречие Михалевича на классический манер, сочетавшееся в нем с ярко национальными чертами характера. Это определение не сразу было найдено Тургеневым: в рукописи первоначально было — Цицерон, затем — Зенон из Гадяча.

С т р. 78. ... *сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины...*— Михалевич пользуется известными библейскими образами (из Нового и Ветхого завета) («Взгляните на птиц небесных; они не сеют, не жнут, не собирают в житницы ⟨. . .⟩ Посмотрите на полевые лилии» — Еванг. от Матфея, гл. 6, 26—28: «лилия долины» — в «Песне песней», II, 1—2). Лаврецкий же, делая вид, что не понимает этих уподоблений, напоминает о лилии как об известном символе в геральдике, в частности — в гербе династии Бурбонов.

С т р. 79. ... *стоя на балансе* — на подножке тарантаса.

...религия, прогрéсс, человечность!..— Опорным в данной трехчленной формуле является слово «прогресс», об эволюции значения

которого между 1830-ми и 1860-ми годами см. заметку М. П. Алексеева — *Т сб*, 3, с. 181—187.

Стр. 86. ... *de populariser l'idée du cadastre.*— Кадастр (поземельный) — способ определения размера поземельного налога на основе описей земельной собственности. «Наконец в нынешнем столетии почти все европейские державы признали кадастр единственной правильной основой для поземельного налога»(Лебедев В. О поземельном налоге. СПб., 1868, с. 7). Этим и объясняется, что ниже (гл. XXXIII) рассуждения Паншина («. . . мы больны оттого, что только наполовину сделались европейцами; чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны») тотчас же напомнили Лаврецкому «идею кадастра», которую поручено было популяризировать Паншину. Предварительные работы по установлению поземельных оценок были начаты министерством государственных имуществ в конце 30-х и начале 40-х годов, но производство кадастровых операций тогда еще не было облечено в форму закона.

Стр. 88. *Читали вы «Обермана»*...— Когда В. Рольстон попросил разъяснить ему смысл этого вопроса Паншина, Тургенев отвечал переводчику (19 ноября (1 декабря) 1868 г.): «„Оберман“ — это заглавие одного романа вроде „Вертера“, написанного в начале этого века г-ном де Сенанкур; о нем вспомнили вновь лет пятнадцать тому назад. Жорж Санд даже написала к нему предисловие. Это помесь Вертера с Ж.-Ж. Руссо. По времени его появления это одно из первых произведений романтического и сентиментального направления».К этой справке Тургенева можно было бы добавить, что«Оберман» (1804) Сенанкура (1770—1846), строго говоря, не роман, а психологический автопортрет, изображенный в серии писем героя к неизвестному другу из уединенной швейцарской виллы. «Оберман» с предисловием Ж. Санд издан в 1840 г. (переиздавался в 1844, 1847, 1852, 1863, 1874 гг.).

Стр. 100. *...несколько стихотворений Лермонтова...*— Заметив далее в скобках, что Пушкин «не успел еще опять войти в моду», Тургенев хотел подчеркнуть, как высоко ценили Лермонтова любители поэзии в начале 40-х годов. Белинский неоднократно сопоставлял Лермонтова с Пушкиным. В цикле статей о Пушкине он утверждал, что Лермонтов призван был выразить отличительные особенности нового времени: «Дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделались теперь жизнию всякой истинной поэзии. Вот в чем время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего» (*Белинский*, т. 7, с. 105 и 344). Герцен утверждал, что Лермонтов «полностью принадлежит к нашему поколению ⟨. . .⟩ Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса,— то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости» (*Герцен*, т. 7, с. 225). Чернышевский отметил в своем дневнике (запись от 17 января 1850 г.): «...ставлю Лермонтова выше Пушкина» (*Чернышевский*, т. 1, с. 353).

...начал, по поводу известной «Думы», укорять и упрекать новейшее поколение...— «Дума» Лермонтова («Печально я гляжу на наше поколенье») впервые была напечатана в январской книжке «Отечественных записок» за 1839 год.

С т р . 101. ... *Х⟨омяко⟩в признается...*— Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) — поэт и публицист, один из теоретиков славянофильства. Хомяков утверждал в «Московском сборнике» (1847), что в своих ранних статьях он «говорил о ничтожестве всего, что сделано нами в науке и художествах, и о бессмысленном нашем незнании нашего быта и его начал» (Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Изд. 3. М., 1900. Т. 1, с. 86). «Ничто не препятствует тому, чтобы Хомяков был упомянут»,—писал Тургенев Рольстону 19 ноября (1 декабря) 1868 г. в ответ на его вопрос, можно ли оставить эту фразу в английском тексте.

С т р. 113 *...бывшей «панёвницы»...*—Паневница — женщина-крестьянка, носящая паневу; обычно говорилось с оттенком пренебрежения. Панева — домотканная шерстяная клетчатая или полосатая юбка, которую носили замужние крестьянки.

С т р. 117. *Декокт* — лекарственный отвар, питье из трав (от нем. Dekokt или лат. decoctum).

С т р. 127. *...блестящий и трудный этюд Герца.*— Анри Герц (Henri Herz, 1806—1888), родом из Вены, популярный в 30-е — 50-е годы французский пианист и педагог (с 1842 г.— профессор Парижской консерватории), автор многих салонно-виртуозных сочинений.

С т р. 128. *...шумный штраусовский вальс....*— Тургенев имеет в виду одно из модных в то время произведений Иоганна Штрауса (1804—1849), знаменитого венского композитора, одного из канонизаторов классической музыкальной формы вальса и других салонных танцев.

...ариею из «Лучии»...— Ария из оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (1835) в переложении для фортепьяно.

С т р. 130. *...чуть ли не о самом Меттернихе.*— Речь идет о Меттернихе (Metternich, Clemens Wenzel, 1773—1859), знаменитом австрийском дипломате, долгие годы занимавшем должность канцлера и министра иностранных дел австрийской империи.

С т р. 131. *Знаете ли вы Son geloso или La ci darem или Mira la bianca luna?*— «Son geloso» («Я ревную») — дуэт Амины и Эльвино из оперы В. Беллини (1801—1835) «Сомнамбула» (1831), действие 1, сцена 7; «La ci darem (la mano)» («Дай руку мне») — дуэт Дон-Жуана и Церлины из оперы В.-А. Моцарта (1756—1791) «Дон-Жуан» (1787), действие 1, сцена 3; «Mira la bianca luna» («Смотри, вот бледная луна») — первая строка дуэта-ноктюрна для тенора и сопрано «Серенада», входящего в цикл из 12 вокальных произведений Д. Россини (1792—1868) «Музыкальные вечера» (Soirées musicales, 1835).

...сыграла две-три тальберговские вещицы...— Речь идет о фортепьянных произведениях Сигизмунда Тальберга (1812—1871), пианиста и композитора, представителя сложного виртуозного стиля, автора многочисленных «вариаций» и «фантазий» на темы из популярных опер Моцарта, Россини, Беллини и т. д.

С т р. 132. *...читала одни французские книжки ∽ предпочитала Поль де Кока ..*— Характеризуя невзыскательность литературных вкусов Варвары Павловны, Тургенев перечисляет всех наиболее известных французских писателей 1840-х годов и показывает, что ее интерес к этим писателям возрастал в последовательности, обратной их действительным достоинствам. Наиболее любимыми ею писателями оказались А. Дюма (см. текст, с. 153; об отношении Тургенева к «дюмасовщине» см. наст. изд., т. 4, с. 477), Поль Феваль

(1817—1887) и Поль де Кок (1794—1871), занимательно описывавшие жизнь парижского мещанства, студентов, гризеток и т. д. в многочисленных романах, лишенных всякого психологического содержания.

Стр. 135. ...*со стклянкой оподельдока*...— Оподельдок — мазь для натирания суставов — средство против ревматизма.

Стр. 153. ...*быть г-жою Дош*...— Имеется в виду Мария Шарлотта Евгения Дош (1823—1900), французская актриса, знаменитая исполнительница роли куртизанки Маргариты Готье в драме А. Дюма «Дама с камелиями». Тургенев допустил здесь известный анахронизм, так как указанная роль была впервые исполнена М. Дош в 1852 г.

НАКАНУНЕ

(с. 159)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Накануне. Повесть. Черновой автограф, начатый в Виши 16 (28) июня 1859 г. и законченный в Спасском 25 октября (6 ноября) 1859 г., 112 л. Хранится в *ГПБ*, фонд 795, ед. хр. 22; описание см.: Отчет Императорской публичной библиотеки за 1896 год. СПб., 1900, с. 198—199; З а б о р о в а Р. Б. Рукописи И. С. Тургенева. Описание. Л., 1953, с. 18—19.

Фрагмент рукописи чернового автографа (л. 85). 1 л. Хранится в *ГБЛ*, фонд 306, картон 1, ед. хр. 3.

Действующие лица повести. 1 л. Хранится: *Bibl Nat*, Slave 88; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 208. Опубликовано: Revue des Etudes slaves, 1925, т. V, в. 3—4, p. 247; *Mazon*, p. 18 (на французском языке) и *Мазон*, с. 67. См. наст. том, с. 305.

План новой повести. 5 л. Хранится: *Bibl Nat*, Slave 88; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 208. Опубликовано: Revue des Etudes slaves, 1925, т. V, в. 3—4, р. 245—254; *Мазон*, с. 68—76.

Рус. Вестн, 1860, т. XXV, кн. 1—2, с. 69—212.

Т, *Соч*, *1860—1861*, т. IV, с. 301—456.

Т, *Соч*, *1865*, ч. IV, с. 239—411.

Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 4, с. 261—428.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 4, с. 257—424.

Т, *Соч*, *1880*, т. 4, с. 1—170.

Т, *ПСС*, *1883*, т. IV, с. 1—192.

Впервые опубликовано: *Рус Вестн*, 1860—1861, том XXV, кн. 1—2, с. 69—212, с подписью «Ив. Тургенев» (ценз. разр. 18 января и 3 февраля 1860 г.).

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883*, с учетом списков опечаток, приложенных к *Т*, *Соч*, *1874* и *Т*, *Соч*, *1880*, с устранением опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 164, *строка 43*: «как очарованные; как очарованные, как мертвые» вместо «как очарованные; как мертвые» (по всем другим печатным источникам и черновому автографу).

Стр. 166, *строки 43—44*: «то умиление» вместо «то утомление» (по всем другим печатным источникам).

Стр. 172, *строка 42*: «и, не дождавшись» вместо «и, дождавшись» (по черновому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Соч*, *1860—1861*, *1865*).

Стр. 174, *строка 11*: «промолвив» вместо «промолвил» (по *Рус Вестн*).

Стр. 176, *строка 22*: «неверным голосом» вместо «нервным голосам» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1860—1861*, *1880*).

Стр. 178, *строка 15*: «осталось» вместо «оставалось» (по всем другим печатным источникам и черновому автографу).

Стр. 179, строки 35—36: «ты идеалист, ты веришь» вместо «ты веришь» (по черновому автографу, *Рус Вестн, Т, Соч, 1860—1861, 1865*).

Стр. 179, строка 37: «толкуешь о Шиллере» вместо «тоскуешь о Шиллере» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т, Соч, 1860—1861, 1880*).

Стр. 179, строка 39: «шутить... и... и...» вместо «шутить... и...» (по всем другим печатным источникам и черновому автографу).

Стр. 184, строка 32: «всё еще не без озлобления» вместо «всё не без озлобления» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 188, строка 9: «не позволяют этого» вместо «не позволяют?» (по всем другим печатным источникам и черновому автографу).

Стр. 191, строка 4: «этого не требую» вместо «это не требую» (по черновому автографу и *Рус Вестн*).

Стр. 201, строка 32: «скрытно» вместо «скрыто» (по черновому автографу, *Рус Вестн, Т, Соч, 1860—1861, 1865, 1868—1871*).

Стр. 207, строка 20: «больше» вместо «более» (по черновому автографу, *Рус Вестн, Т, Соч, 1860—1861, 1865*).

Стр. 211, строка 22: «это время» вместо «в это время» (по печатным источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 214, строка 35: «забирала» вместо «собирала» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 215, строка 26: «поиграл» вместо «проиграл» (по черновому автографу, *Рус Вестн, Т, Соч, 1860—1861, 1865, 1868—1871*).

Стр. 216, строки 3—4: «Впереди шли» вместо «Впереди шла» (по черновому автографу, *Рус Вестн, Т, Соч, 1860—1861, 1865*).

Стр. 216, строка 34: «называются» вместо «называется» (по черновому автографу, *Рус Вестн, Т, Соч, 1860—1861, 1865*).

Стр. 219, строка 2: «присоседился» вместо «присоединился» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 220, строка 22: «не понимайт, что вы говорит» вместо «не понимает, что вы говорите» (по всем другим печатным источникам и черновому автографу).

Стр. 220, строка 24, и стр. 221, строка 7: «официр» вместо «офицер» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 224, строка 14: «далеко, далеко» вместо «далеко» (по черновому автографу, *Рус Вестн, Т, Соч, 1860—1861, 1865, 1868—1871*).

Стр. 225, строка 11: «ничего, ничего» вместо «ничего, ничего, ничего» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 227, строки 13—14: «всю розу. Я с некоторых пор вижу странные сны. Что бы это значило?» вместо «всю розу» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 228, строка 36: «Да как же это» вместо «Да как это» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 231, строка 34: «огнистые» вместо «огненные» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 233, строка 17: «исчезала» вместо «исчезла» (по всем другим печатным источникам и черновому автографу).

Стр. 236, строка 1: «направился» вместо «отправился» (по всем другим печатным источникам и черновому автографу).

Стр. 238, строка 14: «его голос» вместо «ее голос» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. *255*, *строка 41*: «увидела» вместо «увидала» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. *269*, *строка 37*: «мог бы» вместо «мог» (по всем другим печатным источникам).

Стр. *276*, *строка 32*: «как медведь с чурбаном» вместо «как медведь с чурбаком» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. *284*, *строка 32*: «Вон белеет» вместо «Вот белеет» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. *290*, *строка 16*: «больное» вместо «большое» (по черновому автографу).

Стр. *294*, *строка 4*: «Иной и важничает» вместо «Иной важничает» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. *295*, *строка 8*: «лазоревые» вместо «лазуревые» (по черновому автографу и печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

I

Первоначальный замысел романа «Накануне» возник, по-видимому, в 1853 или 1854 году. В предисловии к собранию своих романов в издании 1880 г., вспоминая о своем пребывании в Спасском в годы ссылки и во время Крымской войны («почти весь 55-й год — так же как предшествовавшие три года»), Тургенев указывал: «Я собирался писать „Рудина", но та задача, которую я потом постарался выполнить в „Накануне", изредка возникала передо мною. Фигура главной героини, Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, довольно ясно обрисовывалась в моем воображении; но недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ее еще смутном, хотя сильном стремлении к свободе, могла предаться». Из этого затруднения Тургенева вывела рукопись его приятеля, соседа по имению В. Каратеева. Отправляясь в Крым в качестве офицера орловского ополчения и не надеясь вернуться оттуда живым, В. Каратеев передал Тургеневу небольшую тетрадку, в которой «беглыми штрихами было намечено то, что составило потом содержание „Накануне"». «Рассказ, впрочем,— отмечал Тургенев,— не был доведен до конца и обрывался круто. Каратеев, во время своего пребывания в Москве, влюбился в одну девушку, которая отвечала ему взаимностью; но, познакомившись с болгарином Катрановым (лицом, как я узнал впоследствии, некогда весьма известным и до сих пор не забытым на своей родине), полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер. История этой любви была передана искренне, хотя неумело... Одна только сцена, именно поездка в Царицыно, была набросана довольно живо — и я в моем романе сохранил ее главные черты».

Ознакомившись с рукописью В. Каратеева, Тургенев «невольно воскликнул: „Вот тот герой, которого я искал!". Между тогдашними русскими такого еще не было». Тем не менее в этот момент у Тургенева еще не было мысли о монопольном использовании рукописи для своих творческих целей, так как В. Каратеев, по-видимому, просил его предварительно попытаться напечатать ее в каком-нибудь журнале. Во всяком случае такая попытка была предпринята Тургеневым. 29 октября (10 ноября) 1854 г., собираясь из Спасского в Петербург, он писал Н. А. Некрасову: «Я привезу с собою небольшую, но очень недурную повесть Каратеева (которого ты у меня видел)».

Однако повесть в «Современнике» не появилась, и рукопись осталась у Тургенева.

В следующие несколько лет Тургенев, занятый созданием «Рудина» и «Дворянского гнезда», почти не обращается к замыслу нового романа. Первым документом, свидетельствующим о возобновлении работы над ним, является список действующих лиц, датируемый А. Мазоном январем 1858 г. (см.: *Мазон*, с. 66—67, а также: Тургенев И. С. Накануне. Отцы и дети. Подготовка текста и комментарии М. К. Клемана. М.; Л.: Academia, 1936, с. 502—503). Этот список с обычными в творческой практике Тургенева краткими, но точными обозначениями возраста, семейного положения или профессии героев имел характер предварительного чернового наброска. Роман в нем по существу еще не имел заглавия. Первоначальное его название — «Инсаров» — зачеркнуто. Тургенев колебался также в выборе фамилий Берсенева и Инсарова. Первый сначала был назван Кандауровым, второй — по имени его прототипа — Катрановым, а потом Майдановым. Зоя Никитишна Мюллер, компаньонка Елены, фигурировала этом списке как вторая дочь Стаховых. Другой особенностью было соотнесение Берсенева с Каратеевым. На левом поле списка против фамилии Берсенева Тургенев сделал помету: «Карат—.» А. Мазон прочел эту помету как сокращенное написание фамилии Каратеев. М. К. Клеман, не располагавший автографом списка и руководствовавшийся, в сущности, окончательным текстом романа, предлагал читать ее как недописанное слово «кандидат» (см. комментарий М. К. Клемана в названном выше издании романов Тургенева, с. 504). Новое обращение к подлиннику списка подтверждает правоту А. Мазона. Написание «Карат⟨еев⟩» читается ясно.

Этот факт свидетельствует о том, что в начале 1858 года, а может быть и несколько позднее образы Берсенева и Шубина в творческом сознании Тургенева еще не были достаточно четкими. В предисловии к романам в издании 1880 г. Каратеев характеризуется как «романтик, энтузиаст, большой любитель литературы и музыки, одаренный притом своеобразным юмором, влюбчивый, впечатлительный и прямой», не нравившийся соседям «за вольнодумство и насмешливый язык». Именно эти черты личности Каратеева нашли полное воплощение в характере Шубина. Однако это произошло далеко не сразу. На ранней стадии обдумывания замысла романа Тургенев, по-видимому, предполагал воспользоваться ими для характеристики Берсенева. Образ же Шубина тогда был еще расплывчат и не имел реального прототипа. Слева против фамилии Шубина в черновом списке действующих лиц Тургенев написал: художник. Этими фактами подтверждается предположение Б. М. Энгельгардта о возможной связи первоначального замысла образа Шубина с теми впечатлениями, которые выносил Тургенев из бесед с Гончаровым о еще не написанном романе «Обрыв». Касаясь необоснованных обвинений в плагиате, неоднократно предъявлявшихся Тургеневу со стороны Гончарова, Б. М. Энгельгардт отмечал: «...все, что можно здесь допустить, это простое фиксирование внимания Тургенева под влиянием гончаровских рассказов и чтений на тех или иных явлениях жизни. Так, быть может, в связи с толками Гончарова о Райском Тургенев заинтересовался психологией художника и ввел Шубина в „Накануне“ как представителя искусства среди поклонников Елены» (*Гончаров и Тургенев*, с. 20).

Заметное оживление работы Тургенева над замыслом «Накануне» хронологически связано с окончанием «Дворянского гнезда». По свидетельству П. В. Анненкова, зимой 1858/59 года Тургенев в узком кругу знакомых неоднократно «читал ⟨. . .⟩по вечерам отрывки из скомканной, неумелой, плохой рукописной повести», удивляя слушателей «своим участием к произведению, не заслуживающему никакого внимания» (*Анненков*, с. 427). Это была все та же повесть Каратеева, которую вслед за этим, однако, Анненков называет — очевидно, вследствие ошибки памяти — «повестью некоего г. Катранова», а ее главного героя именует Николаем Каменским. Характеристика содержания повести Каратеева, известная по упомянутому выше предисловию к романам, дополнилась в новом пересказе Анненкова характерными деталями, существенно конкретизирующими представление об этой, по-видимому, навсегда утраченной первооснове романа. П. В. Анненков излагает содержание повести следующим образом:

«Повесть Катранова, озаглавленная „Московское семейство“, изображала пожилого немца, мучившего свою подругу, добродушную старушку Аграфену Степановну, и дочь от них, прелестную барышню, Катерину, которая не любила отца за грубое обращение с матерью. Дочь эта оказалась еще хорошей музыкантшей и очаровательной певицей. Повстречавшись на прогулке в окрестностях Москвы с молодым болгарином, Николаем Каменским, приехавшим для образования себя в Московский университет, и распознав в нем сразу честную, серьезную натуру, влюбилась в него; но он, по врожденной дикости, сторонился от нее. С помощью пения и музыкальных упражнений она скоро успела развить в нем привязанность к себе, вполне уничтожив его застенчивость и неповоротливость. Затем автору достаточно было трех полустраничек, чтобы поразить болгарина злой чахоткой в Москве, выслать его в Италию и там уморить, да и этого еще было мало. На тех же страничках автор помещает еще велеречивое предсмертное письмо болгарина к Катерине, которая получила его уже в Париже, куда выпросилась у отца для окончания своего музыкального образования, сулившего старику изрядные барыши в недальнем будущем. Вместе с письмом Каменского получено было в Париже и известие о кончине ее матери. Всё, что любила Катерина, разом уничтожилось вместе с планами ее явиться к больному в Италию и утешить его последние минуты своим присутствием. Повесть кончалась передачей факта, сухо, как обыкновенно кончаются рассказы, имеющие в виду изобразить „истинное происшествие“, но вот из каких слабых, едва намеченных штрихов создавалась в уме Тургенева сочная картина, развивающаяся в его „Накануне“» (*Анненков*, с. 427—428).

Важнейшей причиной, стимулировавшей дальнейшую работу Тургенева над реализацией замысла «Накануне», явилось, по-видимому, начало и бурное развитие острого идейного конфликта между либералами и разночинцами-демократами. В 1858 году статьей «Русский человек на rendez-vous» Чернышевский открыл полемику о «новых» и «лишних» людях. Статья была направлена против либералов, которые в условиях предстоявшей отмены крепостного права делали ставку не на революцию, а на реформы. Подвергнув критике людей рудинского типа за их неспособность к активным действиям в новых общественно-политических условиях, Чернышевский заявил, что на смену им уже идут новые люди, обладающие

«широкой решимостью» и «благородным риском» (*Чернышевский*, т. 5, с. 168).

Это и другие аналогичные явления в русской общественной жизни должны были окончательно убедить Тургенева в актуальности задуманного им произведения. Краткая история любви русской девушки к «болгару», заимствованная из тетрадки В. Каратеева, начала постепенно облекаться в формы большого социально-политического романа, в котором наряду с болгарской темой национально-освободительного движения не меньшее значение приобретала русская тема, связанная с основной проблемой эпохи — подготовкой крестьянской реформы. Впоследствии — 6 января н. ст. 1871 г.— Тургенев писал Л. Фридлендеру: «Повесть „Накануне“ была так названа больше по времени ее появления (1860— последний год перед освобождением крестьян)... В России начиналась новая эпоха — и такие фигуры, как Елена, Инсаров, являются провозвестниками того, что пришло позже».

В течение первых месяцев 1859 г. Тургенев интенсивно работал над составлением плана романа и закончил его приблизительно в апреле, находясь уже в Спасском. Незадолго до отъезда в Спасское, в начале или середине марта ст. ст. 1859 г., о предполагаемом содержании «Накануне» Тургенев подробно рассказывал Гончарову. Страдавший обостренной мнительностью Гончаров не замедлил усмотреть в плане нового романа очередную попытку незаконного вторжения Тургенева в давно известный ему замысел «Обрыва». «Лира и муза — вот ваш инструмент,— писал Гончаров Тургеневу 28 марта (9 апреля) 1859 г.— Поэтому я было обрадовался, когда вы сказали, что предметом задумываемого вами произведения избираете *восторженную* девушку, но вспомнил, что вы ведь дипломат: не хотите ли обойти или прикрыть этим эпитетом другой — нет ли тут еще *гнезда*, продолжения его, то есть одного сюжета, разложенного на две повести и приправленного болгаром... Если это действительно *восторженная*, то такой женщины ни описывать, ни драматизировать нельзя: ее надо спеть и сыграть теми звуками, какие только есть у вас, и ни у кого более. Я разумею восторженную, как Henriette в „André“ у Ж. Занд. Но такие женщины чисты; они едва касаются земли, любят не мужчину, а идеал, призрак, а ваша убегает за любовником в Венецию (отчего не в Одессу? Там ближе от Болгарии), да еще есть другая сестра: „Та—*так себе*“, сказали вы» (*Гончаров и Тургенев*, с. 32).

По существу это было обвинение в плагиате, основанное на весьма гадательном сходстве любовной истории Инсарова и Елены с отношениями Марка Волохова и Веры в «Обрыве». Уликой против Тургенева считалось также наличие в плане его романа двух сестер, в которых Гончаров заподозрил сходство с женскими образами «Обрыва» — Верой и Марфинькой. Тургенев воспринял это письмо как новое проявление болезненной мнительности Гончарова. Тем не менее именно этим письмом было предопределено характерное изменение в расстановке главных героев «Накануне». В окончательном тексте первого списка действующих лиц, а также в кратком плане-конспекте романа, составленном Тургеневым в апреле 1859 г., Зоя Николаевна, вторая дочь Стаховых, превратилась в компаньонку Елены, Зою Никитишну Мюллер.

Контуры романа, обозначившиеся в плане, были еще зыбкими. В дальнейшем Тургенев отказался от некоторых намеченных в нем сцен и положений или существенно видоизменил их. Так, например,

неоднократные упоминания о Курнатовском уже в первых главах плана свидетельствуют о том, что роль этого персонажа поначалу не представлялась Тургеневу эпизодической. В описании поездки в Царицыно вместо колоритного столкновения Инсарова с немцем предполагалась «стычка» между Инсаровым и Курнатовским. Впоследствии она переместилась в самый конец главы XXII, получив несколько иной характер (см. в письме Елены к Инсарову краткий отчет об «ужасном споре» Берсенева с Курнатовским). После сцены у часовни Тургенев собирался дать «описание счастливых дней», в течение которых Елена и Инсаров «не боятся видеться». В окончательном тексте романа этого описания нет. В соответствии с данными повести Каратеева в плане-конспекте намечался разновременный отъезд Инсарова и Елены в Венецию, причем о Елене говорилось, что она «уезжает тихонько», т. е. тайком. Таким образом, сцена прощания Елены с отцом на этой стадии оформления замысла еще не была ясна Тургеневу.

С другой стороны, в плане-конспекте вовсе не говорится о таинственном и неожиданном исчезновении Инсарова для оказания помощи своим землякам. Нет в нем указаний и на дневник Елены и на занятия Шубина скульптурой (статуэтки); не упоминаются «прогрессист» Лупояров и ничем не примечательный «неблаговидный лакей», вследствие доноса которого, однако, резко переменилась обстановка в доме Стаховых, предопределив дальнейшее более драматическое развитие сюжета. Наконец, в этот период Тургенев еще, по-видимому, не задумывался над эпилогом романа, о котором в плане также ничего не сказано. Все эти важные компоненты романа появились лишь в процессе непосредственного создания чернового автографа, работа над которым началась месяца через два после составления плана.

Крайние даты написания «Накануне» указаны самим Тургеневым на титульном листе черновой рукописи:

«Начата в Виши во вторник 28/16 июня 1859 г.

Кончена в Спасском — в воскресенье 25 октября/6 ноября 1859 г.».

Начало работы над рукописью было трудным. 18 (30) июня 1859 г. Тургенев сообщал М. А. Маркович: «Собственная работа совсем как-то стала. В голове всё накипело — а на бумагу не ложится». В тот же день он жаловался в письме к А. А. Фету: «...до сих пор моя муза, как застоявшаяся лошадь, семенит ногами и плохо подвигается вперед. По страничке в день». Впрочем, очень скоро роман увлек Тургенева, и настроение его переменилось. 5 (17) июля 1859 г. в письме к М. Н. Каткову он уже отмечал, что новая «повесть», предназначаемая для журнала «Русский вестник», «подвигается быстро», а еще несколько дней спустя признавался Е. Е. Ламберт: «Я беспрестанно вожусь с моими лицами — даже во сне их вижу». Еще интенсивнее работа над романом продолжалась по возвращении Тургенева в Спасское. К 7(19) октября 1859 г. роман был готов наполовину. Через два дня Тургенев писал Фету: «...я работаю. Но *что* такое я делаю — господь ведает. Забрался в каменоломню — бью направо и налево — пока, кроме пыли, мне самому ничего не видно». Однако через две недели черновая рукопись романа уже была закончена.

По сравнению с первоначальным замыслом в процессе создания чернового автографа значительно обогатилась итальянская тема романа. Тургенев осложнил и расцветил ее вводом мотивов, не-

посредственно связанных с самыми последними событиями итальянской общественно-политической жизни, за которыми не переставал следить с глубочайшим интересом и сочувствием. Вместе с тем в трактовке этой темы определенным образом сказывались личные поэтические воспоминания Тургенева об Италии.

12 (24) июня 1859 г. Тургенев писал Е. Е. Ламберт: «Я нахожусь теперь в том полувзволнованном, полугрустном настроении, которое всегда находит на меня перед работой; но если бы я был помоложе, я бы бросил всякую работу и поехал бы в Италию — подышать этим, теперь вдвойне благодатным воздухом. Стало быть, есть еще на земле энтузиазм? Люди умеют жертвовать собою, могут радоваться, безумствовать, надеяться? Хоть посмотрел бы на это — как это делается?» Воздух Италии, родины великих творений искусства, в 1859 году становится для Тургенева «вдвойне благодатным» потому, что в это время там с новой силой вспыхивает возглавленное Гарибальди национально-освободительное движение против австрийского владычества. В унисон этому письму Тургенева, написанному за четыре дня до начала работы над черновой рукописью и проникнутому горячим сочувствием к итальянскому национально-освободительному движению и его героям, звучат слова Шубина в XXX главе романа, сказанные с хорошей завистью к судьбе Инсарова и Елены, покидающих Россию, чтобы принять участие в борьбе за освобождение Болгарии от турецкого ига: «Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина... Хорошо, хорошо. Дай бог всякому... там — натянуты струны, звени на весь мир или порвись!» (Связь этого высказывания Шубина с письмом Тургенева к Ламберт впервые отмечена в статье Н. Л. Бродского «Тургенев в работе над романом „Накануне“».— Свиток, М., 1922. Кн. 2, с. 90.)

Не случайно эти знаменательные слова вкладываются в уста Шубина. Шубин художественно одаренная натура, но он близок Тургеневу не только этим. Шубину, как и Тургеневу, свойственны критическое отношение к дореформенной русской жизни, жажда и предчувствие важных перемен в ней. Недаром на первой стадии создания романа Тургенев именно от лица Шубина вел дневник, имевший подчеркнуто оценочный характер по отношению к окружающей действительности. Впоследствии, в беседе с американским писателем Бойезеном, Тургенев отмечал, что этот дневник, в котором Шубин, так же как несколько позднее Базаров, «высказывал свои мнения о важнейших текущих вопросах, религиозных, политических и социальных ⟨. . .⟩ был значительно объемистее романа» (см.: Минувшие годы, 1908, № 8, с. 70).

Таким образом, сопровождая работу Тургенева над романом, впечатления от национального освободительного движения в Италии получали в нем косвенное отражение, способствуя углублению темы героического служения порабощенной Болгарии. Итальянские события были частью того общественно-политического фона, на котором создавался роман. Можно предполагать, что, изображая отношения Елены и Инсарова, Тургенев как-то учитывал и хорошо известный к тому времени на Западе и в России биографический материал, связанный с личной жизнью Гарибальди (подробнее об этом см. ниже).

Грустный лиризм заключительных глав романа, придающий изображению любви Елены и Инсарова под «очарованными небесами» Венеции отпечаток прощания с жизнью и молодостью, оттенок

«прелести увядания в самом расцвете и торжестве красоты», также находит соответствие в глубоко интимных переживаниях писателя, ощутимо связанных с Италией. 12 (24) апреля 1859 г., находясь в Спасском, Тургенев писал В. П. Боткину: «Чудесная погода — жарко, тихо, птицы поют, пахнет почками; я раза три прошелся по саду — и чуть не всплакнул. Жизнь пролита до капли, но запах только что опорожненного сосуда еще сильнее, чем когда он был полный. Addio, vita, слышал я раз на Корсо, во время карнавала; молодой женский голос произнес эти слова — и долго звук их звенел у меня в ушах». Наконец, сцена романа, в которой Елена и Инсаров слушают «Травиату» в венецианском театре, обязана если не своим возникновением, то во всяком случае некоторыми деталями, определяющими ее содержание, впечатлениям Тургенева от игры и безвременной кончины знаменитой итальянской певицы Бозио, в последний раз выступавшей в Петербурге в сезон 1858/59 г. Сцена начинается намеком на одно из этих обстоятельств: «...давали оперу Верди ⟨. . .⟩ хорошо известную нам, русским...» Затем повествование постепенно заполняет мотив неотвратимо надвигающейся смерти, усиливаемый параллельными указаниями на талантливое исполнение партии Виолетты и болезненное состояние Инсарова (см. наст. том, с. 287—289). Эмоционально-философская первооснова этой сцены намечается в письме Тургенева к Гончарову от 7 (19) апреля 1859 г., в котором непосредственно за общими суждениями о «Дворянском гнезде» и сюжете «Накануне» следуют характерные строки об итальянской певице: «Сегодня я узнал о смерти Бозио и очень пожалел о ней. Я видел ее в день ее последнего представления: она играла „Травиату“; не думала она тогда, разыгрывая умирающую, что ей скоро придется исполнить эту роль не в шутку. Прах, и тлен, и ложь — всё земное».

К 7 (19) ноября 1859 г. Тургенев заново «пересмотрел» черновую рукопись и переписал ее. 30 ноября (12 декабря) того же года беловой автограф был отправлен на отзыв графине Е. Е. Ламберт. Случилось так, что спешка и недомогание помешали Тургеневу устроить предварительное обсуждение своего нового произведения в кругу литературных знакомых. Поэтому графиня Ламберт оказалась, по-видимому, единственным, кроме П. В. Анненкова, читателем и критиком романа до его опубликования.

Ламберт дала неожиданно отрицательный отзыв, повергший Тургенева почти в отчаяние. В связи с этим он писал Анненкову 3 (15) декабря 1859 г.: «У меня сейчас была графиня Ламберт с мужем, и она (прочитавши мой роман) так неопровержимо доказала мне, что он никуда не годится, фальшив и ложен от А до Z, что я серьезно думаю — не бросить ли его в огонь?..» В воспоминаниях П. В. Анненкова, которому удалось разубедить и успокоить Тургенева, дипломатично указывается только одна причина недовольства Ламберт романом — «непривычка к политическим мотивам в художническом деле» (*Анненков*, с. 433). На самом деле таких причин было по крайней мере две (см. ниже).

Местонахождение наборной рукописи романа в настоящее время неизвестно. О ее характере судить трудно, так как корректура с поправками Тургенева также не сохранилась. Можно утверждать, однако, что она не была простой копией чернового автографа. Сравнительным изучением текстов черновой рукописи и журнальной публикации «Накануне» установлены обильные разночтения, свидетельствующие о непрекращавшейся работе Тургенева над романом

вплоть до самого момента его появления на страницах «Русского вестника»[1].

При подготовке журнальной публикации романа Тургенев опустил несколько небольших сцен, в которых был очерчен некто Петр Николаевич, обязанный Инсарову «своим спасением». Косвенная характеристика высоких человеческих достоинств Инсарова, к которой сводилось назначение этих сцен, выглядела несколько навязчивой и сентиментальной, и Тургенев вынужден был отказаться от нее (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 8, с. 437—438).

В журнальной публикации Тургенев устранил также довольно подробное описание одного из свиданий Елены с нищей девочкой Катей. В черновом автографе последнее, что особенно запомнилось Елене из встреч с Катей, были ее слова: «меня зовут». Сказанные за несколько дней до смерти, они приобретали мистический смысловой оттенок. В результате сокращения текста последними оказались слова Кати о жизни «*на всей божьей воле*», выражавшие страстное стремление к свободе, созвучное основному настроению Елены (см. там же, с. 420).

Из чернового автографа в печатный текст не перешли ядовитые характеристики отца Елены. В гл. III чернового автографа он был охарактеризован как «не злой человек с маленьким умом, маленьким сердцем, мелко упрямый и тщеславный», смолоду привыкший призывать «камердинера свистом», жить «очень грязно» и есть «что попало» (см. там же, с. 415).

В черновом автографе содержится большая, несколько декларативная характеристика Елены в начале гл. VI, испещренная массой поправок и зачеркиваний (там же, с. 418—420). Но сокращения в других главах сопровождались рядом существенных добавлений в текст перед его журнальной публикацией, в которых отразилось намерение Тургенева резче подчеркнуть идейное содержание романа и прежде всего героическое начало в нем. В основном эти добавления сводятся к следующему. Находясь под обаянием личности Инсарова, Елена записывает в своем дневнике (гл. XVI): «Разговаривая с ним, я вдруг вспомнила нашего буфетчика Василия, который вытащил из горевшей избы безногого старика и сам чуть не погиб. Папенька назвал его молодцом, мамаша дала ему пять рублей, а мне хотелось ему в ноги поклониться. И у него было простое, даже глупое лицо, и он потом сделался пьяницей». В главе XII впервые появляется сентенция Шубина об Инсарове и его целях с полемическим противопоставлением их славянофильскому народолюбию: «Он с своею землею связан — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука!»[2] В главу XIV (после слов «Если бы вы знали, какой наш

---

[1] Неполная сводка важнейших вариантов чернового автографа «Накануне» впервые представлена в статье И. В. Мальцева «К истории создания „Накануне“ И. С. Тургенева».— Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1939, т. XXIV, с. 51—57).

[2] Вкладывая в уста Шубина ироническую характеристику славянофилов («пустые сосуды», жаждущие «живой воды» от народа), Тургенев, возможно, намекал на братьев И. С. и К. С. Аксаковых, с которыми часто спорил о значении народного влияния для фор-

край благодатный!») Тургенев ввел рассказ Инсарова о положении болгарского народа под властью турок: «А между тем его топчут, его терзают» и т. д. кончая словами: «Я не могу говорить об этом хладнокровно». В печатном тексте противопоставление болгарского патриота-разночинца Инсарова дворянским интеллигентам Берсеневу и Шубину, в известной мере олицетворявшим передовую Россию, стало выглядеть более четким и последовательным, чем в черновом автографе. На вопрос: отчего Инсаров «не русский?»— в дневнике Елены дается многозначительный ответ: «Нет, он не мог бы быть русским» (гл. XVI). В этом отношении характерна и вставка в диалог между Берсеневым и Шубиным, заканчивающаяся признанием, что «в наши времена требуются герои другого калибра» (гл. XII). В связи с этим в главе XXX по сравнению с черновым автографом была усилена критика дворянской интеллигенции. Здесь (после слов: «...палки барабанные!») появилась ироническая шубинская характеристика «лишних людей» типа «Гамлета Щигровского уезда»: «А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие!»

Подавляющее большинство вставок, появившихся в журнальном тексте «Накануне», являлось красноречивой иллюстрацией к характеристике романа, высказанной Тургеневым в письме к И. С. Аксакову от 13 (25) ноября 1859 г. «В основание моей повести,— писал Тургенев,— положена мысль о необходимости *сознательно*-героических натур (стало быть, тут речь не о народе) — для того, чтобы дело подвинулось вперед». Противопоставление Инсарова мыслящим русским людям в лице их представителей, Шубина и Берсенева, имело назидательный смысл, было проникнуто несвойственными предшествующему творчеству Тургенева откровенно дидактическими тенденциями. Оно основывалось на патриотическом стремлении средствами художественных образов способствовать объединению передовых сил русского общества для активной борьбы за общенациональное дело. Таким общенациональным делом в условиях начала шестидесятых годов была борьба за скорейшую ликвидацию крепостнических отношений. По убеждению Тургенева, успех этой борьбы всецело зависел от участия в ней «сознательно-героических» натур типа Инсарова, а не народа, еще не способного к самостоятельному решению больших общественно-политических задач. Свое отношение к людям, подобным Инсарову, Тургенев недвусмысленно высказал в речи «Гамлет и Дон-Кихот», напечатанной одновременно с романом и сразу же поставленной современниками в прямую связь с его замыслом (см. ниже). Говоря о Дон-Кихотах, противодействующих «враждебным человечеству силам ⟨. . .⟩, т. е. притеснителям», Тургенев отмечал в этой речи: «Когда переведутся такие люди, пускай навсегда закроется книга истории. В ней нечего будет читать». О связи замысла образа Инсарова с идеями статьи «Гамлет и Дон-Кихот» см.: Бродский Н. Л. Тургенев в работе над романом «Накануне».— Свиток. М., 1922. Кн. 2, с. 81—86.

мирования передовых общественных деятелей (см. характерные суждения Тургенева о «живой» и «мертвой воде», о необходимости «вспрыскивания обеими водами» и т. п. в письме к И. С. Аксакову от 13(25) ноября 1859 г.).

История текста большей части романов Тургенева после их первой публикации в известной степени была обусловлена критическими суждениями друзей писателя и откликами печати. Роман «Накануне» стоит в этом отношении несколько особняком. Опубликовав его в «Русском вестнике», Тургенев неоднократно возвращался к работе над текстом. Однако сводка многочисленных разночтений в прижизненных изданиях «Накануне» показывает, что в основном они носят стилистический характер. Отдельные отклонения от этой нормы далеко не всегда можно объяснить воздействием на автора извне. Тургенев с самого начала занял подчеркнуто независимую позицию в отношении критики, крайне скупо реагируя на ее претензии, подчас очень серьезные. Можно указать только на две поправки в тексте, сделанные, по всей вероятности, под влиянием критических отзывов.

Как известно, самым уязвимым местом романа «Накануне» Добролюбов считал бледность очертаний образа Инсарова. «Он,— писал Добролюбов о Тургеневе,— недостаточно приблизил к нам этого героя даже просто как человека ⟨. . .⟩ Гораздо менее человечные, даже просто фальшивые идеи, горячо проведенные в художественных образах, производили лихорадочное действие на общество; Карлы Мооры, Вертеры, Печорины вызывали толпу подражателей. Инсаров их не вызовет ⟨. . .⟩ его внутренний мир недоступен нам ⟨. . .⟩Даже любовь его к Елене остается для нас не вполне раскрытою» (*Добролюбов*, т. II, стр. 226—227). Вместе с Добролюбовым неудовлетворенность этой особенностью разработки характера Инсарова выразило подавляющее большинство критиков того времени — независимо от их принадлежности к тому или иному общественно-политическому лагерю. Даже Н. Ф. Павлов, редактор газеты «Наше время», в которой было помещено несколько пространных отзывов о «Накануне», выдержанных в сугубо реакционном духе, писал по этому поводу, обращаясь, как и Добролюбов, к аналогиям из мировой литературы: «Дездемона тоже влюбляется в идею, в идею страданий, в идею спасения Венеции, но какое живое представление почти мечтательного события! Черный варвар прельщает милую венециянку, но он не молчит, как шут Инсаров, он рассказывает женщине подробно, с искренностью простого сына природы, о понесенных им бедствиях, о терновом пути, по которому он шел, раскрывает ей всю душу, все события своей жизни; она видит его труды, его подвиги, твердость его воли на деле, обыкновенного смертного в пустяках и чудесного человека, где чудо нужно, и нам становится понятно, что женское сердце пленяется идеей, что женщина, бросив отца, следует за черным варваром» (Наше время, 1860, № 17, 8 мая). Возможным ответом Тургенева на такого рода замечания является лаконичная вставка в дневнике Елены, которой читателю дается понять, что Инсаров подробно рассказывал ей о своем прошлом. В главе XVI после слов: «я теперь знаю, отчего у него рана на шее» в издании Основского (1860) впервые появляется фраза: «Боже мой! Когда я подумаю, что он уже был приговорен к смерти, что он едва спасся, что его изранили...».

В процессе дальнейшей работы над текстом «Накануне» характерно почти полное пренебрежение писателя к толкам о легкомыслии и безнравственности Елены,— пренебрежение тем более знаменательное, что на первых порах после окончания романа автор сам, по-видимому, не совсем был уверен в безупречности своего нового произведения с точки зрения общепринятых моральных норм. 23

октября (4 ноября) 1859 г. Тургенев писал Анненкову: «...не имею никакого суждения о том, что я произвел на свет: кажется, эротического много, Шатобрианом пахнет...»

Вскоре последовали ожесточенные нападки на Елену, причем в числе поборников условной морали оказалась графиня Ламберт, с которой Тургенев в течение ряда лет был в дружеских отношениях.

Отвечая на письмо Тургенева от 16 (28) февраля 1860 г., Ламберт писала: «В этой повести есть *Ваши* слезы. Вы мне это сказали,— как же они не выразились, не отпечатались на ней — и всё потому, что в Елене мало женственности,— бойкая барышня, повторяю. Мы привыкли к той мысли, что добродетель должна быть угнетена, или по крайней мере скромна и застенчива» (*Granjard*, p. 89, L. № 14). Перед включением романа в состав собрания сочинений в издании Основского (1860 г.) Тургенев скорее всего в связи с этим отзывом устранил из главы XXIII фразу: «То, что я тебе сделала сегодня,— прибавила она лукавой скороговоркой». Исчезновение этой фразы уже в издании Основского можно считать уступкой Тургенева слишком строгим моралистам, обвинявшим Елену в отсутствии застенчивости. Впрочем, рано или поздно Тургенев независимо от критики, вероятно, устранил бы эту фразу: в противном случае поведение Елены в гл. XXVIII выглядело бы психологически непоследовательным по сравнению с ее свободным обращением с Инсаровым в гл. XXIII.

В ряду других исправлений Тургенева наиболее существенны вставки в главах XXVIII, XXXIII, XXXV, впервые появившиеся также в издании Основского и связанные с углублением в романе идеи вины и обреченности. Вот, соответственно, эти вставки: 1) «или, может быть, я против тебя виновата ∽ Это мой долг»; 2) «А если так, если он виноват, если я виновата ∽ в этой глухой комнате»; 3) «Я искала счастья — и найду, может быть, смерть. Видно, так следовало; видно, была вина... Но смерть всё прикрывает и примиряет, не правда ли?» (см.: Варианты прижизненных изданий.— *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. VIII, с. 443, 444).

II

Среди вопросов, вызванных появлением романа «Накануне» и составивших предмет горячей журнальной полемики, существенное место занял вопрос о том, «каким образом болгарин сделался героем ⟨тургеневского⟩ романа». «Господа критики,—вспоминал в 1880 году Тургенев,— дружно упрекали меня в деланности и безжизненности этого лица, удивлялись моей странной затее выбрать именно болгарина, спрашивали: „Почему? С какой стати? Какой смысл?“ — Ларчик просто открывался — но я не почел тогда нужным входить в дальнейшие объяснения» [3].

---

[3] См. «Предисловие» Тургенева к собранию романов в издании сочинений 1880 года. Недоумение по поводу того, почему Тургенев «выписывает из Болгарии невозможного и ни на что не нужного Инсарова», высказал особенно резко Д. И. Писарев, отказавшийся «принимать Инсарова за живое лицо» и видевший в нем лишь «тот процесс механического построения, которому Инсаров обязан своим происхождением» (*Писарев*, т. 1, с. 268—270). Другие критики отзывались о герое романа почти в том же духе.

Ключом к «ларчику» Тургенев считал рассказ Каратеева, содержавшийся в полученной от него «тетрадке», где героем выступает действительно существовавшее лицо — болгарин Катранов (см. об этом выше, с. 430). Поэтому сопоставление героя «Накануне» Инсарова с его прототипом Катрановым имеет существенное значение для понимания романа. Но ограничивать и объяснять выбор героя частным и случайным обстоятельством — знакомством Тургенева с повестью Каратеева — было бы недостаточно: обращение Тургенева к деятелю болгарского национально-освободительного движения, избранному притом в качестве героя романа, в котором ставятся проблемы современной русской общественной жизни, имеет и другие, более общие и глубокие основания. Выбор Тургеневым своего героя подсказывался ему самой политической обстановкой, внутренней и внешней, складывавшейся в России в середине и второй половине 50-х годов XIX века, в период подготовки крестьянской реформы.

В это время писателя особенно волнуют вопросы о будущих судьбах России и о путях, которыми она должна идти. Разное понимание этих вопросов вызывает глубокое и всё обостряющееся расхождение между дворянскими либералами и разночинцами-демократами. Тургенев, не раз высказывавшийся как противник всяких социально-политических переворотов, выступал убежденным сторонником либеральных реформ, а необходимым условием их проведения считал объединение всех передовых сил русского образованного общества, за которыми должны, по его мнению, идти народные массы. В этом смысле его новый герой, Инсаров, носитель идеи единения всех народных сил и тесной связи интеллигенции с народом, воплощал в себе его идеал общественного деятеля, а самая идея народного единства выражалась известной сентенцией Инсарова, обращенной к Елене: «Последний мужик, последний нищий в Болгарии и я — мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость». Перенесение инсаровских национально-освободительных идеалов, объединяющих народ, на почву русской общественной жизни было направлено против основных положений революционной демократии, что и отметил Добролюбов в своем разборе романа [4].

С другой стороны, обращение Тургенева к теме болгарского национально-освободительного движения было обусловлено Восточной войной, начавшейся между Россией и Турцией летом 1853 года, а затем превратившейся в войну между Россией и западными союзниками Турции. В момент возникновения войны особенно сильно сказались освободительные стремления и надежды балканских славян, выразителем которых был Инсаров, и к этому времени приурочил Тургенев начало своего романа. Дальнейшее развертывание его сюжета связано с ходом военно-политических событий: в конце 1853 г. Елена с Инсаровым выезжают в Италию, чтобы из Венеции перебраться на Балканский полуостров и достигнуть Болгарии, где Инсарова «уже давно ждали» и «на него надеялись». В апреле 1854 г. Инсаров умирает.

---

[4] По мнению М.К. Клемана, Тургенев хотел дать «политический урок» революционной демократии, стремясь убедить ее в том, что «русские Инсаровы» появятся только тогда, когда они «откажутся от углубления классовой розни, от революционной постановки об-

Восточная война, явившаяся следствием противоречий между Россией и европейскими державами на Ближнем Востоке и отражавшая захватнические стремления тех и других, вызывала сложные и различные отношения к себе разных кругов русского общества. Русский царизм вел войну под лозунгами освобождения балканских славян и торжества православия. Однако официальная пропаганда этой идеи и близкая к ней славянофильская программа вызывали отрицательное отношение не только демократических, но и наиболее прогрессивных представителей либерально-западнических кругов, к числу которых принадлежал и Тургенев. Понимая всю лживость заверений русского самодержавия, он не дал в романе никакого намека ни на «освободительную» его миссию, ни на сведение болгарского вопроса к церковно-религиозным требованиям. Он изобразил в «Накануне» развитие национально-освободительной борьбы самого болгарского народа в лице одного из лучших его представителей — Инсарова. Тем самым, как отмечает современный исследователь, он сумел «четко и определенно противопоставить свою позицию всей либеральной и славянофильской шумихе вокруг славян»[5]. Таким образом, и национальность Инсарова, и хронология романа выбраны Тургеневым не случайно и явились откликом на волновавшие писателя политические вопросы. Выраженное в романе сочувственное отношение к болгарскому народу, к борцам за национальную независимость балканских славян явилось поддержкой для последних в их борьбе и в глазах русского общества. Это тем более важно, что роман вышел несколько ранее статьи Герцена «Сербы и черногорцы» (Колокол, л. 84 от 1 ноября 1860 г.) и статей Чернышевского по славянскому вопросу.

При создании образа Инсарова Тургенев имел в виду, как сказано, реально существовавшее лицо — болгарина Николая Катранова, о котором он узнал из повести Каратеева.

Текст повести не дошел до нас. Но, помимо нее, биографические сведения о Катранове, которыми мы располагаем, довольно полны. Это материалы, сообщаемые другом Катранова по Московскому университету поэтом Саввой Филаретовым и русским фольклористом П. А. Бессоновым, а также сведения, собранные французским исследователем А. Мазоном и болгарскими литературоведами Н. Бобчевым и Иваном Г. Клинчаровым. Принадлежащая перу последнего биография Катранова наиболее полна и основана на документальном материале, а потому представляет наибольший интерес. Из нее видно, что Николай Димитров Катранов родился в 1829 г. в городе Свиштове, в купеческой семье. Город Свиштов находился, благодаря своему выгодному географическому положению, в центре культурного и общественного движения Болгарии; это оказало большое влияние на воспитание Катранова, на раннее пробуждение в нем интереса к судьбе своего народа и к народному творчеству[6].

щественных проблем» и объединят силы в борьбе за общенациональные интересы (см.: Клеман М. К. И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества, Л.: ГИХЛ, 1936, с. 123).

[5] Маркозова Д. С. Создание образа общественного деятеля в романе И. С. Тургенева «Накануне».— Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1957, т. CL, вып. 2, с. 127.

[6] Клинчаров Ив. Г. Инсаров. Николай Д. Катранов. София, 1938, с. 29—33.

В 1843 г. Николай Катранов приехал в составе большой группы болгарских юношей и девушек в Россию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Здесь он испытал благотворное воздействие передовой русской общественной мысли и русской художественной литературы; здесь он сформировался как «интеллект и как революционер-просветитель» (ср. намерение Инсарова в России «образоваться вполне»).

«В Болгарии Катранов научился любить родину и ненавидеть тиранию,— пишет Клинчаров,— в московских литературных и философских кружках он возвел эту любовь и ненависть в степень высокого сознания необходимости просвещения для масс и революционного преобразования в стране» (указ. соч., с. 35).

Будучи студентом, Катранов ведет большую общественную и литературную работу. Он пропагандирует идеи освобождения балканских славян, пишет стихи, обрабатывает при содействии А. Ф. Вельтмана народные песни, собранные им в Болгарии, занимается переводами. Оригинальные стихи Катранова, напечатанные в издававшейся в Константинополе болгарской газете «Цариградски вестник» (1853, № 153, 30 мая), по словам А. Мазона, «не обнаруживают в нем крупного поэта, но, по крайней мере, позволяют увидеть в нем поэтическую душу, горячо откликнувшуюся на крестьянские песни, народные легенды и романтические баллады» [7].

Современники высоко ценили литературные труды Катранова. Издатель народных песен П. А. Бессонов, которому он передал собранные им народные болгарские песни, позднее отзывался о нем как о «весьма даровитом и горячо преданном задачам родного слова, а потому много обещавшем в будущем болгарине» (Болгарские песни Ю. Венелина, Н. Д. Катранова и других болгар. М., 1855. Введение, с. XV).

В начале 1853 г. Катранов окончил университет и отправился в Болгарию вместе со своей женой Ларисой [8]. Пребывание его на родине оказалось очень кратковременным. Внезапная вспышка туберкулеза заставила его вернуться в Россию. Вскоре, по совету

---

[7] Mazon A. L'œuvre de Nikolas Katranov. — Сборник в честь на проф. Милетич за седемгодишнината от рождението му. София, 1933, с. 373. Среди переводов на болгарский язык, выполненных Катрановым,— поэма Байрона «Абидосская невеста» (М., 1850) и оставшийся в рукописи отрывок из романа Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера», переведенный, правда, не с оригинала, а с русского перевода.

[8] Имя жены Катранова, которую одни биографы называли Еленой, другие Катериной, стало известно лишь в самое последнее время — из книги: Павлович Н. Д. Николай Павлович. 1835—1894. София, 1955. На эту книгу обратил внимание редакции сотрудник Народного музея в г. Свиштове Рашко Иванов. В названной книге говорится: «...помещик Каратеев познакомил Катранова с русской девушкой Ларисой, в которую был влюблен сам. Молодые люди полюбили друг друга, и Лариса стала спутницей Катранова до конца его жизни. Историю их любви Каратеев записал в тетрадку, которую передал Тургеневу „для использования" перед своим отъездом в Крым». Документальным подтверждением этого сообщения является приведенное в книге Н. Д. Павловича письмо двоюродного брата Катранова, художника Николая Павловича, где он, обращаясь к жене Катранова, называет ее Ларисой.

друзей, Катранов в сопровождении жены поехал лечиться в Вену, а оттуда в Венецию. Здесь, простудившись во время прогулки, Катранов внезапно умер 5 мая 1853 г.

Сопоставляя биографию Катранова с историей Инсарова, легко заметить, что, наряду с явной тождественностью основной линии, образ Инсарова во многом отступает от своего прототипа. Поставив перед собой задачу реализовать в Инсарове идеал «сознательно-героической натуры», появления которой Тургенев желал для России, писатель усилил трагические черты в биографии своего героя, вставив рассказ об убийстве родителей Инсарова турками. Тургенев изобразил Инсарова уже сформированным борцом, которого преследует турецкое правительство («На шее у него шрам — должно быть от раны»). Поэтому автор не останавливается на его литературных занятиях, хотя слова Инсарова в разговоре с Еленой, что «болгарские песни не хуже сербских», намекают на эти занятия и основаны на знакомстве Тургенева со славянским фольклором (см. в письме к Некрасову от 15 (27) октября 1854 г.: «Было время, что я с ума сходил от народных песен — и у меня есть различные переводы сербских, мадьярских, финских и других песен»).

Сочувствие национально-освободительной борьбе болгарского народа сохранилось у Тургенева и позже. Борьба балканских славян за свою национальную независимость, обострившаяся в конце 70-х годов, и начавшаяся в связи с этим русско-турецкая война более чем на два года приковали к себе внимание писателя. Потрясенный жестоким подавлением апрельского восстания в Болгарии [9], Тургенев в июле 1876 г. пишет гневное стихотворение «Крокет в Виндзоре», в котором открыто обвиняет Англию в гибели нескольких тысяч мирных жителей. Стихотворение было запрещено цензурой, но быстро распространилось в списках, с одного из которых его опубликовал в болгарской газете «Стара планина»(1876, № 26, 6 ноября), издававшейся в Бухаресте, будущий видный болгарский общественный деятель и знакомый Тургенева Стефан Бобчев. На тему русско-турецкой войны 1877—1878 гг. написано несколько стихотворений в прозе [10]. Так, в своих художественных произведениях и письмах тех лет, Тургенев выразил горячее сочувствие и преданность делу освобождения братского болгарского народа (см. Велчев В. Тургенев в Болгарии. Вторая половина XIX в. Отдельный оттиск. София, 1961, с. 715, 738—739).

Со своей стороны, болгарская критика и читатели всегда высоко ценили Тургенева и особенно — как создателя «Накануне». Газета «Балкан» писала в связи со смертью Тургенева: «Для нас, болгар, Тургенев имел значение не только как просветитель и образованный художник мирового значения, но и как человек, который впервые создал героический образ представителя нашей патриотической интеллигенции, боровшейся за освобождение народа. Таков созданный Тургеневым Инсаров в его романе „Накануне“» (Балкан, 1883,

---

[9] «Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства: они только и живут во мне...»,— пишет он Е. А. Черкасской 9 (21) ноября 1876 г.

[10] См.: Величкина И. И. И. С. Тургенев и война за освобождение балканских славян.— В сб.: Вопросы русской литературы. Уч. зап. Московск. пед. ин-та им. В. И. Ленина, вып. 389. М., 1970, с. 251—266.

бр. 37, 3 септември, с. 1—2). Современный же болгарский литературовед Ст. Каракостов указывает на то, что еще до перевода на болгарский язык читавшийся по-русски роман «Накануне» «был поддержкой для революционного движения в Болгарии и вселял в болгар уверенность, что освобождение от турецкого ига произойдет с помощью братского русского оружия» (Каракостов Ст. Тургенев за България.— Българо-съветска дружба, София, 1947, № 10, с. 13).

Некоторые данные об отношении Тургенева к деятелям болгарского национально-освободительного движения сообщает в своих воспоминаниях Виктория Живкова (Вела Благоева), первая женщина-социалистка Болгарии, учившаяся на Высших педагогических курсах в Петербурге. В. Живкова знала Тургенева лично, некоторое время состояла с ним в переписке, собиралась перевести роман «Отцы и дети» на болгарский язык. Глубоко потрясенная смертью Тургенева, Живкова послала в Болгарию, в рущукскую газету «Славянин», свои «Мемуары» о «великом друге», как она называет Тургенева. В этих воспоминаниях Живкова передает, в частности, содержание своей беседы с Тургеневым в марте 1879 г. «С особым любопытством,— пишет мемуаристка,— расспрашивал он меня о нашей литературе, интересовался нашим старым поэтом Славейковым, знал многих из молодежи и говорил, что в числе его московских знакомых был и Инсаров, герой романа „Накануне“. Инсаров-де нарисован таким, каким был в действительности, не идеализирован и не приукрашен [11]. Тургенев интересовался, много ли у нас в Болгарии таких героев?» К этому Живкова добавляет: «Кто знал лично наших молодых патриотов, кто видел, например, Каблешкова и знал его жизнь на уединенной станции пловдивской железной дороги, титанический труд и обаяние, которое он производил своей агитацией,— тот не мог не узнать в нем своего брата Инсарова» (текст мемуаров вместе с русским переводом приведен в указанной статье В. Велчева, с. 836—841). В воспоминаниях В. Живковой, несмотря на их неточность, важно то, что она связывает знакомых Тургеневу в Москве болгар с Катрановым, точнее с лицами, принадлежащими к его кругу. От этих болгар, по-видимому, Тургенев и узнал впоследствии, во время работы над «Накануне», подробности о прототипе своего героя, проверяя и дополняя те сведения, которые стали известны ему из повести Каратеева.

Мы не располагаем точными данными, с кем именно из московских болгар был лично знаком Тургенев, но сведения о многих из них Тургенев мог почерпнуть у Аксаковых, Погодина и других членов основанного в 1858 г. «Славянского комитета», который был призван оказывать культурно-просветительную и материальную помощь славянским народам. В тесных отношениях с членами Славянского комитета и, в частности, с Погодиным находился упомянутый выше Савва Филаретов, друг Катранова по Московскому университету. Филаретов оказал существенную помощь П. А. Бессонову в подготовке к печати раздела болгарских песен и словаря новоболгарского языка, которым Бессонов снабдил эти песни [12].

[11] Фамилия «Инсаров» здесь упомянута ошибочно — вместо «Катранов», которого Тургенев лично не знал: тетрадь Каратеева попала к нему в руки, когда Катранов уже умер.

[12] См.: Временник Московского общества истории и древностей российских. М., 1855. Кн. 21; введение, с. XVII.

Интерес Тургенева к Болгарии, его вера в стремление и способность болгарского народа к борьбе за освобождение, с одной стороны, и честное отношение художника к фактам исторической действительности, с другой, позволили писателю уловить и придать своему герою такие черты, которые позднее оказались присущими целому поколению болгарских революционеров 1860—1870-х годов — В. Левскому, Л. Каравелову, Хр. Ботеву и другим.

Видный историк сербо-болгарских отношений Й. Скерлич находил у Любена Каравелова много черт тургеневского Инсарова [13]. Любен Каравелов (1837—1879), выдающийся болгарский писатель и революционер, «балканский Герцен», провел в России 10 лет (1856—1866). Здесь он начал свой писательский труд. Здесь же, под воздействием русских революционных демократов, формировалась его идеология. Последние работы советских ученых Л. Воробьева и Л. Ерихонова (см. статьи в кн.: Изследвания и статии за Любен Каравелов. София, 1963) свидетельствуют о чрезвычайно разветвленных связях Каравелова с русскими революционными кругами (Каравелов был близок к ишутинскому кружку, знаком с Нечаевым, Бакуниным, редакцией «Народного слова», испытал сильное влияние И. Г. Прыжова), а также с русскими писателями и учеными. Правда, в числе московских друзей Каравелова мы не встречаем имени Тургенева. По-видимому, лично они не были знакомы. Однако предположение, что Тургенев слышал о Каравелове и им интересовался, не лишено основания.

Таким образом, глубокий интерес Тургенева к судьбе западных и южных славян, к их движению и борьбе за свою национальную независимость, с одной стороны, и попавшая в его руки повесть Каратеева с болгарским патриотом в центре, с другой, позволили ему создать оригинальный и жизненный образ нового героя, родного брата будущих болгарских революционеров 60—70-х годов и провозвестника того, что, по словам самого писателя, в России «пришло позже».

III

Образ героини со «смутным», но «сильным» стремлением к свободе возникал перед Тургеневым, по собственному его свидетельству, еще до создания или в период написания «Рудина» (см. т. 5, с. 482). Некоторые черты этого типа были воплощены Тургеневым в лице Натальи в «Рудине» и в других женских образах повестей, завершенных в период между возникновением и окончательной реализацией замысла «Накануне» («Переписка», «Фауст» и «Ася»). Приступив вплотную к работе над романом в конце 50-х годов и избрав в качестве основного героя деятеля болгарского национально-освободительного движения, с которым Елена соединила свою судьбу, Тургенев создал качественно новый образ русской женщины, отразивший общественные сдвиги в жизни России той поры. Писатель воспроизвел в лице Елены характерную представительницу молодого поколения кануна революционной ситуации в России. Последовав за Инсаровым в Болгарию, Елена претворила свои мечты в дело.

[13] См.: Скерлич Й. Към сръбско-българските литературни влияния. Мисъл, 1902, с. 642; его же: Омладина и њена књижевност. У Београду, 1906, с. 282.

В 50-х годах русская женщина начинает принимать всё более активное участие в общественной жизни. В 1854—1855 годах, которым непосредственно предшествует время действия романа, в России формировались первые отряды сестер милосердия, отправлявшиеся в Севастополь. Тургенев был знаком с некоторыми из «сестер», принадлежавших к привилегированным слоям дворянской интеллигенции и порвавших с привычным укладом жизни ради трудного дела ухода за ранеными. Так, он хорошо знал Е. М. Бакунину, которую Н. И. Пирогов в письме, посвященном деятельности Крестовоздвиженской общины сестер, охарактеризовал как пример «терпения и неустанного труда для всех сестер общины», подчеркнув в личности ее полную гармонию между чувствами и действиями, «самозабвение», «ревность» и «энергию» в преодолении препятствий[14]. В своих «Воспоминаниях сестры милосердия» Е. М. Бакунина, упоминая о своем давнем знакомстве с Тургеневым и его матерью, называет и другую сестру милосердия, Медведеву, которая ранее жила у В. П. Тургеневой (см.: *В Е*, 1898, т. II, № 3, с. 175). Мог слышать Тургенев и об Александре Назимовой, одной из выдающихся сестер периода Крымской войны. М. К. Цебрикова — писательница, связанная с народническими кругами,— в своих воспоминаниях о пятидесятых годах несколько страниц отвела А. Назимовой, оказавшей большое влияние на ее формирование. По словам Цебриковой, такой «женский характер сильный, оригинальный 〈. . .〉, мог вырасти только на русской почве той темной поры» (Цебрикова М. Пятидесятые годы.— Вестник всемирной истории, 1901, № 11, с. 66). «В ней,— писала Цебрикова,— жила та сильная воля, которая, раз сознав, что дело хорошо, честно, что оно — героическое дело, захочет его; и раз она чего захочет, то никакая сила в мире не остановит ее, никакие позывы жизни на другое не уведут прочь от дела» (там же, с. 70). Сравнивая Назимову с Еленой Стаховой как с наиболее близким, но не тождественным ее литературным отражением, мемуаристка указывала, что Назимова пошла далее тургеневской героини: если Елене, по словам Цебриковой, «нужен был человек подвига, ей нужно было идти за милым», то Назимова, не встретив «человека, которому стоило бы поклониться», «не ждала ничьего толчка. Она нашла, чуть жизнь выдвинула дело ей по силам» (там же, с. 69—70).

Ряд черт женщины героического характера, подруги революционера, был подсказан Тургеневу итальянскими событиями, связанными с революцией 1848—1849 годов, за которым он внимательно следил, живя в эти годы в Париже, и последующим гарибальдийским движением, подвигами участников которого он вдохновлялся в 1859 г., работая над «Накануне»[15]. Анита Рибейра, бразильянка, ставшая женой Гарибальди в пору пребывания его в Южной Америке, без колебаний оставила родной дом, отца, друзей, а позднее и родину, сопровождала мужа во всех его походах и умерла от лихорадки в августе 1849 г. среди небольшого отряда храбрецов-гарибальдийцев.

---

[14] Загробный свидетель за женщин. Наблюдения, опыты и заметки Н. И. Пирогова, изложенные в письме баронессе Э. Ф. Раден.— *ИВ*, 1886, № 11, с. 270.

[15] Подробнее о гарибальдийках см. в статье Е. Н. Щепкиной «Героиня романа „Накануне" в кругу своих современниц».— *Т сб*, вып. 2, с. 146—158 (публикация И. А. Битюговой).

Близость образа Елены Стаховой к историческому образу жены Гарибальди была отмечена уже вскоре после появления романа. Так, в одном из первых критических отзывов на роман Тургенева, в статье Евгении Тур, самоотверженная любовь Елены к Инсарову, ее готовность делить с любимым человеком все трудности и невзгоды на пути к великой цели прямо сравнивалась с поведением жены Гарибальди (а также — в завуалированной форме — с подвигом жен декабристов). «Обязанность жены — идти за мужем, хотя бы он шел на верную смерть в Черногорию, или Болгарию, или Севастополь 〈. . .〉,— писала Евгения Тур, возражая критикам, осуждавшим Елену за разрыв с родными и отъезд из России.— История полна примеров 〈. . .〉 преданности жен, которые делили опасности битв, мрак заключения и ужасы казни с своими мужьями 〈. . .〉 Еще в 1848 году жена Гарибальди следовала за ним всюду, скиталась с ним в горах Калабрии и умерла от истощения сил. Она не сгубила своим присутствием его цели, не ослабила ни его деятельности, ни деятельности его сподвижников, а заслужила их глубокую любовь, их глубокое уважение...» (*Моск Вед*, 1860, № 85, 17 апреля). Это сравнение жизненной судьбы Елены и Инсарова с героической биографией четы Гарибальди не было единичным. Сведения же о Гарибальди и его сподвижнице Тургенев мог почерпнуть из русских и, в гораздо большей степени, из французских и других западноевропейских газет, постоянно читавшихся Тургеневым во время пребывания его в Париже в 1848—1849 гг. В частности, в «С.-Петербургских ведомостях» от 13 августа 1849 г., где приводились подробности отступления отряда Гарибальди после падения римской республики, сообщалось: «Жена его опередила его несколькими часами: она командовала небольшим отрядом, составлявшим нечто вроде авангарда. Деятельность и энергия этой женщины невероятны. Прибыв в Чезинатико, она приказала сделать на главных дорогах завалы и расставила везде часовых...» Писатель имел возможность позднее прочесть о жене Гарибальди и в его «Мемуарах», первые главы которых были набросаны им в начале 50-х годов и переведены его друзьями и сторонниками на немецкий, французский и английский языки (G a r i b a l d i. Mitteilungen aus seinem Leben. Gannover, 1855; Mémoires de Giuseppe Garibaldi, par Alexandre Dumas, précédés d'un discours par Victor Hugo et d'une introduction par George Sand. Bruxelles, s.a.; The life of gen. Garibaldi. Written by himself. With sketches of his companions in arms. Tr. by his friend and admirer Theodore Dwight. New York, 1859). Вероятно, Тургенев был знаком с каким-либо из этих изданий, так как во второй половине 50-х годов воспоминания Гарибальди получили широкое распространение во всех странах, проникли и в Россию, а в начале 60-х годов (уже после издания «Накануне») вышли и в русском переводе (Записки Иосифа Гарибальди. СПб., 1860—1863. Ч. 1—3). Из французских и итальянских газет Тургенев мог узнать также о таких отважных женщинах, как Антониетта Коломба, сражавшаяся вместе с мужем в защиту римской республики, писательница Христина Бельджиойозе, выступавшая впереди восставших в Неаполе, и англичанка Джесси Уайт, которая в 1854 г. познакомилась с Гарибальди и, увлеченная идеями борьбы за свободу, осталась в Италии, где вышла замуж за итальянского патриота Альберто Марио и вступила в 1859 г. в отряд Гарибальди (впоследствии о Гарибальди и Мадзини она написала несколько книг). В популярной книге Ж. Мишле «Légendes démocratiques du Nord» (Paris, 1854)

одна глава была посвящена героической «маленькой брюнетке» Розетти, дочери шотландского капитана и француженки, которая в 1847 г. встретилась с румынским поэтом-революционером К. Розетти и уехала с ним на его родину, в Румынию, восставшую против турецкого гнета. Ни одну из названных выше женщин нельзя считать прямым прототипом Елены, однако в образе ее запечатлены наблюдения писателя над героическими женскими характерами в России и на Западе.

Ко времени написания «Накануне» стала приобретать общественный характер тяга русских женщин к образованию, получению самостоятельной профессии. Первые женщины в Петербургском университете появились в осенний семестр 1860 г. (см.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. Л., 1958, с. 213—220). Но полемика по вопросам о гражданских и семейных правах женщины началась задолго до этого. Открылась эта полемика статьей М. В. «Женский труд» в «Экономическом указателе» (1858, № 60) и ответной статьей противника женской эмансипации А. Пальховского «Еще о женском труде», опубликованной в «Атенее» (1858, ч. III, № 24). Прогрессивная критика в лице П. Славинского («Общественная самостоятельность женщин».— *СПб Вед*, 1858, № 55, и «Еще и еще о женском труде».— *СПб Вед*, 1858, № 148), К. А. Словцова («Несколько замечаний на статью г-на Пальховского».— *СПб Вед*, 1858, № 175), Н. Тверского («Женский труд».— *СПб Вед*, 1858, № 201), Евгении Тур («Женщина и любовь по понятиям г. Мишле».— *Рус Вестн*, 1859, т. 21, июнь, кн. 1), выступая против консерваторов, стремившихся ограничить жизнь женщины семейной сферой, доказывала необходимость участия женщины наравне с мужчиной в общественной жизни и видела в этом также средство для укрепления семьи и повышения роли женщины-матери как воспитательницы будущих граждан. Однако значение этих выступлений было ограничено их либеральным направлением: авторы их поднимали женский вопрос в отрыве от коренного вопроса времени — изменения основ существующего порядка. Революционно-демократическая точка зрения была представлена М. Михайловым, который в «Парижских письмах» (*Соер*, 1859, № 1) решение проблемы женской эмансипации поставил в связь с освободительной борьбой. Находясь с лета 1858 г. до весны 1859 г. в России, Тургенев был в курсе этой полемики, и она оказала на него определенное влияние. В плане романа, в главе шестой Тургенев записал: «показать дрянность и дряблость у нас семейной жизни» (наст. том, с. 291). Изобразив в романе «дрянность» отношений старших Стаховых, Тургенев противопоставил им нерушимый союз Инсарова и Елены. В стремлении Елены к серьезной работе мысли, в беседах ее с Берсеневым также отразились характерные особенности женщин той эпохи [16].

Но вопрос о положении женщины занимает в романе подчиненное место. Елена выходит за пределы узкого круга семейного счастья и становится равноправной участницей революционного дела Инсарова. В «Накануне» Тургенев приблизился к наиболее гармонической, соответствующей революционно-демократической этике, трактовке волновавшей его со второй половины 50-х годов проблемы

---

[16] См.: Мальцев И. В. Замысел героического образа Елены в романе Тургенева «Накануне».— Уч. зап. Донецк. пед. ин-та, 1951, вып. 1, с. 49—62.

соотношения общественного долга и счастья. Личные чувства и представления Елены о смысле и назначении жизни слились воедино. Но мотив отречения, прозвучавший так отчетливо в «Фаусте» (см. наст. изд., т. 5, с. 129) и нашедший затем поэтическое воплощение в образе Лизы в «Дворянском гнезде», где он, однако, уже и осуждается (см. выше, с. 390), не был снят Тургеневым окончательно. Отдельные пессимистические мысли, характерные для философских взглядов Тургенева тех лет, о «вине» и обреченности всякого живущего, находят отзвук и в «Накануне» (см. наст. том, с. 291, 298).

История создания образа «новой» тургеневской героини связана и с литературной традицией. В обрисовке портрета Елены, характеристике ее внутреннего мира, описании положения в семье Тургенев выступил продолжателем Пушкина, который, по определению Белинского в статье об «Евгении Онегине», показал в образе Татьяны пробуждение сознания русской женщины (*Белинский*, т. 7, с. 497).

Еще в 1831 году Пушкин в повести «Рославлев» создал образ Полины, женщины героического характера, захваченной общественным подъемом 1812 года. Одновременно образ Елены ассоциируется с некоторыми героинями Жорж Санд, через влияние которой Тургенев прошел в 30—40-е годы. Свободолюбие, самостоятельное и смелое решение вопросов любви и брака — черты, роднящие Елену с женскими образами французской романистки, в творчестве которой протест против семейной тирании сочетался с идеями утопического социализма. В начале 50-х годов Тургенев соприкоснулся также с творчеством русских писательниц Е. Ган, Ю. Жадовской, Е. Тур, Е. Нарской, в произведениях которых тема женской эмансипации разрабатывается на конкретном материале русской действительности тех лет как тема борьбы одаренной женской личности против предрассудков света и семейного деспотизма (см.: Белецкий А. Тургенев и русские писательницы 30—60-х гг.— *Творч путь Т*, с. 161—166).

Новая эпоха выдвигала перед писателем задачу создать образ женщины — активной участницы политической жизни страны. Основной стимул деятельности Елены — самопожертвование и сострадание к униженным и угнетенным. Отвечая в «Накануне» на центральный вопрос времени — крестьянский, Тургенев говорил о необходимости гуманного отношения к народу. Однако логика художественного развития образа Елены выводила Тургенева далеко за рамки его прогрессивно-либеральных установок. Используя в романе различные приемы характеристики внутренней жизни героини — дневник, письма, монологи, Тургенев воспроизвел самый процесс становления ее личности[17]. Отвергнув «лучших» русских дворян-интеллигентов, талантливого индивидуалиста Шубина и героя «пассивной добродетели» Берсенева, а также честного и тупого деятеля-практика, представителя чиновничьей России, Курнатовского, Елена предпочла им Инсарова, цель жизни которого — освобождение родины. Размышляя над поступками и действиями Инсарова, Елена поднялась до понимания мотивов гнева и мести, мести не за личные обиды, а «народного общего отмщения».

---

[17] См.: Ладария М. Особенности композиции образов в романе Тургенева «Накануне».— Труды Сухумского пед. ин-та, 1956, т. IX, с. 233—234.

Елена явилась в творчестве Тургенева предшественницей таких образов, как Марианна в «Нови» и русская девушка из «Порога». Между «Накануне» и «Порогом» существует и прямая параллель: Инсаров задает Елене вопросы о готовности ее расстаться с отечеством, с родными, жить в нищете, подвергаться не только опасностям, но лишениям и унижениям (см. наст. том, с. 237); в близких выражениях о том же вопрошает неведомый голос и героиню «Порога». Это сходство между Еленой и девушкой из «Порога» было замечено в современных Тургеневу революционно-народнических кругах. П. Лавров в статье «И. С. Тургенев и развитие русского общества», опубликованной в Женеве, писал: «Если бы Добролюбов дожил до настоящего времени, он узнал бы Елену, отвечающую Инсарову ⟨. . .⟩: „Знаю", в той „русской девушке", которая, стоя на таинственном „Пороге", отвечает тоже: „Знаю... Я готова ⟨. . .⟩, не нуждаюсь даже в той личной любви, которая проникала всё существо Елены, сливаясь с ее исканием „настоящего дела"» (Вестник народной воли, 1884, год первый, № 2, с. 90). В той же статье Лавров отнес Елену к поколению периода подготовки революции, когда «воспитывающее слово могло подготовить ту среду, в которой началось и то, что называют „делом" в более узком смысле» (там же, с. 93).

П. А. Кропоткин в своих «Записках революционера» писал: «Тургенев ⟨. . .⟩ вселил высшие идеалы и показал нам, что такое русская женщина, какие сокровища таятся в ее сердце и уме, и чем она может быть как вдохновительница мужчины. Он нас научил, как лучшие люди относятся к женщинам и как они любят. На меня и на тысячи моих современников эта сторона писаний Тургенева произвела неизгладимое впечатление, гораздо более сильное, чем лучшие статьи в защиту женских прав» (Кропоткин П. Записки революционера. М., Л.: Academia, 1933, с. 265). Л. Н. Толстой, который в пору появления романа отнесся к образу Елены отрицательно (см. ниже, с. 454), позднее, в 1901 г., в беседе с Чеховым высказал иное суждение о тургеневских женщинах: «Тургенев сделал великое дело тем, что написал удивительные портреты женщин. Может быть, таких, как он писал, и не было, но когда он написал их, они появились. Это — верно; я сам наблюдал потом тургеневских женщин в жизни» (М. Горький и А. Чехов. М.: Гослитиздат, 1951, с. 161). Известны и факты непосредственного воздействия описанного в романе подвига Елены в период русско-турецкой войны 1877—1878 годов. На это впервые указал на обеде в честь Тургенева, устроенном петербургским собранием художников 17 (29) марта 1879 г., В. И. Немирович-Данченко. Как сообщалось в отчете об этом обеде, «Немирович в первом тосте определил жизненность тургеневских типов — политическими идеалами, а во втором указал на Елену в „Накануне" как на прототип наших сестер милосердия» (Петербургский листок, 1879, 18 (30) марта, № 54). В 1877 г., близкий друг Тургенева, Ю. П. Вревская отправилась на Балканский театр войны в составе Свято-Троицкой общины сестер милосердия[18]. 5 (17) января 1878 г. она умерла в болгарском местечке Бяла, в той же больнице, в которой ухаживала за ранеными, заразившись сыпным тифом. В. Велчев, изложив историю подвига

[18] См.: Назарова Л. И. С. Тургенев и Ю. П. Вревская.— Русская литература, 1958, № 3, с. 185—192.

Вревской как случай, характеризующий воздействие романа «Накануне» на русскую интеллигенцию, заканчивает: «Она является выражением тех исканий русской интеллигенции, которые впервые были отмечены Тургеневым в образе Елены Стаховой. Будучи похожей на Елену, Вревская в известном смысле повторяет ее жизненный путь и ее участь. Имея возможность блистать в обществе, пользоваться всеми преимуществами своего социального положения, она предпочла радость служения людям» (Велчев В. Тургенев в Болгарии. София, 1961, с. 735). Вместе с Вревской работала сестрой милосердия и В. А. Цурикова, будущая писательница, которая отправилась на Балканы также не без влияния знакомого и высоко ценимого ею писателя (см.: Ахрамеев В. Неизвестные письма И. С. Тургенева.— Вопросы литературы, 1962, № 10, с. 172—175).

Образ Елены Стаховой предварил собою образы «новых» женщин, созданные Н. Г. Чернышевским, В. А. Слепцовым и Н. А. Некрасовым. Если Тургенев, показав формирование героини, остановился на том моменте, когда она должна перейти к деятельности, которая развернется за пределами России, в Болгарии, то Чернышевский в «Что делать?» в лице Веры Павловны показал русскую женщину-шестидесятницу, вырастающую в сознательную революционерку, организатора «мастерских», которые мыслились автором как ячейки будущего общества. Не без идейного и художественного влияния «Накануне» создан Слепцовым в романе «Трудное время» образ Марии Николаевны, порывающей под воздействием разночинца-революционера Рязанова с мужем, либеральным барином Щетининым, и уезжающей в Петербург, чтобы стать участницей одной из возникших в начале 60-х годов коммун. Как и Елена, Мария Николаевна, по словам П. Н. Ткачева, не может удовлетвориться «узким, эгоистическим 〈. . .〉 счастьем филистера», она стремится «к счастью более возвышенному, более человеческому, более широкому, к счастью, которое невозможно и немыслимо без счастья целого народа» (Дело, 1868, № 9, Современное обозрение, с. 11). Для героинь поэм Некрасова «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня Волконская», в образах которых подчеркнуты такие исторические черты декабристок, которые получили преемственное развитие у революционерок-семидесятниц, так же, как для Елены, характерно соединение долга, диктуемого личными чувствами, и общественного служения [19].

Приведенный краткий обзор показывает, что героиня романа «Накануне», Елена Стахова, связана с очень широким кругом современных созданию романа или предшествовавших явлений русской и мировой общественно-политической жизни, отчасти и литературы. Это сообщает образу Елены особую емкость и особое значение среди «женских типов» в произведениях Тургенева.

IV

Определяя отношение к роману Тургенева в различных кругах русского общества, П. В. Анненков писал в своих воспоминаниях: «В оценке „Накануне“ публика наша разделилась на два лагеря

[19] См. также: Плукш П. И. Постановка и решение женского вопроса в русской литературе середины XIX века.— Уч. зап. Рязанского пед. ин-та, 1967, т. 39, с. 98—110, 115.

и не сходилась в одном и том же понимании произведения, как то было при „Дворянском гнезде“. Хвалебную часть публики составляли университетская молодежь, класс ученых и писателей, энтузиасты освобождения угнетенных племен — либеральный, возбуждающий тон повести приходился им по нраву; светская часть, наоборот, была встревожена. Она жила спокойно, без особенного волнения, в ожидании реформ, которые, по ее мнению, не могли быть существенны и очень серьезны,— и ужаснулась настроению автора, поднимавшего повестью страшные вопросы о правах народности и законности, в некоторых случаях, воюющей оппозиции. Вдохновенная, энтузиастическая Елена казалась этому отделу публики еще аномалией в русском обществе, никогда не видавшем таких женщин. Между ними — членами отдела — ходило чье-то слово: „Это „Накануне“ никогда не будет иметь своего завтра“» (*Анненков*, с. 432—433).

Резюме Анненкова верно лишь в отношении «светской части» общества, типичной представительницей которого была графиня Ламберт. Злая острота, процитированная Анненковым, принадлежала одному из столпов этого общества, князю П. А. Вяземскому (см.: Дневник графа Петра Александровича Валуева.— *Рус Ст*, 1891, № 11, с. 396). Эта же острота упоминалась в погромной статье о «Накануне», принадлежавшей перу редактора газеты «Наше время» Н. Ф. Павлова. Удивляясь волнению, произведенному в обществе романом Тургенева, Павлов писал: «И всё наделала повесть Тургенева, всё вышло от этого „Накануне“, которое, как говорит один житель Петербурга, известный своим остроумием, не худо бы было отложить до завтра» (Наше время, 1860, № 17, 8 мая, с. 263). Запоздалым, но уничтожающим ответом на нее Тургенева был созданный в «Нови» карикатурный образ князя Коврижкина, прототипом которого являлся князь П. А. Вяземский (см.: *Т*, *Сочинения*, т. IX, с. 160). Мнения о романе, высказывавшиеся в писательской среде, отличались, вопреки заключению Анненкова, гораздо большим разнообразием и не всегда были благоприятны для Тургенева.

Поэту А. Н. Плещееву принадлежит единственная в своем роде пространная характеристика Курнатовского как типичнейшего представителя особой прослойки чиновного мира — правоведов, т. е. молодых людей, окончивших училище правоведения. Плещеев писал Е. И. Барановскому 19 февраля ст. ст. 1860 г.: «У всех правоведов конек — *буква закона* 〈. . .〉 Это всё проводители *бесстрастной идеи государства*, как они сами выражаются 〈. . .〉 Они для известного принципа — узкого принципа — готовы принести в жертву самое святое человеческое чувство. 〈. . .〉 С ребяческих лет чиновник берет в нем верх над человеком 〈. . .〉 Тургенев в последнем романе своем „Накануне“ изобразил нам правоведа в лице г. Курнатовского и, по обыкновению, изобразил мастерски. На одной странице сказал всё, что можно сказать об этом типе». Переходя к оценке романа в целом, Плещеев продолжал: «По концепции он гораздо шире „Дворянского гнезда“, а поэзии в нем столько же. Впечатление оставляет сильное, а главное — заставляет крепко призадуматься. Но такого повсеместного и единогласного успеха этот роман не может иметь, как имело „Гнездо“, по многим причинам. Зато всё живое, молодое и мыслящее будет на стороне Тургенева» (Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л.: АН СССР, 1940, с. 457—458). В противоположность А. Н. Плещееву, в отзыве которого явственно слы-

шались гражданские мотивы, В. П. Боткин при оценке романа руководствовался по преимуществу эстетическим критерием. Пренебрежительно отозвавшись об идейной сущности романа и весьма сдержанно — о его архитектонике, Боткин свое письмо к А. А. Фету от 20 марта 1860 г. посвятил тонкому анализу художественных достоинств «Накануне», не связывая их непосредственно с воплощением центральной идеи сюжета.

«...„Накануне" я прочел с наслаждением,— писал Боткин.— Я не знаю, есть ли в какой повести Тургенева столько поэтических подробностей, сколько их рассыпано в этой. Словно он сам чувствовал небрежность основных линий здания и чтобы скрыть эту небрежность, а может быть и неопределенность фундаментальных линий, он обогатил их превосходнейшими деталями, как иногда делали строители готических церквей. Для меня эти поэтические, истинно художественные подробности заставляют забывать о неясности целого. Какие озаряющие предметы эпитеты, да, солнечные эпитеты, неожиданные, вдруг раскрывающие внутренние перспективы предметов! Правда, что несчастный болгар решительно не удался; всепоглощающая любовь его к родине так слабо очерчена, что не возбуждает ни малейшего участия, а вследствие этого и любовь к нему Елены более удивляет, нежели трогает. Успеха в публике эта повесть иметь не может, ибо публика вообще читает поутиному и любит глотать целиком. Но я думаю, едва ли найдется хоть один человек с поэтическим чувством, который не простит повести все ее математические недостатки за те сладкие ощущения, которые пробудят в душе его ее нежные, тонкие и грациозные детали. Да, я заранее согласен со всем, что можно сказать о недостатках этой повести, и все-таки я считаю ее прелестною. Правда, что она не тронет, не заставит задуматься, но она повеет ароматом лучших цветов жизни» (*Фет*, ч. 1, с. 323).

Примечателен крайне суровый и парадоксальный отзыв Л.Н. Толстого о «Накануне», данный в письме к А. А. Фету от 23 февраля ст. ст. 1860 г.: «Прочел я „Накануне". Вот мое мнение: писать повести вообще напрасно, а еще более таким людям, которым грустно и которые не знают хорошенько, чего они хотят от жизни. Впрочем „Накануне" много лучше „Дв⟨орянского⟩ гнезда", и есть в нем отрицательные лица превосходные — художник и отец. Другие же не только не типы, но даже замысел их, положение их не типическое, или уж они совсем пошлы. Впрочем, это всегдашняя ошибка Тургенева. Девица — из рук вон плоха — *ах, как я тебя люблю... у ней ресницы были длинные...* Вообще меня всегда удивляет в Тургеневе, как он с своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности, даже до приемов. Больше всего этой банальности в отрицательных приемах, напоминающих Гоголя. Нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых автор бранит, а не жалеет. Это как-то больно жюрирует с тоном и смыслом либерализма всего остального ⟨. . .⟩ Вообще же сказать, никому не написать теперь такой повести, несмотря на то, что она успеха иметь не будет» (*Толстой*, т. 60, с. 324—325).

В отзыве Л. Н. Толстого сквозило известное и по другим фактам из истории его отношений с Тургеневым раздражение против личности автора «Накануне». Однако было бы ошибкой объяснять его излишне суровый тон лишь субъективными причинами. Упоминание о Гоголе свидетельствует о том, что роман «Накануне» воспринимался Толстым как произведение, не выходящее за рамки

привычной литературной традиции, уже отживающей свое время. Жесткие суждения Толстого о «Накануне» были продиктованы повышенной требовательностью к Тургеневу. Выгодно выделяя Тургенева в ряду его современников («никому не написать теперь такой повести»), Толстой тем не менее считал, что его творческие возможности не нашли полного выражения в «Накануне».

Пожалуй, столь же примечателен отзыв Ф. М. Достоевского о «Накануне». Правда, представление о нем слагается лишь из косвенных данных. В письме А. Н. Плещеева к Достоевскому от 17 марта ⟨1860 г.⟩ читаем: «Я на тебя, братец ты мой, очень сердит, за твой отзыв о романе Тургенева. Что за ярлычки ты везде находишь. После этого — не смей художник выставить ни одного типа, служащего представителем известной породы людей, известного класса общества, все ярлычки. И почему так легко жить болгару, посвятившему себя великому делу освобождения родины? Не знаю, легко ли ему жить, но я бы желал пожить такой жизнью. Непосредственным натурам, *цельным*, не подточенным анализом и рефлекторством, не путающимся в разных противоречиях, жить, конечно, если хочешь, легче... но когда эти натуры несут на плаху головы во имя любви к правде — ужели они менее гамлетов и гамлетиков достойны сочувствия? А что натуры практические, деятельные не любят по большей части искусства — это факт, повторяющийся беспрестанно в действительности. Тургенев взял этот факт и был вправе так сделать. Он вовсе не хотел сказать, что эти люди не *могут* или не *должны* любить искусства. Но показал только, что есть на самом деле. Артистические натуры по большей части — не деятели» (Достоевский Ф. М. Материалы и исследования / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1935, с. 451—452). Комментируя эти возражения Достоевскому, А. С. Долинин отметил: «Как видно из слов Плещеева, Достоевский отнесся к этому роману отрицательно из-за главной фигуры: болгарина Инсарова, сухого, ничего не понимающего в искусстве, идущего прямо к своей цели без всяких сомнений и колебаний» (там же, с. 492). Можно полагать, что отношение Достоевского к не колеблющемуся, ни в чем не сомневающемуся Инсарову было во многом прямо противоположным его отношению к Базарову — герою следующего романа Тургенева (см.: наст. изд., Сочинения, т. 7).

В периодической печати роман Тургенева породил настоящий поток критических статей. 27 мая (8 июня) 1860 г., в письме к Фету, Тургенев сетовал по этому поводу: «Кстати, когда прекратятся статьи о „Накануне"? Это нечто вроде эпидемии. Пора бы оставить эту штуку в покое».

Обсуждение романа велось в основном по двум главным направлениям. Подавляющее большинство критиков с разных позиций, но почти в один голос выражало недовольство неполной обрисовкой в «Накануне» Инсарова как носителя идеи гражданского служения родине. С другой стороны, сравнительно немногочисленная, но очень активная часть критики, тяготевшая к охранительному лагерю, осуждала поведение Елены, находя его безнравственным с точки зрения условной морали. Впрочем, в некоторых статьях претензии к Тургеневу в связи с изображением Инсарова и Елены высказывались одновременно и в крайне резкой форме. Разноречие в истолковании сущности этих центральных образов придало критическому обсуждению романа в целом характер ожесточенной полемики.

Первая статья о «Накануне», появившаяся в газете «С.-Петербургские ведомости», отличалась еще спокойным и благожелательным тоном. Ряд высказываний в ней свидетельствовал о том, что ее анонимный автор был лицом, хорошо осведомленным о противоречивом отношении к роману в различных слоях общества. Так, например, говоря о том, что «Елена — лучшее создание его ⟨Тургенева⟩, да и вообще лучшая русская женщина, какую мы встречали в русской литературе со времени пушкинской Татьяны», критик продолжал: «А между тем, эта светлая личность произвела в *чопорной* части нашей публики довольно сильное негодование ⟨. . .⟩ Мы, конечно, не вступим в пререкание с этими поклонниками ложной нравственности, с этими Тартюфами в юбках и фраках» (*СПб Вед*, 1860, № 48, 5 марта, с. 230). Эта отповедь защитникам «ложной нравственности» была высказана за несколько дней до их открытого нападения на Тургенева в печати. Характеристика художественных особенностей романа в этой статье напоминает приведенный выше отзыв В. П. Боткина. «К „неоцененным достоинствам“ романа,— отмечалось в ней,— принадлежат подробности, передавать которые *своими словами* невозможно, да и грешно. Первое впечатление, производимое чтением этого нового произведения г. Тургенева — неотразимо ⟨. . .⟩ „Это — соната Бетховена“,— сказал нам один знакомый, прочтя „Накануне“, и мы находим, что он не совсем неправ...». Вместе с тем критик выражал несогласие с идейной концепцией романа. Он отказался признать в Инсарове «живой укор нашей недеятельности», так как, по его мнению, этот герой «ничем не приобрел права на то, чтобы сделаться нашим образцом: он ничем фактически не заявил своей деятельности; вся жизнь его была только приготовлением, стремлением».

Образ Инсарова не удовлетворял критика во всех отношениях. «Личность эта одна из самых неудачных ⟨. . .⟩ в повести г. Тургенева,— писал он.— Елена любовно называет его *железным* человеком, сама не подозревая того, что в этой односторонней *железности* и заключается то, что лишает Инсарова большой доли симпатичности ⟨. . .⟩ Будь в Инсарове больше *мягкости*, и энергия его выступала бы с большею яркостью ⟨. . .⟩ Потом, много интереса теряет в глазах наших Инсаров оттого, что автор прекратил деятельность его в ту самую пору, как мы начинали спрашивать себя: „что́ выйдет из этого человека?“ Нам хотелось бы видеть его на поле действия, видеть осуществление его планов или, наконец, падение в борьбе с непреодолимыми обстоятельствами».

Заключительная часть этой характеристики напоминала аналогичные высказывания Добролюбова, статья которого в это время была написана, но еще не напечатана. Такого рода совпадения были нередким явлением в процессе полемики вокруг романа. Буквально в следующей статье о «Накануне», написанной консервативным критиком М. И. Дараганом, отдельные оценки образа Инсарова выглядели еще более близкими критике Добролюбова. «Мы,— писал Дараган,— Инсарова желали бы видеть в кругу его живой деятельности, в сношениях его с болгарскими патриотами, желали бы видеть, как он думал взяться за дело, как он брался за него, в чем именно в отношении к делу выразился его характер, его ум, его воля. Тогда бы мы действительно могли познакомиться с живым человеком и понять ⟨. . .⟩, в чем именно состоит неотъемлемое превосходство его героя над нами...» (Наше время, 1860, № 9, 13 марта, с. 134). Этой близостью оценок не исключалось принци-

пиальное отличие отношения Добролюбова к роману Тургенева от позиции, занятой критиком «Нашего времени». Обращаясь к Тургеневу с претензиями, внешне напоминающими то, что писал о «Накануне» Дараган, Добролюбов вместе с тем приветствовал романиста за первую и во многом удачную попытку изображения в художественном произведении деятеля нового типа — гиганта по сравнению с «гамлетиками и самоедами» сороковых годов, в то время как даргановская критика образа Инсарова носила чисто негативный характер, сводясь к его полной дискредитации с позиций, враждебных освободительному движению.

М. И. Дараган первый указал на связь замысла «Накануне» с идеями тургеневской речи «Гамлет и Дон-Кихот». «Мы,— писал он,— совершенно вправе делать сближение статьи г. Тургенева о *Дон-Кихоте и Гамлете* с его повестью „Накануне“ потому, что два эти произведения вышли одновременно, оба они выражают одну и ту же идею, и наконец одно служит подтверждением и разъяснением другому. В повести г. Тургенев изобразил на деле те противоположные типы, которые с таким тщанием, так красноречиво разъяснял, сравнивая два величайшие создания двух величайших поэтов» (Наше время, 1860, № 9, 13 марта, с. 133). Однако в противоположность Тургеневу, выдвигавшему на передний план и в речи и в романе достоинства деятеля дон-кихотовского типа, Дараган всячески подчеркивал его недостатки. «В Дон-Кихоте,— писал он,— мы видим, как и г. Тургенев, тип бескорыстного деятеля на пользу общую ⟨. . .⟩, но никак не можем от идеи о нем отделить того легкомыслия, той неосмотрительности, необдуманности, с которыми он принимается за всякое дело и от которых все попытки его исправить зло остаются неуспешными; так что вместо деятеля (homme d'action) он представляется в наших глазах мечтателем (homme de théorie); мечтателем однако ж, который приводит тотчас свои идеи в исполнение — и опять-таки мечтательными же средствами... Таких ли деятелей, ради бога, нам нужно в настоящее время?» (там же, с. 133—134).

Дальнейший анализ романа в статье Дарагана сопровождался мелочными придирками и бранью по адресу и Тургенева и его героя.

Опошляя и компрометируя в изощренно-враждебной интерпретации чуть ли не каждый поступок Инсарова, ханжески обвиняя Елену за «безрассудное путешествие на квартиру молодого человека», несообразное, по его мнению, с «приличиями нравственного такта, женскою стыдливостью, женскою робостью», Дараган в заключение своего отзыва о романе Тургенева писал, что «идей, по-настоящему, в повести две, обе неверные, что взгляд автора на обязанности гражданина односторонен, а взгляд на женщину мечтателен», и заканчивал его издевательской фразой: «Название „Накануне“ указывает на какое-то глубокое значение этой повести, которого однако ж она не имеет» (Наше время, 1860, № 9, 13 марта, с. 138).

Полемическим ответом на критику М. И. Дарагана была напечатанная в еженедельной газете «Московский вестник» статья И. В. Павлова «„Накануне“ и „Наше время“», подписанная псевдонимом Л. Оптухин. Ответственность за появление в печати статьи Дарагана И. В. Павлов возлагал на редактора «Нашего времени» Н. Ф. Павлова, обвиняя его в совершенном отсутствии литературного вкуса, а говоря о нападках Дарагана на роман Тургенева, отмечал, что они похожи «на требования самого придирчивого квар-

тального надзирателя» и свидетельствуют о «разительном сходстве с полицейским образом мыслей» (*Моск Вестн*, 1860, № 12, 25 марта, с. 192).

Расценивая роман «Накануне» как «самое зрелое из всех тургеневских произведений», И. В. Павлов брал под защиту обличительно-дидактическое начало в нем, связанное с критикой «лишних людей». По его мнению, это начало, ничуть не повредив художественности романа, подтвердило способность Тургенева не отгораживаться «от всего живого и современного». Имея в виду изображения Шубина и Берсенева, И. В. Павлов утверждал: «одна правда, горькая правда!» (там же, с. 193, 194). Аналогичная оценка этой особенности романа была дана также в неподписанной статье о «Накануне», напечатанной в журнале «для взрослых девиц» «Рассвет»: «Прежде г. Тургенев высказывал свое мнение без всякого намерения поучать, желая только, чтобы читатель немного задумался о темных сторонах своей обстановки, между тем как теперь, показывая недостатки общества, представляет вместе с тем и те идеалы, к которым, по его мнению, должны стремиться люди. В этом заключается, по нашему мнению, поучительная сторона новой повести г. Тургенева» (Рассвет, 1860, № 3, отд. II, с. 44).

Тургенев откликнулся на статью И. В. Павлова благодарственным письмом от 15(27) апреля 1860 г. «Земно кланяюсь Вам за Ваше заступничество,— писал он,— и сожалею только о неприятностях, которые Вы навлекли на себя Вашей статьей».

Одновременно со статьей И. В. Павлова в еженедельном демократическом журнале «Искра» появились посвященные «Накануне» «Выдержки из памятной книжки старшего чиновника особых поручений „Искры“». Эта небольшая заметка, направленная в основном против трактовки Дараганом образа Елены, имела характерное резюме: «От статьи г. Дарагана о последней повести г. Тургенева веет такою высокою добродетелью, что редактору „Домашней беседы“ приходится смиренно преклонить голову и сказать: „ты превзошел меня“» (Искра, 1860, № 12, 25 марта, с. 134). Через три месяца редактор «Домашней беседы», мракобес В. Аскоченский, подтвердил справедливость этого заключения «Искры», напечатав на страницах своего издания «Журнальные заметки», в которых была предпринята демагогическая попытка опорочить образ Елены от лица провинциального читателя. «Повесть „Накануне“ произвела в провинции крайне неприятное впечатление,— говорилось в этих заметках,— в девушке она хочет видеть нравственно разумное существо, а не нечто вроде самки, увлекаемой минутой...» (Домашняя беседа, 1860, вып. 29, 16 июля, с. 365—366). «Журнальные заметки» заканчивались пряным апофеозом узконационалистических и религиозно-патриархальных начал в женском воспитании: «Русская женщина должна быть вполне русской: с крепкой верой в бога, с любовью ко всему чистому, святому и истинно прекрасному. Жорж Санды и tutti quanti вовсе не к лицу нам ⟨. . .⟩ да избавит нас святое провидение от всех и даже от тургеневских Елен!» (там же, с. 370, 371).

Участие газеты «Наше время» в полемике вокруг романа не ограничилось выступлением Дарагана. Вскоре на ее страницах появилась снискавшая столь же скандальную известность статья Н. П. Грот «Елена Николаевна Стахова», подписанная претенциозным псевдонимом «Русская женщина». Высказав мысль, что Елена «как нельзя лучше воплощает в себе элемент разрушения», и осуждая «не женскую храбрость и стремительность Елены», отважившейся

на «эгоистический и легкомысленный поступок тайного брака», Н. П. Грот, подобно В. Аскоченскому, противопоставляла ей «типы женщин, которые в тиши и безвестности отмечают свое существование высокими христианскими добродетелями», отличаясь «самоотвержением и благодушием в отношениях семейных ⟨. . .⟩ даже и там, где родители в глазах детей не заслуживают полного сочувствия и уважения» (Наше время, 1860, № 13, 10 апреля, с. 208, 209). Протестуя «против безусловного поклонения образцу, созданному для нас г. Тургеневым», Н. П. Грот обращалась к романисту с советом «проникнуться глубоким нравственным смыслом человеческой жизни, понять ее связь с вечностью, стараясь узнать ближе тот небесный источник духовного усовершенствования, который мы, христиане, не можем более исключать из жизни нашей».

На статью Н. П. Грот отвечала известная писательница Евгения Тур (графиня Е. В. Салиас де Турнемир), анализировавшая образ Елены по преимуществу с точки зрения идей женской эмансипации. Защищая право тургеневской героини на самостоятельный выбор жизненного пути и касаясь в связи с этим нелепых обвинений в безнравственности, эгоизме, недостатке самоотверженности и т. п., высказанных по ее адресу в статье Н. П. Грот, Е. Тур писала: «Можно ли кинуть камень в Елену за то, что она ⟨. . .⟩, полюбив некрасивого, бедного и неуклюжего Инсарова, пошла за ним на край света», сознавая, что «жизнь его ⟨. . .⟩ принадлежит безраздельно освобождению отечества, а потом уже ей? В этом сознании уже заключается отречение от себя, совершенное отсутствие эгоистического чувства...» (*Моск Вед*, 1860, № 85, 17 апреля; статья «Несколько слов по поводу статьи „Русской женщины"»). Не считая тургеневскую Елену «образцом совершенства», Е. Тур вместе с тем отдавала ей предпочтение перед большинством женщин из привилегированного общества. Сущность взглядов Н. П. Грот на роль женщины в семье определялась в статье Е. Тур следующим образом: «Одни жители Востока ⟨. . .⟩ осуждают женщину на жизнь в гареме и не приобщают ее к жизни мужей и сыновей ⟨. . .⟩ Странно, что *Русская женщина* ⟨. . .⟩, щеголяя своими христианскими чувствами, сошлась в этом случае с воззрением магометан!» Особое противодействие встретило в статье Е. Тур замечание Н. П. Грот о том, что «Елена отрешена от глупой способности сердца *привыкать к окружающей действительности*».

После статьи Е. Тур полемика вокруг образа Елены вспыхнула с новой силой. Мнения Дарагана и Грот получили поддержку в статье редактора газеты «Наше время», Н. Ф. Павлова, цинично утверждавшего, что положительные отзывы о Елене со стороны Е. Тур и других критиков обязаны своим происхождением слепому поклонению авторитету писателя, «ребяческому состоянию умственного развития, живучей страстишке к раболепству» (Наше время, 1860, № 17, 8 мая, с. 264). Вместе с тем Н. Ф. Павлов стремился доказать, что Тургенев, подобно Гоголю в период работы над вторым томом «Мертвых душ», идет по ложной дороге создания мнимо положительных образов, не имеющих почвы в реальной действительности. «Елена Стахова не живое существо, а мертвая фигура, гальванизированная искрами ума и поэзии. Это родная сестра Улиньки»,— писал Н. Ф. Павлов.

В периодической печати шестидесятых годов мысль о родстве «Накануне» со вторым томом «Мертвых душ» высказывалась нередко. Однако в отличие от Писарева и некоторых других критиков того

времени (см. ниже) Н. Ф. Павлов защищал эту точку зрения с реакционных позиций. Сравнение «Накануне» со вторым томом «Мертвых душ» было для него поводом для дискредитации прогрессивной общественной тенденции романа Тургенева. В истории любви Елены к Инсарову Н. Ф. Павлова раздражала главная причина ее возникновения — сочувствие освободительным идеям. «Скажите на милость,— возмущался Н. Ф. Павлов по этому поводу,— есть ли в этом спасении Болгарии хоть одна черта, одно слово, один звук, который отозвался бы в душе читателя и заставил его, хоть на минуту, поверить, что в Инсарова ⟨. . .⟩ можно влюбиться?»

Последним выступлением газеты «Наше время» в связи с романом Тургенева была статья «Ответ русской женщины госпоже Тур», в которой Н. П. Грот, правда, в более сдержанной форме, повторила свою точку зрения на образ Елены. Примечательными в этой статье были лишь некоторые новые детали. Так, например, имея в виду то место из статьи Е. Тур, где говорилось о превосходстве Елены над женщинами из высшего общества, Н. П. Грот писала: «Кто может так решительно утверждать, что между светскими, аристократическими нашими женщинами нет таких, которые были бы способны на совершенное забвение себя и не разделили бы охотно с любимым человеком даже ужасов заточения и казни? И в нашей недавней истории есть уже тому живые примеры» (Наше время, 1860, № 18, 15 мая, с. 285). Это был намек на жен декабристов.

Центральное место в полемике вокруг «Накануне» заняла статья Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» (журнальное заглавие — «Новая повесть г. Тургенева».— *Совр*, 1860, № 3), в которой роман получил оценку с революционно-демократических позиций.

Добролюбов отмечал в «Накануне» «неотразимое влияние естественного хода общественной жизни ⟨. . .⟩, которому невольно подчинилась сама мысль и воображение автора», чутье Тургенева к «живым струнам общества», его уменье «тотчас отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство», «живое отношение к современности» (*Добролюбов*, т. 2, с. 208).

Рассматривая «Накануне» на фоне предшествующих романов и повестей Тургенева с их главной темой о «лишних людях», Добролюбов с удовлетворением констатировал также существенные изменения в миросозерцании писателя, в его художественном восприятии действительности. «В новой повести,— писал Добролюбов,— мы встречаем другие положения, другие типы, нежели к каким привыкли в его произведениях прежнего периода. Общественная потребность ⟨. . .⟩ живого дела, начало презрения к мертвым абстрактным принципам и пассивным добродетелям выразилось во всем строе новой повести» (там же, с. 212, 213). В образе Елены Добролюбов видел новую, по сравнению с Ольгой Гончарова, «попытку создания энергического, деятельного характера», основой которого является «строгое равнодушие к ненужным излишествам богатой жизни» и «жажда деятельного добра» «ввиду беспомощной нищеты». «Как идеальное лицо, составленное из лучших элементов, развивающихся в нашем обществе,— отмечал Добролюбов,— Елена понятна и близка нам» (там же, с. 214, 216). Об Инсарове Добролюбов писал: «Всё обаяние Инсарова заключается в величии и святости той идеи, которой проникнуто все его существо» (там же, с. 226), и подчеркивал, в связи с этим, «огромную разницу» между ним и Берсеневым

и Шубиным: «Любовь к свободе родины у Инсарова не в рассудке, не в сердце, не в воображении: она у него во всем организме ⟨. . .⟩ Оттого, при всей обыкновенности своих способностей, при всем отсутствии блеска в своей натуре, он стоит неизмеримо выше, действует на Елену несравненно сильнее и обаятельнее, нежели блестящий Шубин и умный Берсенев» (там же, с. 222). Положительные характеристики общественной значимости образов Елены и Инсарова сопровождались в критике Добролюбова столь же высокими оценками изображения интимных отношений главных героев. Добролюбов особо отметил проникнутое «строгой истиной и бесконечно грустной прелестью» изображение жизни Елены и Инсарова в Венеции. «Для нас это самое задушевное, самое симпатичное место всей повести»,— писал Добролюбов (там же, с. 223).

Вместе с тем Добролюбов указывал на недостатки романа, обусловленные отсутствием изображения деятельности Инсарова. Добролюбов прекрасно понимал смысл тургеневского противопоставления Инсарова русским героям романа, но, находя его недостаточно полным и убедительным, писал: «Тут нет упрека русскому молодому поколению, нет указания на то, каков должен быть гражданский герой. Если б это входило в план автора, то он должен был бы поставить своего героя лицом к лицу с самим делом — с партиями, с народом, с чужим правительством, с своими единомышленниками, с вражеской силой» (там же, с. 223—224). Одновременно с этим Добролюбов отмечал, что «*этот* Инсаров всё еще нам чужой человек. Сам г. Тургенев, столь хорошо изучивший лучшую часть нашего общества, не нашел возможности сделать его *нашим*. Мало того, что он вывез его из Болгарии, он недостаточно приблизил к нам этого героя даже просто как человека» (там же, с. 226). Справедливые сами по себе, эти упреки были продиктованы и политическими соображениями, так как Добролюбов стремился к использованию художественных произведений в качестве действенного средства революционного воспитания и пропаганды.

Главным лицом романа Добролюбов считал Елену, в настроениях которой, по мнению критика, нашли типическое выражение чаяния лучших русских людей того времени. «В ней,— писал Добролюбов,— сказалась та смутная тоска по чем-то, та почти бессознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь всё русское общество ⟨. . .⟩ Не характеризуется ли у нас каждый истинно порядочный человек ненавистью ко всякому насилию, произволу, притеснению и желанием помочь слабым и угнетенным?» (там же, с. 224, 225). «Для удовлетворения нашего чувства»,— продолжал Добролюбов,— «нужно более» того, на что намекает роман Тургенева: «нужен человек, как Инсаров,— но русский Инсаров», борец против «врагов внутренних» (там же, с. 239).

Так тургеневская мысль в романе о необходимости объединения всех передовых сил русского общества для борьбы за реформы получала в критике Добролюбова революционно-демократическую окраску.

Статья Добролюбова вызвала резкое противодействие Тургенева. 19 февраля (2 марта) 1860 г. он писал Некрасову: «*Убедительно тебя прошу*, милый Н⟨екрасов⟩, *не печатать этой статьи*: она кроме неприятностей ничего мне наделать не может, она несправедлива и резка — я не буду знать, куда деться, если она напечатается». А. Я. Панаева рассказывает в своих воспоминаниях, как

Некрасов ездил объясняться с Тургеневым по этому поводу, но, не застав его дома, оставил письмо, на которое получил ответ: «Выбирай: я или Добролюбов» (Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1956, с. 276).

Главной причиной бурной реакции Тургенева на статью Добролюбова было несогласие с ее основным выводом о необходимости революционной борьбы с «внутренними турками», т. е. со всем самодержавно-крепостническим укладом жизни, и боязнь в связи с этим «неприятностей» со стороны официальных властей. Тургенев, очевидно, беседовал на эту тему с цензором «Современника» В. Н. Бекетовым, отмечавшим в своем письме к Добролюбову (написанном, кстати сказать, в один день с письмом Тургенева к Некрасову), что напечатать статью «Когда же придет настоящий день?» ⟨. . .⟩ «значит обратить внимание на бесподобного Ивана Сергеевича...» (*Добролюбов*, т. 2, с. 683). Кроме этой причины, раздражение Тургенева объясняется и тем, что он читал статью Добролюбова в ее первоначальной, несохранившейся редакции, отличавшейся значительно более резким тоном по сравнению с общеизвестным журнальным текстом (см. там же, с. 684).

Из-за отсутствия первоначальной редакции статьи «Когда же придет настоящий день?» конкретное содержание претензий Тургенева к Добролюбову остается неясным. Приблизительное представление о нем можно составить лишь на основании некоторых данных из мемуаров современников. Так, по утверждению А. Я. Панаевой, Некрасов говорил ей о просьбе Тургенева выбросить из статьи «всё начало», в котором «Добролюбов будто бы глумился над его литературным авторитетом» (Панаева А. Я. Воспоминания, с. 274). Между тем в журнальной публикации всё начало статьи Добролюбова хвалебно по тону, за исключением нескольких фраз, вроде следующей: «...талант г. Тургенева не из тех титанических талантов, которые, единственно силою поэтического представления, поражают, захватывают вас и влекут к сочувствию такому явлению или идее, которым вы вовсе неспособны сочувствовать» (*Добролюбов*, т. 2, с. 208). Здесь же, говоря о «Дворянском гнезде», Добролюбов относил Лаврецкого к «тому же роду бездельных типов, на которые мы смотрим с усмешкой», отмечая при этом, что «путь создания возвышенных характеров, принужденных смиряться под ударами рока, сделался очень скользким...» (там же, с. 211, 212). Но даже эти высказывания звучат резко только в полном отрыве от контекста. Таким образом, если А. Я. Панаева не искажает слов Некрасова, можно предполагать, что перед журнальной публикацией начало статьи Добролюбова, столь возмутившее Тургенева, было существенно сокращено или, что не менее правдоподобно, значительно расширено, в результате чего отдельные резкие реплики по адресу автора «Накануне» уже не так бросались в глаза.

В свою очередь Чернышевский отмечал в своих воспоминаниях: «Тургенев нашел эту статью Добролюбова обидной для себя: Добролюбов третирует его как писателя без таланта, какой был бы надобен для разработки темы романа, и без ясного понимания вещей» (*Чернышевский*, т. I, с. 728). Наиболее резкой критике «тема романа» подвергается в той части статьи Добролюбова, где с иронией говорится, что «сущность повести вовсе не состоит в представлении нам образца гражданской, т. е. общественной доблести», так как Тургенев «и не в состоянии был бы написать героическую эпопею»; что «из всей Илиады и Одиссеи он присвоивает себе только

рассказ о пребывании Улисса на острове Калипсы, и далее этого не простирается» (*Добролюбов*, т. 2, с. 223—224).

По-видимому, такого рода оценки романа, болезненные для авторского самолюбия, в первоначальной редакции статьи звучали еще суровее. Об этом свидетельствует письмо к С. Т. Славутинскому (вторая половина 1860 г.), в котором Добролюбов явно сожалеет, что в журнальной публикации статьи не имел возможности подчеркнуть «резче» свое отношение к Инсарову (см. там же, с. 686).

Несколько позднее статьи Добролюбова появился еще ряд отзывов о «Накануне», главным образом в либеральных изданиях. Резким тоном отличалась статья Н. Соколовского в журнале «Светоч». Свои суждения об Инсарове, Шубине и Берсеневе Соколовский полемически противопоставлял основному выводу из статьи Добролюбова. «Пусть Берсеневым недостает энергии,— писал Соколовский,— пусть в решительную минуту они останавливаются в недоумении, всё же трудно решить, было ли бы лучше, если бы их заменили сухие Инсаровы с их фанатизмом 〈. . .〉. Нет, не таковы нам надобны герои 〈. . .〉 нужны люди, а не фанатики с их односторонними взглядами 〈. . .〉 Крайности везде неуместны 〈. . .〉 Представителями современного поколения в романе являются Берсенев, Шубин и Курнатовский» (Светоч, 1860, № 4, отд. III, с. 27).

Апология Берсенева и Шубина сопровождалась в этой статье упреками Тургеневу за предпочтение, оказанное им иностранцу. Напоминая о неудачных попытках изображения положительного героя в произведениях Гоголя и Гончарова, Н. Соколовский с удовлетворением отмечал: «Итак, ни полугрек, ни полунемец не выдержали напора русской жизни; теперь осталась очередь за болгаром последовать их примеру и удалиться из неродственной ему страны 〈. . .〉 Штольц и Инсаров люди одного покроя...» (там же, с. 23, 26).

Во многом близким точке зрения Н. Соколовского был напечатанный в газете «Одесский вестник» отзыв В. Чибисова, выражавшего недовольство тем, что Тургенев, не ограничиваясь художественными задачами, «задумал из своего рассказа сделать вместе и демонстрацию публициста» (Одесский вестник, 1860, № 41, 19 апреля, с. 189).

Против тургеневской трактовки Инсарова как сознательно-героической натуры, пока еще не встречающей подобия себе в России, резко возражал и критик газеты «Московские ведомости» Н. П. Некрасов, писавший в своей статье о «Накануне»: «Мы думаем, что и в России найдутся люди, которые нисколько не уступят Инсарову, болгару, ни в любви к отечеству, ни в стремлении к деятельности. Автор сам противоречит себе в повести личностью Елены» (*Моск Вед*, 1860, № 99, 5 мая, «Литературные заметки. Несколько слов о повести г. Тургенева „Накануне“»). Утверждая вместе с тем, что «право на имя представителей лучшего современного направления молодежи» имеют также Берсенев и Шубин, Н. П. Некрасов спрашивал: «Разве это не люди? Почему же в повести г. Тургенева Инсарову отдано предпочтение?» (там же, № 99, 5 мая и № 100, 6 мая). Тургеневскому Инсарову Н. П. Некрасов, в сущности, противопоставлял свой весьма скромный идеал русского положительного героя — сторонника либеральных свобод в условиях господства «начал бюрократизма».

В журнале «Отечественные записки» появились одновременно два отзыва о «Накануне»: обширная статья П. Е. Басистова «Толки

о том, что нового в новом романе г. Тургенева» и анонимное «Письмо провинциала к г. Тургеневу», автором которого был К. Н. Леонтьев.

Общая оценка романа в статье П. Е. Басистова была положительной, несмотря на ряд критических замечаний, не отличавшихся, впрочем, особенной глубиной и оригинальностью. Наиболее существенные из них сводились к доказательству художественной невыразительности изображения Инсарова, обусловленной, по мнению критика, тесной связью замысла этого образа с идеями речи «Гамлет и Дон-Кихот». Сопоставляя центральные положения этой речи с характеристиками Инсарова от лица Шубина и Елены, П. Е. Басистов отмечал: «Итак, другие *говорят* об Инсарове то же самое, что сам г. Тургенев говорит о Дон-Кихоте; жаль только, что Инсаров сам за себя ничем не говорит, как бы следовало ожидать от живого лица. Что ж такое этот Инсаров? Отвлеченная идея донкихотства, в благороднейшем смысле этого слова, окрещенная славянской фамилией, но, при всем том, оставшаяся отвлеченной, как создание мышления, а не фантазии... Из всего сказанного выходит, кажется, то заключение, что философское мышление и мышление поэтическое не столько помогают друг другу, сколько мешают, как скоро начинают действовать вместе ⟨. . .⟩ отвлеченное мышление портит ряд поэтических образов мертвыми призраками» (*Отеч Зап*, 1860, т. CXXX, № 5, отд. III, с. 9, 14). Однако отрицательная оценка Инсарова в статье П. Е. Басистова в значительной степени предопределялась не столько несовершенством его художественного воплощения, сколько общественно-политической ориентацией критика. В соответствии с этой ориентацией в статье настойчиво подчеркивалось, что «идея гражданина своей земли ⟨. . .⟩ и теперь, после Инсарова, осталась пока в нашей литературе без образа», что «этот образ — в будущем», а несогласие с добролюбовской трактовкой Инсарова граничило почти с испугом: «Ведь „Накануне“ значит *очень близко*, завтра...» (там же, с. 15).

«Письмо провинциала к г. Тургеневу» не отражало мнения редакции «Отечественных записок» о романе и было напечатано только по просьбе самого писателя. В редакционной сноске, принадлежавшей, очевидно, С. С. Дудышкину, отмечалось, что это «Письмо... слишком взыскательно и односторонне в своих эстетических требованиях» (там же, с. 1). В свою очередь Тургенев, сообщая К.Н. Леонтьеву о своих попытках продвинуть его отзыв в печать, писал 22 апреля (4 мая) 1860 г.: «Статью вашу о „Накануне“ я отдал было в „Современник“, но он отказался поместить ее; тогда я вручил ее Дудышкину — и он обещался ее принять ⟨. . .⟩ Мне самому она показалась очень умной и тонкой; но вы согласитесь, что я в этом деле не судья, и, в силу тех же законов человеческого самолюбия, подкуплен порицанием».

«Порицание» Тургеневу в критическом отзыве Леонтьева действительно было очень сильным, во многом несправедливым и педантично придирчивым. Леонтьев утверждал, например, что Тургенев в романе «Накануне» не перешел «*за ту черту, за которой живет красота*, или идея жизни». План романа представлялся ему «слишком выразительным, ясным, резким; от него,— отмечал Леонтьев,— не веет волшебной изменчивостью, смутою жизни. Возьмите все лица: как ясно, что они собрались для олицетворения общественных начал» (*Отеч Зап*, 1860, т. CXXX, № 5, отд. III, с. 21). Леонтьев упрекал Тургенева за «механические приемы», употребленные им «для объяснения читателю, что Инсаров человек дела не сухого,

а поэтического» и жаловался «на безжизненность всего этого, на отсутствие откровения изящного и в сцене спасения дам, и в сцене встречи у часовни, и в других местах» (там же, с. 22, 23). Крайне резким было суждение Леонтьева о «самых страстных, самых драматических сценах „Накануне“». «Все они,— настаивал критик,— как будто сделаны с усиленным стремлением к простоте и вечным, коренным красотам страсти; но вместо всего этого вышло что-то избитое и механическое» (там же, с. 23).

Однако наряду с такого рода суждениями в «Письме» Леонтьева встречались хотя и односторонние, но не лишенные проникновенности характеристики главных образов романа. Примечательным было утверждение Леонтьева о «художественном самоотрицании» Тургенева в «Накануне», обусловленном первым опытом выбора центрального героя из среды, социально чуждой ему, о намерении Тургенева с помощью Инсарова «казнить» не только Берсенева и Шубина, лучших представителей культурного передового дворянства, но и самого себя. «Художественное самоотрицание убийственно для поэзии,— отмечал Леонтьев,— ⟨. . .⟩ если писателю невесело, не по себе с его лицами, едва ли уважение спасет их от холодности... Надо их любить, а не уважать; вы не любили Инсарова, вы любили Рудина, и он всё озарил вокруг себя, и сама Наталья, которой нравственный принцип туманнее принципа Елены, вышла мила» (там же, с. 25).

Видя главную «беду» Тургенева в «Накануне» «в насиловании собственного вкуса, в предпочтении упрямой, ограниченной, но благородной направлением души — душе изящной, разбегающейся, страдающей и мыслящей», Леонтьев ставил вопрос, в высшей степени — и социально и психологически — актуальный и для Тургенева на всем протяжении его романного творчества: «Какие души нужнее, когда и где — кто решит?» Вместе с тем критик пытался внушить Тургеневу мысль, что сближение с Инсаровым пагубно для его художественного таланта. Леонтьев заканчивал свой отзыв о романе следующим образом: «...нравственное торжество Инсаровых над Берсеневыми и Шубиными непривлекательно для русской души (она не виновата!), а потому вы оставались холодны к уважаемым вами лицам, не возвели их „в перл создания...“» (там же, с. 26, 27).

Одновременно со статьями Басистова и Леонтьева в журнале «Русское слово» появилась статья Н. Н. Булича «Две повести г. Тургенева: „Накануне“ и „Первая любовь“». Отзываясь весьма положительно о новом романе Тургенева, Булич возражал тем критикам, которые упрекали автора за болгарское происхождение главного героя. «Виновата среда, если лицо Инсарова в русской повести кажется нам иностранным,— отмечал критик.— Нам горько и больно это обстоятельство, но делать тут нечего, и мы покорно клоним голову перед неизбежным произволом автора, но зато радостно приветствуем этот новый, невиданный дотоле в русской литературе⟨. . .⟩ образ, как заждавшиеся, стареющие супруги приветствуют первое дитя свое, ожидаемое с трепетом и молитвою» (*Рус Сл*, 1860, № 5, отд. II, с. 6).

Касаясь упреков Тургеневу в связи с отсутствием в романе широкой картины деятельности Инсарова, Булич писал: «Нам не нужно в повести подробного изображения всего круга его деятельности, его сношений с болгарскими патриотами, рассказа, как в деле выражается его ум, воля, характер. Автор пишет повесть из

русского быта, а вовсе не историю славянских племен» (там же, с. 26). В данном случае Булич полемизировал с Добролюбовым. Его вывод противоречил и точке зрения А. Григорьева, высказанной несколько позднее (см. ниже).

В следующем, 1861 году появились отзывы о «Накануне» А. Григорьева и Д. И. Писарева.

В статье «Искусство и нравственность», где речь шла не только о Тургеневе, А. Григорьев спокойно иронически отнесся к злопыхательской критике «Нашего времени» и расценил новый роман Тургенева как несомненно «замечательное произведение». Однако основная мысль его статьи заключалась не в этом. По мнению А. Григорьева, перед Тургеневым в процессе создания «Накануне» стояли две важные задачи, но писатель безукоризненно решил только одну из них — «общепсихологическую и поэтическую». По этому поводу он писал: «Задача общепоэтическая: стремление изобразить два страстных существования, роковым, трагическим образом столкнувшиеся, скользящие над бездной и гибелью в исключительной обстановке Венеции — жажду жизни и упоение ею на краю смерти и гибели посреди чудес поэтического и отжившего мира,— задача, выполненная блистательным образом, создавшая в романе какой-то байронски-лихорадочный эпизод, великолепную, обаятельную поэму» (Светоч, 1861, № 1, отд. III, с. 12). Иным было отношение критика к общественной тенденции романа с ее главным вопросом о герое. А. Григорьев находил, что этот вопрос, «логически и исторически правдиво» поставленный Тургеневым-мыслителем, оказался не по силам Тургеневу-художнику.

«Против болгарского дела не может быть сделано никакого возражения: дело совсем правое, ясное и понятное всякому,— писал А. Григорьев.— Но совершенно правильно выбравши *героя* из среды близкой нам по племенному происхождению, поэт не позаботился нисколько о красках для своего очерка... Никаких местных болгарских черт, ни в нем самом, ни в его обстановке ⟨. . .⟩ в этом отношении художническая манкировка ⟨. . .⟩ вовсе непростительна ⟨. . .⟩. Будь Инсаров окружен настоящей болгарской обстановкой, т. е. будь он расцвечен красками, какое бы это вышло лицо!» (там же, с. 13—14).

Как отмечено выше, аналогичные суждения об Инсарове неоднократно высказывались в критике того времени, причем почти всегда — с разных идеологических позиций. А. Григорьев критиковал роман «Накануне» с позиций так называемого почвенничества, имевшего общие черты с идеологией славянофилов. Бледность местного болгарского колорита в романе А. Григорьев ставил в прямую зависимость от специфических условий, в которых формировались взгляды Тургенева и его отношение к действительности. «В манкировке виноват ⟨. . .⟩ не столько сам поэт, сколько эпоха, к которой принадлежит он по своему развитию,— писал А. Григорьев.— Его эпоха совершенно чуждалась славянства — хоть этого ей, поглощенной до самозабвения западными идеалами — нельзя поставить в укор» (там же, с. 14).

Почвеннические идеи А. Григорьева сказались и на его анализе образа Елены, в которой он видел «дитя, воспитавшееся под могущественным, но малозначительным по количеству влиянием кружков ⟨. . .⟩ Белинского и Грановского». «Елена Стахова — совершенно исключительное, местное, московское явление,— утверждал А. Григорьев.— Поэт не потрудился задать себе вопроса: что такое

наша женщина *вне* исключительных влияний известного, развитого более других кружка, составляющего ⟨. . .⟩ оазис в безбрежной и безвыходной пустыне, что такое наша *настоящая* женщина, женщина в обычных средах жизни» (там же, с. 14—15).

В противоположность А. Григорьеву, всё же не отрицавшему больших художественных достоинств романа и его общественного значения, Д. И. Писарев дал о «Накануне» подчеркнуто нигилистический отзыв.

В статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» (*Рус Сл*, 1861, № 11) Писарев отмечал: «...Тургенев и Писемский — стояли в чисто отрицательных отношениях к нашей действительности ⟨. . .⟩ Эти отрицательные отношения, этот скептицизм — величайшая их заслуга перед обществом» (*Писарев*, т. 1, с. 213). Эта характеристика распространялась на всё творчество Тургенева, за исключением романа «Накануне». В следующей статье Писарева «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» (*Рус Сл*, 1861, № 12) роман получил крайне суровую оценку, так как ни в его замысле, ни в его центральных образах критик не обнаружил соответствия с характером предшествующей литературной деятельности писателя. В связи с этим Писарев писал, например, о Елене: «...она ищет лучшего и, не находя этого лучшего, уходит в мир фантазии, начинает жить воображением ⟨. . .⟩ она не критикует нашей жизни, не всматривается в ее недостатки, а просто отворачивается от нее и хочет выдумать себе жизнь» (*Писарев*, т. 1, с. 267). Наряду с Еленой в мечтательном отношении к действительности Писарев обвинял и самого автора. «Оттого,— резюмировал Писарев,— он вместе с Еленой ищет героев ⟨. . .⟩ вместе с нею бракует Шубина и Берсенева; оттого он выписывает из Болгарии невозможного и ни на что не нужного Инсарова» (там же).

Обращаясь к анализу образа Инсарова, Писарев писал: «Тургенев не мог остановиться на чисто отрицательных отношениях к жизни ⟨. . .⟩ Ему захотелось колоссальности, героизма ⟨. . .⟩ образ не напрашивался в его творческое сознание, надо было с невероятными усилиями составлять этот образ из разных кусочков ⟨. . .⟩ Инсаров, каким он является в отдельных сценах романа ⟨. . .⟩ не представляет в себе ничего целостно-человеческого и решительно ничего симпатичного». И далее: «... что истинный художник, Тургенев, соорудил ходульную фигуру, стоящую ниже Штольца,— это очень грустно; это показывает радикальное изменение во всем миросозерцании, это начало увядания. Кто в России сходил с дороги чистого отрицания, тот падал. Чтобы осветить ту дорогу, по которой идет Тургенев, стоит назвать одно великое имя — Гоголя. Гоголь тоже затосковал по положительным деятелям, да и свернул на „Переписку с друзьями“. Что-то будет с Тургеневым?» (там же, с. 270, 271).

В романе «Накануне» Писарев усматривал опасные симптомы отказа Тургенева от реализма и вместе с тем признаки возможного компромисса с действительностью. «Отцы и дети» внесли необходимую поправку в это ошибочное представление критика о характере творческой эволюции писателя, но отрицательное отношение к роману «Накануне» сохранилось у него до конца жизни.

В ряду критических статей о «Накануне» наиболее значительной была статья Добролюбова, ускорившая разрыв Тургенева с лагерем «Современника», но вместе с тем оказавшая несомненное влияние на его дальнейшую писательскую деятельность. В этой ста-

тье были четко определены взгляды и настроения новых людей и дана суровая критика дворянско-либеральных общественных деятелей, а это способствовало более глубокому проникновению Тургенева в сущность социального конфликта, предопределившего сюжетную основу его следующего романа — «Отцов и детей». История создания этого романа свидетельствует о художественном преломлении в образе Базарова многих высказываний Добролюбова. Тургенев-художник не мог не считаться и с общими установками статьи Добролюбова, сводившимися к требованию изобразить русского Инсарова в борьбе с внутренними турками. В этом требовании выражалось одно из характернейших настроений эпохи, а Тургенев всегда был чуток к таким настроениям.

Роман Тургенева и посвященная ему статья Добролюбова оказали, по-видимому, определенное воздействие на Чернышевского при его работе над романом «Что делать?».

Рахметов стал тем «русским Инсаровым», скорый приход которого в русскую жизнь и в русскую литературу предсказывался в статье Добролюбова. Образ Рахметова был полемичен по отношению к тургеневскому Базарову и создавался в пору, когда идейный разрыв революционной демократии с Тургеневым стал непреложным фактом. Но всё это не исключало преемственной зависимости замысла образа Рахметова от проблематики творчества Тургенева, связанной с поисками и изображением нового героя.

Такая зависимость подтверждается использованием в «Что делать?» характерных композиционных особенностей романа «Накануне». В композиционном отношении группировка характеров (Лопухов — Кирсанов — Рахметов) напоминает аналогичную группировку характеров в «Накануне» (Шубин — Берсенев — Инсаров). Обыкновенность, «заурядность» хороших «новых людей» Лопухова и Кирсанова постигается вполне только при сравнении их с Рахметовым, а достоинства Рахметова как идеального революционера еще рельефнее выделяются на фоне этой «нормы». То же самое происходит в романе Тургенева. И Тургенев и Чернышевский преднамеренно представляют читателю сначала своих сравнительно второстепенных героев и только после этого вводят в действие главные силы — Инсарова и Рахметова. И в том и в другом случае система характеров и определенная последовательность в их обрисовке рассчитаны на один и тот же эффект, но приоритет в применении таких приемов композиции в романе с ярко выраженной тенденцией поучения обществу по праву принадлежит Тургеневу.

Эта связь улавливалась современниками писателя. В статье «Новый тип» (*Рус Сл*, 1865, № 10) Д. И. Писарев, повторяя свои прежние чрезмерно резкие и категорические суждения о «Накануне», вместе с тем отмечал: «Попытку Чернышевского представить читателям „особенного человека“ можно назвать очень удачною. До него брался за это дело один Тургенев 〈. . .〉 Тургенев хотел из Инсарова сделать человека, страстно преданного великой идее...» (*Писарев*, т. 4, с. 48).

Роман «Накануне» еще при жизни Тургенева много раз переводился на иностранные языки. Первым и весьма неудачным был перевод романа на французский язык, выполненный П. Дуэром («La veille». Roman russe d'Ivan Tourghénieff. Traduction P. Douhaire.— Le correspondant, 1860, sept., p. 117—167). По словам Тургенева, этот перевод имел с его романом лишь «некоторое сходство в деталях», так как «переводчик-украшатель выкинул несколько действующих

лиц и заменил их другими» («Записки охотника» И. С. Тургенева. Сборник статей и материалов. Орел, 1955, с. 339). В следующем году в журнале «Revue Européenne» (т. XVII и XVIII) появился новый перевод романа на французский язык под названием «Елена» («Elena»), сделанный И. Делаво. Этому переводу, «полностью как в отношении эпизодов, так и в отношении характеров» соответствующему «рукописному подлиннику», Тургенев давал высокую оценку в письме к редактору «Revue Européenne» от 14 (26) марта 1861 г. и в письме к Л. Пичу от 4 (16) апреля 1870 г. (см. тот же сборник, с. 339). В 1863 году перевод И. Делаво вышел в Париже отдельной книгой вместе с повестью «Первая любовь» («Nouvelles scènes de la vie russe»).

Немецкий перевод «Накануне» под названием «Helene» был напечатан в 1871 году в пятом томе митавского издания избранных сочинений Тургенева (Ausgewählte Werke). В том же году появился английский перевод «Накануне» («On the Eve» by I. S. Tourgueneff. A tale, translation from the Russian by C. E. Turner. London, 1871). Роман в переводе Тернера дважды, в 1873 и в 1875 годах, издавался также в Нью-Йорке.

Особое значение имел роман «Накануне» для болгарских читателей; но он далеко не сразу после выхода в свет был переведен на болгарский язык. В этом, вероятно, сначала не было надобности, так как болгарская интеллигенция могла читать его по-русски. Но для широких кругов болгарских читателей перевод стал необходим, и первая мысль о нем явилась в 1879 г. у Ст. Бобчева, будущего видного общественного деятеля Болгарии, а в то время студента Московского университета. В статье, помещенной в рущукской газете «Българин», Ст. Бобчев писал о своей встрече с Тургеневым: «Я имел случай представиться старику-романисту и испросил у него позволения перевести на болгарский язык „Накануне", героем которого является болгарский студент, а также некоторые рассказы из „Записок охотника". На мою просьбу Тургенев ответил согласием и обещал написать собственное предисловие к переводу» (Българин, 1879, № 178). По свидетельству Н. Бобчева, эту встречу Ст. Бобчева с Тургеневым в феврале 1879 г. устроил М. М. Ковалевский (Славянски глас, 1908, кн. V—VI, с. 189). В марте того же года Тургенев писал Ковалевскому: «...я хотел просить Вас передать г-ну Бобчеву, что не уеду из России, не переслав ему (на Ваш адрес) того небольшого предисловия к переводу „Накануне" с рассказом о Катранове, которое я обещал». Однако замысел перевода Ст. Бобчевым не был осуществлен, так же как и предисловие, задуманное Тургеневым.

Первый перевод «Накануне» вышел в Болгарии лишь десять лет спустя, в 1889 г. Роман появился одновременно в двух изданиях — в переводе И. Иванова (Тырново, 1889) и в переводе Ив. Драгиева (Пловдив, 1889).

В 1860—1870-е годы роман неоднократно переводился и на другие иностранные языки: польский (1870—71, 1874), чешский (1873, 1874), датский (1872), голландский (1872). После смерти Тургенева роман был переведен на языки: шведский (1884), венгерский (1887) и т. д. Итальянский перевод «Накануне» появился в 1924 году.

С т р. 162. *...вышел третьим кандидатом!* — Имеется в виду низшая ученая степень, присуждавшаяся в период между 1804 и

1884 годами успешно закончившим полный курс университета и представившим специальное сочинение. При назначении на гражданскую должность кандидатам присваивался чин десятого класса, т. е. коллежского секретаря.

Стр. 164. ...*в дантановском вкусе*.— В стиле Жана Пьера Дантана (Dantan, 1800—1869), французского скульптора-портретиста и монументалиста, снискавшего особую известность карикатурными бюстами и статуэтками известных деятелей своего времени (Талейрана, прусского короля Фридриха Вильгельма IV, Виктора Гюго и др.)

Стр. 165. «*Да здравствует Марья Петровна!*» — Шубин поет популярную во второй половине XIX века студенческую песню на слова Н. М. Языкова («Разгульна, светла и любовна пусть слышится песня моя»). Автор музыки неизвестен. Текст впервые опубликован в первом издании «Стихотворений» Языкова (СПб., 1833, с. 269—270; написан в 1829 г.). С нотами впервые опубликована в 1880 г. в издании графа А. А. Бобринского «Студентские песни 1825—1855» (СПб.; М.: Бернард, № 11).

Стр. 166. ...*романтические звуки Оберонова рога*...— Легендарный волшебник Оберон (Альберих) был героем ряда средневековых и позднейших литературных и музыкальных произведений на немецком и французском языках. По легенде, рог Оберона имел чудодейственную силу. В первую половину XIX века особенно известны были: последняя опера К. М. Вебера (Weber, 1786—1826) «Оберон» (1826) и поэма Х. М. Виланда (Wieland, 1733—1813) того же названия (на русский язык переведена в 1787 г.).

Стр. 167. ...*не любовь-наслаждение, любовь-жертва*.— Об этих двух родах любви неоднократно писал Артур Шопенгауэр («Мир как воля и представление». Т. 1, § 67; в русском переводе Ю. И. Айхенвальда — М., 1900, с. 389—392).

Стр. 168. ...*мы толстокожие скифы*.— В середине XIX столетия русская археология только начинала проверку сведений о скифах, сообщаемых Геродотом (V век до н. э.). Наиболее значительны были работы Н. И. Надеждина («Геродотова Скифия, объясненная чрез сличение с местностями», 1844), графа А. С. Уварова («Исследование о древностях Южной России и берегов Черного моря», 1851—1856) и Э. Г. Муральта («Скифские древности, хранящиеся в императорском Эрмитаже», 1853). В эту эпоху скифы представлялись только кочевым племенем, их культура обычно принижалась.

Стр. 169. ...*вне Италии нет спасения!* — Посылать художников для работы в Италию в первой половине XIX века считалось в России обязательным; в связи с этим в Италии в то время существовала постоянная русская художественная колония, неоднократно находившая отражение в литературе.

Ставассер полетел же...— Русский скульптор Петр Андреевич Ставассер (1816—1850), ученик профессора С. И. Гальберга, академик. Главные произведения: «Молящийся ангел», «Русалка», группа «Нимфа и сатир, надевающий ей на ногу сандалию».

Стр. 174. «*La dernière pensée*»— фортепьянная пьеса К. М. Вебера (см. выше примеч. к с. 166).

Стр. 175. ...*если это будет возможно*.—См. ниже первое примеч. к стр. 199.

...*пойти по следам Тимофея Николаевича*...— Тимофей Николаевич Грановский (1813—1855) — профессор Московского универси-

тета по кафедре всеобщей истории, получивший широкую известность своими публичными лекциями (с 1843 года). Тургенев познакомился с Грановским в 1835 г. в Петербургском университете, где они оба были студентами. В статье «Два слова о Грановском» Тургенев писал: «От него веяло чем-то возвышенно-чистым; ему было дано (редкое и благодатное свойство) не убежденьями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать прекрасное в душе другого» (наст. изд., т. 5, с. 326). Письма Тургенева к Грановскому (1839—1840) см.: наст. изд., Письма, т. 1.

Стр. 176. *...о французских романах...*— Явно непочтительный, если не пренебрежительный тон в этих словах Елены объясняется появлением в тридцатые и сороковые годы XIX века множества русских низкопробных переводов романов французских писателей Поля де Кока, Поля Феваля и других, не претендовавших на серьезное литературное и общественное значение.

Стр. 181. *...второй том «Истории Гогенштауфенов» Раумера...*— Фридрих Людвиг Георг фон Раумер (Raumer, 1781—1873) — профессор истории и политических наук в Бреслау (Вроцлаве), позднее в Берлине. Его основополагающий труд «Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit» (6 томов, 1823—1825, имеется ряд изданий) посвящен немецкому рыцарскому и царствующему роду XI—XIII веков, последние представители которого погибли в заточении.

Стр. 189. *...о новом инструменте* ∽ *«контробомбардоне»...*— Контробомбардон — сокращенное название бомбардона контрабаса, духового металлического инструмента с пистонами, сконструированного бельгийским мастером Адольфом Саксом (патент 13 октября 1845 г.). Лондонская всемирная выставка открылась в 1851 г.

Стр. 193. *«Не отходи от меня»...*— Романс на слова «Мелодии» А. А. Фета, впервые опубликован: *Москв*, 1842, ч. IV, № 8, с. 234; музыка композитора А. А. Дерфельдта (1810—1869); издан М. Бернардом в 1858 г.

Стр. 198. *«Самосон»*.— Так назывался диван в с. Спасском, на котором любил отдыхать Тургенев. В настоящее время «Самосон» хранится в музее И. С. Тургенева в Орле.

...иллюминат...— Последователь религиозно-мистического учения немецкого мистика Адама Вейсгаупта (Weishaupt, 1748—1830), основавшего в 1776 г. тайное просветительское общество иллюминатов.

...сведенборгианизм...— Теософское учение Эммануила Сведенборга (Svedenborg, 1688—1772), выдающегося шведского ученого-энциклопедиста, с 1745 года прекратившего научные исследования и обратившегося к теософии. В середине XIX века в России последователями учения Сведенборга являлись В. И. Даль и философ П. Д. Юркевич.

...о Вашингтоне.— Джордж Вашингтон (Washington, 1732—1799) — прогрессивный деятель, первый президент Соединенных Штатов Америки (1789), вложивший много сил в дело освобождения их от Великобритании.

Стр. 199. *Было, говорят, время в Московском университете!*— Расцвет Московского университета падает на вторую половину 1830-х и первую половину 1840-х годов. Большую роль при этом сыграла деятельность профессоров Т. Н. Грановского, К. Ф. Рулье, Г. Е. Шуровского, П. Г. Редкина, П. Н. Кудрявцева, В. Н. Леш-

кова. Вместе с тем Берсенев, вероятно, имел в виду также знаменитые кружки Н. В. Станкевича и А.И. Герцена, возникшие в Московском университете в первую половину 1830-х годов. В течение 1848—1850-х годов Московский и другие русские университеты в связи с реакцией, вызванной революцией 1848 года, были лишены права преподавания философии; чтение курсов психологии и логики в них было передано профессорам богословия; научная сторона курсов истории, права и других дисциплин значительно снизилась.

...родом из Тырнова.— Тырнов (Тырново) — один из древнейших болгарских городов, известный уже в IX столетии; в 1186—1393 годах столица Болгарского царства. В 1393 г. был завоеван турками.

Стр. 202. *...болгарские ∽ летописи...*— Древнеболгарская летопись излагает события с 1296 по 1413 год. Уверенность в существовании более древних болгарских летописей выразил Ю. И. Венелин (см. ниже примеч. к с. 213) в своем труде «Критические исследования об истории болгар». М., 1849. Т. I—II.

...собирал материалы о восточном вопросе...— Под восточным вопросом, возникшим в семидесятые годы XVIII века в связи с ослаблением Турецкой империи, подразумевался вопрос о ее судьбах, преимущественно на Балканском полуострове. В течение всего XIX века он находился в центре внимания европейских политиков.

Стр. 204. *...мой друг Горацио?* — Неточная цитата из трагедии У. Шекспира «Гамлет» (действие 1, сцена 2).

Стр. 205. *...непонятного, но великого Венелина...*— Юрий Иванович Венелин (настоящая фамилия — Гуца, 1802—1839) — выдающийся исследователь истории, языка и фольклора болгар; с 1825 года жил в России. Академия наук командировала Венелина в Болгарию для изучения нового языка и памятников старого языка болгар.

...болгарского короля Крума, Хрума или Хрома... — Крум (ум. в 815 г.) — болгарский князь с 802 г., выдающийся полководец, неоднократно успешно сражавшийся с византийскими войсками и нанесший решительное поражение армии византийского императора Никифора, во время которого сам Никифор был убит (811 г.).

Стр. 207. *...как Макс к Агате.*— Макс и Агата — герои оперы Вебера «Волшебный стрелок» («Freischütze», 1820). Здесь имеется в виду сцена 3-го явления второго акта оперы.

...наши пустые сосуды...— Намек на учение славянофилов, с наибольшей полнотой изложенное в статьях А. С. Хомякова (1804—1860), К. С. Аксакова (1817—1860) и И. В. Киреевского (1806—1856), опубликованных в течение 40-х и 50-х годов. Согласно этому учению в результате европеизации русского дворянства Петром I оно оторвалось от исконных устоев русской культуры, в своем чистом виде сохранившейся лишь среди патриархального крестьянства.

Стр. 208. *...мужичок тянул «Степь моздокскую».*— Народная песня «Степь моздокская» (о смерти извозчика на чужбине), особенно распространенная в средней полосе России, впервые была опубликована в 1833 г. в издании: Русские народные песни, собранные и изданные для пения с фортепиано Даниилом Кашиным, кн. 1, Песни протяжные (№ 4).

Стр. 210. *И Фемистокл ел накануне Саламинского сражения...*— В сентябре 480 г. до н. э. в результате хитроумного плана

афинского военачальника Фемистокла греки одержали знаменитую победу над персидским флотом у острова Саламина.

Стр. 213. *Какие у нас песни! не хуже сербских.*— Песни сербского народа приобрели мировую славу после того как они были записаны Вуком Караджичем (1787—1865) и изданы в 1814 и 1815 годах. Сербские песни характеризовал в связи с болгарскими уже Ю. Венелин в 1835 г. Близость болгарских песен к сербским отмечена также поэтом и переводчиком Н. В. Бергом в его книге «Песни разных народов» (М., 1854, с. XXIII).

Стр. 216. *...к развалинам Царицынского замка...*— В Царицыне (название произошло в связи с принадлежностью этой местности Ирине Годуновой, жене царя Федора Иоанновича) была начата постройка, по приказу императрицы Екатерины II, большого дворца, оставшегося недостроенным и заброшенным.

Стр. 218. *«Le lac» Нидермейера.*— Романс французского композитора Луи Нидермейера (Niedermeyer, 1802—1861) на текст стихотворения «Le lac» («Озеро») Альфонса Ламартина (Lamartine, 1790—1869). В романе цитируется первый стих второй строфы стихотворения.

...покнейпировать...— От немецких слов kneipen — пить, кутить, бражничать и Kneiperei — кутеж, попойка.

Стр. 228. *Он предчувствует войну...*— См. ниже примеч. к с. 250.

Стр. 239. *...масляный портрет великого князя Константина Павловича...*— Великий князь Константин Павлович (1779—1831)— второй сын императора Павла I, считавшийся до смерти Александра I наследником престола, но подписавший еще в 1823 г. отречение, остававшееся втайне.

Стр. 240. *Trema, Bisanzia!* (правильно: Trema, Bisanzio!).— Слова Аламира из оперы Гаэтано Доницетти (Donizetti, 1797—1848) «Велизарий» (действие второе, явление XI), впервые поставленной в Неаполе в 1836 г. Либретто оперы написано Эдуардом фон Шенком по трагедии Сальваторе Каммарано (Cammarano, 1801—1852). В России опера «Велизарий» впервые с большим успехом была поставлена в Петербурге в сезон 1839/40 г.

Стр. 241. *...художник, по новейшим эстетикам, пользуется завидным правом воплощать в себе всякие мерзости...*— Имеются в виду представители немецкой эстетической мысли К. Розенкранц, А. Руге и Т. Фишер, в воззрениях которых существенную роль играло учение о безобразном. В своих построениях названные мыслители опирались на идеи знаменитого немецкого писателя Жан Поля (настоящая фамилия Рихтер, Иоган Пауль, 1763—1825). Значительное развитие идея безобразного получила также во французской литературе (Виктор Гюго, Шарль Бодлэр и др.).

Стр. 249. *...показывавшее пластические позы...*— В «Московских ведомостях» соответствующего времени (в начале осени 1853 г.) данных об этом нет.

Стр. 250. *...занятие княжеств русскими войсками...*— На основании манифеста императора Николая I от 14 (26) июня 1853 г. русские войска постепенно, преимущественно в течение июня, заняли дунайские княжества Молдавию и Валахию. Эта акция русского правительства явилась главной причиной начавшейся в том же году войны, в настоящее время обычно называемой Крымской. В русских газетах сообщения о занятии княжеств значительно запоздали. Так, например, в «Московских ведомостях» 21 июля, со

ссылкой на «Немецкую бухарестскую газету» от 21 июня (3 июля), сообщалось о переходе русских войск под начальством генерал-адъютанта Горчакова через Прут 18 июня. На самом деле этот переход состоялся 10 (22) июня 1853 г. Занятию княжеств предшествовал отказ Турции в предоставлении России «обеспечения на будущее время священных прав церкви православной» (формулировка манифеста Николая I).

С т р. 258. *...aut Caesar, aut nihil.*— Девиз внебрачного сына папы Александра VI — Чезаре Борджиа (1475—1507), известного своим политическим авантюризмом и аморальностью.

С т р. 259. *...он теперь изучал Грота.*— Джордж Грот (Grote, 1794—1871) — прогрессивный английский историк, автор 12-томной «Истории Греции», начавшей выходить в 1845 г. (последний том вышел в 1855 г.).

С т р. 262. *...собиралась прочесть «Вертера»...*— Роман Гёте «Страдания юного Вертера» (1774).

С т р. 264. *Что за охота лепиться к краешку чужого гнезда?* — Черты автобиографичности образа Берсенева в этих словах сказываются всего более. Во время работы над «Накануне» Тургенев 10 (22) июля 1859 г. писал М. А. Маркович: «Нет счастья вне семьи — и вне родины; каждый сиди на своем гнезде и пускай корни в родную землю... Что лепиться к краешку чужого гнезда?»

С т р. 267. *...судя по газетам, война неизбежна...*— См. первое примеч. к с. 272—273.

С т р. 269. *Вы красноречивы, как Пифагор...*— Древнегреческий философ и мыслитель Пифагор (вторая половина VI века до н. э.) красноречием не отличался, но широко известны были его «златые (aurea) изречения», записанные его многочисленными учениками. Наиболее полный перевод этих изречений на русский язык был выполнен В. С. Сопиковым в 1806 г. (журнал «Любитель словесности», части 2 и 4). В 1855 г. в журнале «Москвитянин» появилось исследование о Пифагоре, выполненное по первоисточникам князем Н. Н. Голицыным (части V и VI).

С т р. 272. *Турция объявила России войну...*— 27 сентября 1853 г. турецкий главнокомандующий Омер-паша предъявил командующему русской армией на Дунае М. Д. Горчакову ультиматум, требуя вывода в двухнедельный срок русских войск из княжеств Молдавии и Валахии. В связи с отказом Горчакова, 3 (15) октября Турция объявила России войну. В московских газетах сообщение об этом появилось 15 (27) октября. Россия объявила Турции войну 20 октября (1 ноября) 1853 г.

С т р. 272—273. *...день Синопского погрома.*— 18 (30) ноября 1853 г. русский флот под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова уничтожил в Синопской бухте весь турецкий черноморский флот под командованием Осман-паши, которого взял в плен.

С т р. 277. *...лепи с него Брута...*— Марк Юний (Квинт Цепион) Брут (Brutus, 85—42 до н. э.) — политический деятель древнего Рима, с 48 г. сторонник Юлия Цезаря; позднее, в 44 г. возглавил республиканский заговор против него.

«Человек он был».— Слова Антония о Бруте (см. выше) в трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь» (действие 5, явл. 5: «This was a man»). Вместе с тем эти слова являются дословной цитатой из перевода Н. А. Полевого трагедии Шекспира «Гамлет» (действие I, явл. 2).

С т р. 281. *...желт как пупавка...*— Пупавка — пахучее сорное растение с желтыми цветками.

С т р. 282. *«С богом, в дальнюю дорогу»...*— Первый стих «Похоронной песни Иакинфа Маглановича» (Песни западных славян, VII) А. С. Пушкина. Ниже («Все умолкли ꩜ прощальные слова») заметны следы впечатления, оставленного стихотворением Н. Д. Хвощинской (1824—1889) «В прощальный смутный час не знаешь что сказать» (*Отеч. Зап*, 1852, № 8, с. 316).

С т р. 284. *Война уже кипела на Дунае...*— Переправа русских войск через Дунай началась 11 (23) марта 1854 г. под командованием генерал-адъютанта А. Н. Лидерса.

...Англия и Франция объявили России войну...— Разрыв дипломатических отношений между Россией и Францией и Англией произошел 23 января (4 февраля) 1854 г., а 19 (31) марта России была объявлена война.

С т р. 286. *Каналетти* — Антонио Каналетто (Старший, Canaletto, 1697—1768), создатель многочисленных картин, изображавших Венецию. *Гварди* — Франческо Гварди (Guardi, 1712—1793), выдающийся мастер венецианской живописи и рисунка.

...об академии delle Belle arti...— Академия изящных искусств (пинакотека)— музей венецианской живописи, основанный в 1807 г. по инициативе Наполеона I. Находится между Большим и Еврейским каналами. Каталог картин музея издан в 1858 г.

...над святым Марком Тинторетта...—«Чудо св. Марка, освобождающего раба, осужденного на мучение», одна из наиболее знаменитых картин венецианского живописца Джакопо Робусти (псевдоним Tintoretto, 1512—1594), ученика Тициана. Картина изображает евангелиста Марка, патрона Венеции.

С т р. 287. *...на первом плане тициановского «Вознесения»...*— «Вознесение на небо богоматери», картина венецианского живописца Тициана Вечеллио ди Кадоре (Tiziano Vecelli, 1477—1576), одна из главных достопримечательностей Академии изящных искусств.

...картина старика Чима да Конельяно.— Джованни Баттиста Чима да Конельяно (Cima da Conegliano, 1459 — ок. 1517) — живописец венецианской школы, ученик Джованни Беллини. В венецианской Академии изящных искусств в то время находилось восемь картин художника. Вероятно, Тургенев имеет в виду его картину «Святая дева, окруженная святыми Севастьяном, Георгием, Николаем, Екатериной и Люцией».

...давали ꩜ «Травиату».— Опера Джузеппе Верди (1813—1901) «Травиата» впервые была поставлена в Венеции в 1853 г. На русской сцене, в Петербурге, опера впервые шла в сезон 1858/59 г. при участии итальянской певицы Анджелины Бозио (1824—1859). Критическое отношение Тургенева к творчеству Верди сложилось (в значительной мере под влиянием Полины и Луи Виардо) задолго до этого. В 1847 г. писатель присутствовал на премьерах опер Верди «Разбойники» (в Лондоне) и «Иерусалим» (в Париже). В письмах к Л. и П. Виардо от 10(22) июля и к П. Виардо от 14, 15(26, 27) ноября Тургенев дал развернутые отрицательные отзывы об этих операх и о музыке Верди вообще (см.: наст. изд., Письма, т. 1).

С т р. 290. *...Redentore Палладия...*— Итальянский архитектор и теоретик архитектуры Андреа Палладио (Palladio, 1508—1580), родом из Виченцы, в последние годы своей жизни занимавший пост

архитектора Венеции. Построенная им церковь il Redentore (Искупителя) относится к 1576 году.

С т р. 292. «*Osservatore Triestino*» — основанная в 1784 году итальянская газета, выходившая в австрийском (ныне итальянском) портовом городе Триест.

...*на Дунае произошло решительное сражение*...— За исключением уничтожения у Никополя в марте 1854 г. турецкой флотилии, никаких крупных военных действий на Дунае в марте и апреле 1854 г. не происходило.

...*Силистрия взята*...— Турецкая крепость на правом берегу Дуная Силистрия была осаждена русскими войсками в апреле 1854 г., но затем осада была снята.

...*Сербия уже объявила себя независимою*.— Во время Крымской войны Сербия формально сохраняла нейтралитет; независимым государством она стала лишь в 1878 г.

С т р. 293. ...*место Марино Фалиеро*...— Марино Фалиери (Falieri, 1273—1355) — венецианский дож с 11 октября 1354 г.; был обезглавлен 17 апреля 1355 г. в связи с раскрытием его заговора против аристократического правительства Венеции. Судьбе Марино Фалиери посвящены многочисленные произведения литературы и искусства.

...*справедливо сказал Байрон*...— Цитируется первая строка первой строфы четвертой песни поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1818). Мост вздохов (Ponto dei sospiri) — крытый мост, соединявший (через канал) Дворец дожей с тюрьмой для уголовных преступников.

Бустрапá — прозвище императора Франции Наполеона III (1808—1873), составленное из начальных слогов названий городов, в которых он пытался произвести переворот (Булонь в 1840 г., Страсбург в 1836 г. и Париж в ночь на 2 декабря 1851 г.).

Пальмерстон — лорд Генри Джон Темпль Пальмерстон (Palmerston, 1784—1865) — министр внутренних дел Великобритании в 1852 г., один из главных инициаторов вступления Великобритании в войну с Россией на стороне Турции.

«*Les Châtiments*» — сборник стихотворений Виктора Гюго, вышедший в Брюсселе в 1853 году. Политические сатиры сборника направлены против Наполеона III и переворота 1851 года.

L'avenir — le gendarme de Dieu...— Цитируемый текст представляет собой окончание последней строфы стихотворения Гюго «On loge à la nuit», написанного в ноябре 1852 г. на острове Джерсей и вошедшего в четвертую книгу названного сборника «Кары» (см. предыдущее примечание).

Хорошо также сказал князь Вяземский...— Цитата из написанного в декабре 1853 г. стихотворения П. А. Вяземского без названия, впервые опубликованного в его сборнике «К ружью!» (СПб., 1854). Здесь, обращаясь к «храбрым вождям», «крестным сыновьям Полтавы и Петра», Вяземский писал:

Вы доказали вновь — и как нельзя яснее —
В заметку для друзей, в острастку для врага,
Что не отвыкли мы турить нашей по шее,
Что не отвык орел луне сшибать рога.
И оглушенная пальбой побед Европа
Твердит Баш-кадык-лáр, глаз не сводя с Синопа.

(см. названный сборник, № 3, с. 12—13). 19 ноября (1 декабря) 1853 г. русские войска на Кавказе под командованием генерал-лейтенанта князя В. О. Бебутова (1791—1858) нанесли поражение превосходящим силам турок в битве под Баш-Кадыкляром. О Синопе см. примеч. к с. 272—273.

...последняя книжка Прудона.. — Имеется в виду вышедшая в 1852 г. книга французского социалиста Пьера Жозефа Прудона (Proudhon, 1809—1865) «La révolution sociale» («Общественная революция»).

Стр. 297. *...в конторах «Ллойда»...* — «Ллойд» — английская (позднее международная) пароходная компания, возникшая в XVII веке; вела учет движения морских судов на всех океанах и морях мира.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

(с. 301)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Действующие лица повести «Первая любовь». Черновой автограф, 1 л. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 88, описание см.: *Mazon*, p. 19—22; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. 1, оп. 29, № 209, опубликовано: Revue des Études slaves, 1925, т. V, вып. 3—4, p. 259—261.

Титульный лист наборной рукописи повести «Первая любовь». Оборот первого листа разделен на две половины. С левой стороны перечень глав, с указанием, на какой странице каждая из них начинается, с правой — заключительная часть XI главы (окончательной пагинации) со слов: «Ну! вы опять заспорите о классицизме и романтизме...» — и кончая словами: «Она полюбила,— невольно шептали мои губы.— Но кого?» Фрагмент основной наборной рукописи. Хранится в *ИРЛИ*, ф. 441, № 22; см.: *ПД*, *Описание*, с. 14, № 21.

Наборная рукопись повести «Первая любовь», черновой автограф с многочисленными поправками и дополнениями. Пометы И. С. Тургенева: «В этой книжке: „Накануне“ — 221 стр., „Первая любовь“ — 94 стр.»; «Напечатана в 1-й книжке „Русского вестника“ за 1860-й год». На л. 1 — помета П. Виардо: «Часть л. 85, с текстом, вырвана». Хранится в *ГПБ*, ф. 795, ед. хр. 22; см.: *ГПБ*, *Описание*, с. 18—19, № 24.

Перебеленный текст из VIII главы повести «Первая любовь» со слов: «Странное влияние имел на меня отец» — и кончая словами: «рука его отклоняла меня — ласково и мягко, но отклоняла». Беловой автограф. Наборная рукопись. Хранится в *ГБЛ*, ф. 306, картон 1, № 4; описание см.: *Сб ГБЛ*, с. 173.

Перебеленный текст из IX главы повести «Первая любовь» со слов: «...на всем, что она делала, говорила, над каждым ее движеньем» — и кончая словами: «...давала ему чувствовать, что и он у ней в руках». Беловой автограф. Наборная рукопись. Хранится в *ГБЛ*, ф. 306, картон 1, № 5; описание см.: *Сб ГБЛ*, с. 173.

Черновой автограф заключительных страниц повести «Первая любовь». На автографе позднейшая помета И. С. Тургенева: «Прибавленный хвост для французского издания в „Первой любви“». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave, 88; описание см.: *Mazon*, p. 62—63, фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 196. Опубликован: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 59—68.

Б-ка Чт, 1860, № 3, отд. 1, с. 1—76.

Т, *Соч*, *1860—1861*, т. III, с. 280—344.

Т, *Соч*, *1865*, ч. V, с. 1—74.

Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 5, с. 1—74.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 5, с. 1—72.

Т, Соч, 1880, т. 7, с. 299—370.
Т, ПСС, 1883, т. VII, с. 323—404.

Впервые опубликовано: *Б-ка Чт*, 1860, № 3, отд. I, с. 1—76, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 22 марта 1860 г.).

Печатается по тексту *Т, ПСС, 1883*.

По другим источникам в текст, взятый за основу, внесены следующие исправления:

Стр. 311, строка 6: «голову» вместо «головку» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 326, строки 10—11: «мне не становилось легче» вместо «мне становилось не легче» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 345, строка 40: «А вы, граф...» вместо «А вы, граф?...» (по всем другим источникам).

Стр. 349, строки 10—11: «добро! Стало быть, мои вчерашние предчувствия были справедливы!» вместо «добро!» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Замысел повести «Первая любовь» относится к концу 1850-х годов. В Парижском архиве Тургенева сохранился лист, на котором писатель набросал список действующих лиц двух произведений: «Первая любовь» и «Инсаров».

«Действующие лица повести *Первая любовь*.
Я, мальчик 15 лет.—
Мой [отец] — 38 лет.
Моя мать — 40 л.
Зенеида Николаевна — 20 лет.
Ее мать — 45 л.; ее брат 14 лет.
Гусар Беловзоров, 26 лет.
Майданов, поэт романт⟨ической⟩ ш⟨колы⟩, 22 года.
Лушин, Воин Осипыч, 34 года.
Граф Малецкий, 30 лет.
Нармацкий, 50 лет.»

А. Мазон датирует эту запись январем 1858 г. (см.: Mazon, p. 60) [1].

К осуществлению замысла повести Тургенев приступил сразу же после завершения работы над романом «Накануне». На титульном листе наборной рукописи имеется помета писателя: «Начата в Петербурге в первых числах 1860-го года. Кончена в Петербурге в четверг, 10-го/22 марта 1860-го года». В ходе работы над повестью замысел ее не изменился, за исключением некоторых незначительных деталей. В окончательном варианте изменен возраст героев: Володе — 16 лет, его отцу 40, матери 50 и Зинаиде 21 год. Изменена также фамилия графа Малецкого на Малевский. Сюжет «Первой любви» автобиографичен, о чем Тургенев говорил неоднократно. Н. А. Островская в своих воспоминаниях так передает рассказ Тургенева о событиях, изображенных в повести: «В „Первой любви“ ⟨. . .⟩ я изобразил своего отца. Меня многие за это осуждали, а в особенности осуждали за то, что я этого никогда не скрывал. Но я полагаю, что

[1] Высказано предположение, что толчком к созданию автобиографической повести могло послужить знакомство Тургенева с напечатанным в 1857 г. в «Отечественных записках» рассказом Ф. М. Достоевского «Маленький герой». Оба произведения близки не только тематически: в них совпадают и некоторые детали в описании героев-мальчиков (см.: *Достоевский*, т. 2, с. 507).

дурного в этом ничего нет. Скрывать мне нечего. Отец мой был красавец; я могу это сказать потому, что я нисколько на него не похож,— я похож лицом на мать. Он был очень хорош — настоящей русской красотой. Он обыкновенно держал себя холодно, неприступно, но стоило ему захотеть понравиться — и в его лице, в его манерах появлялось что-то неотразимо очаровательное. Особенно становился он таким с женщинами, которые ему нравились» (*Т сб (Пиксанов)*, с. 91—92). Об автобиографичности «Первой любви» пишет и А. В. Половцев, который передает в своих воспоминаниях следующие слова Тургенева: «Одну только повесть я перечитываю с удовольствием. Это „Первая любовь". Она, пожалуй, мое любимое произведение. В остальном — хотя немного, да выдумано, в „Первой любви" же описано действительное происшествие без малейшей прикраски, и при перечитывании действующие лица встают как живые предо мною» (Царь-колокол, иллюстрированный всеобщий календарь на 1887 г., с. 77). Опубликованный впервые в 1964 г. Андре Мазоном «Мемориал» подтверждает автобиографический характер повести. Там под 1833 годом следует запись: «Новый год в Москве. (Первая любовь). Кн⟨яжна⟩ Шаховская. Я себе ломаю руку.— Определение в Университет.— NB. *Перепутье*.— Житье на даче против Нескучного» (наст. изд., т. 11). Отец Тургенева, Сергей Николаевич, был образованным и просвещенным человеком. В молодости, живя в Петербурге, он сблизился с декабристами, впоследствии за ним было установлено секретное наблюдение. С. Н. Тургенев дружил с писателем М. Загоскиным и не был чужд литературных интересов [2]. Разыскания последних лет, проведенные Н. М. Черновым, позволяют назвать и другие реальные прототипы повести. Так, под именем Зинаиды Засекиной изображена княжна Екатерина Львовна Шаховская, поэтесса, автор сборника «Сновидения. Фантасмагория» (М., 1833) и других произведений, печатавшихся в 1832—1833 годах в «Молве» [3].

Сохранившаяся наборная рукопись «Первой любви» является основным источником текста, отражающим все стадии работы Тургенева над повестью.

Как свидетельствует рукопись, Тургенев не сразу определил возраст своего героя. Там везде говорится, что герою было пятнадцать лет, и только в печатном тексте «пятнадцать» исправлено на «шестнадцать». Это изменение возраста героя, очевидно, было вызвано тем, что, рассказывая о событиях, происходивших с ним в 1833 г., Тургенев первоначально указал свой действительный возраст, а в ходе работы пришел к выводу, что герою должно быть не менее шестнадцати лет для того, чтобы он был способен пережить сложную психологическую драму, составляющую содержание повести.

Судя по перечню действующих лиц, Тургенев собирался рас-

---

[2] Об этом см.: Клеман М. К. Отец Тургенева в письмах к сыновьям.— В кн.: *Т сб (Кони)*; Ден Т. П. С. Н. Тургенев и его сыновья.— Русская литература, 1967, № 2, с. 129—135; Громов В. А. Секретное наблюдение за С. Н. Тургеневым и его письма к А. И. Тургеневу.— *Т сб*, вып. 3, с. 211—216.

[3] См.: Чернов Н. Повесть И. С. Тургенева «Первая любовь» и ее реальные источники.— Вопросы литературы, 1973, № 9, с. 225—241.

сказать историю столкновения отца и сына, но потом, желая, очевидно, затушевать связь повести с реальными событиями его собственной юности, сделал Володю сиротой и поселил у дяди [4]. Затем дядя был превращен в отчима [5], и только в главе IV Тургенев вернулся к первоначальному определению родственных отношений и внес соответствующие исправления в первые главы повести.

Тургенев придавал большое значение психологической мотивированности отношений между отцом и сыном и много раз переделывал те части повести, где рассказывалось о характере этих отношений. Автор не сразу нашел нужное определение для возникавшей иногда между отцом и сыном дружеской близости, не снимавшей, однако, снисходительной холодности отца. Правка этих страниц была настолько значительной, что Тургенев вынужден был их перебелить на отдельном листе (см. с. 478). В гл. XX повести Тургенев сделал специальную вставку для того, чтобы сообщить читателю, что у молодого героя «против отца ⟨. . .⟩ не было никакого дурного чувства».

Образ Зинаиды — один из центральных в повести. Судя по рукописи, Тургенев придавал особое значение внешнему облику героини. Работая над портретом Зинаиды, он испробовал пять определений, прежде чем назвал ее глаза светлыми [6]. В связи с этим уместно вспомнить запись в «Дневнике» Гонкуров, сделанную 5 мая н. ст. 1877 года и содержащую рассказ о том, как Тургенев представлял себе изображение любви в литературе. «Он уверяет,— пишет Гонкур,— что любовь — чувство совершенно особой *окраски*, что Золя пойдет по ложному пути, если не признает эту особую окраску, отличающую любовь от всех других чувств. Он уверяет, что любовь оказывает на человека влияние, несравнимое с влиянием любого иного чувства, что всякий, кто по-настоящему влюблен, как бы полностью отрекается от себя. Тургенев говорит о совершенно необыкновенном ощущении наполненности сердца. Он говорит о глазах первой любимой им женщины, как о чем-то совершенно нематериальном, неземном» [7]. Значительной правке подверглись также те страницы повести, которые впервые знакомили читателей с характером героини. Исправления этого отрывка из IX главы были столь многочисленны, что Тургенев переписал его на отдельном листе (см. с. 478).

Необыкновенная любовь Зинаиды, происшедший в ней перелом требовали тщательной психологической мотивированности, и Тургенев уделил много внимания уяснению обстоятельств, подготовивших героиню к тому, что она смело и не задумываясь о будущем отдалась первому истинному чувству. Из сделанных дополнительно вставок читатель узнает, что Зинаида тяготится окружающей ее

---

[4] Первоначально было: «Я жил в доме моего родного дяди, брата моего отца ⟨. . .⟩ (Я не знаю, сказывал ли я вам, что отца и мать я потерял в ранней молодости)» (*Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 336).

[5] В рукописи было: Я жил у вотчима в Москве (там же).

[6] Первоначально было: *а*. прекрасные глаза, *б*. глубокие темносерые глаза, *в*. чудесные глаза, *г*. светлые живые глаза (*Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 343).

[7] См.: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969, т. 2, с. 290.

обстановкой [8] и не дорожит собственной жизнью. Так, например, текст: «Потом явилась Зинаида ᔕ еще раз сказал мне Лушин» на с. 332—333 является дополнительной вставкой. Примечательна вставка, свидетельствующая о стремлении автора наделить героиню чувством прекрасного (см. текст на с. 344: «Вы любите роскошь? ᔕ Итак, бал великолепный»).

В окончательном тексте Тургенев ввел дополнительные психологические намеки, раскрывающие читателю смысл происходящих событий. Появилось описание разговора Володи с Зинаидой в саду, из которого становится ясно, что героиня глубоко несчастна и что у нее нет надежды на лучшее будущее (см. текст: «Всё мне опротивело ᔕ боже мой, как тяжело!» — на с. 329); прибавился эпизод чтения стихотворения Пушкина «На холмах Грузии», заканчивающийся репликой Зинаиды: «Что не любить оно ⟨сердце⟩ не может — и хотело бы, да не может!» (с. 330). Кроме того, Тургенев дополнил одно из обращений Зинаиды к юному герою повести словами, являющимися косвенным признанием, что она любит именно его отца (см. текст: «Ах, я очень виновата... ᔕ я вас люблю — вы и не подозреваете, почему и как...» — на с. 353).

Однако наибольшее значение имеет добавленная Тургеневым глава XI. В ней Зинаида, рассказывая свой «сюжет», как бы сравнивает себя с той «девушкой в белом», которая по собственной воле пошла навстречу страстям и, покинув своих невинных подруг, смешалась с толпой вакханок.

Впоследствии Тургенев заметил, что в Зинаиде он изобразил «кокетку по природе, но кокетку действительно привлекательную» (*Т сб (Пиксанов)*, с. 92). В первоначальном варианте образ героини был лишен каких бы то ни было отрицательных качеств, и только в ходе работы писатель сделал добавления, подчеркнувшие в ее характере свойства, дающие основания называть ее кокеткой (см., например, текст: «А она любит лесть? ᔕ Итак, королева» — на с. 344). Двойственное отношение Тургенева к Зинаиде может быть, вероятно, объяснено его сложным отношением к прототипу героини, Е. Л. Шаховской, которую мать писателя, Варвара Петровна, считала повинной в смерти мужа (см. указ. статью Н. М. Чернова, с. 234—236, 241).

Образ отца Володи, Петра Васильевича, в повести окружен ореолом некоторой таинственности. Как свидетельствует рукопись, Тургенев стремился придать внутреннему миру этого персонажа особую значительность. Так, он вписал на полях разговор Петра Васильевича с сыном о том, что свобода человека зависит от его «собственной воли» (см. текст: «Сам бери, что можешь ᔕ и будешь свободным, и командовать будешь» — на с. 324). В первоначальном варианте этой вставки Тургенев подчеркивал эгоизм Петра Василье-

---

[8] Подчеркивая неприглядность домашнего быта Зинаиды, Тургенев в то же время стремился соблюсти должную меру и при описании образа жизни в доме княгини Засекиной убрал в окончательном варианте упоминание о «цыганском элементе». Так, в рукописи после слов: «Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме» — было начато и зачеркнуто: «несколько цыганский образ жизни развили в ней какую-то...» (*Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 355).

вича и его желание властвовать над другими. Так, вместо слов: «самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни» — первоначально было: «Самому себе принадлежать да других гнуть под себя— другого нет счастья на земле» (*Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 352).

Так же, как и в более ранних произведениях («Затишье», «Переписка» и др.), любовь в повести осмысливается как чувство трагическое и неизбежно предполагающее рабскую зависимость одной из сторон. Этот аспект взаимоотношений героев повести имел для автора «Первой любви» существенное значение, о чем свидетельствует, например, тот факт, что, описывая эпизод, когда отец героя бьет Зинаиду по обнаженной руке хлыстом (см. с. 360), Тургенев сделал большое количество вставок и исправлений с целью подчеркнуть их неравенство в любви.

Анализ рукописи позволяет отметить колебания Тургенева при установлении последовательности событий и определении дальнейшей судьбы некоторых действующих лиц. Так, в отброшенном варианте Володя должен был догадаться о характере отношений между его отцом и Зинаидой гораздо раньше, непосредственно после встречи с отцом ночью в саду, Беловзоров кончал жизнь самоубийством, а Зинаида уезжала за границу, и герой узнавал о ее смерти только через полгода.

Пейзаж в повести «Первая любовь» играет исключительную роль. Описания природы в ней как бы сливаются с переживаниями героев, оттеняя и разъясняя их. Однако такой органичности включения пейзажа в психологический рисунок повести Тургенев добился не сразу. Он менял места включения пейзажа в ходе повествования, согласовывая его с соответствующими описаниями состояния героев, подвергал правке и т. д. Работая над ночным пейзажем в гл. VII, Тургенев в трех местах вписал и затем зачеркнул эпитет «зловещий», считая, очевидно, что он не передавал бы состояние героя — взволнованное, мятежное, но лишенное оттенка трагизма.

После опубликования «Первой любви» в «Библиотеке для чтения» во всех других прижизненных русских изданиях текст повести печатался без каких-либо существенных изменений. Исключение представляет авторизованный французский перевод повести, появившийся в Париже в 1863 г. (см.: Nouvelles scènes de la vie russe. Eléna. Un premier amour, par Ivan Tourguénef. Traduction de H. Delaveau. Paris. E. Dentu, 1863, p. 297—428). Для этого издания Тургенев дописал заключение, в котором раскрыл отношение к событиям, составляющим содержание повести, каждого из присутствовавших при чтении рассказа Владимира Петровича. В парижском архиве писателя сохранился черновой автограф этого текста. Приводим его полностью и с тем названием, которое дал ему сам Тургенев:

«ПРИБАВЛЕННЫЙ ХВОСТ ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО ИЗДАНИЯ В „ПЕРВОЙ ЛЮБВИ“

В⟨ладимир⟩ П⟨етрович⟩ умолк и поник головою, как бы выжидая слова. Но ни С⟨ергей⟩ Н⟨иколаевич⟩ [9], ни хозяин дома не прерывал молчания, и сам он не поднимал глаз от своей тетради.

---

[9] В автографе здесь и далее ошибочно вместо: С⟨ергей⟩ Н⟨иколаевич⟩ — С⟨ергей⟩ П⟨етрович⟩.

— Кажется, господа,— начал он наконец с неловкой улыбкой, — исповедь моя вам наскучила?

— Нет,— возразил ⟨Сергей Николаевич⟩ [10],— но . . .

— Что „но"?

— Так. . . Я хотел сказать, что в странное время мы живем. . . и люди мы странные.

— Это почему?

— Мы странные люди,— повторил С⟨ергей⟩ Н⟨иколаевич⟩.— Ведь вы ничего не прибавили в вашей исповеди?

— Ничего.

— Гм. Впрочем, это заметно. Мне кажется, в одной России. . .

— Такая история возможна! — перебил В⟨ладимир⟩ П⟨етрович⟩.

— Такой рассказ возможен.

В⟨ладимир⟩ П⟨етрович⟩ помолчал.— А как ваше мнение? — спросил он, обращаясь к хозяину дома.

— Я согласен с С⟨ергеем⟩ Н⟨иколаевичем⟩,— отвечал он, тоже не поднимая глаз.— Но не пугайтесь, мы не хотим этим сказать, что вы дурной человек, напротив. Мы хотим сказать, что жизненные условия, в которых мы все воспитались и выросли, сложились особенным, небывалым образом, который едва ли повторится. Нам стало жутко от вашего простого и безыскусственного рассказа... не потому, чтобы он нас поразил своею безнравственностью — тут что-то глубже и темнее простой безнравственности. Собственно вы ни в чем не виноваты, но чувствуется какая-то общая, народная вина, что-то похожее на преступление.

— Какое преувеличение! — заметил В⟨ладимир⟩ П⟨етрович⟩.

— Может быть. Но я повторяю „Гамлета": „есть что-то испорченное в Датском королевстве". Но будем надеяться, что нашим детям не придется так рассказывать свою молодость.

— Да,— задумчиво промолвил В⟨ладимир⟩ П⟨етрович⟩.— Это будет зависеть от того, чем эта молодость будет наполнена.

— Будем надеяться,— повторил хозяин дома, и гости разошлись в молчании».

Во французском переводе дополнение к «Первой любви» было напечатано полностью, за исключением последних строк от слов: «Да,— задумчиво промолвил» и до конца.

Вслед за французским изданием 1863 г. «Первая любовь» с прибавленным концом появилась в немецком издании в переводе Ф. Боденштедта (см.: Erzählungen von Iwan Turgenjew. Deutsch von Friedrich Bodenstedt, 2 Bd., München, 1865). В письме к Фридриху Боденштедту от 13 августа 1863 г. Тургенев просил, чтобы при работе над переводами его произведений на немецкий язык были учтены сделанные им дополнения и исправления текста в предшествующих французских изданиях.

В той же редакции «Первая любовь» была напечатана и в 1881 г. в т. XI двенадцатитомного собрания сочинений Тургенева на немецком языке, изданном Е. Бере в 1869—1884 годах (*Ausgewählte Werke*) [11]. Выход в свет XI тома этого издания был отмечен рецен-

---

[10] Имя, пропущенное в автографе, восстановлено по французскому тексту.

[11] Установленное Тургеневым правило печатать «Первую любовь» для иностранных читателей только со специально для них

зией немецкого критика Роберта Бира (Robert Byr) [12], появившейся в январском номере журнала «Das Magazin für die Literatur des In- und Auslandes» за 1882 г. Анализируя повести Тургенева и в том числе «Первую любовь», Р. Бир отрицал социальную обусловленность личных судеб их героев и не считал оправданным их «трагический исход», объясняя пристрастие писателя к «меланхолическим вечерним теням» его национальным настроением, элегическим, «как славянская песня» (с. 12).

Рецензия Р. Бира вызвала протест Тургенева. Однако, упрекая в письме к Л. Пичу от 3 (15) февраля 1882 г. немецкого рецензента в превратном толковании его повестей, Тургенев заявил, вопреки очевидности, что рассуждение, «привешенное» впервые в 1863 г. к концу французского перевода «Первой любви», которому Р. Бир придавал особое значение, написано не им, а Луи Виардо.

Хотя факты в этом письме были перепутаны, всё же знаменательно, что Тургенев не забыл обстоятельств, побудивших его написать заключительные страницы к уже широко известной в России повести, т. е. указал на то, что эти страницы были добавлены «из соображений морального свойства». Смысл этого утверждения Тургенева прояснится, если принять во внимание многочисленные отклики на «Первую любовь» в русской критике и в кругу знакомых Тургенева [13].

«Первая любовь», напечатанная в третьей книжке «Библиотеки для чтения» за 1880 г., вышла в свет в момент ожесточенных споров вокруг «Накануне» (см. с. 452—468). Новая повесть Тургенева встречена была с особым интересом, так как она должна была определить, в каком направлении развивается творчество писателя после «Накануне». «Нам стало очевидно,— писал рецензент реакционной газеты „Наше время“,— что Тургенев выбрал себе в искусстве новый путь, от которого едва ли можно ожидать таких произведений, как „Фауст“, „Записки охотника“ и пр.» (Наше время, 1860, № 16, 1 мая). Вслед за М. И. Дараганом и «Русской женщиной» (Н. П. Грот) [14] М. Власьев утверждал, что в «Первой любви», как и в «Накануне», писатель изобразил девушку, «лишенную всякого нравственного чувства» (там же).

Однако новая повесть Тургенева не вызвала единодушного одобрения и у тех критиков, которые высоко оценили «Накануне». Так, рецензент «Московских ведомостей», редактором которых был тогда В. Ф. Корш, писал: «Чтобы уяснить себе вопрос, почему „Накануне“ возбудило такой интерес в обществе, сравните его с повестью того же автора, явившеюся почти в то же время: мы гово-

---

написанным концом нарушил Петер Бранг, издавший эту повесть на французском языке в «русском» варианте, без «хвоста» (см.: Tourguéniev. Premier amour. Trad. de Michel Rostislav Hofmann. Chronologie, préf., notes et arch. de l'oeuvre par Peter Brang. Paris, 1974. Рец.: Никитина Н. С. Новое французское издание «Первой любви».— В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 228—237).

[12] Псевдоним Карла Байера (Karl Bayer).

[13] Об этом подробно см.: Кийко Е. И. Окончание повести «Первая любовь» (1860).— *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 59—68.

[14] См. их статьи, посвященные «Накануне» Тургенева, в газете «Наше время» (1860, № 9, 13, 17, 18).

рим о „Первой любви“. И там и здесь рассказ мастерский, увлекательный, но после „Накануне“ вы невольно задумаетесь, а „Первую любовь“ прочтете равнодушнее. Причина понятна. Последняя повесть не возбуждает в вас никаких высших вопросов; там нет благородных типов, вызывающих на симпатию. Интерес сосредоточивается главным образом на чувстве эстетической любви; герой повести ⟨т. е. отец⟩ лицо несимпатичное, хотя он и драпируется перед нами в каком-то испанском плаще и прикидывается человеком с железною волею; но, увы, этот господин с железною волею женился по расчету, и сквозь его изящные, аристократические манеры, соединенные с необыкновенным самообладанием, читатель ясно видит холодную эгоистическую натуру, которая служит только идее комфорта и собственного наслаждения ⟨. . .⟩ Героиня в этой повести не более как кокетливая, в высшей степени капризная и далеко не нравственная личность. Следовательно, идеалов для нашей жизни тут нет» (*Моск Вед*, 1860, № 101, 7 мая).

Д. И. Писарев и Н. А. Добролюбов, не дав общей оценки «Первой любви», обратили внимание только на образ Зинаиды Засекиной. Писарев заявил, что он не понимает характера этой героини [15], а Добролюбов увидел в ней «нечто среднее между Печориным и Ноздревым в юбке» [16] и почти отрицал возможность реального существования таких женщин. «...Никто такой женщины никогда не встречал,— писал он,— да и не желал бы встретить» (*Добролюбов*, т. 2, с. 575).

Одобрительно, почти восторженно о повести отозвался рецензент «Санкт-Петербургских ведомостей», который писал: «„Первая любовь“ вся состоит из силы, вся начата и кончена одним мастерским приемом. К концу произведения у автора сохранился еще такой запас вдохновения, что он вылился в речах, напоминающих заключительные строфы в стихотворениях Пушкина» (*СПб Вед*, 1860, № 97, 5 мая). В той же тональности написана и рецензия Н. Н. Булича. По мнению рецензента, от «горячих страстных страниц» повести Тургенева веяло «тайной прелестью действительных воспоминаний первой любви, молодым восторгом и молодой скорбью» (*Рус Сл*, 1860, № 5, отд. II, с. 29).

Решительно восстал против обвинений Тургенева в безнравственности Ап. Григорьев. В статье «Искусство и нравственность» он писал: «Всякий протест страшен приверженцам существующего, но в особенности страшен он, когда облекается в художественные формы». И в другом месте той же статьи: «...читатели ⟨. . .⟩ читают с трепетом наслаждения „Первую любовь“, хоть в ней ничего нет ни обличающего, ни поучительного — ничего, кроме порыва, благоухания и поэзии. . . а критика и часть общественного мнения подымают вопль за нравственность» (Светоч, 1861, № 1, Критическое обозрение, с. 20, 9).

В кругу ближайших знакомых Тургенева к «Первой любви» также отнеслись не все одинаково. Литературные друзья и советчики одобрили повесть. Тургенев писал об этом Фету 13 (25) марта 1860 г.: «Повесть моя называется „Первая любовь“. Сюжет ее Вам, кажется, известен. Читал я ее на днях ареопагу, состоявшему из Островского, Писемского, Анненкова, Дружинина и Майкова ⟨. . .⟩

---

[15] «Писемский, Тургенев, Гончаров».— *Писарев*, т. 1, с. 266.
[16] «Луч света в темном царстве».— *Добролюбов*, т. 2, с. 345.

Ареопаг остался доволен и сделал только несколько неважных замечаний». Повесть понравилась и Толстым, о чем мы узнаем из письма Тургенева к Фету, где он писал 1 (13) июня 1860 г.: «Мне приятно, что „Первая любовь" нравится Толстым: это ручательство». «Твоя „Первая любовь" — восхитительная вещь»,— утверждал также А. И. Герцен в письме к Тургеневу от 6 (18) мая 1860 г. (*Герцен*, т. XXVII, кн. 1, с. 49).

В то же время Е. Е. Ламберт прислала Тургеневу критические замечания некоего г-на Г., касавшиеся, по-видимому, нравственного облика героев повести (см.: *Granjard*, *Ivan Tourguénev*, p. 136). Листок с замечаниями г-на Г. утрачен, и о характере упреков неизвестного критика можно судить только по ответному письму Тургенева. Он писал 18 февраля (2 марта) 1861 г. Е. Е. Ламберт: «Возвращаю Вам письмо г-на Г. Должно быть, он прав (мой приятель Виардо точно такого же мнения о „Первой любви"), и мне не служит извинением то, что я нисколько не воображал выбранный мною сюжет безнравственным. Это скорее — une circonstance aggravante ⟨отягчающее обстоятельство⟩. Против одного я однако позволю себе протестовать; а именно: я писал вовсе не с желанием бить, как говорится, на эффект; я не придумывал этой повести; она дана мне была целиком самой жизнью. Спешу прибавить, что это меня не оправдывает; я, вероятно, не должен бы был касаться всего этого. Говорю: вероятно, потому что не хочу лгать. Если бы кто-нибудь меня спросил, согласился ли бы я на уничтожение этой повести, так, что и следа бы от нее не осталось... я бы покачал отрицательно головой. Но я с охотой соглашаюсь никогда не говорить и не вспоминать больше о ней».

О. С. Аксаковой «Первая любовь» также не понравилась. Она писала своему сыну И. С. Аксакову 11 (23) апреля 1860 г.: «Повести его ⟨Тургенева⟩ „Накануне" и „Первая любовь" даже отвратительны своею безнравственностью» (*ИРЛИ*, ф. 3, оп. 3, № 39, л. 105 об.).

Тургенев предполагал еще в период работы над повестью, что после ее опубликования его будут обвинять в безнравственности; поэтому он придавал большое значение заключительному эпизоду повести («смерть старушки»), не имеющему прямого отношения к главной сюжетной линии рассказа. Об этом он писал Фету 1 (13) июня 1860 г.: «Приделал же я старушку на конце — во-первых потому, что это действительно так было — а во-вторых потому, что без этого отрезвляющего конца крики на безнравственность были бы еще сильнее».

Резко критиковал повесть Тургенева и Луи Виардо.

Тургенев, очевидно, обратился осенью 1860 г. в редакцию журнала «Revue des Deux Mondes» с предложением опубликовать там перевод «Первой любви», но получил отказ. В ответ на жалобу Тургенева по этому поводу Луи Виардо писал ему 11 (23) ноября 1860 г.: «Я буду говорить о вашей „Первой любви". Честно говоря, если бы я был редактором „Revue des Deux Mondes", я также отказался бы от этого маленького романа и по той же причине. Я весьма опасаюсь, что он, незаметно для вас самого, является тем, что справедливо называют нездоровой литературой. Все его персонажи приближаются к отвратительному: и старая княгиня с табаком, и девушка, которая кокетничает своей продажностью, и граф, и поляк, и поэт: никто из них не вызывает участия и не забавляет. Кого же она изберет среди своих обожателей, эта новая „Дама с камелиями"? Женатого мужчину. Снова адюльтер, всегда процветающий и

прославляемый адюльтер! Этот мужчина женится на немолодой женщине по расчету, он растрачивает состояние этой женщины на то, чтобы приобретать молоденьких любовниц. Неважно! Это очаровательный, обаятельный, неотразимый человек. Почему, по крайней мере, не сделать его вдовцом? К чему жалкая и бесполезная фигура его жены? А кто же рассказывает эту скандальную историю? Его сын, о стыд! Его собственный сын, который не следует за детьми Ноя, прикрывшими опьянение и наготу своего отца, но который выставляет их на всеобщее обозрение. И не в шестнадцать лет он рассказывает об этом, но в сорок, когда волосы его седеют, и он не находит слова упрека или сожаления по поводу прискорбного положения своих родителей. Чему же служит, после всего этого, талант, растрачиваемый на такой сюжет!»[17]

В отличие от редактора «Revue des Deux Mondes» и Л. Виардо Флобер очень высоко оценил «Первую любовь». Прочитав «Nouvelles scènes de la vie russe», где кроме «Первой любви» был напечатан еще роман «Накануне», Флобер писал Тургеневу в конце марта 1863 г.: «Чем я восхищаюсь более всего в Вашем даровании, так это его *изяществом*,— этим высшим свойством. Вы умеете изображать правду без банальности, умеете быть чувствительным без жеманности и комичным без малейшей низменности ⟨. . .⟩ Что касается Вашей „Первой любви“, то я ее понял особенно хорошо потому, что это история, которая произошла с одним из моих очень близких друзей. Все старые романтики (я один из них, я, который клал кинжал под голову),— все они должны быть признательны Вам за этот маленький рассказ, который так много говорит об их юности. Какая поразительная девушка Зиночка! Одно из Ваших качеств — это умение изобретать женщин. Они идеальны и реальны. Они обладают притягательной силой и окружены ореолом. Но над всем этим произведением и даже над всем томом господствуют две строки: „Я не испытывал никакого дурного чувства к отцу. Напротив, он, так сказать, еще вырос в моих глазах“. Это мне представляется ужасающей глубиной. Будет ли это замечено? Не знаю. Но для меня здесь возвышенное»[18].

---

[17] *T. Nouv corr inéd*, t. II, p. 115—116 (русский перевод — А. М. Березкина).

В предисловии к книге (p. XXX—XXXIV) и в примечаниях к данному письму А. Звигильский высказал мнение, что первый перевод «Первой любви» для журнала «Revue des Deux Mondes» был сделан Луи Виардо и что Тургенев не ошибся, назвав его переводчиком этой повести в указанном выше письме к Л. Пичу от 3 (15) февраля 1882 г. С этим утверждением исследователя нельзя согласиться по следующим причинам. 1. Из письма Виардо к Тургеневу ясно, что он впервые высказывает свое отношение к «Первой любви». Если бы Виардо был переводчиком этой повести, то все свои претензии к автору изложил бы в процессе работы, тем более, что переводы с русского он всегда осуществлял с помощью Тургенева (см. там же, p. XXXI—XXXIV). 2. Вряд ли Виардо взялся бы переводить произведение, вызывающее у него такую неприязнь. 3. Если бы перевод «Первой любви» уже был сделан Виардо, Тургенев не заказывал бы новый Делаво, так как это могло оскорбить Виардо.

[18] Flaubert Gustave. Lettres inédites à Tourguéneff. Monaco, 1946, p. 5—6. (Русский перевод А. М. Березкина).

Тургенев всегда внимательно относился к тому, что говорилось о его произведениях, и заключительные страницы «Первой любви», появившиеся во французском издании 1863 года, были написаны, по-видимому, в ответ на критические замечания, высказанные по поводу этой повести

Не считая возможным вторгаться в ткань произведения, которое он сам считал художественно завершенным, Тургенев прибег к прямому объяснению сути событий, рассказанных в повести. Повесть по ее замыслу должна была наводить читателя на мысль, что в русском обществе «есть что-то испорченное», мешающее гармоническому развитию человеческой личности.

Моралистические рассуждения в конце «Первой любви», никогда не печатавшиеся в русских изданиях повести, были обращены к широкой французской и вообще европейской публике, которой трудно было проникнуть в особенности русской психологии и которая требовала соблюдения внешних приличий в значительно большей степени, чем русская.

«Первая любовь» до конца жизни Тургенева оставалась его любимым детищем: «Это единственная вещь,— говорил он,— которая мне самому до сих пор доставляет удовольствие, потому что это сама жизнь, это не сочинено... „Первая любовь" — это пережито» (*Рус Вед*, 1883, № 270, 2 октября).

«Первая любовь» Тургенева получила широкое признание за рубежом. Эта повесть была переведена при непосредственном участии писателя на французский и немецкий языки. Кроме того, еще при жизни Тургенева «Первая любовь» была переведена в Швеции (1868), Дании (1872) и Италии (1876).

Стр. 304. *...курс Кайданова...*— И. К. Кайданов (1780—1843) — педагог-историк, автор многих учебников по всеобщей и русской истории, выдержавших большое количество изданий и переводившихся на европейские языки.

Стр. 307. *Княжеский титул ∽ прочел «Разбойников» Шиллера.*— В драме «Разбойники» (1781) сказался протест ее автора против феодально-абсолютистского строя и феодальной морали. О популярности «Разбойников» Шиллера в 30-х годах XIX века и об их особенном воздействии на умы молодежи писал неоднократно Белинский (ср., например, в статье «Несколько слов о чтении романов» (1848): «...после первого представления „Разбойников" несколько молодых людей пошли в леса промышлять по образцу героев Шиллера».— *Белинский*, т. 10, с. 375).

Стр. 320. *...с каким-то приказным от Иверских ворот. . .*— Иверские ворота находились в Москве, между теперешними зданиями Исторического музея и Музея В. И. Ленина. Возле них в XIX веке собирались приказные, услугами которых пользовались частные лица для ведения судебных дел и составления официальных бумаг.

Стр. 322. *. . .воробьиная ночь* — летняя грозовая ночь с непрерывным блеском молний и раскатами грома.

Стр. 325. *Он был отличный ездок — и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.*— Сведения о Рери Тургенев, очевидно, почерпнул из рецензии И. Зенина на книгу «The modern art of taiming wild horses», B. J. S. Rerey. London, 1858. Автор рецензии писал, что Рери — выходец из Америки, «наделавший недавно столько шуму в Европе необыкновенным искусством

укрощать бешеных лошадей» (Атеней, 1858, ч. 4, с. 351). Как установила Л. М. Долотова, рецензия на книгу Рери была напечатана непосредственно после статьи П. В. Анненкова «О литературном типе слабого человека. (По поводу рассказа г-на Тургенева „Ася“)», которую Тургенев, несомненно, читал (см.: *Т*, *СС*, *1975*..., т. 6, с. 363).

Стр. 328. ...*звон колоколов Донского монастыря*...— Донской Богородицкий монастырь в Москве был основан в XVI веке царем Федором Ивановичем на том месте, где была одержана победа над крымским ханом Казы-Гиреем.

Стр. 330. «*Что не любить оно не может*»...— Из стихотворения Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла» (1829).

Стр. 333. ...*если б я была поэтом*, *я бы другие брала сюжеты*.— Сюжет, рассказанный Зинаидой, перекликается с содержанием поэмы «Сновидения» (1833) Екатерины Шаховской — поэтессы, которая послужила прототипом тургеневской героини (см.: Чернов Н. Повесть И. С. Тургенева «Первая любовь» и ее реальные источники.— Вопросы литературы, 1973, № 9, с. 231).

Стр. 334. ...*Тонкошеев*, *в своем испанском романе «Эль-Тровадор»*...— Тургенев имеет в виду книгу: «Эль-Тровадор, или Месть за месть. Испанская быль 1826 года. Сочинение русского» (М., 1833), изданную другом Н. В. Станкевича А. Тонкочеевым, который был и ее автором (Московский телеграф, 1833, ч. 51, № XII, июнь. Рус лит-ра, с. 617—624). В романе по испанскому правописанию употреблены перевернутые вопросительные и восклицательные знаки (см.: Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. Изд. Ленингр. ун-та, 1964, с. 184—185).

... *заспорите о классицизме и романтизме*.— Спор о классицизме и романтизме был главным содержанием литературной полемики 20-х и начала 30-х годов XIX века.

... *пурпуровые паруса* ∽ *навстречу Антонию*...— Об этом эпизоде рассказывается в «Жизнеописаниях» Плутарха, в главе, посвященной Антонию. В библиотеке Тургенева в Спасском сохранились переданные Музею И. С. Тургенева в Орле «Плутарховы сравнительные жизнеописания славных мужей», в переводе с греческого Спиридона Дестуниса, в XIII частях, СПб., 1820. О встрече Антония и Клеопатры см. ч. XII, с. 166—168.

... *как Полоний в «Гамлете»*, *решили*, *что облака напоминали именно эти паруса*. . .— Тургенев имеет в виду следующий диалог между Гамлетом и Полонием: «Гамлет: Видите вы вон то облако в форме верблюда? Полоний: Ей-богу, вижу, и действительно, ни дать ни взять — верблюд. Гамлет: По-моему, оно смахивает на хорька. Полоний: Правильно: спинка хорьковая. Гамлет: Или как у кита. Полоний: Совершенно как у кита» (акт III, картина 2).

Стр. 339. ...*Малек-Аделя*, *уносящего Матильду*...— Сюжетом для этой картины послужил один из эпизодов романа французской писательницы Софи Коттэн (1773—1807) «Матильда, или Записки, взятые из истории крестовых походов» (1805), неоднократно переводившегося и широко известного в России.

«*Не белы снеги*» — популярная русская народная песня, постоянно включавшаяся в различные песенники. Одну из первых ее публикаций см. в сб.: «Новейший российский песенник, содержащий в себе собрание новейших и употребительнейших всякого рода пе-

сен», СПб., 1818. «*Я жду тебя, когда зефир игривый*» — романс на слова П. А. Вяземского «Я жду тебя» (1816).

С т р. 339—340. ...*начал громко читать обращение Ермака к звездам из трагедии Хомякова...* — Имеются в виду следующие строки монолога Ермака из 3-го явления V действия одноименной исторической трагедии А. С. Хомякова (1804—1860):

Как я люблю под темным кровом ночи
Прохладным воздухом дышать,
И с тихим вдохновеньем очи
К лазури неба подымать!
Там звезды яркие катятся
Вокруг невидимых осей;
Они текут, они стремятся —
Река негаснущих огней.
О стражи сонного эфира!
Как мне приятен ваш дрожащий луч!
Мне кажется, он в сердце проникает,
И силой тайной, неземной,
Усталой груди возвращает
Давно утраченный покой.

Отдельное издание «Ермака» вышло в Москве в 1832 г. Трагедия эта пользовалась большой популярностью. В 1835 г. в статье «И мое мнение об игре г. Каратыгина» Белинский писал: «Закрывши рукой имена персонажей, я могу с наслаждением читать эту пьесу, ибо это собрание элегий и поэтических дум о жизни исполнено теплоты чувства и поэзии» (*Белинский*, т. 1, с. 186). Впоследствии, по-прежнему высоко ценя стихи «Ермака», критик отмечал, что в этой трагедии «... русского духа ⟨...⟩ слыхом не слыхать, видом не видать» (там же, т. 5, с. 298).

С т р. 340. «Journal des Débats» — французская газета, выходившая в Париже с 1789 г. Наиболее известным автором, печатавшим в конце 20-х — начале 30-х годов XIX века свои театральные фельетоны в этой газете, был писатель-романтик и критик Жюль Жанен (1804—1874), произведения которого пользовались популярностью в России.

С т р. 345. *Итак, королева ∽ под плеск фонтана.* — Эта фантазия — импровизация Зинаиды послужила темой для стихотворения С. Я. Надсона «Мечты королевы. На мотив из Тургенева» (1881—1882).

Барбье Анри Огюст (1805—1882) — французский поэт, прославившийся сборником стихов «Ямбы» (1831), в котором бичевались трусость и алчность буржуазии, предавшей революцию 1830 года.

«*Телеграф*» — «Московский телеграф», двухнедельный научно-литературный журнал; издавался в Москве (1825—1834) Н. А. Полевым при активном участии К. А. Полевого. В журнале печатались поэты и писатели романтического направления.

С т р. 347. «*Авантюрьерка*» — авантюристка, искательница приключений (от франц.: aventurière). В письмах к И. С. Тургеневу его мать, В. П. Тургенева, называет Е. Л. Шаховскую «поэткой» и «злодейкой» (см.: Ч е р н о в Н. Указ. статья.— Вопросы литературы, 1973, № 9, с. 230, 235).

С т р. 349. *«Куда, красавец молодой? ∽ «Ничего!»* — Слова Алеко и Земфиры из поэмы Пушкина «Цыганы» (1824).

С т р. 362. *Гостиница Демут.*— Названа по имени ее первого владельца Филиппа Якоба Демута (1750—1802); находилась в Петербурге на Мойке у Зеленого моста (ныне Мойка, д. 40). Тургенев неоднократно останавливался в этой гостинице.

С т р. 363. *Из равнодушных уст ∽ ей внимал я.*— Цитата из стихотворения Пушкина «Под небом голубым страны своей родной» (1825).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ[1]

Гончаров, Необыкновенная история — Гончаров И. А. Необыкновенная история.— В кн.: Сборник Российской публичной библиотеки. Пг., 1924. Т. 2, вып. 1, с. 7—189.

Гончаров и Тургенев — И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. По неизданным материалам Пушкинского Дома. С предисл. и примеч. Б. М. Энгельгардта. Пг.: Academia, 1923.

Мазон — Мазон А. Парижские рукописи И. С. Тургенева. Перевод с французского Ю. Ган под редакцией Б. Томашевского. М.; Л.: Academia, 1931.

Моск Вестн — «Московский вестник» (журнал).

ПД, Описание — Описание рукописных и изобразительных материалов Пушкинского Дома, вып. IV, И. С. Тургенев. Л.: Изд-во АН СССР, 1958.

Т, Двор гнездо, 1859 — Дворянское гнездо. Роман И. С. Тургенева. М., 1859.

Granjard, Ivan Tourguénev — Ivan Tourguénev, la comtesse Lambert et «Nid de seigneurs», par Henri Granjard. Paris, 1960. (Bibliothèque russe de L'Institut d'études slaves. t. XXXI).

T, Nouv corr inéd — Tourguénev Ivan. Nouvelle correspondance inédite. Textes rec., annot. et précédés d'une introd. par Alexandre Zviguilsky. Paris, 1971 (t. 1), 1972 (t. 2).

[1] В настоящем списке раскрываются условные сокращения, вводимые впервые.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

И. С. Тургенев. Фотография С. Л. Левицкого, 1856 г. *Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР. Ленинград.* Фронтиспис.

«Дворянское гнездо». Титульный лист автографа. *Национальная библиотека, Париж* **9**

«Дворянское гнездо». Страница автографа. *Национальная библиотека, Париж* **109**

«Дворянское гнездо». Оглавление в автографе. *Национальная библиотека, Париж* **111**

План романа «Накануне». Страница автографа. *Национальная библиотека, Париж* **185**

Перечень действующих лиц повести «Первая любовь» и романа «Накануне». Автограф. *Национальная библиотека, Париж* **305**

«Первая любовь». Страница чернового автографа. *Национальная библиотека, Париж* **359**

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Примечания
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО	5	370
НАКАНУНЕ	159	428
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ	301	478
ПРИМЕЧАНИЯ	365 —	492
Условные сокращения	493	
Список иллюстраций	494	

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
М. П. АЛЕКСЕЕВ (главный редактор),
В. Н. БАСКАКОВ (зам. главного редактора),
А. С. БУШМИН, Н. В. ИЗМАЙЛОВ, Н. С. НИКИТИНА

Тексты подготовили и примечания составили:
М. П. Алексеев, А. И. Батюто, И. А. Битюгова, Т. П. Голованова, Е. И. Кийко, А. П. Могилянский, Л. И. Ровнякова

Редакторы шестого тома
М. П. Алексеев, Н. В. Измайлов

*

Редактор издательства *М. Б. Покровская*
Оформление художника *М. В. Большакова*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технический редактор *Н. П. Кузнецова*
Корректоры *Н. М. Вселюбская, Г. М. Котлова*

ИБ № 22453

Сдано в набор 04.04.80.
Подписано к печати 02.03.81.
Формат 84×108 1/32.
Бумага типографская № 1.
Гарнитура обыкновенная.
Печать высокая.
Усл. печ. л. 26,14. Уч.-изд. л. 30,3
Тираж 400 000 экз. (1-й завод 1— 150 000)
Тип. заказ № 288. Цена 3 р. 40 к.

Издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Отпечатано с матриц Первой Образцовой типографии им. Жданова
на Киевской книжной фабрике, 252054, Киев, Воровского, 24.